

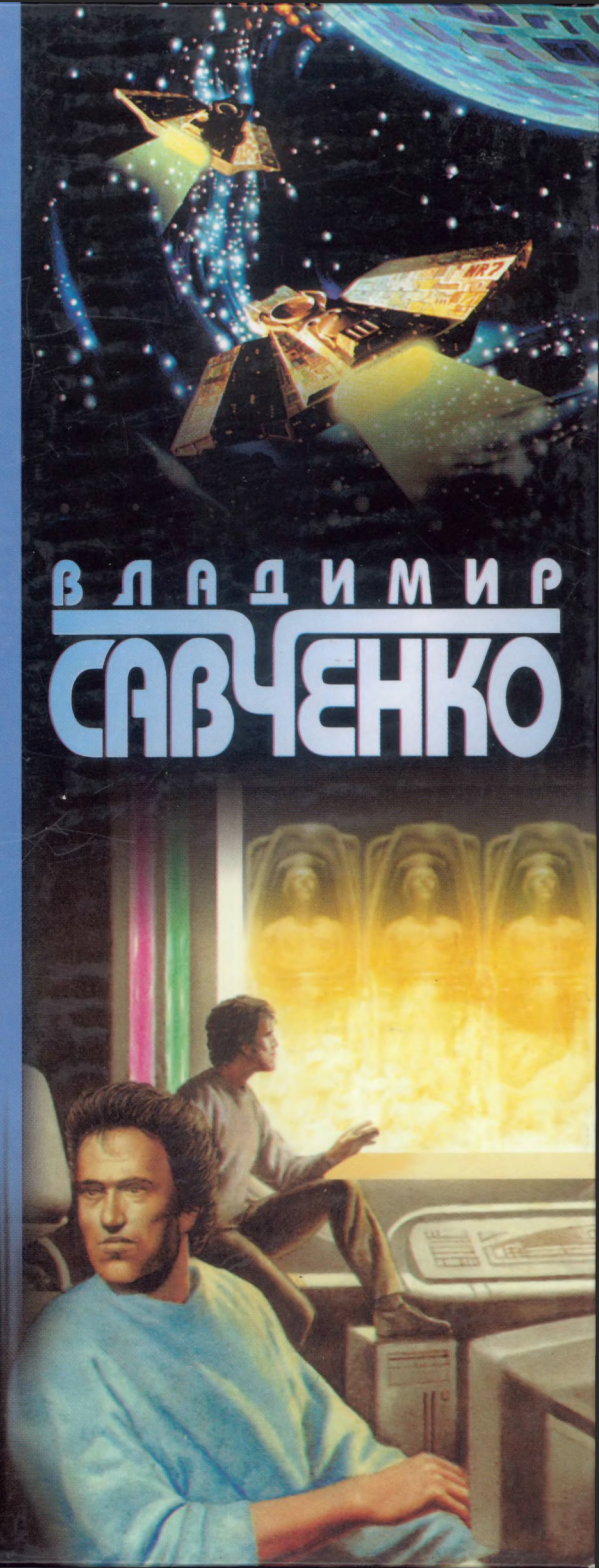
ОТКРЫТИЕ СЕБЯ

ОТКРЫТИЕ СЕБЯ

ВЛАДИМИР  
САВЧЕНКО

КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЛАДИМИР  
САВЧЕНКО





КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАНТАСТИКИ





В Л А Д И М И Р  
САВЧЕНКО

---

**ОТКРЫТИЕ СЕБЯ  
ТУПИК  
ИСПЫТАНИЕ ИСТИНОЙ  
ВСТРЕЧНИКИ**

**ас**  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
Москва  
2002

УДК 821.161.1-312.9  
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44  
С12

*Серийное оформление А.А. Кудрявцева*

*Художник В.Н. Ненов*

Подписано в печать 01.11.01. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Усл. печ. л. 30,24. Тираж 10 000 экз. Заказ № 4218.

**Савченко В.И.**

**С12** Открытие себя: Роман; Тупик: Философский детектив в четырех трупах; Испытание Истиной: Повесть-исследование; Встречники: Повесть / В.И. Савченко. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. — 570, [6] с. — (Классика отечественной фантастики).

ISBN 5-17-011594-6

Владимир Иванович Савченко родился в 1933 г. Окончил Московский энергетический институт. Фантастику начал писать еще в студенческие годы. Первые опубликованные рассказы — «Навстречу звездам» (1955г.) и «Пробуждение доктора Берна» (1956г.). За этим последовали повести «Черные звезды», «Алгоритм успеха» и многое, многое другое.

Остроумная, достоверная в лучшем смысле слова, пронизанная высокой романтикой научного поиска фантастика Савченко не СОСТАРИЛАСЬ за несколько десятилетий — и НЕ СОСТАРИТСЯ НИКОГДА!..

«Открытие себя» — один из последних великих романов «золотого века» отечественной фантастики.

А уж эпиграфы к этому роману, давным-давно раздерганные на цитаты, много лет как стали неотъемлемой частью фольклора российских знатоков и любителей фантастики.

Помимо романа, в сборник включены и лучшие повести В. Савченко — «Испытание Истиной», «Встречники» и «Философский детектив в четырех трупах «ТУПИК».

УДК 821.161.1-312.9  
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44

© В.И. Савченко, 2001  
© ООО «Издательство АСТ», 2002

**ОТКРЫТИЕ СЕБЯ**

***Человек, помоги себе сам!***

**Людвиг ван Бетховен**

# **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

## **Шаги за спиной**

### **Глава первая**

*Проверяя электропроводку,  
обесточь электропитание!*

Плакат по технике  
безопасности

Короткое замыкание в линии, что питала лабораторию новых систем, произошло в три часа ночи. Автомат релейной защиты на энергоподстанции Днепровского института системологии сделал то, что делают в таких случаях все защитные автоматы: отключил линию от трансформатора, зажег на табло в дежурке мигающую красную лампочку и включил аварийный звонок.

Дежурный техник-электрик Жора Прахов звонок выключил сразу, чтобы не отвлекаться от изучения «Пособия для начинающего мотоциклиста» (Жоре предстояло сдавать на права), а на мигающую лампочку посматривал с неудовольствием и ожиданием: обычно местные замыкания лаборатории устраняли своими силами. Поняв примерно через час, что ему не отсидеться, техник закрыл учебник, взял сумку с инструментом, перчатки, повер-

нул на двери жестяную стрелку указателя к надписи «Лаб. новых сист.» и вышел из дежурки.

Темные деревья институтского парка плавали по пояс в тумане. Масляные трансформаторы подстанции стояли, упершись охладительными трубами в бока, как толстые бесформенные бабы. Размытой глыбой возвышалось на фоне сереющего неба и старое институтское здание — с тяжелыми балконами и вычурными башенками. Левее его параллелепипед нового исследовательского корпуса тщился заслонить раннюю июньскую зарю.

Жора взглянул на часы (было десять минут пятого), закурил и, разгоняя сумкой туман, побрел направо, в дальний угол парка, где стоял на отшибе флигель лаборатории новых систем... А в половине пятого по звонку техника-электрика Прахова на место происшествия выехали две машины: «скорая помощь» и оперативный автомобиль Днепропетровского горотдела милиции.

Худой высокий человек в светлом чесучовом костюме шагал через парк напрямик, не придерживаясь асфальтовых дорожек; туфли его оставляли в серой от росы траве длинные темные следы. Утренний ветерок шевелил редкие седые волосы на голове. В промежутке между старым и новым корпусами занимался ослепительный розово-желтый рассвет; в ветвях болтали птицы. Однако Аркадию Аркадьевичу Азарову было не до того.

«В лаборатории новых систем происшествие, товарищ директор, — произнес несколько минут назад сухой голос в трубке. — Имеются потерпевшие, попрошу вас прийти». От преждевременного пробуждения на Азарова навалилась неврастения: тело казалось набитым ватой, голова пустой, жизнь отвратительной. «В лаборатории происшествие... попрошу прийти...» «Наверное, работник милиции говорил, — вертелось в голове вместо мыслей. — Имеются потерпевшие... Идиотское слово! Кто потерпел? Что потерпел?



Убило, ранило, сгорели штаны? Видимо, дело серьезное... Опять! То студент под гамма-излучение полез, чтобы ускорить опыт, то... второй случай за полгода. Но ведь Кривошеин не студент, не юнец — что же стряслось? Работали ночью, устали и... Надо запретить работать по ночам. Категорически!»

...Приняв пять лет назад приглашение руководить организованным в Днепровске Институтом системологии, академик Азаров замыслил создать научную систему, которая стала бы продолжением его мозга. Структура института вырисовывалась в мечтах по вертикально-разветвленному принципу: он дает общие идеи исследований и построения систем, руководители отделов и лабораторий детализируют их, определяют конкретные задачи исполнителям, те стараются... Ему же остается обобщать полученные результаты и выдвигать новые фундаментальные идеи. Но действительность грубо вламывалась в эти построения. Во многом выражалось вмешательство стихий: в бестолковости одних сотрудников и излишней самостоятельности других, в нарушениях графика строительства, из-за чего склад и хоздвор института и по сей день завалены нераспечатанным оборудованием, в хоздоговорных работах-поделках для самоокупаемости, в скандалах, кои время от времени потрясали институтскую общественность, в различных авариях и происшествиях... Аркадий Аркадьевич с горечью подумал, что сейчас он не ближе к реализации своего замысла, чем пять лет назад.

Одноэтажный флигель под черепичной крышей идиллически белел среди цветущих лип: они распространяли тонкий запах. Возле бетонного крыльца, примяв траву, стояли две машины: белый медицинский «ЗиЛ» и синяя с красной полоской «Волга».

При виде лаборатории Аркадий Аркадьевич замедлил шаги, задумался: дело в том, что за полтора года ее существования он был в ней только раз, в самом начале, да и то:

мельком, при общем обходе, и сейчас очень смутно представлял, что там, за дверью.

Лаборатория новых систем... Собственно, у Азарова не было пока оснований принимать ее всерьез, тем более что она возникла не по его замыслу, а благодаря скверному стечению обстоятельств: «горели» восемьдесят тысяч бюджетных денег. До конца года оставалось полтора месяца, а истратить деньги по соответствующей статье («Введение в строй новых лабораторий») было невозможно — строители, кои поначалу обязались сдать новый корпус к Первомаю, затем к Октябрьским праздникам, затем к Дню Конституции, теперь поговаривали насчет 8 Марта следующего года. Контейнеры и ящики с аппаратурой заполняли парк. К тому же «неосвоенные» деньги всегда грозны тем, что в следующем году плановые органы урежут бюджет... На институтском семинаре Аркадий Аркадьевич объявил «конкурс»: кто берется истратить эти восемьдесят тысяч до конца года с толком и под обоснованную идею?

Кривошеин предложил организовать и оснастить «лабораторию случайного поиска». Других предложений не было, пришлось согласиться. Аркадий Аркадьевич сделал это скрепя сердце и даже изменил ее название на более обтекаемое — «лаборатория новых систем». Лаборатории создаются под людей, а Кривошеин пока что был «вещью в себе»: неплохой инженер-схемотехник, но и только. Пусть потешится самостоятельностью, оснастится, а когда дело дойдет до исследований, он и сам запросит руководителя. Тогда можно будет найти по конкурсу кандидата или лучше доктора наук и уж для такого ученого определить профиль лаборатории.

Разумеется, Аркадий Аркадьевич не исключал возможности, что и сам Кривошеин выйдет в люди. Идея, которую тот изложил на ученом совете прошлым летом, о... — о чем бишь? — ага, о самоорганизации электронных систем путем ввода произвольной информации — могла стать основой для кандидатской и даже докторской диссертации.

Но при его неумении ладить с людьми и беспардонной скандальности вряд ли. Тогда на ученом совете ему не следовало *так* парировать замечания профессора Вольтампернова; бедный Ипполит Илларионович потом принимал капли... Нет, совершенно неизвинительна самонадеянность этого Кривошеина! Ведь до сих пор нет данных, что он подтвердил свою идею; конечно, год — срок небольшой, но и инженер — не доктор наук, коему позволительно уходить в глубокий поиск на десятилетия! А этот недавний скандал... Аркадий Аркадьевич даже поморщился: настолько свежо и неприятно было воспоминание, как полтора месяца назад Кривошеин провалил на официальной защите в соседнем КБ докторскую диссертацию ученого секретаря института. Собственно, выступал против не он один, но если бы Кривошеин не начал, все бы сошло. В посторонней организации, даже не известив о своих намерениях, пришел и провалил *своего*! Так бросить тень на институт, на него, академика Азарова... Правда, и ему не следовало столь благодушно относиться к этой диссертации и тем более давать положительный отзыв на нее; но рассудил, что неплохо бы иметь выращенного в институте доктора наук, что и не такие диссертации проходили успешно. Но Кривошеин... Аркадий Аркадьевич тогда в сердцах дал ему понять, что не склонен удерживать его в институте... впрочем, вспоминать об этом сейчас было не только неприятно, но и неуместно.

Во флигеле была заметна суета. Мысль о том, что сейчас надо войти, смотреть на *это*, давать объяснения, вызвала у Азарова чувство, похожее на зубную боль. «Итак, снова Кривошеин! — яростно подумал он. — Ну, если он повинен и в этом происшествии!..»

Аркадий Аркадьевич поднялся на крыльцо, быстро прошел по тесному, заставленному приборами и ящиками коридору, вступил в комнату и огляделся.

Большое, на шесть окон помещение лишь отдаленно напоминало лабораторию для электронно-математических ис-

следований. Металлические и пластмассовые параллелепипеды генераторов и осциллографов с вентиляционными прорезами в стенах стояли на полу, на столах и на полках попеременно с большими бутылками, банками, колбами, чашами. Колбы теснились на шкафах, громоздились на зеленых ящиках селеновых выпрямителей. Всю среднюю часть комнаты заняло бесформенное на первый взгляд устройство, оплетенное шлангами, проводами, причудливо выгнутыми трубами с отростками; за ним едва просматривался пульт электронной машины. Что это за осьминог?!

— Пульс прощупывается, — произнес женский голос слева от академика.

Аркадий Аркадьевич повернулся. Свободное от бутылей и приборов пространство между дверью и глухой стеной заполнял полумрак. Там два санитара осторожно перекладывали с пола на носилки человека в сером лаборантском халате; голова его запрокинулась, пряди волос обмакнулись в лужу какой-то маслянистой жидкости. Возле человека хлопотала маленькая женщина-врач.

— Шоковое состояние, — констатировала она. — Инъекцию адреналина и откачивать.

Академик шагнул ближе: молодой парень, правильные черты очень бледного лица, темно-русые волосы. «Нет, это не Кривошеин, но кто? Где-то я его видел...» Санитар взял шприц на изготовку. Азаров глубоко вдохнул воздух и едва не поперхнулся: комнату наполняли запахи кислот, горелой изоляции, еще чего-то резкого — неопределенные и тяжелые запахи несчастья. Пол был залит густой жидкостью, санитары и врач ступали прямо по ней.

В комнату деловито вошел худощавый человек в синем костюме; все прочее в нем было тускло и невыразительно: серые волосы зачесаны набок, небольшие серые глаза неожиданно близко поставлены на костистом лице с широкими скулами, втянутые щеки скверно выбриты. Вошедший сухо поклонился Азарову. Тот столь же чопорно ответил. Им

незачем было представляться друг другу: именно следователь Онисимов в феврале нынешнего года занимался дознанием по делу об облучении практиканта Горшкова.

— Начнем с опознания трупа, — сухо сказал следователь, и сердце Аркадия Аркадьевича сбилось с ритма. — Попрошу вас сюда...

Азаров двинулся за ним в угол у двери к чему-то накрытому серой клеенкой, она выпирала углами, из-под края ее высывались желтые костяшки пальцев ног.

— Служебное удостоверение, обнаруженное в находившейся в лаборатории одежде, — протокольным голосом говорил следователь, отгибая край клеенки, — выдано на имя Кривошеина Валентина Васильевича. Подтверждаете?

Жизнь не часто ставила Азарова лицом к лицу со смертью. Ему вдруг стало душно, он расстегнул воротник. Из-за клеенки показались слипшиеся, коротко остриженные волосы, выкаченные глаза, запавшие щеки, оттянутые вниз углы рта, потом выпирающий кадык на жилистой шее, худые ключицы... «Как он исхудал!..»

— Да...

— Благодарю. — Следователь опустил клеенку.

Значит, Кривошеин... Они виделись позавчера утром возле старого корпуса, прошли мимо друг друга, как всегда корректно раскланялись. Тогда это был хоть и малосимпатичный, но плотный толстощекий *живой* человек. А сейчас... смерть будто выпила из него все жизненные соки, высушила плоть — остались лишь обтянутые серой кожей кости. «А ведь Кривошеин, наверное, понимал, какая роль ему отведена в создании лаборатории...» — подумалось почему-то Азарову. Следователь вышел.

— Ай-ай-ай! Тц-тц... — раздалось над ухом Аркадия Аркадьевича.

Он обернулся: в дверях стоял ученый секретарь Гарри Харитонович Хилобок. Холеное лицо его припухло от недавнего сна. Гарри Харитонович был, что называется, интерес-

ным мужчиной: крупное, хорошо сложенное тело в легком костюме, правильной формы голова, выющиеся каштановые волосы, красиво серебрящиеся виски, карие глаза, крупный прямой нос, красу и мужественность которого оттеняли темные усы. Внешность, впрочем, несколько портили резкие складки по краям рта, какие бывают от постоянной напряженной улыбки, да мелковатый подбородок. Сейчас в карих глазах доцента светилось пугливое любопытство.

— Доброе утро, Аркадий Аркадьевич! Что же это у Кривошеина опять случилось-то? А я прохожу это мимо: почему, думаю, около лаборатории такие машины стоят? И зашел... между прочим, цифропечатающие-то автоматы в коридорчике у него простаивают, вы заметили, Аркадий Аркадьевич? Среди всякого хлама, а ведь как добивался их Валентин Васильевич, докладные писал, я говорю, хоть бы другим передал их, если не использует... — Гарри Харитонович сокрушенно вздохнул, посмотрел направо. — Никкак это студент! Тц-тц, ай-ай-ай! Опять студент, просто беда с ними... — Тут он заметил вернувшегося в комнату следователя; лицо доцента исказила улыбка. — О, здравствуйте, Аполлон Матвеевич! Опять вас к нам?

— Матвей Аполлонович, — кивнув, поправил его Онисимов.

Он раскрыл ящик из желтого дерева с надписью «Вещест. док-ва» черной краской на крышке, вынул из него пробирку, присел над лужей.

— То есть Матвей Аполлонович — простите великодушно! Я ведь вас хорошо помню еще по прошлому разу, вот только имя-отчество немного спутал. Матвей Аполлонович, как же, конечно, мы вас потом еще долго вспоминали, вашу деловитость и все... — суетливо говорил Хилобок.

— Товарищ директор, какие именно работы велись в этой лаборатории? — перебил следователь, зачерпывая пробиркой жидкость.

— Исследование самоорганизующихся электронных систем с интегральным вводом информации, — ответил академик. — Так, во всяком случае, Валентин Васильевич Кривошеин сформулировал свою тему в плане этого года.

— Понятно. — Онисимов поднялся с корточек, понюхал жидкость, отер пробирку ватой, спрятал в ящик. — Применение ядовитых химикалий было оговорено в задании на работу?

— Не знаю. Думаю, ничего оговорено не было: поисковая работа ведется исследователем по своему разумению...

— Что же это у Кривошеина такое стряслось, что даже вас, Аркадий Аркадьевич, в такую рань побеспокоили? — понизив голос, спросил Хилобок.

— Вот именно — что? — Онисимов явно адресовал свои слова академику.

— Короткое замыкание ни при чем, оно следствие аварии, а не причина — установлено. Поражений током нет, травм на теле нет... и человека нет. А что это за изделие, для чего оно?

Он поднял с пола диковинный предмет, похожий на шлем античного воина; только шлем этот был никелирован, усеян кнопками и увит жгутами тонких разноцветных проводов. Провода тянулись за трубы и колбы громоздкого устройства в дальний угол комнаты, к электронной машине.

— Это? — Академик пожал плечами. — М-м...

— «Шапка Мономаха» — то есть это у нас так их запросто называют, в обиходе, — пришел на помощь Хилобок. — А если точно, то СЭД-1 — система электродных датчиков для считывания биопотенциалов головного мозга. Я ведь почему знаю, Аркадий Аркадьевич: Кривошеин мне все заказывал сделать еще такую...

— Так, понятно. Я, с вашего позволения, её приобшу, поскольку она находилась на голове погибшего.

Онисимов, сматывая провода, удалился в глубину комнаты.

— Кто погиб-то, Аркадий Аркадьевич? — прошептал Хилобок.

— Кривошеин.

— Ай-ай, как же это? Вот тебе на, учудил... И опять вам хлопоты, Аркадий Аркадьевич, неприятности...

Вернулся следователь. Он упаковал «шапку Мономаха» в бумагу, уложил ее в свой ящик. В тишине лаборатории слышалось только пыхтение санитаров, которые трудились над бесчувственным практикантом.

— А почему Кривошеин был голым? — вдруг спросил Онисимов.

— Был голым?! — изумился академик. — Значит, это не врачи его раздели? Не знаю! Представить не могу.

— Хм... понятно. А как вы полагаете, для чего у них этот бак? Не для купаний, случайно?

Следователь указал на прямоугольный пластмассовый бак, который лежал на боку среди разбитых и раздавленных его падением колб; с прозрачных стенок свисали потеки и сосули серо-желтого вещества. Рядом с баком валялись осколки большого зеркала.

— Для купания?! — Академика начали злить эти вопросы. — Боюсь, что у вас весьма своеобразные представления о назначении научной лаборатории, товарищ... э-э... следователь!

— И зеркало рядом стояло — хорошее, в полный рост, — вел свое Онисимов. — Для чего бы оно?

— Не знаю! Я не могу вникать в технические детали всех ста шестидесяти работ, которые ведутся в моем институте!

— Видите ли, Аполлон Матве... то есть Матвей Аполлонович, прошу прощения, — заторопился на выручку доцент Хилобок, — Аркадий Аркадьевич руководит всем институтом в целом, состоит в пяти межведомственных комиссиях, редактирует научный журнал и, понятно, не может вдаваться в детали каждой работы в отдельности, на то есть исполнители. К тому же покойный — увы, это так, к сожалению! —



покойный Валентин Васильевич Кривошеин был чересчур самостоятельного характера человек, не любил ни с кем советоваться, посвящать в свои замыслы, в результаты. Да и техникой безопасности он, надо прямо сказать, манкировал, к сожалению, довольно часто... конечно, я понимаю, «де мортуис аут бене, аут нихиль», как говорится, то есть о мертвых либо хорошее, либо ничего, понимаете? — но что было, то было. Помните, Аркадий Аркадьевич, как в позапрошлом году зимой, он тогда еще у нашего бывшего Иванова работал, в январе... нет, в феврале... или все-таки, кажется, в январе?... а может быть, даже и в декабре еще — помните, он тогда залил водой нижние этажи, нанес ущерб, сорвал работы?

— Ох и гнида же вы, Хилобок! — раздался вдруг голос с носилок.

Лаборант-студент, цепляясь за края, пытался подняться.

— Ох и... Напрасно мы вас тогда не тронули!

Все повернулись к нему. У Азарова озноб прошел по коже: до того неотличимо голос студента был похож на голос Кривошеина — та же хрипотца, так же неряшливо выговариваемые окончания слов... Лаборант обессиленно упал, голова свесилась на пол. Санитары удовлетворенно вытирали пот: ожил, родимый! Женщина-врач скомандовала им, они подняли носилки, понесли к выходу. Академик всмотрелся в парня. И снова сердце у него сбилось с ритма: лаборант — непонятно с первого взгляда чем именно — походил на Кривошеина; даже не на живого, а на тот труп под клеенкой.

— Вот-вот, и практиканта успел восстановить, — с необыкновенной кротостью покивал Хилобок.

— А что это он вас так... аттестовал? — повернулся к нему Онисимов. — У вас с ним был конфликт?

— Ни боже мой! — Доцент искренне пожал плечами. — Я и разговаривал с ним только раз, когда оформлял его на практику в лабораторию Кривошеина по личной просьбе Валентина Васильевича, поскольку этот...

— ...Кравец Виктор Витальевич, — справился по записям Онисимов.

— Вот именно... приходится родственником Кривошеину. Студент он, из Харьковского университета, нам их зимой пятнадцать человек на годичную практику прислали. А лаборантом его Кривошеин оформил по-родственному — как не порадеть, все мы люди, все мы человеки...

— Будет вам, Гарри Харитонович! — оборвал его академик.

— Понятно, — кивнул Онисимов. — Скажите, а кроме Кравца, у потерпевшего близкие были?

— Как вам сказать, Матвей Аполлонович? — проникновенно вздохнул Хилобок. — Официально — так нет, а неофициально... ходила тут к нему одна женщина, не знаю, невеста она ему или так; Коломиец Елена Ивановна, она в конструкторском бюро по соседству работает, симпатичная такая...

— Понятно. Вы, я вижу, в курсе, — усмехнулся Онисимов, направляясь к двери. Через минуту он вернулся с фотоаппаратом, направил в угол зрачок фотоэкспонетра. — Лабораторию на время проведения дознания я вынужден опечатать. Труп будет доставлен в судебно-медицинскую экспертизу на предмет вскрытия. Товарищам по организации похорон надлежит обратиться туда. — Следователь направился в угол, взялся за клеенку, которая прикрывала труп Кривошеина. — Попрошу вас отойти от окна, светлее будет. Собственно, я вас больше не задерживаю, товарищи, извините за беспокойств...

Вдруг он осекся, рывком поднял клеенку: под ней на коричневом линолеуме лежал скелет! Вокруг растекалась желтая лужа, сохраняя расплывчатые окарикатуренные очертания человеческого тела.

— Ох! — Хилобок всплеснул руками, отступил за порог.

Аркадий Аркадьевич почувствовал, что у него ослабели ноги, взялся за стену.

Следователь неторопливыми машинальными движениями складывал клеенку и завороченно смотрел на скелет, издевательски ухмылявшийся тридцатидвухзубым оскалом. С черепа бесшумно упала в лужу прядь темно-рыжих волос.

— Понятно... — пробормотал в растерянности Онисимов. Потом повернулся к Азарову, неодобрительно поглядел в широко раскрытые глаза за прямоугольными очками. — Дела тут у вас, товарищ директор...

## Глава вторая

— *Что вы можете сказать  
в свое оправдание?*

— *Ну, видите ли...*

— *Достаточно. Расстрелять.  
Следующий!*

Диалог времен культа личности

Собственно, следователю Онисимову пока еще ничего не было понятно; просто сохранилась у него от лучших времен такая речевая привычка — он от нее старался избавиться, но безуспешно. Более того, Матвей Аполлонович был озадачен и крайне обеспокоен подобным поворотом дела. За полчаса до звонка из Института системологии судебно-медицинский эксперт Зубато, дежуривший с ним в эту ночь, выехал на дорожное происшествие за город. Онисимов отправился в институт один. И вот пожалуйста: на месте неостывшего трупа лежал в той же позе скелет! Такого в криминалистической практике еще не случалось. Никто не поверит, что труп *сам* превратился в скелет, — на смех поднимут! И «скорая помощь» уехала — хоть бы они подтвердили. И сфотографировать труп не успел...

Словом, случившееся представлялось Онисимову цепью серьезных следственных упущений. Поэтому он, не покидая территории института, запасаясь письменными показаниями техника Прахова и академика Азарова.

Техник-электрик Прахов Георгий Данилович, двадцати лет, русский, холостой, военнообязанный, беспартийный, показал:

«...Когда я вошел в лабораторию, верхний свет горел, нарушена была только силовая сеть. В помещении стоял такой запах, что меня чуть не вырвало, — как в больнице. Первое, что я заметил: голый человек лежит в опрокинутом баке, голова и руки свесились, на голове металлическое устройство. Из бака что-то вытекает, похоже, будто густая сукровица. Второй — студент, новенький, я его наглядно знаю — лежит рядом, лицом вверх, руки раскинул. Я бросился к тому, который в баке, вытащил. Он был еще теплый и весь скользкий, не ухватиться. Потормошил — вроде неживой. В лицо я его узнал — Валентин Васильевич Кривошеин, часто его встречал в институте, здоровались. Студент дышал, но в сознание не возвращался. Поскольку ночью на территории никого, кроме внешней охраны, нет, вызвал по телефону лаборатории «скорую помощь» и милицию. А короткое замыкание получилось в силовом кабеле, что идет к лабораторному электрощиту понизу вдоль стены в алюминиевой трубе. Бак разбил бутыль — видимо, с кислотой, — она в этом месте все проела и закоротила, как проводник второго рода».

О том, что он вышел к месту аварии спустя час после сигнала автомата, Жора благоразумно умолчал.

Директор института Азаров Аркадий Аркадьевич, доктор физико-математических наук и действительный член Академии наук, пятидесяти восьми лет, русский, женатый, невоеннообязанный, член КПСС, подтвердил, что он «опознал в предъявленном ему на месте происшествия следователем Онисимовым М. А. труп черты лица исполняющего обязан-

ности заведующего лабораторией новых систем Валентина Васильевича Кривошеина и, помимо того, со свойственной академику научной объективностью отметил, что его «поразила невероятная изможденность покойного, именно невероятная, несоответствующая его обычному облику...».

В половине одиннадцатого утра Онисимов вернулся в горотдел, в свой кабинет на первом этаже, окна которого, перечеркнутые вертикальными прутьями решетки, выходили на людный в любое время дня проспект Маркса. Матвей Аполлонович кратко доложил дежурному майору Рабиновичу о происшедшем, направил на экспертизу пробирки с жидкостью, затем позвонил в клинику «Скорой помощи», поинтересовался, в каком состоянии пребывает единственный очевидец происшедшего. Ответили, что лаборант чувствует себя нормально, просит выписать его.

— Хорошо, выписывайте, сейчас высылаю машину, — согласился Онисимов.

Не успел он распорядиться о машине, как в кабинет ворвался судебно-медицинский эксперт Зубато, полнокровный и громогласный мужчина с волосатыми руками.

— Матвей, что ты мне привез?! — Он возмущенно плюхнулся на стул, который крякнул под ним. — Что за хохмы?! Как я установлю причины смерти по скелету?

— Что осталось, то и привез, — развел руками Онисимов. — Хорошо, что пришел, с ходу формулирую вопрос: каким образом труп может превратиться в скелет?

— С ходу отвечаю: в результате разложения тканей, которое в обычных условиях длится недели и даже месяцы. Это все, что может сам труп.

— Тогда... как *можно* превратить труп в скелет?

— Освежевать, срезать мягкие ткани и варить в воде до полного обнажения костей. Воду рекомендуется менять. Ты можешь внятно рассказать, что произошло?

Онисимов рассказал.

— Ну дела! Эх, жаль, меня не было! — Зубато в огорчении хлопнул себя по коленям.

— А что на шоссе?

— Э, пьяный мотоциклист налетел на корову. Оба живы... Так, говоришь, «растаял» труп? — Эксперт скептически сощурился, приблизил полное лицо к Онисимову. — Матвей, это липа. Так не бывает, я тебе точно говорю. Человек не сосулька, даже мертвый. А не обвели тебя там?

— Это как?

— Да так: подсунули скелет вместо трупа, пока ты заходил да выходил... и концы в воду!

— Что ты мелешь: подсунули! Выходит, академик стоял на стреме?! Да вот и он показывает... — Онисимов засуетился, ища показания Азарова.

— Э, теперь они покажут! Там народ такой... — Зубато волнообразно пошевелил волосатыми пальцами. — Помнишь, когда у них студент облучился, то завлабораторией тоже все валил на науку: мол, малоисследованное явление, гамма-радиация разрушила кристаллические ячейки дозиметра... а на поверку оказалось, что студенты расписывались под инструкцией о работе с изотопами, не читая ее! Отвечать никому не хочется, даже академикам, тем более по мокрому делу. Припомни: ты оставлял их наедине с трупом?

— Оставлял. — Голос следователя упал. — Два раза...

— Вот тогда твой труп и «растаял»! — И Зубато рассмеялся бодрым смехом человека, который сознает, что неприятность случилась не с ним.

Следователь задумался, потом отрицательно покачал головой.

— Нет, тут ты меня не собьешь. Я же видел... Но вот как теперь быть с этим скелетом?

— Шут его... постой, есть идея! Отправь череп в городскую скульптурную мастерскую. Пусть восстановят облик по методу профессора Герасимова, они умеют. Если совпадет, то... это же будет криминалистическая сенсация века! Если

нет... — Зубато сочувственно поглядел на Матвея Аполлоновича, — тогда не хотел бы я оказаться на твоём месте при разговоре с Алексеем Игнатьевичем! Ладно, я сам и направлю, так и быть. — Он поднялся. — И заодно освидетельствую... хоть скелет, раз уж насчет трупа у тебя туго!

Зубато удалился. «А если вправду обвели? — Онисимов вспомнил, как неприязненно смотрел на него академик, как лебезил доцент Хилобок, и похолодел. — Прошляпил труп, основную улику, милое дело!»

Он набрал номер химической лаборатории.

— Виктория Степановна, Онисимов беспокоит. Проверили жидкость?

— Да, Матвей Аполлонович. Протокол в перепечатке, но данные я вам прочитаю. «Воды — 85 процентов, белков — 13 процентов, аминокислот — 0,5 процента, жирных кислот — 0,4 процента», ну и так далее. Словом, это плазма человеческой крови. По гемагглютинам относится к первой группе, содержание воды понижено.

— Понятно. Вредность от нее может быть?

— Думаю, что нет...

— Понятно... А если, например, искупаться в ней?

— Ну... можно, видимо, захлебнуться и утонуть. Это вас устроит?

— Благодарю вас! — Матвей Аполлонович раздраженно бросил трубку.

«Ишь, острячка! Но похоже, что версия несчастного случая отпадает... Может, притопил его лаборант в баке? Очень просто. Нет, на утопление не похоже...»

С каждой минутой дело нравилось Онисимову все меньше. Он разложил на столе взятые в институтском отделе кадров и в лаборатории документы, углубился в их изучение. Его отвлек телефон.

— Матвей, с тебя причитается! — загремел в мембране победный голос Зубато. — Кое-что я установил даже по скелету: посередине шестого и седьмого ребер на правой сто-

роне грудной клетки имеются глубокие поперечные трещины. Такие трещины бывают от удара тупым тяжелым предметом или о тупой предмет, как угодно. Поверхность излома в трещинах, свежая...

— Понятно!

— Эти трещины сами по себе не могут быть причиной смерти. Но удар большой силы мог серьезно повредить внутренние органы, которые, увы, отсутствуют... Вот в таком плане. Буду рад, если это тебе поможет.

— Еще как поможет! Череп на идентификацию отправил?

— Только что. И позвонил — обещали сделать быстро.

«Итак, это не несчастный случай от производственных причин. Ни жидкость, ни короткое замыкание человеку ребра не ломают. Ай-ай! Значит, было там двое: пострадавший и потерпевший. И похоже, что между пострадавшим и потерпевшим завязалась серьезная драка...»

Онисимов почувствовал себя бодрее: в деле наметились привычные очертания. Он стал набрасывать текст срочной телеграммы в Харьков.

Июньский день накалялся зноем. Солнце плавало асфальт. Жара сочилась и в кабинет Онисимова, он включил вентилятор на своем столе.

Ответ харьковской милиции пришел ровно в час дня. Лабаранта Кравца доставили в половине второго. Войдя в кабинет, он внимательно огляделся с порога, усмехнулся, заметив решетки на окнах:

— Это зачем, чтобы быстрее сознавались?

— Не-ет, что вы! — добродушно пропел Матвей Аполлонович. — В нашем здании раньше оптовая база была, так весь первый этаж обрешетили. Скоро снимем, в милицию воры по своей охоте не полезут, хе-хе... Садитесь. Вы уже здоровы, показания давать можете?

— Могу.



Лаборант прошел через комнату, сел на стул против окна. Следователь рассматривал его. Молод, года двадцать четыре, не более. Похож на Кривошеина, таким тот мог быть лет десять назад. «Впрочем, — Матвей Аполлонович скосил глаза на фотографию Кривошеина в личном деле, — тот таким не был, нет. Этот — красавчик». И верно, во внешности Кравца была какая-то манекенная зализанность и аккуратность черт. Это впечатление нарушали лишь глаза — собственно, даже не сами глаза, голубые и по-юношески ясные, а прицельный прищур век. Лаборант смотрел на следователя умно и настороженно. «Пожилые у него какие-то глаза, — отметил следователь. — Но быстро оправился от передрыги, никаких следов. Ну-с, попробуем».

— Знаете, а вы похожи на покойного Кривошеина.

— На покойного?! — Лаборант стиснул челюсти и на секунду прикрыл глаза. — Значит, он...

— Да, значит, — жестко подтвердил Онисимов. «Нервочки у него не очень...» — Впрочем, давайте по порядку. — Он придвинул к себе лист бумаги открыл авторучку. — Ваши имя, отчество, фамилия, возраст, место работы или учебы, где проживаете?

— Да вам ведь, наверное, известно?

— Известно-неизвестно — такой порядок, чтобы допрашиваемый сам назвался.

«Значит, погиб... что теперь делать? Что говорить? Катастрофа... Черт меня принес в милицию — мог сбежать из клиники... Что же теперь будет?»

— Пожалуйста, пишите: Кравец Виктор Витальевич, двадцать четыре года, студент пятого курса физического факультета Харьковского университета. Живу постоянно в Харькове, на Холодной горе. Здесь на практике.

— Понятно. — Следователь, вместо того чтобы писать, быстро и бесцельно вертел ручку. — Состояли в родственных отношениях с Кривошеиным; в каких именно?

— В отдаленных, — неловко усмехнулся студент. — Так, седьмая вода на киселе.

— Понятно! — Онисимов положил авторучку, взял телеграфный бланк; голос его стал строгим. — Так вот, гражданин: не подтверждается.

— Что не подтверждается?

— Версия ваша, что вы Кравец, живете и учитесь в Харькове и так далее. Нет в Харьковском университете такого студента. Да и на Холодной горе, 17 указанное лицо не проживало ни временно, ни постоянно.

У допрашиваемого на мгновение растерянно обмякли щеки, лицо вспыхнуло. «Влип. Вот влип, ах, черт! Да как глупо!.. Ну конечно же, они сразу проверили. Вот что значит отсутствие опыта... Но что теперь-то говорить?»

— Говорите правду. И подробненько. Не забывайте, что дело касается смертного случая.

«Правду... Легко сказать!»

— Понимаете... правда, как бы это вам сказать... это слишком много и сложно... — забормотал растерянно лаборант, ненавидя и презирая себя за эту растерянность. — Здесь надо и о теории информации, о моделировании случайных процессов...

— Вот только не напускайте тумана, гражданин, — брюзгливо поморщился Онисимов. — От теорий люди не погибают — это сплошная практика и факты.

— Но... понимаете, может быть, собственно, никто и не погиб, это можно доказать... попытаться доказать. Дело в том, что... видите ли, гражданин следовательно... («Почему я назвал его «гражданин следовательно» — я ведь еще не арестант?!») Видите ли, человек — это прежде всего... н-ну... не кусок протоплазмы весом в семьдесят килограммов... Ну, там пятьдесят литров воды, двадцать килограммов белков... жиров и углеводов... энзимы, ферменты, все такое. Человек — это прежде всего информация. Сгусток информации... И если она не исчезла — человек жив...

Он замолчал, закусил губу. «Нет, бессмысленная затея. Не стоит и стараться».

— Так, я слушаю вас, продолжайте, — внутренне усмехаясь, поторопил следователь.

Лаборант взглянул на него исподлобья, уселся поудобнее и сказал с легкой улыбкой:

— Одним словом, если без теорий, то Валентин Васильевич Кривошеин — это я и есть. Можете занести это в протокол.

Это было настолько неожиданно и нагло, что Матвей Аполлонович на минуту онемел. «Не отправить ли его к психиатру?» Но голубые глаза допрашиваемого смотрели осмысленно, а в глубине их пряталась издевательская усмешка. Она-то и вывела Онисимова из оцепенения.

— По-нят-но! — Он тяжело поднялся. — Вы что же, за дурака меня считаете? Будто я не знакомился с личным делом Кривошеина, не был на происшествии, не помню его облика и прочее? — Он оперся руками о стол. — Не хотите объявлять себя — вам же хуже. Все равно узнаем. Вы признаете, что документы у вас поддельные?

«Все. Надо выходить из игры».

— Нет. Это вам еще надо доказать. С таким же успехом вы могли бы считать поддельным меня! — Лаборант отвернулся к окну.

— Вы не паясничайте, гражданин! — повысил голос следователь. — С какой целью вы проникли в лабораторию? Отвечайте! Что у вас получилось с Кривошеиным? Отвечайте!

— Не буду я отвечать!

Матвей Аполлонович мысленно выругал себя за несдержанность. Сел, помолчал — и заговорил задушевым тоном:

— Послушайте, не думайте, что я утопить вас хочу. Мое дело провести дознание, доложить картину, а там пусть прокуратура расследует, суд решает... Но вы сами себе вредите. Вы не понимаете одного: если сознаетесь потом, как говорится, под давлением улик, это не будет иметь той цены, как чистосердечное признание сейчас. Возможно, все не так страшно. Но пока что все улики против вас. Картина по-

вреждений на трупе, данные экспертов, другие обстоятельства... И все сходится в одном, — он перегнулся через стол, понизил голос, — что вроде как вы потерпевшего... того... облегчили.

Допрашиваемый опустил голову, потер лицо ладонями. Перед его глазами снова возникла картина: конвульсивно дергающийся в баке скелет с головой Кривошеина, свои руки, вцепившиеся в край бака... теплая, ласковая жидкость касается их и — удар!

— Сам не знаю, я или не я... — пробормотал он севшим голосом. — Не могу понять... — Он поднял глаза. — Послушайте, мне надо вернуться в лабораторию!

Матвей Аполлонович едва не подпрыгнул: такой быстрой победы он не ожидал.

— Что ж, и так бывает, — сочувственно покивал он. — В состоянии иступления от нанесенного оскорбления достоинству или превышение предела необходимой обороны... Сходим и в лабораторию, на месте объясните: как там у вас с ним вышло. — Он придвинул к себе лежавшую на краю стола «шапку Мономаха», спросил небрежно: — Этим вы, что ли, по боку его двинули? Увесистая штука.

— Ну, хватит! — резко и как-то даже надменно произнес допрашиваемый и распрямился. — Не вижу смысла продолжать беседу: вы мне шьете «мокрое» дело... Между прочим, эта «увесистая штука» стоит пять тысяч рублей, вы с ней поосторожней.

— Значит, не желаете рассказывать?

— Нет.

— Понятно. — Следователь нажал кнопку. — Придется вас задержать до выяснения.

В дверях появился долговязый, худой милиционер с длинным лицом и вислым носом — про таких на Украине говорят: «Довгый, аж гнеться».

— Гаевой? — Следователь посмотрел на него с сомнением. — Что, из сопровождающих больше никого нет?

— Так что все в разгоне, товарищ капитан, — ответил тот. — На пляжах многие, следят за порядком.

— Машина есть?

— «Газик».

— Отправьте задержанного в подследственное отделение... Напрасно отказываетесь помочь нам и себе, гражданин. Омарачаете свою участь.

Лаборант в дверях обернулся.

— А вы напрасно считаете, что Кривошеин мертв.

«Из тех пижонов, для которых главное — красиво уйти. И чтоб последнее слово осталось за ним, — усмехнулся вслед ему Онисимов. — Видели мы и таких. Ничего, посидит — одумается».

Матвей Аполлонович закурил, поиграл пальцами по стеклу стола. Поначалу улики (липовые документы, сведения экспертов, обстоятельства происшествия) настроили его на мысль, что «лаборант» если не прямой убийца, то активный виновник гибели Кривошеина. Но в разговоре впечатление изменилось. И дело было не в том, *что* говорил допрашиваемый, а *как* он говорил. Не чувствовалось в его поведении тонкой продуманности, игры — той смертной игры, которая выдает злостного преступника раньше улик.

«Похоже, что дело тянет на непредумышленное убийство. Сам говорит: «Не знаю: я или не я...» Но — скелет, скелет! Как *это* получилось? Да получилось ли? Может, устроено? И еще: попытка выдать себя за Кривошеина с «теоретическим» обоснованием... Что это: симуляция? А что, если это отсутствие игры — просто очень тонкая игра? Да откуда ему такого набраться: молодой парень, явно неопытный... И потом: какие мотивы для умышленного убийства? Что они там не поделили? Но — липовые документы?!»

Мысли Матвея Аполлоновича зашли в тупик. «Что ж, будем вникать в обстановку».

Он поднялся из-за стола, выглянул в коридор: там уже расхаживал доцент Хилобок.

— Прошу вас!.. Я пригласил вас, товарищ Хилобок, чтобы... — начал следователь.

— Да-да, понимаю, — закивал доцент, — кому несчастье, а мне хлопоты. Умирают люди от старости, что и нам с вами дай бог, Матвей Аполлонович, верно? А у Кривошеина все не как у людей. Нет, я сожалею, конечно, вы не подумайте, человека всегда жалко, ведь верно? Только я из-за Валентина Васильевича столько хлопот принял, столько неприятностей. А все потому, что характер у него был поперечный, никого не уважал, ни с кем не считался, отрывался от коллектива регулярно...

— Понятно. Только я хотел бы выяснить, чем занимались Кривошеин и вверенная ему лаборатория? Поскольку вы ученый секретарь, то...

— А я так и догадался! — довольно улыбнулся Гарри Харитонович. — Вот даже копию тематического плана с собой захватил, а как же! — Он зашелестел листами в папке. — Вот, пожалуйста: тема 152, специфика — поисковая НИР, наименование — «Самоорганизация сложных электронных систем с интегральным вводом информации», содержание работы — «Исследование возможности самоорганизации сложной системы в более сложную при интегральном (недифференцированном по сигналам и символике) вводе различной информации путем надстраивания системы по ее выходным сигналам», финансирование — бюджет, характер работы — математический, логический и экспериментальный поиск, руководитель работы — ведущий инженер В.В. Кривошеин, исполнитель — он же...

— В чем же суть его исследований?

— Суть? Гм... — Лицо Хилобока посерьезнело. — Самоорганизация систем... чтобы машина сама себя строила, понимаете? В Америке этим тоже занимаются очень интенсивно. Очень, да. В Соединенных Штатах...

— А что же конкретно делал Кривошеин?

— Конкретно... Он предложил новый подход к образованию этих систем путем... интегрализации. Нет, самооргани-

зации... Да только еще неизвестно, вышло у него что или нет! — Гарри Харитонович подкупающе широко улыбнулся. — Знаете, Матвей Аполлонович, столько тем, столько работ в институте, во все приходится вникать — так что не все и в памяти удержишь! Это лучше бы поднять протоколы ученого совета.

— Значит, он докладывал о работе на ученом совете института?

— Конечно! У нас все работы обсуждаются, прежде чем их в план включать. Ведь ассигнования нам выделяют по обоснованиям, а как же!

— И что он обосновал?

— Ну как что? — снисходительно повел бровями ученый секретарь. — Идею свою относительно нового подхода по части самоорганизации... Лучше всего протоколы поднять, Матвей Аполлонович, — вздохнул он. — Ведь дело год назад было, у нас всякие обсуждения, совещания, комиссии каждую неделю, если не чаще, можете себе представить? И на всех мне нужно быть, участвовать, организовывать выступления, самому выступать, приглашать, вот и от вас мне придется сразу ехать в Общество по распространению, там сегодня совещание по вопросу привлечения научных кадров к чтению лекций в колхозах во время уборки, даже пообедать не успею, хоть бы уж в отпуск скорее уйти...

— Понятно. Но тему его Ученый совет утвердил?

— Да, а как же! Многие, правда, возражали, спорили. Ах, как дерзко отвечал тогда Валентин Васильевич, просто недопустимо — профессора Вольтампернова после заседания валерьянкой отпаивали, можете себе представить? Порекомендовали дирекции выговор Кривошеину вынести за грубость, я сам и приказ готовил... Но тему утвердили, а как же! Предлагает человек новые идеи, новый подход — пусть пробует. У нас в науке так, да. К тому же Аркадий Аркадьевич его поддержал — Аркадий Аркадьевич у нас добрейшей души человек, он ведь его и в отдельную лабораторию выде-

лил потому, что Кривошеин из-за своего поперечного нрава ни с кем не мог сработаться. Правда, лаборатория-то смех один, неструктурная, с одной штатной единицей... А на ученом совете обсудили и проголосовали «за». Я тоже голосовал «за».

— Так за что же «за»? — Онисимов вытер платком вспотевший лоб.

— Как за что? Чтобы включить тему в план, выделить ассигнования. Плановость — она, знаете, основа нашего общества.

— Понятно... Как вы думаете, Гарри Харитонович, что там у них случилось?

— М-м... так ведь это вам надо выяснить, уважаемый Матвей Аполлонович, откуда же мне знать — я ученый секретарь, мое дело бумажное. Работали они с зимы вдвоем с этим лаборантом, ему и знать. К тому же он очевидец.

— А вы знаете, что этот практикант-лаборант не тот, за кого он себя выдает? — строго спросил Онисимов. — Не Кравец он и не студент.

— Да-а-а?! То-то, я смотрю, вы его под стражу взяли! — У Хилобока округлились глаза. — Не-ет, откуда же мне знать, я, право... это наш отдел кадров просмотрел. А кто же он?

— Выясняем. Так, говорите, американцы подобными работами занимаются и интересуются?

— Да. Значит, вы думаете, что он?..

— Ну зачем так сразу? — усмехнулся Онисимов. — Я просто прикидываю возможные версии. — Он покосился на бумажку, где были записаны вопросы. — Скажите, Гарри Харитонович, вы не замечали за Кривошеиным отклонений со стороны психики?

Хилобок довольно улыбнулся.

— Вот я шел сюда, припоминал и колебался, знаете: говорить или нет? Может, мелочь, может, не стоит? Но раз вы сами спрашиваете... Бывали у него заскоки. Вот, помню, в июле прошлого года, я тогда как раз совмещал свою долж-



ность с заведованием лабораторией экспериментальных устройств, не могли долгое время подходящего специалиста найти, кандидата наук, вот я и совместил, чтобы штатная единица не пропадала напрасно, а то, знаете, могут снять должность, потом не добьешься, у нас ведь так. И значит, как раз незадолго перед этим приняла моя лаборатория заказ от Кривошеина на изготовление новой системы энцефалографических биопотенциальных датчиков — ну, вроде этой СЭД-1, «шапки Мономаха», что у вас на столе, только более сложная конструкция, чтобы перестраивать на различные назначения по кривошеинским схемам. Зачем они заказ от него приняли, вместо того чтобы наукой заниматься, ума не приложу...

От проникновения в научные дела нетренированный мозг Матвея Аполлоновича сковывала сонная одурь. Обычно он решительно пресекал любые отклонения от интересующей его конкретной темы, но сейчас — человек русской души — не мог побороть в себе почтения к науке, к ученым титулам, званиям и обстоятельствам. Почтение это жило в нем всегда, а с тех пор, как во время прошлого следствия в институте он познакомился с ведомостью зарплаты научных сотрудников, оно удвоилось. Вот и теперь Онисимов не отваживался стеснить вольный полет речи Гарри Харитоновича: как-никак перед ним сидел человек, который получает в два с лишним раза больше, чем он, капитан милиции Онисимов, — и на законном основании.

— И вот, можете себе представить, сижу я в лаборатории как-то, — распространялся далее Хилобок, — и приходит ко мне Валентин Васильевич — без халата, заметьте! У нас это не положено, специальный приказ был по институту, чтобы инженерный и научный состав ходил в белых халатах, а техники и лаборанты — в серых или синих, у нас ведь часто иностранные делегации бывают, иначе нельзя, но он всегда пренебрегал, и спрашивает меня таким тоном: «Когда же вы выполните заказ на новую систему?» Ну, я спокой-

ненько ему все объясняю: так, мол, и так, Валентин Васильевич, когда сможем, тогда и выполним, не так просто все сделать, что вы там нарисовали, монтаж соединений очень сложный получается, транзисторов много приходится отбраковывать... словом, объясняю, как полагается, чтобы человек в претензии не остался. А он свое: «Не можете выполнить в срок, не надо было и браться!» Я ему снова объясняю насчет сложности и что заказов накопилось в лаборатории много, а Кривошеин перебивает меня: «Если через две недели не будет выполнен заказ, я на вас докладную напишу, а работу передам школьникам в кружок любителей электроники! И быстрее сделают, и накладных расходов меньше будет!» Насчет накладных расходов это он камешек в мой огород бросает, он и раньше такие намеки высказывал, ну да что толку! И с тем хлопает дверью, уходит...

Следователь мерно кивал и стискивал челюсти, чтобы не выдать зевоту. Хилобок взволнованно журчал:

— А пять минут спустя — заметьте! — не более пяти минут прошло, я по телефону с мастерскими переговорить не успел — врывается снова Валентин Васильевич ко мне, уже в халате, успел где-то найти серый лаборантский, — и опять: «Гарри Харитонович, когда же наконец будет выполнен заказ на систему датчиков?» «Помилуйте, — говорю, — Валентин Васильевич, да ведь я вам все объяснил!» — и снова пытаюсь рассказать насчет транзисторов и монтажа. Он перебивает, как и в тот раз: «Не можете, так не нужно браться...» — и снова насчет докладной, школьников, накладных расходов... — Хилобок приблизил лицо к следователю. — *Короче говоря, высказал все то же, что и пять минут назад, теми же словами!* Можете себе представить?

— Любопытно, — кивнул следователь.

— И не один такой заскок у Кривошеина был. То воду забыл перекрыть на ночь, весь этаж под лабораторией затопил. То — дворник мне как-то жаловался — устроил в парке огромный костер из перфолент. Так что... — доцент значи-

тельно поджал полные красные губы, траурно оттененные усами, — всякое могло стать. А все почему? Выдвинуться хотел и работой себя перегружал сверх меры. Бывало, когда ни уходишь из института, а во флигеле у него все окна светятся. У нас в институте многие посмеивались. Кривошеин, мол, хочет сделать не диссертацию, а сразу открытие... Вот и дооткрывался, теперь поди разберись.

— Понятно. — Следователь снова скосил глаза на бумажку. — Вы упоминали, что у Кривошеина была близкая женщина. Вы ее знаете?

— Елену Ивановну Коломиец? А как же! Таких женщин, знаете, немного у нас в городе — оч-чень приметная, эlegantная, милая, ну, словом, такая... — Гарри Харитонович восполнил невыразимое словами восхищение прелестями Елены Ивановны зигзагообразным движением рук. Карие глаза его заблестели. — Я всегда удивлялся, да и другие тоже: и что она в нем нашла? Ведь у Кривошеина — конечно, «де мортуис аут бене, аут нихиль», но что скрывать? — сами видели, какая внешность. И одеться он никогда не умел как следует, и прихрамывал... Приходила она к нему, наши дома в академгородке рядом, так что я видел. Но что-то последнее время я ее не замечал. Наверное, разошлись, как в море корабли, хе-хе! А вы думаете, она тоже причастна?

— Я пока ни на кого не думаю, Гарри Харитонович, я только выясняю. — Онисимов с облегчением поднялся. — Ну, благодарю вас. Надеюсь, мне не надо вас предупреждать о неразглашении, поскольку...

— Ну, разве я не понимаю! Не стоит благодарности, мой долг, так сказать, я всегда пожалуйста...

После ухода доцента Матвей Аполлонович подставил голову под вентилятор, несколько минут сидел без движений и без мыслей. В голове жужжанием мухи по стеклу отдавался голос Хилобока.

«Постой! — Следователь помотал головой, чтобы прийти в себя. — Но ведь он ничего не прояснил. Битый час разгова-

ривали и все вроде бы о деле — и ни-че-го. Ф-фу... ученый секретарь, доцент, кандидат наук — неужели темнил? Ох, здесь что-то не то!»

Зазвенел телефон.

— Онисимов слушает.

Несколько секунд в трубке слышалось лишь прерывистое дыхание — видно, человек никак не мог отдышаться.

— Товарищ... капитан... это Гаевой... докладывает. Так что... подследственный бежал!

— Бежал?! Как бежал? Доложите подробно!

— Так что... везли мы его в «газике», Тимофеев за рулем, а я рядом с этим... — бубнил в трубку милиционер. — Как обычно задержанных возим. Вы ведь, товарищ капитан, не предупредили насчет строгого надзора, ну, я и думал: куда он денется, раз документы у вас? Ну, когда проезжали мимо горпарка, он на полной скорости выпрыгнул, через ограду — и ходу! Ну, мы с Тимофеевым за ним. Только он здорово по пересеченной местности бегает... Ну а стрельбу я открывать не стал, поскольку не было ваших указаний. Так что... все.

— Понятно. Явитесь в горотдел, напишите рапорт на имя дежурного. Плохо работаете, Гаевой!

— Так что... может, какие меры принять, товарищ капитан? — уныло спросили в трубке.

— Без вас примем. Быстрее возвращайтесь сюда, будете участвовать в розыске. Все! — Онисимов бросил трубку. «Ну артист, просто артист! А я еще сомневался... Он, конечно, он! Так. Документов у него нет, денег тоже. Одежды на нем всего ничего: брюки да рубашка. Далеко не уйдет. Но если у него есть сообщники, тогда хуже...»

Через десять минут появился еще более согнувшийся от сознания вины Гаевой. Онисимов собрал опергруппу розыска, передал фотографии, рассказал словесный портрет и приметы. Оперативники ушли в город.

Затем Матвею Аполлоновичу позвонил дактилоскопист. Он сообщил, что отпечатки пальцев, собранные в лабора-

тории, частично идентифицируются с контрольными оттисками лаборанта; прочие принадлежат другому человеку. Ни те, ни другие отпечатки несхожи с имеющимися в каталоге рецидивистов.

«Другой человек — потерпевший, понятно... Ого, дело закручивается серьезное, на обычную уголовщину не похоже! Да ни на что оно не похоже из-за этого растреклятого скелета! Что с ним делать?»

Онисимов в тоске посмотрел в окно. Тени деревьев на асфальте удлиннились, но жара не спадала. Около троллейбусной остановки толпились девушки в цветных сарафанчиках и темных очках. «На пляж едут...»

Самое досадное, что у Онисимова до сих пор не было рабочей версии происшествия.

В конце дня, когда Матвей Аполлонович выписывал повестки на завтра, к нему вошел начальник горотдела. «Ну вот...» Онисимов поднялся, чувствуя угнетенность.

— Садитесь. — Полковник грузно опустился на стул. — Что у вас за осложнения в деле: труп нет, подследственный бежал, а? Расскажите.

Онисимов рассказал.

— Гм... — Начальник свел на переносице толстые седые брови. — Ну, этого молодца, конечно, возьмем. Аэропорт, железная дорога и автовокзалы под наблюдением?

— Конечно, Алексей Игнатьевич, предупредил сразу.

— Значит, никуда он из города не денется. А вот с трупом... действительно занятно. Черт-те что! А не напутали ли вы там на месте что-нибудь? — Он взглянул на следователя умными маленькими глазками. — Может, помните, как у Горького в «Климе Самгине» один говорит: «Может, мальчишка-то и не было?» А?

— Но... врач «скорой помощи» констатировала смерть, Алексей Игнатьевич.

— И врачи ошибаются. К тому же врач не эксперт, причину смерти она не определила. И трупа нет. А по скелету наш Зубато затрудняется... Конечно, смотрите сами, я не навязываю, но если вы не объясните, как труп в течение четверти часа превратился в скелет, да еще чей это труп, да еще от чего наступила смерть, — никакой суд эту улику не примет во внимание. И более явные случаи суды сейчас возвращают на следствие, а то и вовсе прекращают за отсутствием улик. Оно, конечно, хорошо, что закон действует строго и осторожно, да только... — Он шумно вздохнул. — Трудное дело, а? Версия у вас имеется?

— Есть наметка, — застеснялся Онисимов, — только не знаю, как вам, Алексей Игнатьевич, покажется. По-моему, это не уголовное дело. По свидетельству ученого секретаря института, в Соединенных Штатах очень интересуются проблемой, которую разрабатывал Кривошеин, это первое. «Лаборант Кравец» по своему поведению и по культурному, что ли, уровню не похож ни на студента, ни на уголовника. И убежал он мастерски, это второе. К тому же отпечатки его пальцев не идентифицируются с рецидивистами — третье. Так, может?.. — Матвей Аполлонович замолчал, вопросительно поглядел на шефа.

— ...спихнуть это дело в КГБ? — с прямотой солдата закончил тот его мысль и покачал головой. — Ой, не торопитесь! Если мы, милиция, раскроем преступление с иностранным, так сказать, акцентом, то от этого ни обществу, ни нам никакого вреда не будет, кроме пользы. А вот если органы раскроют за нас обычную уголовщину или нарушение техники безопасности, то... сами понимаете. И без того мы в последнем полугодии по проценту раскрываемости сошли на последнее место в зоне. — Он с добродушной укоризной взглянул на Онисимова. — Да вы не падайте духом! Недавно говорят, что самые запутанные преступления — самые простые. Может, все здесь затуманено тем, что дело случилось в научном заведении: темы-проблемы, знания-звания,

термины всякие... черт голову сломит. Не торопитесь выбирать версию, проверьте все варианты, может, и окажется, как у Крылова: «А ларчик просто открывался»... Ну, желаю вам успеха. — Начальник встал, протянул руку. — Уверен, что вы справитесь с этим делом!

Матвей Аполлонович тоже поднялся, пожал протянутую руку, проводил полковника просветленным взглядом. Нет, что ни говори, но когда начальство в тебе уверено — это много значит!

## Глава третья

*Люди, которые считают, что жизнь человеческая с древних времен меняется только внешне, а не по существу, уподобляют костер, возле которого коротали вечера троглодиты, телевизор, развлекающему наших современников. Это уподобление спорно, ибо костер и светит и греет, телевизор же только светит, да и то лишь с одной стороны.*

К. Прутков-инженер. Мысль № 111

Пассажирку в вагоне скорого поезда Новосибирск — Днепровск, пухлую голубоглазую блондинку средних лет, волновал парень с верхней полки. У него были грубые, но правильные черты обветренного лица, вьющиеся темные волосы с густой проседью, сильные загорелые руки с толстыми пальцами и следами мозолей на ладонях — и в то же время мягкая улыбка, обходительность (добровольно уступил нижнюю полку, когда она села в Харькове), интеллигентная речь. Парень лежал, положив квадратный подбородок на руки, жадно смотрел на мелькание деревьев,

домиков, речушек, путевых знаков и улыбался. «Интересный!»

— Небось родные места? — спросила спутница.

— Да.

— И давно не были?

— Год.

Он узнавал: вот нырнуло под насыпь шоссе, по которому он гонял на мотоцикле с Леной... вот дубовая роща, куда днепровцы выезжают на выходной... вот Старое русло, место уединенных пляжей, чистого песка и спокойной воды... вот хутор Вытребеньки — ого, какое строительство! Наверное, химзавод... Улыбался и хмурился воспоминаниям.

...Собственно, никуда он на мотоцикле не ездил с Леной, ни в роще той не был, ни на пляжах — все это делалось без него. Просто состоялся однажды разговор, в котором он, если быть точным, также личного участия не принимал.

— Даю применение: варианты человеческой жизни! Вот смотри: «Во Владивостоке судоремонтный завод приглашает инженера-электрика для монтажных работ на местах. Квартира предоставляется». Али я не инженер-электрик? Монтажные работы на местах — что может быть лучше! Тихоокеанская волна захлестывает арматуру! Ты травмишь кабель, слизываешь соленые брызги с губ — словом, преодолеваешь стихии!

— Да, но...

— Нет, я понимаю: раньше было нельзя. Раньше! Ведь мы с тобой люди долга: как это — бросить работу и уехать для удовлетворения бродяжких наклонностей? Все мы так остаемся — и с нами остается тоска по местам, где не был и никогда не будешь, по людям, которых не встретишь, по делам и событиям, в которых не придется участвовать. Мы глушим эту тоску книгами, кино, мечтами — ведь невозможно человеку жить несколько жизней параллельно! А теперь...

— А теперь то же самое. Ты уедешь во Владивосток слизывать брызги, а я останусь со своей неудовлетворенностью.



— Но... мы можем меняться. Раз в полгода, никто не заметит... впрочем, вздор: мы будем различаться на полгода жизненного опыта...

— То-то и оно! Направившись по одному жизненному пути, человек становится иным, чем был бы, пойдя он по другому.

...Все-таки он подался именно во Владивосток. Не глушить неудовлетворенность уехал — бежал от ужаса воспоминаний. Он бы и дальше бежал, но дальше был океан. Правда, вакансия на монтажных работах в портах оказалась занятой, но, в конце концов, рвать подводные скалы, расчищать места для стоянок кораблей — тоже работа неплохая. Романтики хватало: погружался с аквалангом в сине-зеленую глубину, видел свою колеблющуюся тень на обкатанных прибоем камнях дна, долбил в скалах скважины, закладывал динамитные патроны, поджигал шнур — и, распугивая рыб, которые через минуту всплывут вверх брюхом, уплывал сломя голову к дежурной лодке... А потом, заскучав по инженерной работе, он внедрил там электрогидравлический удар — и безопасней динамита и производительней. Все память о себе оставил.

— А издалека едете? — снова нарушила его воспоминания дама.

— С Дальнего Востока.

— По вербовке ездили или так?

Парень скосил вниз серые глаза, усмехнулся коротко:

— На лечение...

Спутница покивала с опасливым сочувствием. У нее пропала охота разговаривать. Она достала из сумки книгу и отчужденно углубилась в нее.

...Да, там началось исцеление. Ребята из бригады удивлялись его бесстрашию. Ему в самом деле не было страшно: сила, ловкость, точный расчет — и никакая глубинная волна не достанет. Там он держал свою жизнь в собственных

руках — чего же бояться? Самое страшное он пережил здесь, в Днепровске, когда Кривошеин властвовал над его жизнью и смертью. Даже над многими смертями. Кривошеин, видите ли, не понимал: то, что он проделывал над ним, хуже, чем пытать связанного!

У парня помимо воли напряглось тело. Озноб злости стянул кожу. Многие выветрились из него за год океанские муссоны: пришибленность, панический страх, даже нежные чувства к Лене. А это осталось.

«Может, не стоило возвращаться? Океан, рядом с которым чувствуешь себя маленьким и простым, хорошие хлопцы, трудная и интересная работа. Все уважали. Там я стал самим собой. А здесь... кто знает, как у него повернулись дела?»

...Но он не мог не вернуться, как не мог забыть прошлое. Сначала — в перекур, после работы ли, в выходные дни, когда всей бригадой ездили на катере во Владик — неотступно зудила мысль: «А Кривошеин работает. Он один там...» Потом пришла идея.

Как-то расчищали дно в безымянном заливчике в Хабаровском крае, там из сбросового пласта побережья били теплые минеральные ключи. Прыгнув с лодки, он попал в такую струю и едва не закричал от дикой памяти тела! Вкус воды был как вкус *той* жидкости, неощутимая теплая ласковость, казалось, таила в себе *ту* давнюю опасность растворить, уничтожить, погасить сознание. Он рванулся вперед — холодная океанская волна отрезвила и успокоила его. Но впечатление не забылось. К вечеру оно превратилось в мысль, да в какую: можно поставить обратный опыт!

И, исцеляясь от прежних воспоминаний, он «заболел» этой идеей. Ожило воображение исследователя. Ах как это было упоительно: обдумывать опыт, загадывать, какие огромные результаты он может принести!.. Работа подрывника казалась ему теперь серым прозябанием. Уже без боязни, детально и целенаправленно он продумывал все, что с ним

было, проигрывал в уме варианты опыта... И он не мог оставаться там с этой идеей: ведь Кривошеин и по сей день, вероятно, не пришел к ней. К такой идее невозможно прийти умозрительно — надо пережить все, как он пережил.

Но — по неумолимой логике их работы — другая мысль пришла вслед за идеей опыта: ну ладно, они найдут новый способ обработки человека информацией. Что же он даст? Эта мысль оказалась труднее первой; за дорогу от Владивостока до Днепровска он не раз возвращался к ней, но до сих пор не додумал до конца.

Перед вагонным окном, отражая грохот колес, замелькали балки моста: поезд пересекал Днепр. Парень на минуту отвлекся, полюбовался теплоходом на воздушной подушке, летевшим над голубой водой вниз по течению, и зеленым склоном правого берега. Мост кончился, снова замелькали домики, сады, кустарник вдоль насыпи.

«Все сводится к задаче: как и какой информацией можно усовершенствовать человека? Остальные проблемы упираются в эту... Дана система: мозг человека и устройство ввода — глаза, уши, нос и прочее. Три потока информации питают мозг: от повседневной жизни, от науки и от искусств. Требуется выделить самую эффективную по своему действию на человека — и направленную. Чтоб совершенствовала, облагораживала. Самая эффективная, конечно, повседневная информация: она конкретна и реальна, формирует жизненный опыт человека. Это сама жизнь, о чем говорить. Существенно, пожалуй, то, что она взаимодействует с человеком по законам обратной связи: жизнь влияет на человека, но и он своими поступками влияет на жизнь. Но действие повседневной информации на людей бывает самое различное: она изменяет человека и в лучшую сторону, и в худшую. Стало быть, это не то... Рассмотрим научную информацию. Она тоже реальна, объективна — но абстрактна. По сути, это обобщенный опыт деятельности людей. Поэтому она может быть применена во множестве жизненных ситуаций, и по-

этому же действие ее на жизнь огромно. Причем здесь тоже есть обратная связь с жизнью, хотя и не индивидуальная для каждого человека, а общая: наука разрешает проблемы жизни и тем изменяет ее — а измененная жизнь ставит перед наукой новые проблемы. Но опять-таки воздействие науки на жизнь вообще и на человека в частности может быть и положительным, и отрицательным. Примеров тому много. И еще один изъян: она трудно усваивается человеком. Н-да, тяжело... Ничего, если все время думать над одним и тем же, рано или поздно дойдешь. Главное — думать по системе...»

Его отвлекло послышавшееся внизу всхлипывание. Он посмотрел: спутница, не отрывая взгляда от книжки, утирала покрасневшие глаза платочком.

— Что вы читаете?

Она сердито взглянула вверх, показала обложку: «Три товарища» Ремарка.

— А ну их совсем... — и снова углубилась в чтение.

«Да... Умирает туберкулезная девушка — любящая и утонченная. А моей сытенькой и здоровой соседке жаль ее, как саму себя... Словом, нечего вертеть вола: видимо, информация Искусства — именно то и есть! Во всяком случае, по своей направленности она обращена к лучшему, что есть в человеке. В Искусстве за тысячелетия отобрана самая высококачественная информация о людях: мысли, описания тонких движений души, сильных и высоких чувств, ярких характеров, прекрасных и умных поступков... Все это испокон веков работает на то, чтобы развить в людях понимание друг друга и жизни, исправить нравы, будить мысли и чувства, искоренять животную низость душ. И эта информация доходит — выражаясь точно, она великолепно закодирована, как нельзя лучше приспособлена для переработки в вычислительной машине марки «Человек». В этом смысле и повседневная, и научная информации в подметки не годятся информации Искусства».

Поезд, проезжая днепровские пригороды, замедлил ход. Спутница отложила книжку, завозилась — вытаскивала чемоданы из-под сидений.

Парень все лежал и думал. «Да, но вот как насчет эффективности? Тысячелетиями люди старались... Правда, примерно до середины прошлого века Искусство было доступно немногим. Но потом за это дело взялась техника: массовое книгопечатание, литографии, выставки, грамзаписи, кино, радио, телевидение — информация Искусства стала доступна всем. Для современного человека объем информации, которую он получает из книг, фильмов, радиопередач, иллюстрированных журналов и телевидения, соизмерим с информацией от жизни и намного больше объема научной информации. И что же? Гм... действие Искусства не измеряется приборами и не проверяется экспериментами. Остается сравнить, скажем, действие науки и действие Искусств за последние полвека. Господи, да никакого сравнения и быть не может!»

Поезд подкатил к перрону, к толпе встречающих, носильщиков и мороженщиков. Парень спрыгнул с полки, сдернул сверху рюкзак, взял на руку синий плащ. Спутница хлопотала над тремя солидными чемоданами.

— Ого, сколько у вас багажа! Давайте помогу. — Парень взялся за самый большой.

— Нет уж, спасибо! — Дама быстро села на один чемодан, перекинула полную ногу на второй, обеими руками вцепилась в третий, запричитала: — Нет, спасибо! Нет уж, спасибо, нет уж, спасибо!

Она подняла вверх лицо, в котором не осталось никакой миловидности. Щеки были не пухлые, а одутловатые, глаза — не голубые, водянистые — смотрели затравленно и враждебно. Бровей и вовсе не стало: две потные полоски ретуши. Чувствовалось: одно движение парня — и женщина завопит.

— Простите! — Тот отдернул руку, вышел. Ему стало противно.

«Вот пожалуйста: иллюстрация сравнительного действия повседневной информации и информации Искусства! — размышлял он, сердито шагая через привокзальную площадь. — Мало ли кто мог приехать из мест не столь отдаленных: снабженец, партработник, спортсмен, рыбак... нет, подумала худшее, заподозрила в гнусных намерениях! Принцип бытешской надежности: лучше не верить, чем ошибиться. Но не ошибаемся ли мы по этому принципу гораздо крупнее?»

В поезде он думал от нечего делать. Сейчас он размышлял, чтобы успокоиться, и все о том же. «Конечно, рассказать о каждом человеке в книге или на экране — его поймут, в него поверят, простят плохое, полюбят за хорошее. А в жизни все сложнее и обыденнее... Что пенять на дамочку — я сам не лучше. Когда-то в глупом возрасте я не верил своему отцу. Любил его, но не верил. Не верил, что он участвовал в революциях, в гражданской войне, был ротным у Чапаева, встречался с Лениным... Все началось с фильма «Чапаев»: в нем не было отца! Был достоверный Чапаев и другие герои — они сильными голосами произносили яркие отрывистые фразы... а бати не было! Да и вообще, батя — какой он чапаевец? Не ладил с мамкой. Говорил дребезжащим от вставных челюстей голосом, на ночь клал их в стакан. Неправильно (не как в кино) выговаривал слова, мудреные перевирал. Опять же посадили в 1937 году... И когда он рассказывал соседкам во дворе, как за большевистскую агитацию на фронте во времена Керенского стоял два часа с полной выкладкой на бруствере окопа, как привозил в Смольный Ленину серебряные «Георгии» от солдат-фронтовиков в фонд революции, как, приговоренный казаками к казни, сидел в сарае... а дворовые бабы охали, обмирали, всплескивали ладонями: «Карпыч-то наш герой — ах, ах!» — я посмеивался и не верил. Я точно знал, какие бывают герои — по кино, по радиопередачам...»

Приезжий поморщился от этих воспоминаний.

«Э, в конечном счете это было не со мной! Впрочем, главное: это было... Да, но похоже, что в великом способе передачи информации — Искусстве — есть какой-то изъян. Посмотрят люди фильм или спектакль, прочитают книгу, молвят: «Нравится...» — и идут дальше жить, как жили: одни неплохо, другие так себе, а третьи и вовсе паршиво. Искусствоведы часто находят изъян в потребителях информации: публика, мол, дура, читатель не дорос... Принять такую точку зрения — значит согласиться, что я сам дурак, что я не дорос... нет, не согласен! Да и вообще валить на тупость и невежество людей — это не конструктивный подход. Люди — они все-таки могут и понять, и познать. В большинстве своем они не тупицы и не невежды. Так что лучше все-таки поискать изъян в способе — тем более что мне этот способ нужен для экспериментальной работы...»

На глаза приезжему попалась будка телефона. Он сначала затуманенно посмотрел на нее: что-то он должен сделать в этом предмете? Вспомнил. Вдохнул глубоко, вошел в автомат, набрал номер лаборатории новых систем. В ожидании ответа у него заколотилось сердце, пересохло во рту. «Волнуюсь. Плохо...»

В трубке звучали лишь долгие гудки. Тогда, поколебавшись, он позвонил вечернему дежурному по Институту системологии:

— Вы не можете мне разыскать Кривошеина? Он не в отпуске?

— Кривошеин? Он... нет, он не в отпуске. А кто спрашивает?

— Если он сегодня появится в институте, передайте ему, пожалуйста, что приехал... Адам.

— Адам? А как фамилия?

— Он знает. Так не забудьте, пожалуйста.

— Хорошо. Не забуду.

Приезжий вышел из будки с облегчением: только сейчас он понял, что совершенно не готов к встрече.

«Ну, делать нечего, раз приехал... Может быть, он дома?»

Он сел в троллейбус. Окутанные синими сумерками улицы города не занимали его: он уехал летом и вернулся летом, все в зелени, и вроде ничего не изменилось.

«Ну так все-таки, как применить информацию Искусства в нашей работе? И можно ли применить? Вся беда в том, что эта информация не становится ни жизненным опытом человека, ни точными знаниями, а именно на опыте и знаниях строят люди свои поступки. По большому счету должно быть так: прочел человек книгу — стал понимать себя и знакомых, поглядел подлец спектакль — ужаснулся и стал честным человеком, сходил трусишка в кино — вышел храбрецом. И чтобы на всю жизнь, а не на пять минут. Наверное, именно о таком действии своей информации мечтают писатели и художники. Почему же не выходит? Давай прикинем... Информация Искусства строится по образцу повседневной. Она конкретна, содержит лишь неявные и нестрогие обобщения, но не реальна, а только правдоподобна. Пожалуй, в этом ее слабость. Она не может быть применена как научная: чтобы человек мог на ее основе проектировать и планировать свою жизнь, для этого она недостаточно обща и объективна. Нельзя ею и руководствоваться как повседневной — и именно из-за ее конкретности, которая никогда не совпадает с конкретной жизнью данного читателя. Да если бы и совпадала, кто же захочет жить под копируку? Скопировать прическу — еще куда ни шло, но копировать рекомендуемую массовым тиражом жизнь... Видимо, идея «воспитывать на литературных образцах» рождена мыслью, что человек произошел от обезьяны и ему свойственна подражательность. Но человек — уже давно человек, миллион лет. Ныне ему свойственны самоутверждение и оригинальность поведения, он знает, что так вернее».

— Академгородок, — прохрипел в динамике голос водителя.



Приезжий вышел — и сразу увидел, что ехал напрасно. Два ряда стандартных пятиэтажных домов, сходясь в перспективе, смотрели друг на друга светящимися окнами. Но в доме № 33 в окнах угловой квартиры на пятом этаже света не было.

Чувство облегчения, что неприятная встреча с Кривошеиным снова оттягивается, смешалось у парня с досадой: ночевать-то негде! Обратным троллейбусом он вернулся в центр, стал обходить гостиницы — мест, конечно, нигде не было.

И снова его захватили мысли — они теперь скрашивали унылые поиски ночлега.

«...И чем далее мы живем, тем больше убеждаемся в многообразии жизненных ситуаций, к которым неприменимы те решения, что описаны в книгах или показаны в кино. И начинаем воспринимать информацию Искусства как квазизжизнь, в которой все не так. В ней можно безопасно пережить рискованное приключение — даже со смертельным исходом, проявить принципиальность, не нажив неприятностей по службе... словом, почувствовать себя, хоть и ненадолго, иным: более умным, красивым, смелым, чем ты есть на самом деле. Неспроста люди, которые живут однообразной порядочной жизнью, обожают авантурные романы и детективы...»

Он вышел на сияющий огнями фонарей и реклам проспект Маркса.

«И применяем мы эту великую информацию по пустякам: для развлечения, для проведения времени. Или чтоб девушку очаровать подходящим стишком... Эта информация не своя. Не сам дошел до решений и истин. Сиди, смотри или читай, как за прозрачной стенкой идет выдуманная жизнь, — ты лишь «приемник информации»! Правда, бывали случаи, когда «приемники» не выдерживали и пытались влиять: то — батя как-то рассказывал — красноармеец в Самаре однажды «вдарил из винта» в артиста, выступавшего в роли Колчака во фронтовой пьеске, а еще ранее в Нижнем

Новгороде публика избила исполнителя роли Яго — за правдивость игры... Сама идея разбить прозрачную стенку, влить — здоровая... В ней что-то есть...»

Мысль, еще не оформившаяся в слова, смутная, как предчувствие, зрела в голове приезжего. Но в этот момент его мягко тронули за плечо. Он оглянулся: рядом стояли трое в штатском. Один из них небрежно провел перед его лицом красной книжечкой:

— Предъявите документы, гражданин.

Приезжий недоуменно пожал плечами, поставил на асфальт рюкзак, достал из кармана паспорт. Оперативник прочел первую страницу, перевел глаза с фотографии на его лицо, потом снова на фотографию — и возвратил паспорт.

— Все в порядке. Прошу извинить.

«Уфф!» Парень подхватил рюкзак и, стараясь не ускорять шага, двинулся к гостинице «Театральная». Настроение у него испортилось. «Может быть, не стоило мне приезжать?»

Трое отошли к табачному киоску. Там их ждал также одетый в штатское милиционер Гаевой.

— Ну, я же говорил, — победно сказал он.

— Не тот... — вздохнул оперативник. — Какой-то Кривошеин Валентин Васильевич. А по фотографии и словесному портрету — точно Кравец.

— Словесный портрет, словесный портрет... что тот портрет?! — рассердился Гаевой. — Я ж его видел, сопровождал: тот без седины, моложе лет на десять, да и пошуплее будет.

— Пошли на вокзал, ребята, — предложил второй оперативник. — Что он, в самом деле, дурной: по проспекту гулять!

Виктор Кравец в это время действительно пробирался по темной пустынной улочке.

...Выбросившись тогда на ходу из милицейской машины, он через городской парк выбрался на склоны Днепра, лежал в кустах, ждал темноты. Хотелось курить и есть. Низкое

солнце золотило утыканный пестрыми грибками песок Пляжного острова; там копошились купающиеся. Маленький буксир, распустив от берега до берега водяные усы, торопился вверх, к грузовому порту, за новой баржей. Внизу под обрывом шумели на набережной машины и трамваи.

«Доработались... Все мы продумали: методику опытов, варианты применения способа, даже влияние его на положение в мире — только такой вариант не предусмотрели. Так шлепнуться с большой высоты мордой в грязь: из исследователей в преступники! Боже мой, ну что это за работа такая: один неудачный опыт — и все летит в тартарары. И я не готов к этой игре со следователями и экспертами, настолько не готов, что хоть иди в библиотеку и штудируй уголовный кодекс — и что там еще есть? — процессуальный кодекс, что ли! Я не знаю правил игры и могу ее проиграть... собственно, я ее уже почти проиграл. Библиотека... какая теперь может быть библиотека!»

Градирни электростанции на той стороне Днепра исходили толстыми клубами пара — казалось, что они вырабатывают облака. Солнце нижним краем касалось их.

«Что же теперь делать? Вернуться в милицию, рассказать все «чистосердечно» и самым унижительным образом выдать то, что мы берегли от дурного глаза? Выдать не ради спасения работы — себя. Потому что работу этим не спасешь: через два-три дня в лаборатории все начнет гнить — и ничего не докажешь, никто не поверит и не узнает, что там было... Да и себя я этим не спасу: Кривошеин-то погиб. Он, как говорится, на мне... Пойти к Азарову, все объяснить? Ничего ему сейчас не объяснишь. Я теперь для него даже не студент-практикант — темная личность с фальшивыми документами. Его, конечно, известили о моем побеге, теперь он, как лояльный администратор, должен содействовать милиции... Вот она, проблема людей, в полный рост. Все наши беды от нее. Даже точнее — от того, что никак не хотели смириться с тем, что не можем решить ее лаборатор-

ным способом. Ну еще бы: мы! Мы, которые достигли таких результатов! Мы, у которых в руках неслыханные возможности синтеза информации! Куда к черту... А эта проблема нам не по зубам, пора признаться. А без нее какой смысл имеет остальное?»

Солнце садилось. Кравец поднялся, смахнул траву с брюк, пошел вверх по тропинке, не зная куда и зачем. В брюках позванивала мелочь. Он посчитал: на пачку сигарет и сверхлегкий ужин. А дальше? Две студентки, устроившись на скамье в кустах готовиться к экзаменам, с интересом поглядели на красивого парня, помотали головами, отгоняя грешные мысли, уткнулись в конспекты. «М-да... в общем-то не пропаду. Может, отправиться к Лене? Но она, наверное, тоже под наблюдением, застукают...»

Тропинка вывела на тихую, безлюдную улочку. Из-за заборов свешивались ветви, усеянные начавшими краснеть вишнями. В конце улицы пылало-подсвеченное снизу рыжее облако.

Быстро темнело. Вечерняя прохлада пробиралась под рубашку, надетую на голое тело. На противоположной стороне улицы в квартале от Виктора вышли из полумрака два человека в фуражках. «Милиция!» Кравец метнулся в переулок. Пробежав квартал, остановился, чтобы успокоить сердце.

«Дожил! Двадцать лет не бегал ни от кого, как мальчишка из чужого сада... — От беспомощности и унижения курить хотелось просто нестерпимо. — Игра проиграна! Надо признать это прямо — и выходить. Уносить ноги. В конце концов, каждый из нас в определенной ситуации испытал стремление уйти, свернуть в сторону. Теперь моя очередь, какого черта! Что я еще могу?»

Переулок выводил в сияние голубых огней. При виде их Виктор почувствовал приступ зверского аппетита: он не ел почти сутки. «Хм... там еще можно где-то поесть. Пойду! Вряд ли меня станут искать на проспекте Маркса».



...Бетонные столбы выгнули над асфальтом змеиные головки газосветных фонарей. За витринами магазинов стояли в непринужденных позах элегантные манекены, лоснились радиоприемники, телевизоры, кастрюли, целились в прохожих серебряные дула бутылок «Советского шампанского», хитроумными винтообразными горками высились консервы. Под пляшущей световой рекламой «Вот что можно выиграть за 30 копеек!» красовались холодильник «Днепр», магнитофон «Днепр-12», швейная машина «Днипро» и автомобиль «Славутич-409». Даже подстриженные под бокс липы вдоль широких тротуаров казались промышленными изделиями.

Виктор вышел в самую толчею, на трехквартальный «брод» от ресторана «Динамо» до кинотеатра «Днепр». Гуляющих было полно. Вышагивали ломкой походкой растрепанные под богемствующих художников мальчики со стеклянными глазками. Чинно прохаживались пожилые пары. Обнимая подруг, брели в сторону городского парка франтоватые юноши. Увертисто и деловито шныряли в толпе парни с челками над быстрыми глазами — из тех, что «по фене ботают, нигде не работают». Девушки осторожно несли разнообразные прически. Здесь были прически «тифозные», прически «после бабьей драки», прически «пусть меня любят за характер» и прочие шедевры парикмахерского искусства. Маялись одинокие молодые люди, раздираемые желаниями и застенчивостью.

Кравец сначала шел с опаской, но постепенно его стала разбирать злость. «Ходят, ходят: себя показать, людей посмотреть... Для них будто остановилось время, ничего не происходит. Ходили еще по Губернаторской — прогибали дощатые настилы, осматривали фэтоны лихачей, друг друга. Ходили после войны — от развалины кинотеатра «Днепр» до развалины ресторана «Динамо» под болтающимися на деревянных столбах лампочками, лузгали семечки. Проспект залили асфальтом, одели в многоэтажные дома из бетона,

алюминия и стекла, иллюминировали, посадили деревья и цветы — ходят как ни в чем не бывало: жуют ириски, слушают на ходу транзисторы, судачат — утверждают неистребимость обывательского духа! Себя показать — людей посмотреть, людей посмотреть — себя показать. Прошвырнуться, зайти в кафе-автомат, слопать пирожок под газировку, прошвырнуться, свернуть в благоустроенный туалет за почтамтом, совершить отправление, прошвырнуться, подколоться, познакомиться, прошвырнуться... Насекомая жизнь!»

Он обошел толпу, собравшуюся на углу проспекта с улицей Энгельса, возле новинки — автомата для продажи лотерейных билетов. Автомат, сработанный под кибернетическую машину, наигрывал музыку, радиоголосом выкрикивал лотерейные призывы и за два пятиалтынных, бешено провертев колесо из никеля и стекла, выдавал «счастливый» билет. Кравец скрипнул зубами.

«А мы, самонадеянные идиоты, замыслили преобразовать людей одной лабораторной техникой! А как быть с этими, обывательствующими? Что изменилось для них от того, что вместо извозчиков появились такси, вместо гармошек — магнитофоны на полупроводниках, вместо разговоров «из рта в ухо» — телефоны, вместо новых галош, надеваемых в сухую погоду, — синтетические плащи? Сиживали за самоварами — теперь коротают вечера у телевизоров...»

Толпа выплескивала обрывки фраз:

— Между нами говоря, я вам скажу откровенно: мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина!

— ...Он говорит: «Валя?» А я: «Нет!» Он: «Люся?» А я: «Нет!» Он: «Соня?» А я: «Нет!»

— Абрам уехал в командировку, а жена...

— Научитесь удовлетворяться текущим моментом, девушки!

«А что изменится в результате прогресса науки и техники? Ну, будут витрины магазинов ломиться от полимерных

чернобурок, от атомных наручных часов с вечным заводом, от полупроводниковых холодильников и радиоклипс... Самодвижущиеся ленты тротуаров из люминесцентного пластика будут переносить гуляющих от объемной синерамы «Днепр» до ресторана-автомата «Динамо» — не придется даже ножками перебирать... Будут прогуливаться с микроэлектронными радиотелепередатчиками, чтобы, не поворачивая к собеседнице головы и не напрягая гортани, вести все те же куриные разговоры:

— Между нами говоря, я вам скажу откровенно: робот — это робот, а антресоль — это антресоли!

— Абрам отправился в антимир, а жена...

— Научитесь удовлетворяться текущей микросекундой!

А на углу сработанный под межпланетный корабль автомат будет торговать открытками «Привет с Венеры»: вид венерианского космопорта в обрамлении целующихся голубков... И что?»

Мимо Кравца прошествовал Гарри Харитонович Хиллобок. На руке его висела кисшая от смеха девушка — доцент ее занимал и не заметил, как беглый студент метнулся в тень лип.

«У Гарри опять новая», — усмехнулся вслед ему Кравец. Он купил в киоске сигареты, закурил и двинулся дальше. Сейчас его одолевала такая злоба, что расхотелось есть; попадись он в объятия оперативников — злоба разрядилась бы великолепной дракой.

В гостинице «Театральная» свободных мест тоже не оказалось. Приезжий шел по проспекту в сторону Дома колхозника и хмуро разглядывал фланирующую публику. «Ходят, ходят... Во всех городах всех стран есть улицы, где вечерами гуляют — от и до — толпы, коллективы одиночек. Себя показать — людей посмотреть, людей посмотреть — себя показать. Ходят, ходят — и планета шарахается под их ногами! Какой-то коллективный инстинкт, что ли, тянет их сюда,

как горбуш в места нерестилищ? А другие сидят у телевизоров, забивают «козла» во дворах, строят «пулю» в прокуренной комнате, оттирают стены танцверанд... Сколько их, отставших, приговоривших себя к прозябанию? «Умеем что-то делать, зарабатываем прилично, все у нас есть, живем не хуже других — и оставьте нас в покое!» Одиночки, боящиеся остаться наедине с собой, растерявшиеся от сложности жизни и больше не задумывающиеся над ней... Такие помнят одно спасительное правило: для благополучия в жизни надо быть как все. Вот и ходят, смотрят: как все? Ожидают откровения...»

Отгесненная сияющим великолепием проспекта брела за прозрачными облаками луна. До нее никому не было дела.

«А мальчишками и они мечтали жить ярко, интересно, значительно, узнать мир... Нет человека, который не мечтал бы об этом. И сейчас, пожалуй, мечтают сладостно и бесильно. В чем же дело? Не хватило духа применить мечту к жизни? Да и зачем? Зачем давать волю своим мечтам и сильным чувствам — еще неизвестно, куда это заведет! — когда есть покупные, когда можно безопасно кутить на чужом пиру выдуманных героев? И прокутились вдрызг, растратили по мелочам душевные силы, осталось в самый обрез для прогулки по проспекту...»

Мимо проследовал доцент Хилобок с девушкой. «А у Гарри опять новая!» — мысленно приветствовал его приезжий.

Он посмотрел ему вслед: догнать и спросить о Кривошеине? «Э нет: от Хилобока во всех случаях лучше держаться подальше!»

Приезжий и Кравец вступили в один квартал.

«...Когда-то человекообразные обезьяны разделились: одни взяли в лапы камни и палки, начали трудиться, мыслить, другие остались качаться на ветках. Сейчас на Земле начался новый переходный процесс, стремительней и мощнее древнего оледенения: скачок мира в новое качественное состояние. Но что им до этого? Они заранее согласны ос-



таться на «бродах», у телевизоров — удовлетворять техникой нехитрые запросы! — неистовствовал в мыслях Виктор Кравец. — Что им все новые возможности — от науки, от техники, от производства? Что им наша работа? Можно прибавить ума, ловкости, работоспособности — и что? Будут выучиваться чему-то не для мастерства и удовлетворения любопытства, а чтоб больше получать за знания, за легкую работу, чтоб возвыситься над другими своей осведомленностью. Будут приобретать и накапливать — чтоб заметили их преуспевание, чтобы заполнить опустошенность хлопотами о вещах. И на черный день. Его может и не быть, а пока из-за него все дни серые... Скучно! Уеду-ка во Владивосток. Сам — пока не отправили казенным порядком... И работа загложет естественным образом. Ничем она им не поможет: ведь чтобы использовать *такую* возможность, надо иметь высокие цели, душевные силы, неудовлетворенность собой. А они бывают недовольны только окружающим; обстоятельствами, знакомыми, жизнью, правительством — чем угодно, но не собой. Ну и пусть гуляют. Как говорится, наука здесь бессильна...»

Сейчас их разделяло только здание главпочтамта.

Гневные мысли отхлынули. Осталась какая-то непонятная неловкость перед людьми, которые шли мимо него.

«Кто-то сказал: никто так не презирает толпу, как возвысившийся над нею зауряд... Кто? — Он наморщил лоб. — Постой, да ведь это я сам сказал о ком-то другом. Ну разумеется, о ком-то другом, не о себе же... — Ему вдруг стало противно. — А ведь, топча их, я топчу и себя. Я от них недалеко ушел, еще недавно был такой же... Постой! Выходит, я просто хочу смыться? Дать тягу. И чтобы не так стыдно было, чтобы не утратить самоуважение, подвожу под это идейную базу? Никого я не продал, все правильно, наука бессильна, так и должно быть... боже мой, до чего подла и угодлива мысль интеллигента! (Между прочим, это я тоже говорил или думал о ком-то другом. Все истины мы применяем к

другим, так ловчее жить.) А я как раз и есть тот интеллигент. Все пустил в ход: презрение к толпе, теоретические рассуждения... М-да! — Он покраснел, лицу стало жарко. — Вот до чего может довести неудача. Ну ладно, но что же я могу сделать?»

Вдруг его ноги будто прилипли к асфальту: навстречу размашисто шагал парень с рюкзаком и плащом на руке. «Адам?!» Холод вошел в душу Кравца, сердце ухнуло вниз — будто не человек, а ожившее угрызение совести приближалось к нему. Глаза Адама были задумчивые и злые, уголки рта недобро опущены. «Сейчас увидит, узнает...» — Виктор отвел глаза, чтобы не выдать себя, но любопытство пересилило: взглянул в упор. Нет, теперь Адам не был похож на «раба» — шел человек уверенный, сильный, решившийся... В памяти всплыло: распатланная голова на фоне сумеречных обоев, расширенные в тяжелой ненависти глаза, пятикилограммовая чугунная гантель, занесенная над его лицом.

Приезжий прошел мимо. «Конечно, откуда ему узнать меня! — облегченно выдохнул Кравец. — Но зачем он вернулся? Что ему надо?»

Он следил за удалявшимся в толпе парнем. «Может, догнать, рассказать о случившемся? Все помочь... Нет. Кто знает, зачем его принесло! — Его снова охватило отчаяние. — Доработались, доэкспериментировались, черт! Друг от друга шарахаемся! Постой... ведь есть и другой вариант! Но поможет ли?» — Виктор закусил губу, напряженно раздумывая.

Адам затерялся среди гуляющих. «Ну, хватит терзаний! — тряхнул головой Кравец. — Эта работа не только моя. И удирать нельзя — надо ее спасать...» Он вытащил из карманчика мелочь, пересчитал ее, проглотил голодную слюну и вошел в почтамт. Денег хватило в обрез на короткую телеграмму: «Москва МГУ биофак Кривошеину. Вылетай немедленно. Валентин». Отправив телеграмму, Виктор вышел на проспект и, дойдя до угла, свернул на улицу, которая вела к Институту системологии. Пройдя немного по ней,

он огляделся: не следит ли кто за ним? Улица была пуста, только со здания универмага на него смотрела освещенная розовыми аршинными литерами призыва «Храните деньги в сберегательной кассе!» прекрасная женщина со сберегательной книжкой в руке. Глаза ее обещали полюбить тех, кто хранит.

Над окошком администратора в Доме колхозника красовалось объявление:

Место для человека — 60 коп.

Место для коня — 1 руб. 20 коп.

Приезжий из Владивостока вздохнул и протянул в окошко паспорт.

— Мне, пожалуйста, за шестьдесят...

## Глава четвертая

*Невозможное — невозможно. Например, невозможно двигаться быстрее света... Впрочем, если это и было бы возможно — стоит ли стараться? Все равно никто не увидит и не оценит.*

К. Прутков-инженер. Мысль № 17

Утром следующего дня дежурный по горотделу передал следователю Онисимову рапорт милиционера, который охранял опечатанную лабораторию. Сообщалось, что ночью — примерно между часом и двумя — неизвестный человек в светлой рубашке пытался проникнуть в лабораторию через окно. Крик милиционера спугнул его, он соскочил с подоконника и скрылся в парке.

— Понятно! — Матвей Аполлонович удовлетворенно потер руки. — Вертится вокруг горячего...

Вчера он направил повестки гражданину Азарову и гражданке Коломиец. На появление у себя в комнате академика Азарова Матвей Аполлонович, понятное дело, и не рассчитывал — просто корешок повестки в случае чего пригодился бы ему как оправдательный документ. Елена же Ивановна Коломиец, инженер соседнего с Институтом системологии конструкторского бюро, пришла ровно в десять часов.

Когда она вошла в кабинет, следователь понял смысл волнообразного жеста Хилобока: перед ним стояла красивая женщина. «Ишь какая ладная!» — отметил Онисимов. Любая подробность облика Елены Ивановны была обыкновенна — и темные волосы как волосы, и нос как нос (даже чуть вздернут), и овал лица, собственно, как овал, — а все вместе создавало то впечатление гармонии, когда надо не анализировать, а просто любоваться и дивиться великому чувству меры у природы.

Матвей Аполлонович вспомнил внешность покойного Кривошеина и ощутил чисто мужское негодование. «И верно — не пара они, прав был Хилобок. Что она в нем такого нашла? Прочности, что ли, искала? Или мужа с хорошим заработком?» Как и большинство мужчин, чья внешность и возраст не оставляют надежд на лирические успехи, Онисимов был невысокого мнения о красивых женщинах.

— Садитесь, пожалуйста. Вам знакомы имена Кривошеина Валентина Васильевича...

— Да. — Голос у нее был грудной, певучий.

— ...и Кравца Виктора Витальевича?

— Вити? Да. — Елена Ивановна улыбнулась, показав ровные зубы. — Только я не знала, что он Витальевич. А в чем дело?

— Что вы можете рассказать о взаимоотношениях Кривошеина и Кравца?

— Ну... они вместе работали... Виктор, кажется, приходится Вале... Кривошеину то есть, дальним родственником. Они, по-моему, очень дружили... А что случилось?

— Елена Ивановна, здесь спрашиваю я. — Онисимов смекнул, что, утратив душевное равновесие, она больше скажет, и не спешил прояснить ситуацию. — Это верно, что вы были близки с Кривошеиным?

— Да...

— По какой причине вы с ним расстались?

Глаза Елены Ивановны стали холодными, на щеках возник и исчез румянец.

— Это не имеет отношения к делу!

— А откуда вы знаете, что имеет и что не имеет отношения к делу? — встрепнулся Матвей Аполлонович.

— Потому что... потому что это не может иметь отношения ни к какому делу. Расстались — и все.

— Понятно... ладно, замнем пока этот вопрос. Скажите, где жил Кравец?

— В общежитии молодых специалистов в Академгородке, как и все практиканты.

— Почему не у Кривошеина?

— Не знаю. Видимо, так было удобнее обоим...

— Это несмотря на родство и дружбу? Понятно... А как Кравец относился к вам, оказывал знаки внимания? — Матвей Аполлонович пытался выжать из своей версии все возможное.

— Оказывал... — Елена Ивановна прикусила губу, но все-таки не сдержалась. — Думаю, это делали бы и вы, если бы я вам разрешила.

— Ага, а ему, значит, разрешили? Скажите, Кривошеин не ревновал вас к Кравцу?

— Возможно, ревновал... только я не понимаю, какое вам до этого дело? — Женщина взглянула на следователя с яростной неприязнью. — Какие-то намеки! Что случилось, можете вы мне объяснить?!

— Спокойно, гражданка!

«Может, объяснить ей, в чем дело? Стоит ли? Причастна ли она? Конечно, красивая, можно увлечься, но... не та среда для серьезных сексуальных преступлений — ученые. Статистические сведения не в их пользу. Ученый из-за женщины голову не потеряет... Но Кравец...»

Размышления Онисимова прервал телефонный звонок. Он поднял трубку.

— Онисимов слушает.

— Вышли на подследственного, товарищ капитан, — сообщил оперативник. — Хотите присутствовать?

— Конечно!

— Ждем вас у аэровокзала, машина 57—28 ДНА.

— Понятно! — Следователь встал, весело поглядел на Коломиец. — Договорим с вами в другой раз, Елена Ивановна. Давайте я вам отмечу повестку, не расстраивайтесь, не обижайтесь, у всех нервы — и у меня, и у вас...

— Но что произошло?

— Разбираемся. Пока ничего сказать не могу. Всего доброго!

Онисимов проводил женщину, достал из ящика стола пистолет, запер комнату и почти бегом помчался во внутренний двор горотдела к оперативной машине.

Белоснежный «Ил» подрулил к перрону аэровокзала точно в 13.00. К борту самолета подкатил голубой вздыбленный автотрап. Полный, невысокого роста мужчина в узких зеленых брюках и пестрой рубашке навывпуск первым сбежал вниз и, помахивая расписной туристской котомкой, зашагал по бетонным шестигранным плитам к ограде. Он живо вертел головой, выискивая кого-то в толпе встречающих, нашел — бросился навстречу.

— Ну, здоров! Что за спешка в отпускной период, что за «вылетай немедленно»?! Покажись-ка! О, да ты похорошел, даже постройнел, ей-ей! Что значит: год не видеть человека — и лик твой мне кажется благообразным и даже на челюсть могу смотреть без раздражения...

— И ты, я гляжу, раздобыл там на аспирантских харчах. — Встречающий окинул его критическим взглядом. — Соэнакоплениями обзавелся?

— Э, брат, это не просто накопления — это информационно-вещественный резерв. Я тебе потом расскажу, даже продемонстрирую. Это, Валек, полный переворот... Но сначала давай ты: зачем вызвал раньше срока? Нет, постой! — Пассажир самолета вытащил из кармана блокнот, а из него — несколько красных ассигнаций. — Получи должок.

— Какой должок? — Встречающий отстранил деньги.

— Ради бога, только без этого! — Пассажир протестующе поднял руку. — Видели, знаем, заранее умилены: этаким рассеянный ученый, который не снисходит до запоминания всякой там прозы... Не надо. Уж я твою натуру знаю: ты не забываешь долги даже величиной с полтинник. Держи деньги, не пижоны!

— Да нет, — мягко улыбнулся встречающий, — мне ты ничего не должен. Понимаешь... — Он запнулся под внимательным взглядом, который на него устремил пассажир.

— Что за черт! — озадаченно произнес тот. — Ты никак стал красить волосы, лжешатен? А рубец? Рубец над правой бровью — где он? — Его голос вдруг сел до шепота: — Парень... да ты кто?!

Тем временем толпа прилетевших московским самолетом и встречавших рассосалась. Пять человек, которые никого не встретили и никуда не торопились, побросали сигареты и быстро окружили собеседников.

— Только тихо! — произнес Онисимов, вклиниваясь между «лаборантом» и глядевшим на него во все глаза пассажиром; в руке тот сжимал деньги. — При попытке сопротивления будем стрелять.

— Ого! — Ошеломленный пассажир отступил на шаг, но его плотно взяли под локти.

— Не «ого», а милиция, гражданин... Кривошеин, если не ошибаюсь? — Следователь улыбнулся с максимальной

приятностью. — Вас нам тоже придется задержать. Разведите их по машинам!

...Виктор Кравец, устраиваясь на заднем сиденье «Волги» между Онисимовым и милиционером Гаевым, улыбался устало и спокойно.

— Между прочим, я бы на вашем месте не улыбался, — заметил Матвей Аполлонович. — За такие шутки срок навбавляют.

— Э, что срок! — Кравец беспечно махнул рукой. — Главное: я, кажется, сделал верный ход.

— Вот не думал, что мое возвращение начнется с детективного эпизода! — проговорил пассажир самолета, когда его ввели в комнату следователя. — Что ж, раз в жизни это должно быть интересно.

Он, не дожидаясь приглашения, сел на стул, огляделся. Онисимов молча сел напротив; в нем сейчас боролись противоречивые чувства: ликование («Вот это операция, вот это удача! Взяли сразу двоих — да, похоже, что на горячем!») и озадаченность. До сих пор следствие строилось на том факте, что в лаборатории погиб или умерщвлен Кривошеин. Но... Матвей Аполлонович придиричиво всмотрелся в задержанного: покатый лоб с залысинами, выступающие надбровные дуги, красно-синий рубец над правой бровью, веснушчатое лицо с полными щеками, толстый нос вздернут седелкой, коротко стриженные рыжеватые волосы — сомнений нет, перед ним сидел Кривошеин! «Вот так я дал маху... Кого же они там прикончили? Ну, теперь уж я выясню все до конца!»

— А это что — намек? — Кривошеин показал на зарешеченные окна. — Чтоб чистосердечней сознавались, да?

— Нет, оптовая база была раньше. — Следователь вспомнил, что с такой же реплики начал на вчерашнем допросе «лаборант», усмехнулся забавному совпадению. — От нее остались... Ну, как самочувствие, Валентин Васильевич?



— Благодарю... простите, не знаю вашего имени-отчества, не жалуюсь. А у вас?

— Взаимно, — кивнул следователь. — Хотя мое самочувствие прямого отношения к делу не имеет.

Они улыбались друг другу широко и напряженно, как боксеры перед мордобоем.

— А мое, стало быть, имеет? А я подумал, что у вас это принято: осведомляться о самочувствии пассажиров, которых вы ни за что ни про что хватаете в аэропорту. Так какое же отношение к вашему делу имеет мое состояние здоровья?

— Мы не хватаем, гражданин Кривошеин, а задерживаем, — жестко поправил Онисимов. — И ваше здоровье меня интересует вполне законно, поскольку я имею заключение врача, а также показания свидетелей о том, что вы — труп.

— Я — труп?! — Кривошеин с некоторой игривостью оглядел себя. — Ну, если у вас такие показания, тащите меня в секционный зал... — Внезапно до него что-то дошло, улыбка увяла. Он поглядел на Онисимова хмуро и встревоженно. — Послушайте, товарищ следователь, если вы шутите, то довольно скверно! Что за труп?!

— Помилуйте, какие шутки! — Онисимов широко развел руками. — Позавчера ваш труп был найден в лаборатории, сам видел... то есть не ваш, конечно, поскольку вы в добром здравии, а очень похожего на вас человека. Его все опознали как ваш.

— Ах, черт! — Кривошеин сгорбился, потер щеки ладонями. — Вы можете мне показать этот труп?

— Ну... вы же знаете, что нет, Валентин Васильевич. Он ведь превратился в скелет. Озорство это, нехорошо... Можно очень дурно истолковать.

— В скелет?! — Кривошеин поднял голову, в его зеленых с рыжими крапинками глазах появилось замешательство. — Как? Где?

— Это произошло там же, на месте происшествия, — если уж *вам* требуются пояснения на данный предмет от *меня*, —

с нажимом произнес Онисимов. — Может, вы сами лучше это объясните?

— Был труп, стал скелет... — пробормотал, хмурия в раздумье брови, Кривошеин. — Но... ага, тогда все не так страшно! Он здесь времени даром не терял... видимо, какая-то ошибка у него получилась. Фу, черт, а я-то! — Он ободрился, осторожно взглянул на следователя. — Путаете вы меня, товарищ, непонятно зачем. Трупы за здорово живешь в скелеты не превращаются, я в этом немного разбираюсь. И потом: чем вы докажете, что это мой... то есть похожего на меня человека труп, если трупа нет? Здесь что-то не так!

— Возможно. Поэтому я и хочу, чтобы вы сами пролили свет. Поскольку дело случилось во вверенной вам лаборатории.

— Во вверенной мне?.. Хм... — Кривошеин усмехнулся, покачал головой. — Боюсь, ничего не выйдет насчет пролития света. Мне самому надо бы во всем разобраться.

«И этот будет запыраться!» — тоскливо вздохнул Матвей Аполлонович, придвинул лист бумаги, раскрыл авторучку.

— Тогда давайте по порядку. Вас зовут Кривошеин Валентин Васильевич?

— Да.

— Возраст 35 лет? Русский? Холостой?

— Точно.

— Проживаете в Днепропске, заведуете в Институте системологии лабораторией новых систем?

— А вот что нет, то нет. Живу в Москве, учусь в аспирантуре на биологическом факультете МГУ. Прошу! — Кривошеин протянул через стол паспорт и удостоверение.

У документов был в меру потрепанный вид. Все в них — даже временная, на три года, московская прописка — соответствовало сказанному.

— Понятно. — Онисимов спрятал их в стол. — Быстро это в Москве делается, смотрите-ка! За один день.

— То есть... что вы хотите этим сказать?! — Кривошеин вскинул голову, воинственно задрал правую бровь.

— Липа эти ваши документы, вот что. Такая же липа, как и у вашего сообщника, которому вы в аэропорту пытались передать деньги... Алиби себе обеспечиваете? Напрасно старались. Проверим — а дальше что будет?

— И проверьте!

— И проверим. У кого вы работаете в МГУ? Кто ваш руководитель?

— Профессор Андросиашвили Вано Александрович, заведующий кафедрой общей физиологии, член-корреспондент Академии наук.

— Понятно. — Следователь набрал номер. — Дежурный? Это Онисимов. Быстренько свяжитесь с Москвой. Пусть срочно доставят к оперативному телевидеофону... запишите: Вано Александрович Андросиашвили, профессор, заведует кафедрой физиологии в университете. Быстро! — Он победно взглянул на Кривошеина.

— Оперативный телевидеофон — это роскошно! — прищелкнул тот языком. — Я вижу, техника сыска тоже восходит на грань фантастики. И скоро это будет?

— Когда будет, тогда и будет, не торопитесь. У нас еще есть о чем поговорить...

Однако уверенность, с которой держался Кривошеин, произвела впечатление на Матвея Аполлоновича. Он засомневался: «А вдруг действительно какое-то дикое совпадение? Проверю-ка еще».

— Скажите, вы знакомы с Еленой Ивановной Коломиец?

Лицо Кривошеина утратило безмятежное выражение — он подобрался, взглянул на Онисимова хмуро и пытливо.

— Да. А что?

— И близко?

— Ну?

— По какой причине вы с ней расстались?

— А вот это, дорогой товарищ следователь, извините, совершенно вас не касается! — В голосе Кривошеина заиг-

рала ярость. — В свои личные дела я не позволю соваться ни богу, ни черту, ни милиции!

— Понятно, — хладнокровно кивнул Онисимов. «Он! Деться некуда — он. Чего же он темнит, на что рассчитывает?» — Хорошо, задам вопрос полегче: кто такой Адам?

— Адам? Первый человек на земле. А что?

— Звонил вчера в институт... этот первый человек. Интересовался, где вы, хотел повидать.

Кривошеин безразлично пожал плечами.

— А кто этот человек, который встретил вас в аэропорту?

— И которого вы не весьма остроумно назвали моим общником? Этот человек... — Кривошеин в задумчивости поднял и опустил брови. — Боюсь, что он не тот, за кого я его принял.

— Вот и мне кажется, что он не тот! — оживился Онисимов. — Отнюдь не тот! Так кто же он?

— Не знаю.

— Опять за рыбу гроши! — плачущим голосом вскричал Матвей Аполлонович и бросил ручку. — Будет вам воду варить, гражданин Кривошеин, несолидно это! Вы же ему деньги давали, сорок рублей десятками. Что же — вы не знали, кому деньги давали?!

В эту минуту в кабинет вошел молодой человек в белом халате, положил на стол бланк и, взглянув с острым любопытством на Кривошеина, удалился. Онисимов посмотрел бланк — это было заключение об анализе отпечатков пальцев задержанного. Когда он поднял глаза на Кривошеина, в них играла сочувственно-торжествующая улыбка.

— Ну, собственно, все. Можно не дожидаться очной ставки с московским профессором — да и не будет ее, наверное... Отпечатки ваших пальцев, гражданин Кривошеин, полностью совпадают с отпечатками, взятыми мною на месте происшествия. Убедитесь сами, прошу! — Он протянул через стол бланк и лупу. — Так что давайте кончать игру. И учтите, — голос Онисимова стал строгим, — ваш ход с поле-

том в Москву и липовыми документами — он отягощает... За заранее обдуманное намерение и попытку ввести органы дознания в заблуждение суд набавляет от трех до восьми лет.

Кривошеин, задумчиво выпятив нижнюю губу, изучал бланк.

— Скажите, — он поднял глаза на следователя, — а почему бы вам не допустить, что есть два человека с одинаковыми отпечатками?

— Почему?! Да потому, что за сто лет использования данного способа в криминалистике такого не было ни разу.

— Ну мало ли чего раньше не было... спутников не было, водородных бомб, электронных машин, а теперь есть.

— При чем здесь спутники? — пожал плечами Матвей Аполлонович. — Спутники спутниками, а отпечатки пальцев — это отпечатки пальцев, неоспоримая улика. Так будете рассказывать?

Кривошеин проникновенно и задумчиво взглянул на следователя, мягко улыбнулся.

— Как вас зовут, товарищ следователь?

— Матвей Аполлонович Онисимов зовут, а что?

— Знаете что, Матвей Аполлонович: бросьте-ка вы это дело.

— То есть как бросить?!

— Обыкновенно — прикройте. Как это у вас формулируется: «за недостаточностью улик» или «за отсутствием состава преступления». И «сдано в архив такого-то числа»...

Матвей Аполлонович не нашелся что сказать. С подобным нахальством ему в следственной практике встречаться не доводилось.

— Понимаете, Матвей Аполлонович... ну, будете вы заниматься этой разнообразной и в обычных случаях, безусловно, полезной деятельностью: допрашивать, задерживать, опознавать, сравнивать отпечатки пальцев, беспокоить занятых людей по оперативному телевидеофону... — Криво-

шеин развивал свою мысль, жестикулируя правой рукой. — И все время вам будет казаться, что вот-вот! — и вы ухватите истину за хвост. Противоречия сочетаются в факты, факты в улики, добродетель восторжествует, а зло получит срок плюс надбавку за обдуманность намерений... — Он сочувственно вздохнул. — Ни черта они не сочетаются, эти противоречия, не тот случай. И истины вы не достигнете просто потому, что по уровню мышления не готовы принять ее...

Онисимов нахмурился, оскорбленно поджал губы.

— Нет, нет! — замахал руками Кривошеин. — Не подумайте, ради бога, что я вас хочу унижить, поставить под сомнение ваши детективные качества. Я ведь вижу, что вы человек цепкий, старательный. Но — как бы это вам объяснить? — Он сощурился на желтый от солнца проспект за решетчатым окном. — Ага, вот такой пример. Лет шестьдесят назад, как вы, несомненно, знаете, станки на заводах и фабриках приводились в действие от паровика или дизеля. По цехам проходил трансмиссионный вал, от него к станочным шкивам разбегались приводные ремни — все это вертелось, жужжало, хлопало и радовало своим дикарским великолепием душу тогдашнего директора или купчины-хозяина. Потом пошло в дело электричество — и сейчас все эти предметы заменены электромоторами, которые стоят прямо в станках...

И снова, как вчера во время допроса «лаборанта», Матвей Аполлоновича на минуту охватило сомнение: что-то здесь не так! Немало людей побывали у него в кабинете, отполировали стул, ерзая от неприятных вопросов: угрюмые юнцы, влипшие по глупости в неприятную историю, плаксивые спекулянтки, искательно-развязные хозяйственники, разоблаченные ревизией, степенные, знающие все законы рецидивисты... И все они рано или поздно понимали, что игра проиграна, что наступил момент, когда надо сознаваться и заботиться о том, чтобы в протоколе была отражена чистосердечность раскаяния. А этот... сидит как ни в чем не бывало, размахивает рукой и старательно, на хорошем популярном

уровне объясняет, почему дело следует закрыть. «Опять это отсутствие игры меня сбивает! Ну нет, два раза на одном месте я не поскользнусь!»

Матвей Аполлонович был опытный следователь и хорошо знал, что в дело идут не сомнения и не впечатления, а факты. Факты же — тяжелые и непреложные — были против Кривошеина и Кравца.

— ...Теперь представьте, что на каком-то древнем заводе замена механического привода станков на электрический произошла не за годы, а сразу — за одну ночь, — продолжал Кривошеин. — Что подумает хозяин завода, придя утром в цех? Естественно, что кто-то спер паровик, трансмиссионный вал, ремни и шкивы. Чтобы понять, что случилась не кража, а технический переворот, ему надо знать физику, электротехнику, электродинамику... Вот и вы, Матвей Аполлонович, образно говоря, находитесь сейчас в положении такого хозяина.

— Физику, электротехнику, электродинамику... — рассеянно повторил Онисимов, поглядывая на часы: скорей бы давали Москву! — И теорию информации, теорию моделирования случайных процессов надо понимать, да?

— Ого! — Кривошеин откинулся на стуле, поглядел на следователя с еле скрываемым восторгом. — Вы и про эти науки знаете?

— Мы, Валентин Васильевич, все знаем.

— Ну, я вижу, вас голыми руками не возьмешь...

— И не советую пробовать. Так как, на незаконное закрытие дела будем рассчитывать или правду расскажем?

— Уфф!.. — Кривошеин отер платком лоб и щеки. — Жарко у вас... Ладно. Давайте договоримся так, Матвей Аполлонович: я сам разберусь в этом происшествии, а потом вам расскажу.

— Нет, — Онисимов качнул головой, — не договоримся мы так. Не полагается, знаете, чтобы подозреваемый сам

проводил дознание по своему делу. Эдак никакое преступление никогда не раскроешь.

— Да, черт поberi!.. — начал было Кривошеин, но открылась дверь, и молодой лейтенант сообщил:

— Матвей Аполлонович, Москва!

Онисимов и Кривошеин поднялись на второй этаж, в комнату оперативной связи.

...Вано Александрович Андросиашвили приблизил свое лицо к экрану телевидеофона так стремительно, будто хотел проклянуть изнутри оболочку электронно-лучевой трубки хищным, загнутым, как у орла, носом. Да, он узнает своего аспиранта Валентина Васильевича Кривошеина. Да, последние недели он видел аспиранта ежедневно, а более отдаленные даты встреч и бесед с ним на память назвать не берется, ибо это не календарные праздники. Да, аспирант Кривошеин покинул университет на пять дней по его, Андросиашвили, личному разрешению. Орудийное «эр» Вано Александровича сотрясало динамик телевидеофона... Он крайне озадачен и огорчен, что его для участия в такой странной процедуре оторвали от экзаменов. Если милиция — тут Вано Александрович устремил горячий взгляд иссиня-черных глаз на Онисимова — перестает верить паспортам, которые она сама выдает, то ему, видимо, придется переквалифицироваться из биолога в удостоверителя личностей всех своих аспирантов, студентов, родственников, а также всех действительных членов и членов-корреспондентов Академии наук, коих он, Андросиашвили, имеет честь знать! Но в этом случае естественным образом может возникнуть вопрос: а кто он такой сам, профессор Андросиашвили, и не следует ли для удостоверения его сомнительной личности доставить сюда на оперативной машине ректора университета или, чтоб вернее, президента Академии наук?

Выговорив все это на одном дыхании, Вано Александрович на прощание качнул головой: «Нэхорошо! Доверять



надо!» — и исчез с экрана. Микрофоны донесли до Днепровска звук хлопнувшей двери. Экран показал лысого толстяка в майорских погонах на голубой рубашке; он мученически скривил лицо:

— Что вы там, товарищи, сами не могли разобраться? Конец!

Экран погас.

«А Вано Александрович до сих пор на меня в обиде, — спускаясь по лестнице впереди сердито сопящего Онисимова, размышлял Кривошеин. — Оно и понятно: пожалел человека, принял в аспирантуру вне конкурса, а я к нему всей спиной, скрытничая. Не прими он меня — ничего бы не было. На экзаменах я плавал, как первокурсник. Философия и иностранный еще куда ни шло, а вот по специальности... Конечно, разве наспех прочитанные учебники замаскируют отсутствие систематических знаний?»

...Это было год назад. После вступительного экзамена по биологии Андросиашвили пригласил его к себе в кабинет, усадил в кожаное кресло, сам встал у окна и принялся рассматривать, склонив к правому плечу крупную лысеющую голову.

— Сколько вам лет?

— Тридцать четыре года.

— На пределе... В следующем году отпразднуете в кругу друзей тридцатипятилетие и поставите крест на очной аспирантуре. А в заочную... Впрочем, заочная аспирантура существует не для учебы, а для дополнительного оплачиваемого отпуска, не будем о ней говорить. Я прочел ваш автореферат — хороший автореферат, зрелый автореферат, интересные параллели между работой нервных центров и электронных схем проводите. «Отлично» поставил. Но... — профессор взял со стола ведомость, взглянул в нее, — экзамен вы не сдали, дорогой! То есть сдали на «уд», что адекватно: с тройкой по специальности мы не берем.

У Кривошеина, наверное, изменилось лицо, потому что голос Вано Александровича стал сочувственным.

— Послушайте, а зачем вам это надо — переходить на аспирантскую стипендию? Я познакомился с вашими бумагами — вы в интересном институте работаете, на хорошей должности работаете. Вы кибернетик?

— Системотехник.

— Для меня это все равно. Так зачем?

Кривошеин был готов к этому вопросу.

— Именно потому, что я системотехник и системолог. Человек — самая сложная и самая высокоорганизованная система из всех нам известных. Я хочу в ней разобраться целиком: как все построено в человеческом организме, как связано, что на что влияет. Понять взаимодействие частей, грубо говоря.

— Чтобы использовать эти принципы для создания новых электронных схем? — Андросиашвили иронически скрипил губы.

— Не только... и даже не столько это. Видите ли... когда-то было все не так. Зной и мороз, выносливость в погоне за дичью или в бегстве от опасности, голод или грубая нестерильная пища типа сырого мяса, сильные механические перегрузки в работе, драка, в которой прочность черепа проверялась ударами дубины, — словом, когда-то внешняя среда предъявляла к человеку такие же суровые требования, как... ну, скажем, как сейчас военные заказчики к аппаратуре ракетного назначения. (Вано Александрович хмыкнул, но ничего не произнес.) Такая среда за сотни тысячелетий и сформировала «хомо сапиенс» — Разумное Позвоночное Млекопитающее. Но за последние двести лет, если считать от изобретения парового двигателя, все изменилось. Мы создали искусственную среду из электромоторов, взрывчатки, фармацевтических средств, конвейеров, систем коммунального обслуживания, транспорта, повышенной радиации атмосферы, электронных машин, профилактических при-

вивок, асфальтовых дорог, бензиновых паров, узкой специализации труда... ну, словом, современную жизнь. Как инженер, и я в числе прочих развиваю эту искусственную среду, которая сейчас определяет жизнь «хомо сапиенс» на девяносто процентов, а скоро будет определять ее на все сто — природа останется только для воскресных прогулок. Но как человек я сам испытываю некоторое беспокойство... — Он перевел дух и продолжал: — Эта искусственная среда освобождает человека от многих качеств и функций, приобретенных в древней эволюции. Сила, ловкость, выносливость нынче культивируются только в спорте, логическое мышление, утеху древних греков, перехватывают машины. А новых качеств человек не приобретает — уж очень быстро меняется среда, биологический организм так не может. Техническому прогрессу сопутствует успокоительная, но малоаргументированная болтовня, что человек-де всегда останется на высоте положения. Между тем — если говорить не о человеке вообще, а о людях многих и разных — это уже сейчас не так, а далее будет и вовсе не так. Ведь далеко не у каждого хватает естественных возможностей быть хозяином современной жизни: много знать, многое уметь, быстро выучиваться новому, творчески работать, оптимально строить свое поведение.

— Чем же вы им хотите помочь?

— Помочь — не знаю, но хотя бы изучить как следует вопрос о неиспользуемых человеком возможностях своего организма. Ну, например, отживающие функции — скажем, умение наших с вами отдаленных предков прыгать с дерева на дерево или спать на ветке. Теперь это не нужно, а соответствующие нервные клетки остались. Или взять рефлекс «мороз по коже» — по коже, на которой почти уже нет волос. Его обслуживает богатейшая нервная сеть. Может, удастся перестроить, перепрограммировать старые рефлексy на новые нужды?

— Так! Значит, мечтаете модернизировать и рационализировать человека? — Андросиашвили выставил вперед го-

лову. — Будет уже не «хомо сапиенс», а «хомо модернус рационалис», да? А вам не кажется, дорогой системотехник, что рационалистическим путем можно превратить человека в чемодан с одним отростком, чтобы кнопки нажимать? Впрочем, можно и без отростка, с управлением от биотоков мозга...

— Если уж совсем рационалистически, то можно и без чемодана, — заметил Кривошеин.

— Тоже верно! — Ваню Александрович склонил голову к другому плечу, с любопытством посмотрел на Кривошеина.

Они явно нравились друг другу.

— Не рационализировать, а обогатить — вот над чем я размышляю.

— Наконец-то! — Профессор быстро зашагал по кабинету. — Наконец-то в широкие массы работников техники, покорителей мертвой природы, создателей «искусственной среды» начала проникать мысль, что и они люди! Не сверх-человеки, которые с помощью интеллекта и справочников могут преодолеть все и вся, а просто люди. Ведь чего только не пытаемся мы изучить и понять: элементарные частицы, вакуум, космические лучи, антимир, тайну Атлантиды... Себя лишь не хотим изучить и понять! Это, понимаете ли, трудно, неинтересно, в руки не дается... Цхэ, мир может погибнуть, если каждый станет заниматься тем, что в руки дается! — Голос его зазвучал более гортанно, чем обычно. — Человек чувствует биологический интерес к себе, только когда в больницу идти надо, бюллетень выписывать надо... И верно, если так пойдет, то можно обойтись и без чемодана. Как говорят студенты: обштопают нас машины как пить дать! — Он остановился против Кривошеина, склонил голову, фыркнул. — Но все-таки вы дилетант, дорогой системотехник! Как у вас запросто выходит: перепрограммировать старые рефлексy... Ах, если бы это было столь же просто, как перепрограммировать вычислительную машину! М-да... но, с другой стороны, вы инженер-исследователь, с идея-

ми, со свежим взглядом на предмет, отличным от нашего, чисто биологического... Ай, что я говорю! Зачем внушаю несбыточные надежды, будто из вас что-то выйдет?! — Он отошел к окну. — Ведь диссертацию вы не напишете и не защитите, да у вас и замыслы совсем не те. Да?

— Не те, — сознался Кривошеин.

— Вот видите. Вы вернетесь в свою системологию, а мне от ректората достанется, что я научный кадр не воспитал... Цхэ, беру! — без всякого перехода заключил Андросиашвили. Он подошел к Кривошеину. — Только придется учиться, пройти полный курс биологических наук. Иначе не изыщите вы никаких возможностей в человеке, понимаете?

— Конечно! — радостно закивал тот. — За тем и приехал.

Профессор оценивающе посмотрел на него, притянул за плечо:

— Я вам сэкрет открою: я сам учусь. На вечернем факультете электронной техники в МЭИ, на третьем курсе. И лекции слушаю, и лабораторки выполняю, и даже два «хвоста» имею: по промэлектронике и по квантовой физике. Тоже хочу разобраться, что к чему, помогать мне будете... только тсс!

Они вернулись в кабинет Онисимова. Матвей Аполлонович начал ходить от стены к стене. Кривошеин взглянул на часы: начало шестого — поморщился, жалея о бестолково потерянном времени.

— Итак, все, Матвей Аполлонович, мое алиби доказано. Верните мне, пожалуйста, документы, и расстанемся.

— Нет, погодите! — Онисимов вышагивал по комнате вне себя от ярости и растерянности.

Матвей Аполлонович, как уже упоминалось выше, был опытный следователь, и сейчас он ясно понимал, что все факты этого треклятого дела обернулись против него самого. Кривошеин жив, стало быть, установленная и запротокколированная смерть Кривошеина — ошибка. Личность того, кто погиб или умерщвлен в лаборатории, он не установил,

причину смерти или способ умерщвления — тоже и даже не представляет, как к этому подступиться... Мотивов преступления он не знает, версии летят к черту, трупа нет! В фактах все это выглядит так, что дознание проведено следователем Онисимовым из рук вон плохо... Матвей Аполлонович попытался собраться с мыслями. «Академик Азаров опознал труп Кривошеина. Профессор Андросиашвили опознал *живого* Кривошеина и засвидетельствовал его алиби. Значит, либо тот, либо другой дали ложные показания. Кто именно — не ясно. Значит, надо привлекать обоих. Но... привлечь к дознанию таких людей, взять их на подозрение, а потом снова окажется, что я забрел не туда! Это ж костей не соберешь...»

Словом, сейчас Матвей Аполлонович твердо понимал одно: выпускать Кривошеина из рук никак нельзя.

— Нет, погодите! Не придется вам, гражданин Кривошеин, вернуться к вашим темным делам! Думаете, если вы это... заgrimировали покойника, а потом уничтожили труп, так и концы в воду? Мы еще проверим, кто такой Андросиашвили и по каким мотивам он вас выгораживает! Улики против вас не снимаются: отпечатки пальцев, контакт с бежавшим, попытка вручить ему деньги...

Кривошеин, сдерживая раздражение, поскреб подбородок.

— Я, собственно, не понимаю, что вы мне инкриминируете: что я убит или что я убийца?

— Разберемся, гражданин! — теряя остатки самообладания, проговорил Онисимов. — Разберемся! Только не может такого быть, чтобы вы в этом деле оказались ни при чем... не может быть!

— Ах, не может быть?! — Кривошеин шагнул к следователю, лицо его налилось кровью. — Думаете, если вы работаете в милиции, то знаете, что может и что не может быть?!

И вдруг его лицо начало быстро меняться: нос выпятился вперед, утолстился, полиловел и отвис, глаза расширились и из зеленых стали черными, волосы над лбом отступили назад, образуя лысину, и поседели, на верхней губе проби-

лись седые усики, челюсть стала короче... Через минуту на потрясенного Матвея Аполлоновича смотрела грузинская физиономия профессора Андросиашвили — с кровавистыми белками глаз, могучим носом с гневно выгнутыми ноздрями и сизыми от щетины щеками.

— Ты думаешь, кацо, если ты работаешь в милиции, то знаешь, что может и что не может быть?!

— Прекратите! — Онисимов отступил к стене.

— Не может быть! — неистовствовал Кривошеин. — Я вам покажу «не может быть»!

Эту фразу он закончил певучим и грудным женским голосом, а лицо его начало быстро приобретать черты Елены Ивановны Коломиец: вздернулся милый носик, порозовели и округлились щеки, выгнулись пушистыми темными дугами брови, глаза засияли серым светом...

«Ну, если сейчас кто-нибудь войдет...» — мелькнуло в воспаленном мозгу Онисимова: он кинулся запира́ть дверь.

— Э-э! Вы это бросьте! — Кривошеин в прежнем своем облике стал посреди комнаты в боксерскую стойку.

— Да нет... я... вы не так меня поняли... — в забытьи бормотал Матвей Аполлонович, отходя к столу. — Зачем вы это?

— Уфф... не вздумайте звонить! — Кривошеин, отдуваясь, сел на стул; лицо его блестело от пота. — А то я могу превратиться в вас. Хотите?

Нервы Онисимова сдали окончательно. Он раскрыл ящик.

— Не надо... успокойтесь... перестаньте... не надо! Пожалуйста, вот ваши документы.

— Вот так-то лучше... — Кривошеин взял документы и подхватил с пола котомку. — Я ведь объяснял по-хорошему, что этим делом вам не следует интересоваться, — нет, не поверили. Надеюсь, что теперь я вас убедил. Прощайте... майор Пронин!

Он ушел. Матвей Аполлонович стоял в прострации, прислушивался к какому-то дробному стуку, разносившемуся по комнате. Через минуту он понял, что это стучат его зубы. Руки тоже тряслись. «Да что же это я?!» Он схватил трубку

телефона — и бросил ее, опустился на стул, обессиленно положил голову на прохладную поверхность стола. «Ну ее к черту, такую работу...»

Дверь широко распахнулась, на пороге появился судмед-эксперт Зубато с фанерным ящиком в руках.

— Слушай, Матвей, это же в самом деле криминалистическая сенсация века, поздравляю! — закричал он. — Ух, черт, вот это да! — Он с грохотом поставил ящик на стол, раскрыл, начал выбрасывать на пол вату. — Мне только что доставили из скульптурной мастерской... Смотри!

Матвей Аполлонович поднял глаза. Перед ним стояла сработанная из пластилина голова Кривошеина — с покатым лбом, вздернутым толстым носом и широкими щеками...

## Глава пятая

*Самый простой способ скрыть хромоту на левую ногу — хромать и на правую. У вас будет вид морского волка, шагающего вперевалку.*

К. Прутков-инженер.

«Советы начинающим детективам»

«Пижон из пижонов, мелкач! — ругал себя Кривошеин. — Нашел применение открытию: милицию пугать... Ведь он и так отпустил бы меня, никуда бы не делся». Мышцы лица и тела натруженно ныли. Внутри медленно затихал болезненный зуд желез. «Все-таки три трансформации за несколько минут — это перегрузка. Погорячился. Ну, да ничего со мной не станется. В том-то и фокус, что ничего со мной стать не может...»

Быстро синело небо над домами. С легким шипением загорались газосветные названия магазинов, кафе и кино-



театров. Мысли аспиранта вернулись к московским делам. «Выдержал марку Ваню Александрович, даже не поинтересовался: почему задержали, за что? Опознал — и все. Понятно: раз Кривошеин скрывает от меня свои дела — знать не хочу о них! Обиделся гордый старик... Да и есть за что. Ведь именно в беседе с ним я осмыслил цель опытов. Впрочем, какая там беседа — был спор. Но не с каждым вот так: поспоришь — и обогатишься идеями».

...Ваню Александрович все ходил мимо, поглядывал с ироническим ожиданием: какими откровениями поразит мир дилетант-биолог? Однажды декабрьским вечером Кривошеин захватил его в кабинете на кафедре и высказал все, что думал о жизни вообще и о человеке в частности. Это был хороший вечер: они сидели, курили, разговаривали, а за окном свистела и швырялась в стекла снежной крупой московская предновогодняя пурга.

— Любая машина как-то устроена и что-то делает, — излагал Кривошеин. — В биологической машине под названием «человек» тоже можно выделить две эти стороны: базисную и оперативную. Оперативная: органы чувств, мозг, двигательные нервы, скелетные мышцы — в большой степени подвластна человеку. Глаза, уши, вестибулярный аппарат, осязательные участки кожи, нервные окончания языка и носа, болевые и температурные нервы воспринимают раздражения от внешней среды, превращают их в электрические импульсы (совсем как устройства ввода информации в электронной машине), головной и спинной мозг анализируют и комбинируют импульсы по принципу «возбуждение — торможение» (подобно импульсным ячейкам машин), замыкают и размыкают первые цепи, посылают команды скелетным мышцам, которые и производят всякие действия — опять же как исполнительные механизмы машин. Над оперативной частью своего организма человек властен: даже безусловные — болевые, например — рефлексы он может подавить

усилием воли. Но вот в базисной части, которая ведает основным процессом жизни — обменом веществ, — все не так. Легкие втягивают воздух, сердце гонит кровь по темным закоулкам тела, пищевод, сокращаясь, проталкивает комочки пищи в желудок, поджелудочная железа выделяет гормоны и ферменты, чтобы разложить пищу на вещества, которые может усвоить кишечник, печень выделяет в кровь глюкозу... Щитовидная и паращитовидная железы вырабатывают диковинные вещества: тироксин и паратиредин — от них зависит, будет ли человек расти и уметь или останется карликом и кретином, разовьется ли у него прочный скелет или кости можно будет завязывать узлом. Пустяковый отросток у основания головного мозга — гипофиз — с помощью своих выделений командует всей таинственной кухней внутренней секреции, а заодно работой почек, кровяным давлением и благополучным разрешением от беременности... И над этой частью организма, которая *конструирует* человека — его телосложение, форму черепа, психику, здоровье и силу, — сознание не властно!

— Все правильно, — улыбнулся Андросиашвили. — В вашей оперативной части я легко узнаю область действия «анимальной», или «соматической», нервной системы, в базисной — область вегетативных нервов. Эти названия возникли еще в восемнадцатом веке; по-латыни «анималь» — «животное» и «вегетус» — «растение». Лично я не считаю их удачными. Может быть, на уровне двадцатого века ваши инженерные наименования более подойдут. Но продолжайте, прошу вас.

— Машину, даже электронную, конструирует и делает человек. Скоро этим займутся сами машины, принцип ясен, — продолжал Кривошеин. — Но почему человек не может конструировать сам себя? Ведь обмен веществ подчинен центральной нервной системе: от мозга к железам, сосудам, кишечнику идут такие же нервы, как и к мышцам и к органам чувств. Почему же человек не может управлять

этими процессами, как движением пальцев? Почему сознательное участие человека в обмене веществ выражается лишь в удовлетворении аппетита, жажды и некоторых противоположных отправлений? Это смешно: «хомо сапиенс», царь природы, венец Эволюции, создатель сложнейшей техники, произведений искусства, а в основном жизненном процессе отличается от коровы и дождевого червя разве что применением вилки, ложки да горячительных напитков!

— А почему вам хочется выделять в кровь сахар, ферменты и гормоны непременно усилием своей мысли и воли? — Андросиашвили поднял кустистые брови. — Зачем, скажите на милость, мне вдобавок ко всем делам и заботам по кафедре еще каждый час ломать голову: сколько выделить адреналина и инсулина из надпочечников и куда их направить? Вегетативные нервы сами управляют обменом веществ, не затрудняют человека проблемами — и отлично!

— Отлично ли, Вано Александрович? А болезни?

— Болезни... вон вы куда клоните: болезни как ошибки в работе базисной конструирующей системы. — Брови у профессора выгнулись синусоидой. — Ошибки, которые мы пытаемся исправить пилюлями, компрессами, вакцинами, оперативным вмешательством, и далеко не всегда успешно. Но... болезни — результат тех воздействий среды, к которым организм не приспособлен.

— А почему не приспособлен? Ведь мы в большинстве случаев знаем, что вредно, — на этом держится профилактика болезней, техника безопасности, охрана труда. Но, обратите внимание, слова-то какие пассивные: профилактика, безопасность, охрана... попросту говоря, от беды подальше! А среда все подкидывает новые загадки: то рентгеновское излучение, то сварочную дугу, то изотопы...

— Ладно! — Профессор поднял обе руки. — Я догадываюсь, что у вас под языком трепыхается заветная идея на этот счет и вы ждете не дождетесь, когда собеседник широко раскроет глаза и с робкой надеждой спросит: «Так поче-

му?» Идет! Смотрите: я широко раскрываю глаза, — он весело сверкнул белками в кровяных прожилках, — и задаю этот долгожданный вопрос: так почему люди не умеют сознательно управлять обменом веществ в себе?

— Потому что забыли, как это делается! — выпалил Кривошеин.

— Ввах! — Профессор с удовольствием хлопнул себя по коленям. — Знали, да забыли? Как номер телефона? Это интересно!

— Давайте вспомним, что в мозгу человека имеется огромное число незадействованных нервных клеток: девяносто девять процентов, а у некоторых и девяносто девять с дробью. Невероятно, чтобы они существовали просто так, про запас — природа излишеств не допускает. Естественно предположить, что в этих клетках содержалась информация, которая ныне утрачена. Не обязательно словесная информация — такой в нашем организме и сейчас мало, она слишком груба и приблизительна; — а биологическая, выражаемая в образах, чувствах, ощущениях...

— Стоп, дальше я знаю! — увлеченно закричал Андросиашвили. — Марсиане! Нет, даже лучше — не марсиане — ведь до Марса того и гляди доберутся, проверить могут! — а, скажем, жители бывшей когда-то между Марсом и Юпитером планеты, которая ныне развалилась на астероиды. Жили там высокоорганизованные существа, у них была искусственная разнообразная среда, и они умели управлять своим организмом, чтобы приспособливаться к ней, а также для забавы. И эти жители, почуяв, что родная планета вот-вот развалится, переселились на Землю...

— Возможно, было и так, — невозмутимо кивнул Кривошеин. — Во всяком случае, надо полагать, что у человека были высокоорганизованные предки, откуда бы они ни взялись. И они одичали, попав в дикую примитивную среду с тяжелыми условиями жизни — в кайнозойскую эру. Жара, джунгли, болота, звери — и никаких удобств. Жизнь упрощ-

тилась до борьбы за существование, вся нервная утонченность оказалась ни к чему. Вот и утратили за многие поколения все: от письменности до умения управлять обменом веществ... Нет, правда, Ваню Александрович, помести сейчас горожанина в джунгли, с ним то же будет!

— Эффектно! — причмокнул от удовольствия Андросиашвили. — И лишние клетки мозга остались в организме наряду с аппендиксом и волосатостью под мышками? Теперь я понимаю, почему мой добрый знакомый профессор Валерно именует фантастику «интеллектуальным развратом».

— Почему же? И при чем здесь?..

— Да потому, что трезвые рассуждения она подменяет эффектной игрой воображения.

— Ну, знаете ли, — разозлился Кривошеин, — у нас в системологии рабочие гипотезы не подавляют ссылками на высказывания знакомых. Любая идея приемлема, если она плодотворна.

— А у нас в биологии, товарищ аспирант, — заорал вдруг Андросиашвили, выкатив глаза, — у нас в биологии, дорогой, приемлемы лишь идеи, основанные на трезвом материалистическом подходе! А не на осколках фантастической планеты! Мы имеем дело с более важным явлением, чем техника, — с жизнью! И поскольку вы сейчас не «у вас», а «у нас», советую это помнить! Всякий дилетант... цхэ! — И тотчас успокоился, перешел на мирный тон: — Ладно, будем считать, что мы с вами разбили по тарелке. Теперь серьезно: почему ваша гипотеза, мягко говоря, сомнительна? Во-первых, «незадействованные» клетки мозга — это определение из технического обихода к биологическим объектам неприменимо. Клетки живут — стало быть, они уже задействованы. Во-вторых, почему не предположить, что эти миллиарды нервных клеток в мозгу образованы именно про запас?

Ваню Александрович встал и посмотрел на Кривошеина сверху вниз:

— Я, дорогой товарищ аспирант, тоже слегка разбираюсь в технике — как-никак студент-вечерник МЭИ! — и знаю, что у вас... г-хм! — у вас в системотехнике есть понятие и проблема надежности. Надежность электронных систем обеспечивают резервом деталей, ячеек и даже блоков. Так почему не допустить, что природа создала в человеке такой же резерв для надежной работы мозга? Ведь нервные клетки не восстанавливаются.

— Больно велик резерв! — покрутил головой аспирант. — Обычный человек обходится миллионом клеток из миллиардов возможных.

— А у талантливых людей работают десятки миллионов клеток! А у гениальных... впрочем, у них еще никто не мерил — может быть, и сотни миллионов. Возможно, мозг каждого из нас, так сказать, зарезервирован на гениальную работу? Я склонен думать, что именно гениальность, а не посредственность — естественное состояние человека.

— Эффектно сказано, Ваню Александрович.

— О, я вижу, вы злой... Но как бы там ни было, эти возражения имеют такую же ценность, как и ваша гипотеза об одичавших марсианах. Цхэ, а если учесть, что я ваш руководитель, а вы мой аспирант, то они имеют даже большую ценность! — Он сел в кресло. — Но вернемся к основному вопросу: почему человек наших дней не владеет вегетативной системой и обменом веществ в себе? Знаете почему? До этого дело еще не дошло.

— Вот как!

— Да. Среда учит организм человека только одним способом: условно-рефлекторной зубрежкой. Вы же знаете, что для образования условного рефлекса надо многократно повторять ситуацию и раздражители. Именно так возникает жизненный опыт. А чтобы образовался наследственный опыт из безусловных рефлексов, надо зубрить многим поколениям в течение тысячелетий... Вы правильно сказали о биологической, не выраженной в словах, информации в организме.

Условные и безусловные рефлексы — это она и есть. А уж над рефлексами властвует сознание человека — правда, в ограниченной мере. Ведь вы не продумываете от начала до конца, какой мышце и насколько сократиться, когда закуриваете папиросу, как не продумываете и весь химизм мышечного сокращения... Сознание дает команду: закурить! А дальше работают рефлексы — как специфические, приобретенные вами от злоупотребления этой скверной привычкой: размять папиросу, втянуть дым, — так и переданные от далеких предков общие: хватательные, дыхательные и так далее...

Вано Александрович — непонятно, для иллюстрации или по потребности — закурив папиросу и пустил вверх дым.

— Я веду к тому, что сознание управляет, когда есть чем управлять. В оперативной части организма, где конечным действием, как подметил еще Сеченов, является мышечное движение... ну, помните? — Андросиашвили откинулся в кресле и с наслаждением процитировал: — «Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге — везде окончательным фактом является мышечное движение...» Ах, как великолепно писал Иван Михайлович! Так вот в этой оперативной части сознанию есть чем управлять, есть что выбрать из несчитанных миллионов условных и безусловных рефлексов для каждой нешаблонной ситуации. А в конструктивной части, где работает большая химия организма, командовать сознанию нечем. Ну, прикиньте сами, какие условные рефлексы у нас связаны с обменом веществ?

— Пить или не пить, положите мне побольше хрена, терпеть не могу свинины, курение и... — Кривошеин замешкался, — н-ну, еще, пожалуй, мыться, чистить зубы...

— Можно назвать еще десяток таких же, — кивнул профессор, — но ведь все это мелкие, наполовину химические,

наполовину мышечные, поверхностные рефлексии, а поглубже в организме безусловные рефлексы-процессы, связанные так однозначно, что управлять нечем: иссякает кислород в крови — дыши, мало горючего для мышц — ешь, выделил воду — пей, отравился запретными для организма веществами — болей или умирай. И никаких вариантов... И ведь нельзя сказать, что жизнь не учила людей по части обменных реакций — нет, сурово учила. Эпидемиями — как хорошо бы с помощью сознания и рефлексов разобраться, какие бациллы тебя губят, и выморить их в теле, как клопов! Голодовками — залечь бы в спячку, как медведь, а не пухнуть и не умирать! Ранами и уродствами в драках всех видов — регенерировать бы себе оторванную руку или выбитый глаз! Но мало... Все дело в быстродействии. Мышечные реакции происходят за десятые и сотые доли секунды, а самая быстрая из обменных — выделение надпочечником адреналина в кровь — за секунды. А выделение гормонов железами и гипофизом дает о себе знать лишь через годы, а то и раз за целую жизнь. Так что, — он тонко улыбнулся, — эти знания не утрачены организмом, они просто еще не приобретены. Уж очень трудно человеку «вызубрить» такой урок...

— ...И поэтому овладение обменом веществ в себе может затянуться на миллионы лет?

— Боюсь, что даже на десятки миллионов, — вздохнул Ваню Александрович. — Мы, млекопитающие, очень молодые жители Земли. Тридцать миллионов лет — разве это возраст? У нас все еще впереди.

— Да ничего у нас не будет впереди, Ваню Александрович! — вскинулся Кривошеин. — Нынешняя среда меняется от года к году — какая тут может быть миллионолетняя зубрежка, какое повторение пройденного? Человек сошел с пути естественной эволюции, дальше надо самому что-то соображать.

— А мы и соображаем.



— Что? Пилюли, порошки, геморройные свечи, клистиры и постельные режимы! Вы уверены, что этим мы улучшаем человеческую породу? А может быть, портим?

— Я вовсе не уговариваю вас заниматься «пилюлями» и «порошками», если именно так вам угодно именовать разрабатываемые на кафедре новые антибиотики. — Лицо Андросиашвили сделалось холодным и высокомерным. — Желаете заняться этой идеей — что ж, дерзайте. Но объяснить вам нереальность и непродуманность выбора такой темы для аспирантской работы и для будущей диссертации — мое право и моя обязанность.

Он поднялся, ссыпал окурки из пепельницы в корзину.

— Простите, Вано Александрович, я вовсе не хотел вас обидеть. — Кривошеин тоже встал, понимая, что разговор окончен, и окончен неловко. — Но... Вано Александрович, ведь есть интересные факты.

— Какие факты?

— Ну... вот был в прошлом веке в Индии некий Рамакришна, «человек-бог», как его именовали. Так у него, если рядом били человека, возникали рубцы на теле. Или «ожоги внушением»: впечатлительного человека трогают карандашом, а говорят, будто коснулись горячей сигаретой. Ведь здесь управление обменом веществ получается без «зубрежки», а?

— Послушайте, вы, настырный аспирант, — прищурился на него Андросиашвили, — сколько вы можете за один присест скушать оконных шпингалетов?

— Мм-м... — ошеломленно выпятил губы Кривошеин, — боюсь, что ни одного. А вы?

— Я тоже. А вот мой пациент в те далекие годы, когда я практиковал в психиатрической клинике имени академика Павлова, заглотал без особого вреда для себя... — профессор, вспоминая, откинул голову, — «шпингалетов оконных — пять, ложек чайных алюминиевых — двенадцать, ложек столовых — три, стекла битого — двести сорок граммов, ножниц хирурги-

ческих малых — две пары, вилок — одну, гвоздей разных — четыреста граммов...». Это я цитирую не протокол вскрытия, заметьте, а историю болезни — сам резекцию желудка делал. Пациент вылечился от мании самоубийства, жив, вероятно, и по сей день. Так что, — профессор взглянул на Кривошеина с высоты своей эрудиции, — в научных делах лучше не ориентироваться ни на религиозных фанатиков, ни на мирских психопатов... Нет, нет! — Он поднял руки, увидев в глазах Кривошеина желание возразить. — Хватит спорить. Дерзайте, препятствовать не буду. Не сомневаюсь, что вы обязательно попытаетесь регулировать обмен веществ какими-нибудь машинными, электронными способами...

Вано Александрович посмотрел на аспиранта задумчиво и устало, улыбнулся.

— Ловить жар-птицу голыми руками — что может быть лучше! Да и цель святая: человек без болезней, без старости — ведь старость тоже приходит от нарушения обмена веществ... Лет двадцать назад я, вероятно, позволил бы и себя зажечь этой идеей. Но теперь... теперь мне надо делать то, что можно сделать наверняка. Пусть даже это будут пилюли...

Кривошеин свернул на поперечную улицу к Институту системологии и едва не столкнулся с рослым человеком в синем, не по погоде теплом плаще. От неожиданности с обоими случилась неловкость: Кривошеин отступил влево, пропуская встречного, — тот сделал шаг вправо. Потом оба, уступая друг другу дорогу, шагнули в другую сторону. Человек с изумлением взглянул на Кривошеина и застыл.

— Прощу прощения, — пробормотал тот и проследовал дальше.

Улица была тихая, пустынная — Кривошеин вскоре слышал шаги за спиной, оглянулся: человек в плаще шел на некотором отдалении за ним. «Ай да Онисимов! — разве селился аспирант. — Сыщика приклеил, цепкий мужчина!» Он для пробы ускорил шаг и услышал, как тот зачастил. «Э,

шут с ним! Не хватало мне еще заметить следы». Кривошеин пошел спокойно, вразвалочку. Однако спине стало неприятно, мысли вернулись к действительности.

«Значит, Валька поставил еще эксперимент — а может, и не один? Получилось неудачно: труп, обратившийся в скелет... Но почему в его дела стала вникать милиция? И где он сам? Дунул, наверное, наш Валечка на мотоцикле куда дальше, пока страсти улягутся. А может, все-таки в лаборатории?»

Кривошеин подошел к монументальным, с чугунными выкрутасами воротам института. Прямоугольные каменные тумбы ворот были настолько объемисты, что в левой свободно размещалось бюро пропусков, а в правой — проходная. Он открыл дверь. Старик Вахтерич, древний страж науки, клевал носом за барьерчиком.

— Добрый вечер! — кивнул ему Кривошеин.

— Вечир добрый, Валентин Васильевич! — откликнулся Вахтерич, явно не собираясь проверять пропуск: на проходной привыкли к визитам заведующего лабораторией новых систем в любое время дня и ночи.

Кривошеин, войдя в парк, оглянулся: верзила в плаще топтался возле ворот. «То-то, голубчик, — наставительно подумал Кривошеин. — Пропускная система — она себя оправдывает».

Окна флигеля были темны. Возле двери во тьме краснел огонек папиросы. Кривошеин присел под деревьями, пригляделся и различил на фоне звезд форменную фуражку на голове человека. «Нет, хватит с меня на сегодня милиции. Надо идти домой...» — Он усмехнулся, поправил себя: «К нему домой».

Он повернул в сторону ворот, но вспомнил о субъекте в плаще, остановился. «Э, так будет не по правилам: отслеживаемому идти навстречу сыщику. Пусть поработает». Кривошеин направился в противоположный конец парка — туда, где ветви старого дуба нависли над чугунными копиями из-

городи. Спрыгнул с ветви на тротуар и пошел в Академгородок.

«Все-таки что у него получилось? И кто этот парень, встретивший меня в аэропорту? Как меня телеграмма сбита с толку: принял его за Вальку! Но ведь похож — и очень. Неужели? Валька явно не сидел этот год сложа руки. Напрасно мы не переписывались. Мелкачи, ах какие мелкачи: каждый стремился доказать, что обойдется без другого, поразить через год при встрече своими результатами! Именно *своими!* Как же, высшая форма собственности... Вот и поразили. Мелкостью губим великое дело. Мелкостью, недомыслием, боязнью... Надо было не разбегаться в разные стороны, а с самого начала привлекать людей, стоящих и настоящих, как Ваню Александрович, например.

Да, но тогда я его не знал, а попробуй его привлечь теперь, когда он проносится мимо и смотрит чертом...»

...Все произошло весной, в конце марта, когда Кривошеин только начал осваивать управление обменом веществ в себе. Занятый собой, он не замечал примет весны, пока та сама не обратила его внимание на себя: с крыши пятиэтажного здания химкорпуса на него упала пудовая сосулька. Пролети она на сантиметр левее — и с опытами по обмену веществ внутри его организма, равно как и с самим организмом, было бы покончено. Но сосулька лишь рассекла правое ухо, переломила ключицу и сбита наземь.

— Ай, беда! Ай, какая беда!.. — придя в себя, услышал он голос Андросиашвили. Тот стоял над ним на коленях, ощупывал его голову, расстегивал пальто на груди. — Я этого коменданта убивать буду, снег не чистит! — яростно потряс он кулаком. — Идти сможете? — Он помог Кривошеину подняться. — Ничего, голова сравнительно цела, ключица срастет за пару недель, могло быть хуже... Держитесь, я отведу вас в поликлинику.

— Спасибо, Вано Александрович, я сам, — максимально бодро ответил Кривошеин, хотя в голове гудело, и даже выжал улыбку. — Я дойду, здесь близко...

И быстро, едва ли не бегом, двинулся вперед. Ему сразу удалось остановить кровь из уха. Но правая рука болталась плетью.

— Я позвоню им, чтобы приготовили электросшиватель! — крикнул вдогонку профессор. — Может быть, заштопают ухо!

У себя в комнате Кривошеин перед зеркалом скрепил две половинки разорванного по хрящу уха клейкой лентой, тампоном стер запекшуюся кровь. С этим он справился быстро: через десять минут на месте недавнего разрыва был лишь розоватый шрам в капельках сукровицы, а через полчаса исчез и он. А чтобы срастить перебитую ключицу, пришлось весь вечер лежать на койке и сосредоточенно командовать сосудами, железами, мышцами. Кость содержала гораздо меньше биологического раствора, чем мягкие ткани.

Утром он решил пойти на лекцию Андросиашвили. Пришел в аудиторию пораньше, чтобы занять далекое, незаметное место, и — столкнулся с профессором: тот указывал студентам, где развесить плакаты. Кривошеин попятился, но было поздно.

— Почему вы здесь? Почему не в клини... — Вано Александрович осекся, не сводя выпученных глаз с уха аспиранта и с правой руки, которой тот сжимал тетрадь. — Что такое?!

— А вы говорили: десятки миллионов лет, Вано Александрович, — не удержался Кривошеин. — Все-таки можно не только «зубрежкой».

— Значит... получается?! — выдохнул Андросиашвили. — Как?!

Кривошеин закусил губу.

— Ммм... позже, Вано Александрович, — неуклюже забормотал он. — Мне еще самому надо во всем разобраться...

— Самому? — поднял брови профессор. — Не хотите рассказывать? — Его лицо стало холодным и высокомерным. — Ну, как хотите... прошу извинить! — И вернулся к столу.

С этого дня он с ледяной вежливостью кивал аспиранту при встрече, но в разговор не вступал. Кривошеин же, чтоб не так грызла совесть, ушел в экспериментирование над самим собой. Ему действительно многое еще предстояло выяснить.

«Разве мне не хотелось продемонстрировать открытие — пережить жгучий интерес к нему, восторги, славу... — шагая по каштановой аллее, оправдывался перед собой и незримым Андросиашвили Кривошеин. — Ведь в отличие от психопатов я мог бы все объяснить... Правда, к другим людям это пока неприменимо, не та у них конституция. Но главное, доказана возможность, есть знание... Да, но если бы открытие ограничивалось лишь тем, что можно самому быстро залечивать раны, переломы, уничтожать в себе болезни! В том и беда, что природа никогда не выдает ровно столько, сколько нужно для блага людей, — всегда либо больше, либо меньше. Я получил больше... Я мог бы, наверное, превратить себя и в животное, даже в монстра... Это можно. Все можно — это-то и страшно». — Кривошеин вздохнул.

...Окно и застекленная дверь балкона на пятом этаже сумеречно светились — похоже, будто горела настольная лампа. «Значит, он дома?!» Кривошеин поднялся по лестнице, перед дверью квартиры по привычке пошарил по карманам, но вспомнил, что выбросил ключ еще год назад, ругнул себя — как было бы эффектно внезапно войти: «Ваши документы, гражданин!» Звонка у двери по-прежнему не было, пришлось постучать.

В ответ послышались быстрые легкие шаги — от них у Кривошеина сильно забилося сердце, — щелкнул замок: в прихожей стояла Лена.

— Ох, Валька, жив, цел! — Она обхватила его шею теплыми руками, быстро оглядела, погладила волосы, прижалась и расплакалась. — Валек, мой родной... а я уж думала... тут такое говорят, такое говорят! Звоню к тебе в лабораторию — никто не отвечает... звоню в институт, спрашиваю: где ты, что с тобой? — кладут трубку... Я пришла сюда — тебя нет... А мне уже говорили, будто ты... — Она всхлипнула сердито. — Дураки!

— Ну, Лен, будет, не надо... ну что ты? — Кривошеину очень захотелось прижать ее к себе, он еле удержал руки.

Будто и не было ничего: ни открытия № 1, ни года сумасшедшей напряженной работы в Москве, где он отшел от себя все давнее... Кривошеин не раз — для душевного покоя — намеревался вытравить из памяти образ Лены. Он знал, как это делается: бросок крови с повышенным содержанием глюкозы в кору мозга, небольшие направленные окисления в нуклеотидах определенной области — и информация стерлась из нервных клеток навсегда. Но не захотел... или не смог? «Хотеть» и «мочь» — как разграничишь это в себе? И вот сейчас у него на плече плачет любимая женщина — плачет от тревоги за него. Ее надо успокоить.

— Перестань, Лена. Все в порядке, как видишь.

Она посмотрела на него снизу вверх. Глаза были мокрые, радостные и виноватые.

— Валь... Ты не сердись на меня, а? Я тогда тебе такое наговорила — сама не знаю что, дура просто! Ты обиделся, да? Я тоже решила, что... все кончено, а когда узнала, что у тебя что-то случилось... — она подняла брови, — не смогла. Вот прибежала... Ты забудь, ладно? Забыли, да?

— Да, — чистосердечно сказал Кривошеин. — Пошли в комнату.

— Ох, Валька, ты не представляешь, как я напугалась. — Она все держала его за плечи, будто боялась отпустить. — И следовательно этот... вопросы всякие!

— Он и тебя вызывал?

— Да.

— Ага, ну конечно: «шерше ля фам»!

Они вошли в комнату. Здесь все было по-прежнему: серая тахта, дешевый письменный стол, два стула, книжный шкаф, заваленный сверху журналами до самого потолка, платяной шкаф с привинченным сбоку зеркалом. В углу возле двери лежали крест-накрест гантели.

— Я, тебя дожидаясь, прибрала немного. Пыли нанесло, балкон надо плотно закрывать, когда уходишь... — Лена снова приблизилась к нему. — Валь, что случилось-то?

«Если бы я знал!» — вздохнул Кривошеин.

— Ничего страшного. Так, много шуму...

— А почему милиция?

— Милиция? Ну... вызвали, она и приехала. Вызвали бы пожарную команду — приехала бы пожарная команда.

— Ой, Валька... — Она положила руки на плечи Кривошеину, по-девчоночьи сморщила нос. — Ну почему ты такой?

— Какой? — спросил тот, чувствуя, что глупеет на глазах.

— Ну, такой — вроде и взрослый, а несолидный. И я, когда с тобой, — девчонка девчонкой... Валь, а где Виктор, что с ним? Слушай, — у нее испуганно расширились глаза, — это правда, что он шпион?

— Виктор? Какой еще Виктор?!

— Да ты что?! Витя Кравец — твой лаборант, племянник троюродный.

— Племянник... лаборант... — Кривошеин на миг растерялся. — Ага, понял! Вот оно что...

Лена всплеснула руками.

— Валька, что с тобой? Ты можешь рассказать: что у вас там случилось?!

— Прости, Лен... затмение нашло, понимаешь. Ну конечно, Петя... то есть Витя Кравец, мой верный лаборант, троюродный племянник... очень симпатичный парень, как же... — Женщина все смотрела на него большими глазами. — Ты не



удивляйся, Лен, это просто временное выпадение памяти, так всегда бывает после... после электрического удара. Пройдет, ничего страшного... Так, говоришь, уже пошел шепот, что он шпион? Ох эта Академия наук!

— Значит, правда, что у тебя в лаборатории произошла... катастрофа?! Ну почему, почему ты все от меня скрываешь? Ведь ты мог там... — она прикрыла себе рот ладонью, — нет!

— Перестань, ради бога! — раздраженно сказал Кривошеин. Он отошел, сел на стул. — Мог — не мог, было — не было! Как видишь, все в порядке. («Хотел бы я, чтобы оказалось именно так!») Не могу я ничего рассказывать, пока сам не разберусь во всем как следует... И вообще, — он решил перейти в нападение, — что ты переживаешь? Ну, одним Кривошеиным на свете больше, одним меньше — велика беда! Ты молодая, красивая, бездетная — найдешь себе другого, получше, чем такой стареющий барбос, как я. Взять того же Петю... Витю Кравца: чем тебе не пара?

— Опять ты об этом? — Она улыбнулась, зашла сзади, положила голову Кривошеина себе на грудь. — Ну зачем ты все Витя да Витя? Да не нужен он мне. Пусть он какой ни есть красавец — он не ты, понимаешь? И все. И другие не ты. Теперь я это точно знаю.

— Гм?! — Кривошеин распрямился.

— Ну что «гм»? Ревнюга глупый! Не сидела же я все вечера дома одна монашкой. Приглашали, интересно ухаживали, даже объясняли серьезность намерений... И все равно какие-то они не такие! — Голос ее ликовал. — Не такие, как ты, — и все! Я все равно бы к тебе пришла...

Кривошеин чувствовал затылком тепло ее тела, чувствовал мягкие ладони на своих глазах и испытывал ни с чем не сравнимое блаженство. «Вот так бы сидеть, сидеть: просто я пришел с работы усталый — и она здесь... и ничего такого не было... Как ничего не было?! — Он напрягся. — Все было! Здесь у них случилось что-то серьезное. А я сижу, краду ее ласку!» Он освободился, встал.

— Ну ладно, Лен. Ты извини, я не пойду тебя провожать. Посижу немного да лягу спать. Мне не очень хорошо после... после этой передрыги.

— Так я останусь?

Это был полувопрос, полуутверждение. На секунду Кривошеина одолела яростная ревность. «Я останусь?» — говорила она — и он, разумеется, соглашался. Или сам говорил: «Оставайся сегодня, Ленок» — и она оставалась...

— Нет, Лен, ты иди. — Он криво усмехнулся.

— Значит, все-таки злишься за то, да? — Она с упреком взглянула на него, рассердилась. — Дурак ты, Валька! Дурак набитый, ну тебя! — И повернулась к двери.

Кривошеин стоял посреди комнаты, слушал: щелкнул замок, каблучки Лены застучали по лестнице... Хлопнула дверь подъезда... Быстрые и легкие шаги по асфальту. Он бросился на балкон, чтобы позвать, — вечерний ветерок отрезвил его. «Ну вот, увидел — и разомлел! Интересно, что же она ему наговорила? Ладно, к чертям эти прошлогодние переживания! — Он вернулся в комнату. — Надо выяснить, в чем дело... Стоп! У него должен быть дневник. Конечно!»

Кривошеин выдвигал ящики в тумбах стола, выбрасывал на пол журналы, папки, скоросшиватели, бегло просматривал тетради. «Не то, не то...» На дне нижнего ящика он увидел магнитофонную катушку, на четверть заполненную лентой, и на минуту забыл о поисках: снял со шкафа портативный магнитофон, стер с него пыль, вставил катушку, включил «воспроизведение».

— По праву первооткрывателей, — после непродолжительного шипения сказал в динамиках магнитофона хрипловатый голос, небрежно выговаривая окончания слов, — мы берем на себя ответственность за исследование и использование открытия под названием...

— ...«Искусственный биологический синтез информации», — деловито вставил другой (хотя и точно такой же) голос. — Не очень благозвучно, но зато по существу.

— Идет... «Искусственный биологический синтез информации». Мы понимаем, что это открытие затрагивает жизнь человека, как никакое другое, и может стать либо величайшей опасностью, либо благом для человечества. Мы обязуемся сделать все, что в наших силах, чтобы применить это открытие для улучшения жизни людей...

— Мы обязуемся: пока не исследуем все возможности открытия...

— ...и пока нам не станет ясно, как использовать его на пользу людям с абсолютной надежностью...

— ...мы не передадим его в другие руки...

— ...и не опубликуем сведения о нем.

Кривошеин стоял, прикрыв глаза.

Он будто перенесся в ту майскую ночь, когда они давали эту клятву.

— Мы клянемся: не отдать наше открытие ни за благополучие, ни за славу, ни за бессмертие, пока не будем уверены, что его нельзя обратить во вред людям. Мы скорее уничтожим нашу работу, чем допустим это.

— Мы клянемся! — чуть вразнобой произнесли оба голоса хором. Лента кончилась.

«Горячие мы были тогда... Так, дневник должен быть поблизости». Кривошеин опять нырнул в тумбу, пошарил в нижнем ящике и через секунду держал в руках тетрадь в желтом картонном переплете, обширную и толстую, как книга. На обложке ничего написано не было, но тем не менее Кривошеин сразу убедился, что нашел то, что искал: год назад, приехав в Москву, он купил себе точно такую тетрадь в желтом переплете, чтобы вести дневник.

Он сел за стол, пристроил поудобнее лампу, закурил сигарету и раскрыл тетрадь.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## Открытие себя (О зауряде, который многое смог)

### Глава первая

*Относительность знаний — великая вещь. Утверждение «2 плюс 2 равно 13» относительно ближе к истине, чем «2 плюс 2 равно 41». Можно даже сказать, что переход к первому от второго есть проявление творческой зрелости, научного мужества и неслыханный прогресс науки — если не знать, что 2 плюс 2 равно четырем. В арифметике мы это знаем, но ликовать рано. Например, в физике 2 плюс 2 оказывается меньше четырех — на дефект массы. А в таких тонких науках, как социология или этика, — так там не то что 2 плюс 2, но даже 1 плюс 1 — это то ли будущая семья, то ли сговор с целью ограбления банка.*

К. Прутков-инженер. Мысль № 5

«22 мая. Сегодня я проводил его на поезд. В вокзальном ресторане посетители разглядывали двух взрослых близнецов. Я чувствовал себя неуютно. Он благодушествовал.

— Помнишь, пятнадцать лет назад я... — собственно, ты — уезжал сдавать экзамены в Физико-технический? Все было так же: полоса отчуждения, свобода, неизвестность...

Я помнил. Да, было так же. Тот самый официант с выражением хронического недовольства жизнью на толстом лице

обслуживал вырвавшихся на волю десятиклассников. Тогда нам казалось, что все впереди; так оно и было. Теперь и позади немало всякого: и радостного, и серенького, и такого, что оглянуться боязно, а все кажется: самое лучшее, самое интересное впереди.

Тогда пили наидешевейший портвейн. Теперь официант принес нам «КВВК». Выпили по рюмке.

В ресторане было суетно, шумно. Люди торопливо ели и пили.

— Смотри, — оживился дубль, — вон мамаша кормит двух близнецов. Привет, коллеги! У, какие глазенки... Какими они станут, а? Пока что их опекает мама — и они вон даже кашей ухитрились перемазаться одинаково. Но через пару лет за них возьмется другая хлопотливая мамаша — Жизнь. Один, скажем, ухватит курицу за хвост, выдерет все перья — первый набор неповторимых впечатлений, поскольку на долю другого перьев не останется. Зато другой заблудится со страшным ревом в магазине — опять свое, индивидуальное. Еще через год мама устроит ему выволочку за варенье, которое слопал не он. Опять разное: один познает первую в жизни несправедливость, другой — безнаказанность за проступок... Ох, мамаша, смотрите: если так пойдет, то из одного вырастет запуганный неудачник, а из второго — ловчила, которому все сходит с рук. Наплачетесь, мамаша... Вот и мы с тобой вроде этих близнецов.

— Ну, нас несправедная трепка с пути не собьет — не тот возраст.

— Выпьем за это!

Объявили посадку. Мы вышли на перрон. Он разглагольствовал:

— А интересно, как теперь быть с железобетонным тизисом: «Кому что на роду написано, то и будет»? Допустим, тебе было что-то «на роду написано» — в частности, однозначное перемещение в пространстве и во времени, продвижение по службе и так далее. И вдруг — трибле-трабле-бумс! — Кри-

вошеинных двое. И они ведут разную жизнь в разных городах. Как теперь насчет божественной программы жизни? Или бог писал ее в двух вариантах? А если нас станет десять? А не захотим — и не станет...

Словом, мы оба прикидывались, что происходит обыкновенное: «Провожающие, проверьте, не остались ли у вас билеты отъезжающих!» Билеты не остались. Поезд увез его в Москву.

Договорились писать друг другу по необходимости (могут биться об заклад, он такую необходимость ощутит не скоро), встретиться в июле следующего года. Этот год мы будем наступать на работу с двух сторон: он от биологии, я от системологии. Ну-ну... Когда поезд ушел, я почувствовал, что мне его будет не хватать. Видимо, потому, что впервые я был с другим человеком, как... как с самим собой, иначе не скажешь. Даже между мной и Ленкой всегда есть недосказанное, непонятное, чисто личное. А с ним... впрочем, и с ним у нас тоже кое-что накопилось за месяц совместной жизни. Занятная она, эта хлопотливая мамаша Жизнь!

Я размяк от коньяка и, возвращаясь с вокзала, всю глазел на жизнь, на людей. Женщины с озабоченными лицами заходят в магазины. Парни везут на мотоциклах прижимающихся девушек. У газетных киосков выстраиваются очереди — вот-вот подвезут «Вечерку»... Лица человеческие — какие они все разные, какие понятные и непонятные! Не могу объяснить, как это выходит, но о многих я будто что-то знаю: уголки рта, резкие или мелкие морщины, складки на шее, ямочки щек, угол челюсти, посадка головы и глаза — особенно глаза! — все это знаки дословесной информации. Наверное, от тех времен, когда все мы были обезьянами. Еще недавно я всего этого просто не замечал. Не замечал, например, что люди, стоящие в очереди, некрасивы. Банальность и пустяковость такого занятия, опасение, что не хватит, что кто-то проворный пролезет вперед, накладывают скверный отпечаток на их лица. И пьяные некрасивы, и скандалящие. Зато поглядите на девушку, влюбленно смеющуюся шутке парня.

На мать, кормящую грудью. На мастера, делающего тонкую работу. На размышляющего о чем-то хорошем человека... Они красивы, несмотря на неуместные прыщики, складки, морщины.

Я никогда не понимал красоты животных. По-моему, красивым бывает только человек — и то лишь когда он человек.

Вот ведомый мамой малыш загляделся на меня, как на чудо, шлепнулся и заревел, обижаясь на земное тяготение. Мама, натурально, добавила от себя... Зря пострадал пацан: какое я чудо? Так, толстеющий мужчина с сутулой спиной и банальной физиономией. А может, прав малыш: я действительно чудо? И каждый человек — чудо? Что мы знаем о людях? Что я знаю о себе самом? В задаче под названием «жизнь» люди — это то, что дано и не требуется доказать. Но каждый, оперируя с исходными данными, доказывает что-то свое. Вот дубль, например. Он уехал — это и неожиданно, и логично... Впрочем, стоп! Если уж начинать, то с самого начала.

Смешно вспомнить... В сущности, мои намерения были самые простые: сделать диссертацию. Но строить нечто посредственное и компилятивное (в духе, например, предложенной мне моим бывшим шефом профессором Вольтамперновым темы «Некоторые особенности проектирования диодных систем памяти») было и скучно, и противно. Все-таки я живой человек — хочется, чтоб была нерешенная проблема, чтоб влезть ей в душу, с помощью рассуждений, машин и приборов допросить природу с пристрастием. И добыть то, чего еще никто не знал. Или выдумать то, до чего никто еще не дошел. И чтобы на защите задавали вопросы, на которые было бы приятно отвечать. И чтоб потом знакомые сказали: «Ну, ты дал! Молоток!» Тем более что я могу. На людях это объявлять не стоит, а в дневнике можно: могу. Пять изобретений и две законченные исследовательские работы тому подтверждение. Да и это открытие... э нет. Кривошейн, не торопись причислять его к своим интеллектуальным заслугам! Здесь ты запутался и до сих пор не можешь распутаться.



Словом, это брожение души и толкнуло меня в дебри того направления мировой системологии, где основным оператором является не формула, не алгоритм, даже не рецепт, а случай.

Мы — по ограниченности ума своего — обожаем противопоставлять: физиков — лирикам, волну — частице, растения — животным, машины — людям... Но в жизни и в природе все это не противостоит, а дополняет друг друга. Точно так же логика и случай взаимно дополняют друг друга в познании, в поисках решений. Можно найти (и находят) немало недоказанного, произвольного в математических и логических построениях; можно найти и логичные закономерности в случайных событиях. Например, идейный враг случайного поиска доктор технических наук Вольтампернов никогда *не упустил случая* отбиться от моего предложения (заняться в отделе моделированием случайных процессов) остротой: «Но это же будет, так сказать, моделирование на кофейной гуще!» Это ли не лучшая иллюстрация такой дополнительности! А возразить было трудно. Достижений в этом направлении было мало, многие работы оканчивались неудачами, а идеи... идеи не доходили. В нашем отделе, как на ковбойском Западе, верили лишь в голые факты.

Я уже подумывал по примеру Валерки Иванова, моего товарища и бывшего начальника лаборатории, расплесться с институтом и перебраться в другой город. Но — вот он, случай-кореш! — вполне причинно строители не сдали новый корпус, столь же причинно не истрачены деньги по причинно обоснованным статьям институтского бюджета, и Аркадий Аркадьевич объявляет «конкурс» на расходование восьмидесяти тысяч рублей под идею. Уверен, что тут самый ярый защитник детерминизма постарался бы не оплошать.

Идея к тому времени у меня очертилась: исследовать, как будет вести себя электронная машина, если ее «питать» не



разжеванной до двоичных чисел программой, а обычной — осмысленной и произвольной — информацией. Именно так. По программам-то она работает с восхитительным для корреспондентов блеском. («Новый успех науки: машина проектирует цех за три минуты!» — ведь программисты по скромности своей обычно умалчивают, сколько месяцев они готовили это «трехминутное» решение.)

Что и говорить, мой замысел в элементарном исполнении представлял очевидный для каждого грамотного системолога собачий бред: никак не будет машина себя вести, остановится — и все! Но я и не рассчитывал на *элементарное* исполнение.

...Истратить за пять недель до конца бюджетного года восемьдесят тысяч на оснащение лаборатории даже такого вольного профиля, как случайный поиск, — дело серьезное; недаром снабженческий гений институтского масштаба Альтер Абрамович до сих пор проникновенно и уважительно жмет мне руку при встречах. Впрочем, снабженцу не дано понять, что идея и нестерпимое желание выйти на оперативный простор могут творить чудеса.

Итак, ситуация такая: деньги есть — ничего нет. Строителям на то, чтобы они в лучшем виде сдали флигель-мастерскую, — пять тысяч. (Они меня хотели качать: «Милый! План закроем, премию получим... даешь!») Универсальная вычислительная машина дискретного действия ЦВМ-12 — еще тринадцать тысяч. Всевозможные датчики информации: микрофоны пьезоэлектрические, щупы тензометрические гибкие, фототранзисторы германиевые, газоанализаторы, термисторы, комплект для электромагнитного считывания биопотенциалов мозга с системой СЭД-1 на четыре тысячи микроэлектродов, пульсометры, влагоанализаторы полупроводниковые, матрицы «читающие» фотоэлементные... словом, все, что превращает звуки, изображения, запахи, малые давления, температуру, колебания погоды и даже движения души в электрические импульсы, — еще девять тысяч. На четыре тысячи я накупил реактивов разных, лабораторного стекла, химической

оснастки всякой — из смутных соображений применить и хемотронику, о которой я что-то слышал. (А если уж совсем откровенно, то потому, что это легко было купить в магазине по безналичному расчету. Вряд ли надо упоминать, что наличными из этих восьмидесяти тысяч я не потратил ни рубля.) Все это годилось, но не хватало стержня эксперимента. Я хорошо представлял, что нужно: коммутирующее устройство, которое могло бы переключать и комбинировать случайные сигналы от датчиков, чтобы потом передать их «разумной» машине — этакий кусочек «электронного мозга» с произвольной схемой соединений нескольких десятков тысяч переключающих ячеек... В магазине такое не купишь даже по безналичному расчету — нет. Накупить деталей, из которых строят обычные электронные машины (диоды, триоды, сопротивления, конденсаторы и пр.), да заказать? Долго, а то и вовсе не реально: ведь для заказа надо дать подробную схему, а в таком устройстве *в принципе* не должно быть определенной схемы. Вот уж действительно: пойди туда — не знаю куда, найди то — не знаю что!

И снова случай-друг подарил мне это «не знаю что» и — Лену... Впрочем, стоп! — здесь я не согласен списывать все на удачу. Встреча с Леной — это, конечно, подарок судьбы в чистом виде. Но что касается кристаллоблока... ведь если думаешь о чем-то днями и ночами, то всегда что-нибудь да придумаешь, найдешь, заметишь.

Словом, ситуация такая: до конца года три недели, «не освоены» еще пятьдесят тысяч, видов найти коммутирующее устройство никаких, и я еду в троллейбусе.

— Накупили на пятьдесят тысяч твердых схем, а потом выясняется, что они не проходят по ОТУ! — возмущалась впереди меня женщина в коричневой шубке, обращаясь к соседке. — На что это похоже?

— С ума сойти, — ответствовала та.

— Теперь Пшембаков валит все на отдел снабжения. Но ведь заказывал их он сам!

— Вы подууумайте!

Слова «пятьдесят тысяч» и «твердые схемы» меня насторожили.

— Простите, а какие именно схемы?

Женщина повернула ко мне лицо, такое красивое и сердитое, что я даже оробел.

— «Не-или» и триггеры! — сгоряча ответила она.

— И какие параметры?

— Низковольт... простите, а почему вы вмешиваетесь в наш разговор?!

Так я познакомился с инженером соседнего КБ Еленой Ивановной Коломиец. На следующий день инженер Коломиец заказала ведущему инженеру Кривошеину пропуск в свой отдел. «Благодетель! Спаситель! — раскинул объятия начальник отдела Жалбек Балбекович Пшембаков, когда инженер Коломиец представила меня и объяснила, что я могу выкупить у КБ злосчастные твердые схемы. Но я согласился облагодетельствовать и спасти Жалбека Балбековича на таких условиях: а) все 38 тысяч ячеек будут установлены на панелях согласно прилагаемому эскизу, б) связаны шинами питания, в) от каждой ячейки выведены провода и г) все это должно быть сделано до конца года.

— Производственные мощности у вас большие, вам это нетрудно.

— За те же деньги?! Но ведь сами ячейки стоят пятьдесят тысяч!

— Да, но ведь они оказались не по ОТУ. Уцените.

— Бай ты, а не благодетель, — грустно сказал Жалбек и махнул рукой. — Оформляйте, Елена Ивановна, пустим как наш заказ. И вообще, возлагаю это дело на вас.

Да благословит аллах имя твое, Жалбек Пшембаков!

...Я и по сей день подозреваю, что покорила Лену не своими достоинствами, а тем, что, когда все ячейки были собраны на панелях и грани микроэлектронного куба представляли собой нивы разноцветных проволочек, на ее ра-

стерянный вопрос: «А как же теперь их соединять?» — лихо ответил:

— А как хотите! Синие с красными — и чтоб было приятно для глаз.

Женщины уважают безрассудность.

Вот так все и получилось. Все-таки случай — он свое действие оказывает... (Ох, похоже, что у меня за время этой работы выработалось преклонение перед случаем! Фанатизм новообращенного... Ведь раньше я был, если честно сказать, байбак байбаком, проповедовал житейское смирение перед «несчастливым» случаем (ничего, мол, не попишешь) и презрение к упущенному «счастливому» (ну и пусть...); за такими высказываниями, если разобраться, всегда прячутся наша душевная лень и нерасторопность. Теперь же я стал понимать важное свойство случая — в жизни или в науке, все равно: его одной рассудочностью не возьмешь. Работа с ним требует от человека быстроты и цепкости мышления, инициативы, готовности перестроить свои планы... Но преклоняться перед ним столь же глупо, как и презирать его. Случай не враг и не друг, не бог и не дьявол; он — случай, неожиданный факт, этим все сказано. Овладеть им или упустить его — зависит от человека. А те, кто верит в везение и судьбу, пусть покупают лотерейные билеты!)

— Все-таки «лаборатория случайных поисков» — слишком одиозное название, — сказал Аркадий Аркадьевич, подписывая приказ об образовании неструктурной лаборатории и назначении ведущего инженера Кривошеина ее заведующим с возложением на такового материальной, противопожарной и прочих ответственных. — Не следует давать пищу анекдотам. Назовем осторожней, скажем, «лаборатория новых систем». А там посмотрим.

Это означало, что сотворение диссертации по-прежнему оставалось для меня проблемой № 1. Иначе — «там посмотрим»... Проблема эта не решена мной и по сей день».

## Глава вторая

*Если распознающая машина — персептрон на рисунок слона отзывается сигналом «мура», на изображение верблюда — тоже «мура» и на портрет видного ученого — опять-таки «мура», это не обязательно означает, что она неисправна. Она может быть просто философски настроена.*

К. Прутков-инженер. Мысль № 30

«Конечно, я мечтал — для души, чтоб работалось веселее. Да и как не мечтать, когда властитель умов в кибернетике, доктор нейрофизиологии Уолтер Росс Эшби выдает идеи одна завлекательнее другой! Случайные процессы как источник развития и гибели любых систем... Усиление умственных способностей людей и машин путем отделения в случайных высказываниях ценных мыслей от вздора и сбоев... И наконец, шум как сырье для выработки информации — да-да, тот «белый шум», та досадная помеха, на устранение которой из схем на полупроводниках лично я потратил не один год работы и не одну идею!

Вообще-то, если разобраться, основоположником этого направления надо считать не доктора У. Р. Эшби, а того ныне забытого режиссера Большого театра в Москве, который первым (для создания грозного ропота народа в «Борисе Годунове») приказал каждому статисту повторять свой домашний адрес и номер телефона. Только Эшби предложил решить обратную задачу. Берем шум — шум прибоя, шипение угольного порошка в микрофоне под током, какой угодно, — подаем его на вход некоего устройства. Из шумового хаоса выделяем самые крупные «всплески» — получается последовательность импульсов. А последовательность импульсов — это двоичные числа. А двоичные числа можно перевести в десятичные числа. А десятичные числа — это номера: напри-

мер, номера слов из словаря для машинного перевода. А набор слов — это фразы. Правда, пока еще всякие фразы: ложные, истинные, абракадабра — информационное «сырье». Но в следующем каскаде устройства встречаются два потока информации: известная людям и это «сырье». Операции сравнения, совпадения и несовпадения — и все бессмысленное отфильтровывается, банальное взаимно вычитается. И выделяются оригинальные новые мысли, несделанные открытия и изобретения, произведения еще не родившихся поэтов и прозаиков, высказывания философов будущего... уфф! Машина-мыслитель!

Правда, почтенный доктор не рассказал, как это чудо сделать, — его идея воплощена пока только в квадратики, соединенные стрелками на листе бумаги. Вообще вопрос «как сделать?» не в почете у академических мыслителей. «Если абстрагироваться от трудностей технической реализации, то в принципе можно представить...» Но как мне от них абстрагироваться?

Ну да что ныть! На то я и экспериментатор, чтобы проверять идеи. На то у меня и лаборатория: стены благоухают свежей масляной краской, коричневый линолеум еще не затоптан, шумит воздухоудвка, в шкафу сверкают посуда и банки с реактивами, на монтажном стеллаже лежат новенькие инструменты, бухты разноцветных проводов и паяльники с красными, еще не покрытыми окалиной жалами. На столах лоснятся зализанными пластмассовыми углами приборы — и стрелки в них еще не погнуты, шкалы не запылены. В книжном шкафу выстроились справочники, учебники, монографии. А посередине комнаты высятся в освещении низкого январского солнца параллелепипеды ЦВМ-12 — цифropечатающих автоматов, ажурный и пестрый от проводов куб кристаллоблока. Все новенькое, незахвачанное, без царапин, все излучает мудрую, выпестованную поколениями мастеров и инженеров рациональную красоту.

Как тут не размяться? А вдруг получится?! Впрочем, для себя я мечтал более смиренно: не о сверхмашине, кото-

рая окажется умнее человека (эта идея мне вообще не по душе, хоть я и системотехник), а о машине, которая будет *понимать* человека, чтобы лучше делать свое дело. Тогда мне эта идея казалась доступной. В самом деле, если машина от всего того, что я ей буду говорить, показывать и так далее, обнаружит определенное поведение, то проблема исчерпана. Это значит, что она через свои датчики стала *видеть, слышать, обонять* в ясном человеческом смысле этих слов, без кавычек и оговорок. А ее поведение при этом можно приспособить для любых дел и задач — на то она и *универсальная* вычислительная машина.

Да, тогда, в январе, мне это казалось доступным и простым; море было по колено... Ох эта вдохновляющая сила приборов! Фантастические зеленые петли на экранах, уверенно-сдержанное гудение трансформаторов, непреложные перещелки реле, вспышки сигнальных лампочек на пульте, точные движения стрелок... Кажется, что все измеришь, постигнешь, сделаешь, и даже обыкновенный микроскоп внушает уверенность, что сейчас (при увеличении 400 и в дважды поляризованном свете) увидишь то, что еще никто не видел!

Да что говорить... Какой исследователь не мечтал перед началом новой работы, не примерялся мыслью и воображением к самым высоким проблемам? Какой исследователь не испытывал того всесокрушающего нетерпения, когда стремишься — скорей! скорей! — закончить нудную подготовительную работу — скорей! скорей! — собрать схему опыта, подвести питание и начать!

А потом... потом ежедневные лабораторные заботы, ежедневные ошибки, ежедневные неудачи вышибают дух из твоих мечтаний. И согласен уже на что-нибудь, лишь бы не зря работать.

Так получилось и у меня. Описывать неудачи — все равно что переживать их заново. Поэтому буду краток. Значит, схема опыта такая: к входам ЦВМ-12 подсоединяем кристаллоблок о 88 тысячах ячеек, а к входам кристаллоблока —

весь прочий инвентарь: микрофоны, датчики запахов, влажности, температуры, тензометрические щупы, фотоматрицы с фокусирующей насадкой, «шапку Мономаха» для считывания биотоков мозга. Источник внешней информации — это я сам, то есть нечтодвигающееся, звучащее, меняющее формы и свои координаты в пространстве, обладающее температурой и нервными потенциалами. Можно увидеть, услышать, потрогать щупами, измерить температуру и давление крови, проанализировать запах изо рта, даже залезть в душу и в мысли — пожалуйста! Сигналы от датчиков должны поступать в кристаллоблок, возбуждать там различные ячейки — кристаллоблок формирует и «упаковывает» сигналы в логичные комбинации для ЦВМ-12 — она расправляется с ними, как с обычными задачами, и выдает на выходе нечто осмысленное. Чтобы ей это легче было делать, я ввел в память машины все числа-слова из словаря машинного перевода от «А» до «Я».

И... ничего. Сельсин-моторчики, тонко подвывая, водили щупами и объективами, когда я перемещался по комнате. Контрольные осциллографы показывали вереницу импульсов, которые проскакивали от кристаллоблока к машине. Ток протекал. Лампочки мигали. Но в течение первого месяца рычажки цифропечатающего автомата ни разу не дернулись, чтобы отстучать на перфоленте хоть один знак. Я утыкал кристаллоблок всеми датчиками. Я пел и читал стихи, жестикулировал, бегал и прыгал перед объективами; раздевался и одевался, давал себя ощупывать (бррр! — эти холодные прикосновения щупов...). Я надевал «шапку Мономаха» и — о господи! — старался «внушить»... Я был согласен на любую абракадабру. Но ЦВМ-12 не могла выдать абракадабру, не так она устроена. Если задача имеет решение — она решает, нет — останавливается. И она останавливалась. Судя по мерцанию лампочек на пульте, в ней что-то переключалось, но каждые пять-шесть минут вспыхивал сигнал «стоп», я нажимал кнопку сброса информации. Все начиналось сначала.





Наконец я принялся рассуждать. Машина не могла не производить арифметических и логических операций с импульсами от кристаллоблока — иначе что же ей еще делать? Значит, и после этих операций информация получается настолько сырой и противоречивой, что машина, образно говоря, не может свести логические концы с концами — и стоп! Значит, одного цикла вычислений в машине просто мало. Значит... и здесь мне, как всегда в подобных случаях, стало неловко перед собой, что не додумался сразу, — значит, надо организовать *обратную связь* между машиной (от тех ее блоков, где еще бродят импульсы) и кристаллоблоком! Ну конечно: тогда сырая информация из ЦВМ-12 вернется на входы этого хитрого куба, переработается там еще раз, пойдет в машину и так далее, до полной ясности.

Я воспрянул: ну, теперь!.. Далее можно абстрагироваться от воспоминаний о том, как сгорели полторы сотни логических ячеек и десятков матриц в машине из-за того, что не были согласованы режимы ЦВМ и кристаллоблока (дым, вонь, транзисторы палят, как патроны в печке, а я, вместо того чтобы вырубить напряжение на щите, хватаю со стены огнетушитель), как я добывал новые ячейки, паял переходные схемы, заново подгонял режимы всех блоков — трудности технической реализации, о чем разговор.

Главное — дело сдвинулось с места! 15 февраля в лаборатории раздался долгожданный перестук: автомат отбил на перфоленте строчку чисел! Вот она, первая фраза машины (прежде чем расшифровать ее, я ходил вокруг стола, на котором лежал клочок ленты, курил и опустошенно как-то улыбался: машина начала *вести себя*...): «Память  $10^7$  бит».

Это было не то, чего я ждал. Поэтому я не сразу понял, что машина «желает» (не могу все же писать такое слово без кавычек!) увеличить объем памяти.

Собственно говоря, все было логично: поступает сложная информация, ее необходимо куда-то девать, а блоки

памяти уже забиты. Увеличить объем памяти! Обычная задача на конструирование машин.

Если бы не уважение Альтера Абрамовича, просьба машины осталась бы без последствий. Но он выдал мне три куба магнитной памяти и два — сегнетоэлектрической. И все пошло в дело: спустя несколько дней ЦВМ-12 повторила требование, потом еще и еще... У машины прорезались серьезные запросы... Что я тогда чувствовал? Удовлетворение: наконец что-то получается! Примерял результат к будущей диссертации. Несколько смущало, что машина работает лишь «на себя».

Затем машина начала конструировать себя! В сущности, и это было логично; сложную информацию и перерабатывать надо более сложными схемами, чем стандартные блоки ЦВМ-12.

Работы у меня прибавилось. Печатающий автомат выступивал коды и номера логических ячеек, сообщал, куда и как следует их подсоединить. Поначалу машину удовлетворяли типовые ячейки. Я монтировал их на дополнительной панели.

(Только сейчас начинаю понимать: именно тогда я допустил, если судить с академических позиций, крупную методологическую ошибку в работе. Мне следовало на этом остановиться и проанализировать, какие схемы и какую логику строит для себя мой комплекс: датчики — кристаллоблок — ЦВМ-12 с усиленной памятью. И, только разобравшись во всем, двигаться дальше... Да и то сказать: машина, конструирующая себя без заданной программы, — это же сенсационная диссертация! Если хорошо подать, мог бы прямо на докторскую защититься.

Но разобрало любопытство. Комплекс явно стремился развиваться. Но зачем? Чтобы понимать человека? Не похоже: машину пока явно устраивало, что я понимаю ее, прилежно выполняю заказы... Люди делают машины для своих целей. Но у машины-то какие могут быть цели?! Или это не цель, а некий первородный «инстинкт накопления», кото-

рый, начиная с определенной сложности, присущ всем системам, будь то червь или электронная машина? И до каких пределов развития дойдет комплекс?

Именно тогда я выпустил вожжи из рук — и до сих пор не знаю: плохо или хорошо я сделал...)

В середине марта машина, видимо, усвоив с помощью «шапки Мономаха» сведения о новинках электроники, стала запрашивать криозары и криотроны, туннельные транзисторы, пленочные схемы, микроматрицы... Мне стало вовсе не до анализа: я рыскал по институту и по всему городу, интриговал, льстил, выменивал на что угодно эти «модные» новинки.

И все напрасно! Месяц спустя машина «разочаровалась» в электронике и... «увлеклась» химией.

Собственно, и в этом не было ничего неожиданного: машина выбрала наилучший способ конструировать себя. Ведь химия — это путь природы. У природы не было ни паяльников, ни подъемных кранов, ни сварочных станков, ни моторов, ни даже лопаты — она просто смешивала растворы, нагревала и охлаждала их, освещала, выпаривала... так и получилось все живое на Земле.

В том-то и дело, что в действиях машины все было последовательно и логично! Даже ее пожелания, чтобы я надел «шапку Мономаха», — а их она выстукивала чем дальше, тем чаще, — тоже были прозрачные. Чем перерабатывать сырую информацию от фото-, звуко-, запахо- и прочих датчиков, лучше использовать переработанную мной. В науке многие так делают.

Но бог мой, какие только реактивы не требовала машина: от дистиллированной воды до триметилдифторпарааминтетрахлорфенилсульфата натрия, от ДНК и РНК до бензина марки «Галоша»! А какие замысловатые технологические схемы приходилось мне собирать!

Лаборатория на глазах превращалась в пещеру средневекового алхимика; ее заполнили бутылки, двугорлые колбы, автоклавы, перегонные кубы — я соединял их шлангами,

стеклянными трубками, проводами. Запас реактивов и стекла исчерпался в первую же неделю — приходилось добывать еще и еще.

Благородные, ласкающие обоняние электрика запахи канифоли и нагретой изоляции вытеснили болотные миазмы кислот, аммиака, уксуса и черт знает чего еще. Я бродил в этих химических джунглях как потерянный. В кубах и шлангах булькало, хлюпало, вздыхало. Смеси в бутылках и колбах пузырились, бродили, меняли цвет; в них выпадали какие-то осадки, растворялись и зарождались вновь желеобразные пульсирующие комки, клубки колышущихся серых нитей. Я доливал и досыпал реактивы по численным заказам машины и уже ничего не понимал...

Потом вдруг машина выстучала заказ еще на четыре печатающих автомата. Я ободрился: все-таки машина интересуется не только химией! — развил деятельность, добыл, подсоединил... и пошло!

(Наверное, у меня тогда получился тот самый эшбианский «усилитель отбора информации» или что-то близкое к нему... Впрочем, шут его знает! Именно тогда я запутался окончательно.)

Теперь в лаборатории стало шумно, как в машинописном бюро: автоматы строчили числа. Бумажные ленты с колонками цифр лезли из прямоугольных зевов, будто каша из сказочного горшочка. Я сматывал ленты в рулоны, выбирал числа, разделенные просветами, переводил их в слова, составлял фразы.

«Истины» получались какие-то странные, загадочные. Ну, например: «...двадцать шесть копеек, как с Бердичева» — одна из первых. Что это: факт, мысль? Или намек? А вот эта: «Луковица будто рана стальная...» — похоже на «Улица будто рана сквозная...» Маяковского. Но какой в ней смысл? Что это — жалкое подражание? Или, может, поэтическое открытие, до которого нынешние поэты еще не дошли?

Расшифровываю другую ленту: «Нежность душ, разложенная в ряд Тейлора, в пределах от нуля до бесконечности сходится в бигармоническую функцию». Отлично сказано, а?

И вот так все: либо маловразумительные обрывки, либо «что-то шизофреническое». Я собрался было отнести несколько лент матлингвистам — может, они осилят? — но передумал, побоялся скандала. Вразумительную информацию выдавал лишь первый автомат: «Добавить такие-то реактивы в колбы № 1, № 3 и № 7», «Уменьшить на 5 вольт напряжение на электродах от 34-го до 123-го» и т. д. Машина не забывала «питаться» — значит, она не «сошла с ума». Тогда кто же?..

Самым мучительным было сознание, что ничего не можешь поделать. И раньше у меня в опытах случалось непонятное, но там можно было, на худой конец, тщательно повторить опыт: если сгинул дурной эффект — туда ему и дорога, если нет — исследуем. А здесь — ни переиграть, ни повернуть назад. Даже в снах я не видел ничего, кроме извиляющихся белых змей в чешуе чисел, и напрягался в тоскливой попытке понять: что же хочет сообщить машина?

Я уже не знал, куда девать рулоны перфолент с числами. У нас в институте их используют двояко: те, на которых запечатлены решения новых задач, сдают в архив, а прочие сотрудники разносят по домам и применяют как туалетную бумагу — очень практично. Моих рулонов хватило бы уже на все туалеты Академгородка.

...И когда хорошим апрельским утром (после бессонной ночи в лаборатории: я выполнял все прихоти машины — доливал, досыпал, регулировал...) автомат № 3 выдал мне в числах фразу «Стрептоцидовый стриптиз с трепетом стрептококков...», я понял, что дальше по этому пути идти не надо. Я вынес все рулоны на полянку в парке, растрепал их (кажется, я даже приговаривал: «Стрептоцид, да?.. Бердичев?! Нежность душ?! Луковица...» — точно не помню) и поджег.

Сидел около костра, грелся, курил и понимал, что эксперимент провалился. И не потому, что ничего не получилось, а потому, что вышла «каша»... Когда-то мы с Валеркой Ивановым смеха ради сплавляли в вакуумной печи «металлопроводниковую кашу» из всех материалов, что были тогда под рукой. Получился восхитительной расцветки слиток; мы его разбили для исследований. В каждой крошке слитка можно было обнаружить любые эффекты твердого тела — от туннельного до транзисторного, — и все они были зыбкие, неустойчивые, невоспроизводимые. Мы выбросили «кашу» в мусорный ящик.

Здесь было то же самое. Смысл научного решения в том, чтобы из массы свойств и эффектов в веществе, в природе, в системе, в чем угодно выделить нужное, а прочее подавить. Здесь это не удалось. Машина не научилась понимать мою информацию... Я направился в лабораторию, чтобы исключить напряжение.

И в коридоре мне на глаза попался бак — великолепный сосуд из прозрачного тефлона размерами 2×1,5×1,2 метра; я его приобрел тогда же, в декабре, с целью употребить тефлон для всяких поделок, да не понадобилось. Этот бак навел меня на последнюю и совершенно уж дикую мысль. Я выставил в коридор все печатающие автоматы, на их место установил бак, свел в него провода от машины, концы труб, отrostки шлангов, вылил и высыпал остатки реактивов, залил водой поднявшуюся вонь и обратился к машине с такой речью:

— Хватит чисел! Мир нельзя выразить в двоичных числах, понятно? А даже если и можно, какой от этого толк? Попробуй-ка по-другому: в образах, в чем-то вещественном... черт бы тебя побрал!

Запер лабораторию и ушел с твердым намерением отдохнуть, прийти в себя. Да и то сказать: последнюю неделю я просто не мог спать по ночам.

...Это были хорошие десять дней — спокойные и благоустроенные. Я высыпался, делал зарядку, принимал душ. Мы с Ленкой ездили на мотоцикле за город, ходили в кино, бродили по улицам, целовались. «Ну, как там наши твердые схемы? — спрашивала она. — Не размякли еще?» Я отвечал что-нибудь ей в тон и переводил разговор на иные предметы. «Мне нет дела ни до каких схем, машин, опытов! — напоминал я себе. — Не хочу, чтобы однажды меня увезли из лаборатории очень веселого и в рубашке не по росту с длинными рукавами!»

Но внутри у меня что-то щемило. Бросил, убежал — а что там сейчас делается? И что же это было? (Я уже думал об эксперименте в прошедшем времени: было...) Похоже, что с помощью произвольной информации я возбудил в комплексе какой-то процесс синтеза. Но что за синтез такой дурной? И синтез чего?»

## Глава третья

*Официант обернул бутылку полотенцем  
и откупорил ее. Зал чаполнился ревом и дымом, из  
него под потолком вырисовались небритые щеки и  
зеленая чалма.*

*— Что это?!*

*— Это... это джинн!*

*— Но ведь я заказывал шампанское!  
Принесите жалобную книгу.*

Современная сказка

«...Человек шел навстречу мне по асфальтовой дорожке. За ним зеленели деревья, белели колонны старого институтского корпуса. В парке все было обыкновенно. Я направ-

лялся в бухгалтерию за авансом. Человек шагал чуть враскачку, махал руками и не то чтобы прихрамывал, а просто ставил правую ногу осторожней, чем левую; последнее мне особенно бросилось в глаза. Ветер хлопал полами его плаща, трепал рыжую шевелюру.

Мысль первая: где я видел этого типа? По мере того как мы сближались, я различал покатый лоб с залысинами и крутыми надбровными дугами, плоские щеки в рыжей недельной щетине, толстый нос, высокомерно поджатые губы, скупливо сощуренные веки... Нет, мы определенно виделись, эту заносчивую физиономию невозможно забыть. А челюсть — бог мой! — такую только по праздникам надевать.

Мысль вторая: поздороваться или безразлично пройти мимо? И в этот миг вся окрестность перестала для меня существовать. Я споткнулся на ровном асфальте и стал. Навстречу мне шел я *сам*.

Мысль третья (обреченная): «Ну вот...»

Человек остановился напротив.

— Привет!

— Пппривет... — Из мгновенно возникшего в голове хаоса выскочила спасительная догадка. — Вы что, из киностудии?

— Из киностудии?! Узнаю свою самонадеянность! — Губы двойника растянулись в улыбке. — Нет, Валек, фильм о нас студии еще не планируют. Хотя теперь... кто знает!

— Послушайте, я вам не Валек, а Валентин Васильевич Кривошеин! Всякий нахал!..

Встречный улыбнулся, явно наслаждаясь моей злостью. Чувствовалось, что он более готов к встрече и упивается выигрышностью своего положения.

— И... извольте объяснить: кто вы, откуда взялись на территории института, на какой предмет загримировались и вырядились под меня?!

— Изволю, — сказал он. — Валентин Васильевич Кривошеин, завлабораторией новых систем. Вот мой пропуск, если угодно. — И он действительно показал мой затасканный пропуск. — А взялся я, понятное дело, из лаборатории.



— Ах, даже так? — В подобной ситуации главное — не утратить чувство юмора. — Очень приятно познакомиться. Валентин, значит, Васильевич? Из лаборатории? Так-так... ага... м-да.

И тут я поймал себя на том, что верю ему. Не из-за пропуска, конечно, у нас на пропуске и вахтера не проведешь. То ли я некстати сообразил, что рубец над бровью и коричневая родинка на щеке, которые я в зеркале вижу слева, на самом деле должны быть именно на правой стороне лица. То ли в самой повадке собеседника было нечто исключавшее мысль о розыгрыше... Мне стало страшно: неужели я свихнулся на опытах и столкнулся со своей раздвоившейся личностью? «Хоть бы никто не увидел... Интересно, если смотреть со стороны — я один или нас двое?»

— Значит, из лаборатории? — Я попытался подловить его. — А почему же вы идете от старого корпуса?

— Заходил в бухгалтерию, ведь сегодня двадцать второе. — Он вытащил из кармана пачку пятирублевых, отсчитал часть. — Получи свою долю.

Я машинально взял деньги, пересчитал. Спыхватился:

— А почему только половина?

— О господи! — Двойник выразительно вздохнул. — Нас же теперь двое!

(Этот подчеркнутый выразительный вздох... никогда не стану так вздыхать. Оказывается, вздохом можно унижить. А его дикция — если можно так сказать о всяком отсутствии дикции! — неужели я тоже так сплевываю слова с губ?)

«Я взял у него деньги — значит, он существует, — сообщал я. — Или и это обман чувств? Черт побери, я исследователь, и чихать я хотел на чувства, пока не пойму, в чем дело!»

— Значит, вы настаиваете, что... взялись из запертой и опечатанной лаборатории?

— Угу, — кивнул он. — Именно из лаборатории. Из бака.

— Даже из бака, скажите пожал... Как из бака?!

— Так, из бака. Ты бы хоть скобы предусмотрел, еле вылез...

— Слушай, ты это брось! Не думаешь же ты всерьез убедить меня, что тебя... то есть меня... нет, все-таки тебя сделала машина?

Двойник опять вздохнул самым унижающим образом.

— Я чувствую, тебе еще долго предстоит привыкать к тому, что это случилось. А мог бы догадаться. Ты же видел, как в колбах возникла живая материя?

— Мало ли что! Плесень я тоже видел, как она возникает в сырых местах. Но это еще не значило, что я присутствовал при зарождении жизни... Хорошо, допустим, в колбах и сотворилось что-то живое — не знаю, я не биолог. Но при чем здесь ты?

— То есть как это при чем?! — Теперь пришла его очередь взъяриться. — А что же, по-твоему, она должна создать: червя? лошадь? осьминога?! Машина накапливала и перерабатывала информацию о тебе: видела тебя, слышала, обоняла и осязала тебя, считывала биотоки твоего мозга! Ты ей глаза намозолил! Вот и пожалуйста. Из деталей мотоцикла можно собрать лишь мотоцикл, а отнюдь не пылесос.

— Хм... ну, допустим. А откуда ботинки, костюм, пропуск, плащ?

— О черт! Если она произвела человека, то что ей стоит вырастить плащ?!

(Победный блеск глаз, непреложные жесты, высокомерные интонации... Неужели и я так постыдно нетерпим, когда чувствую превосходство хоть в чем-то?)

— Вырастить? — Я пощупал ткань его плаща. Меня проbral озноб: плащ был не такой.

Огромное вмещается в голове не сразу, во всяком случае в моей. Помню, студентом меня прикрепили к делегату молодежного фестиваля, юноше-охотнику из таймырской тундры; я водил его по Москве. Юноша невозмутимо и равнодушно смотрел на бронзовые скульптуры ВДНХ, на эскалаторы мет-

ро, на потоки машин, а по поводу высотного здания МГУ высказался так: «Из жердей и шкур можно построить маленький чум, из камня — большой...» Но вот в вестибюле ресторана «Норд», куда мы зашли перекусить, он носом к носу столкнулся с чучелом белого медведя с подносом в лапах — и замер, пораженный!

Подобное произошло со мной. Плащ двойника очень походил на мой, даже чернильное пятно красовалось именно там, куда я посадил его, стряхивая однажды авторучку. Но ткань была более эластичная и будто жирная, пуговицы держались не на нитках, а на гибких отростках. Швов в ткани не было.

— Скажи, а он к тебе не прирос? Ты можешь его снять?

Двойник окончательно взбеленился:

— Ну, хватит! Не обязательно раздевать меня на таком ветру, чтобы удостовериться, что я — это ты! Могу и так все объяснить. Рубец над бровью — это с коня слетел, когда батя учил верховой езде! На правой ноге порвана коленная связка — футбол на первенство школы! Что тебе еще напомнить? Как в детстве втихую верил в бога? Или как на первом курсе хвастал ребятам по комнате, что познал не одну женщину, хотя на самом деле потерял невинность на преддипломной практике в Таганроге?

(«Вот сукин сын! И выбрал же...»)

— М-да... Ну, знаешь, если ты — это я, то я от себя не в восторге.

— Я тоже, — буркнул он. — Я считал себя сообразительным человеком... — Лицо его вдруг напряглось. — Тсс, не оборачивайся!

Позади меня послышались шаги.

— Приветствую вас, Валентин Васильевич! — произнес голос Гарри Хилобока, доцента, кандидата, секретаря и сердцеда институтских масштабов.

Я не успел ответить. Двойник роскошно осклабился, склонил голову:

— Добрый день, Гарри Харитонович!

В свете его улыбки мимо нас проследовала пара. Пухленькая черноволосая девушка бойко отстукивала каблук-ами-гвоздиками по асфальту, и Хилобок, приноравливаясь к ее походке, семенил так, будто и на нем была узкая юбка.

— ...Возможно, я не совсем точно понял вас, Людочка, — журчал его баритон, — но я, с точки зрения недопонимания, высказываю свои соображения...

— У Гарри опять новая, — констатировал двойник. — Вот видишь: Хилобок и тот меня признает, а ты сомневаешься. Пошли-ка домой!

Только полной своей растерянностью могу объяснить, что покорно поплелся за ним в Академгородок.

В квартире он сразу направился в ванную. Послышался шум воды из душа, потом он высунулся из двери:

— Эй, первый экземпляр или как там тебя! Если хочешь убедиться, что у меня все в порядке, прошу. Заодно намылишь мне спину.

Я так и сделал. Это был живой человек. И тело у него было мое. Кстати, не ожидал увидеть у себя такие могучие жировые складки на животе и на боках. Надо почаще упражняться с гантелями!

Пока он мылся, я ходил по комнате, курил и пытался привыкнуть к факту: машина создала человека. Машина произвела меня... О природа, неужели это возможно?!

Средневековые завиральные идеи насчет «гомункулуса»... Мысль Винера о том, что информацию в человеке можно «развернуть» в последовательность импульсов, передать их на любое расстояние и снова записать в человека, как изображение на телеэкране... Доказательства Эшби, что между работой мозга и работой машины нет принципиальной разницы — впрочем, еще ранее это доказывал Сеченов... Но ведь все это умные разговоры для разминки мозгов; попробуй на их основе что-то сделать!

И выходит, сделано? Там, за дверью, плещется и со вкусом отфыркивается не Иванов, Петров, Сидоров — тех бы я послал подальше, — но «я»... А эти рулоны с числами? Выходит, я сжег «бумажного себя»?!

Из комбинаций чисел я силился выбрать коротенькие приемлемые истины, а машина копнула глубже. Она накапливала информацию, комбинировала ее так и этак, сравнивала по каналам обратной связи, отбирала и усиливала нужное и на каком-то этапе сложности «открыла» Жизнь!

А потом машина развила ее до уровня человека. Но почему? Зачем? Я же этого не добивался!

Сейчас, по здравом размышлении, я могу свести концы с концами: да, получилось именно то, чего я «добивался»! Я хотел, чтобы машина понимала человека — и только. «Вы меня понимаете?» — «О да!» — отвечает собеседник, и оба, довольные друг другом, расходятся по своим делам. В разговоре это сходит с рук. Но в опытах с логическими автоматами так легко путать понимание и согласие мне не следовало. Поэтому (лучше позже, чем никогда!) стоит разобраться: что есть понимание?

Есть практическое (или целевое) понимание. В машину закладывают программу, она ее понимает — делает то, что от нее ждут. «Тобик, куси!» — и Тобик радостно хватается прохожего за штаны. «Цоб!» — и волы поворачивают направо. «Цобэ!» — налево. Такое примитивное понимание типа «цоб-цобэ» доступно многим живым и неживым системам. Оно контролируется по достижении цели, и чем примитивней система, тем проще должна быть цель и тем подробней программирование задачи.

Но есть и другое понимание — взаимопонимание: полная передача своей информации другой системе. А для этого система, которая усваивает информацию, должна быть никак не проще той, что передает... Я не задал машине цель — все ждал, когда она закончит конструировать и усложнять

себя. А она не кончала и не кончала — и естественно: ее «целью» стало полное понимание моей информации, да не только словесной, а любой. («Цель» машины — это опять произвольное понятие, им тоже баловаться не стоит. Просто — информационные системы ведут себя по законам, чем-то похожим на начала термодинамики; и моя система «датчики — кристаллоблок — ЦВМ-12» должна была прийти в информационное равновесие со средой — как болванка в печи должна прийти в температурное равновесие с жаром углей. Такое равновесие и есть взаимопонимание. Ни на уровне схем, ни на уровне простых организмов к нему не прийти.)

Вот так все и получилось. На взаимопонимание человека способен только человек. На хорошее взаимопонимание — очень близкий человек. На идеальное — только ты сам. И мой двойник — продукт информационного равновесия машины со мной. Но, кстати сказать, клювики «информационных весов» так и не сровнялись — я не присутствовал в лаборатории в это время и не столкнулся со свежевозникшим дублем, как с отражением в зеркале, — носом к носу. А дальше и вовсе все у нас пошло по-разному.

Словом, ужас как бестолково я поставил опыт. Только и моего, что сообразил наладить обратную связь... Интересно переиграть: если бы я вел эксперимент строго, логично, обдуманно, отсекал сомнительные варианты — получил бы я такой результат? Да никогда в жизни! Получился бы благополучный кандидатско-докторский верняк — и все. Ведь в науке в основном происходят вещи посредственные — и я приучил себя к посредственному. Значит, все в порядке? Почему же грызет досада, неудовлетворенность? Почему я все возвращаюсь к этим промахам и ошибкам? Ведь получилось... Что, вышло не по правилам? А есть ли правила для открытий? Много случайного, не можешь приписать все своему «научному видению»? А открытие Гальвани, а X-лучи, а радиоактивность, а электронная эмиссия, а... да любое открытие, с которого начинается та или иная наука, связано

со случаем. Многое еще не понимаю? Тоже как у всех, нечего пыжиться! Откуда же это саморастерзание?

Э, дело, видимо, в другом: сейчас так работать нельзя. Уж очень нынче наука серьезная пошла, не то что во времена Гальвани и Рентгена. Вот так, не подумав, можно однажды открыть и способ мгновенного уничтожения Земли — с блестящим экспериментальным подтверждением...

Дубль вышел из ванной порозовевший и в моей пижаме, пристроился к зеркалу причесываться. Я подошел, встал рядом: из зеркала смотрели два одинаковых лица. Только волосы у него были темнее от влаги.

Он достал из шкафа электробритву, включил ее. Я наблюдал, как он бреется, и чувствовал себя едва ли не в гостях: настолько по-хозяйски непринужденными были его движения. Я не выдержал:

— Слушай, ты хоть осознаешь необычность ситуации?

— Чего? — Он скосил глаза. — Не мешай! — Он явно был по ту сторону факта...»

Аспирант отложил дневник, покачал головой: нет, Валька-оригинал не умел читать в душах!

...Он тоже был потрясен. По ощущениям получалось, будто он проснулся в баке, понимая все: где находится и как возник. Собственно, его открытие начиналось уже тогда... А хамил он от растерянности. И еще, пожалуй, потому, что искал линию поведения — такую линию, которая не низвела бы его в экспериментальные образцы.

Он снова взялся за дневник.

«... — Но ведь ты появился из машины, а не из чрева матери! Из машины, понимаешь!

— Ну так что? А появиться из чрева, по-твоему, просто? Рождение человека куда более таинственное событие, чем мое появление. Здесь можно проследить логическую последовательность, а там? Мальчик получится или девочка? В

папу пойдет или в маму? Умный вырастет или дурак? Сплошной туман! Нам это дело кажется обыкновенным лишь из-за своей массовости. А здесь: машина записала информацию — и воспроизвела ее. Как магнитофон. Конечно, лучше бы она воспроизвела меня, скажем, с Норберта Винера... но что поделаешь! Ведь и на магнитофоне если записаны «Гоп, мои гречаники...», то не надейся услышать симфонию Чайковского.

Нет, чтобы я был таким хамом! Видно, он остро чувствовал щекотливость своего появления на свет, своего положения и не хотел, чтобы я это понял. А чего там не понять: возник из колб и бутылок, как средневековый гомункулус, и бесится... Я часто замечал: люди, которые чуют за собой какую-то неполноценность, всегда нахальнее и хамовитее других. И он стремился вести себя с естественностью новорожденного. Тот ведь тоже не упивается значением события (человек родился!), а сразу начинает скандалить, сосать грудь и пачкать пеленки...»

Аспирант Кривошеин только вздохнул и перевернул страницу.

«— Ну а чувствуешь-то ты себя нормально?»

— Вполне! — Он освежал лицо одеколоном. — С чего бы мне чувствовать себя ненормально? Машина — устройство без фантазии. Представляю, что бы она наворотила, будь у нее воображение! А так все в порядке: я не урод о двух головах, молод, здоров, наполнение пульса отличное. Сейчас поужинаю и поеду к Ленке. Я по ней соскучился.

— Что-о-о-о?! — Я подскочил к нему. Он смотрел на меня с интересом, в глазах появились шкодливые искорки.

— Да, ведь мы теперь соперники! Послушай, ты как-то примитивно к этому относишься. Ревность — чувство пошлое, пережиток. Да и к кому ревновать, рассуди здраво: если Лена будет со мной, разве это значит, что она изменила тебе?



Изменить можно с другим мужчиной, непохожим, более привлекательным, например. А я для нее — это ты... Даже если у нас с ней пойдут дети, то нельзя считать, что она наставила тебе рога. Мы с тобой одинаковые — и всякие там гены, хромосомы у нас тоже... Э-э, осторожней!

Ему пришлось прикрыться дверцей шкафа. Я схватил гантель с пола, двинулся к нему:

— Убью гада! На логику берешь... я тебе покажу логику, гомункулюс! Я тебя породил, я тебя и убью, понял? Думать о ней не смей!

Дубль бесстрашно выступил из-за шкафа. Уголки рта у него были опущены.

— Слушай, ты, Тарас Бульба! Положи гантель! Если уж ты начал *так* говорить, то давай договоримся до полной ясности. «Гомункулюса» и «убью» я оставляю без внимания как продукты твоей истеричности. А вот что касается цитат типа «я тебя породил...» — так ты меня не породил. Я существую не благодаря тебе, и насчет моей подчиненности тебе лучше не заблуждаться...

— То есть как?..

— А так. Положи гантель, я серьезно говорю. Я, если быть точным, возник против твоих замыслов, просто потому, что ты не остановил вовремя опыт, а дальше и хотел бы, да поздно. То есть, — он скверно усмехнулся, — все аналогично той ситуации, в которой и ты когда-то появился на свет по небрежности родителей...

(Все знает, смотри-ка! Было. Матушка моя однажды, после какой-то моей детской шкоды, сказала, чтобы слушался и ценил:

— Хотела я сделать аборт, да передумала. А ты...

Лучше бы она этого не говорила. Меня не хотели. Меня могло не быть!..)

— ...Но в отличие от мамы ты меня не вынашивал, не рожал в муках, не кормил и не одевал, — продолжал дубль. — Ты меня даже не спас от смерти, ведь я существовал и до

этого опыта: я был ты. Я тебе не обязан ни жизнью, ни здоровьем, ни инженерным образованием — ничем! Так что давай на равных.

— И с Леной на равных?!

— С Леной... я не знаю, как быть с Леной. Но ты... ты... — он, судя по выражению лица, хотел что-то прибавить, но воздержался, только резко выдохнул воздух, — ты должен так же уважать мои чувства, как я твои, понял? Ведь я тоже люблю Ленку. И знаю, что она моя — моя женщина, понимаешь? Я знаю ее тело, запах кожи и волос, ее дыхание... и как она говорит: «Ну, Валек, ты как медведь, право!» — и как она морщит нос...

Он вдруг осекся. Мы посмотрели друг на друга, пораженные одной и той же мыслью.

— В лабораторию! — Я первый кинулся к вешалке».

## Глава четвертая

*Если тебе хочется такси, а судьба предлагает автобус — выбирай автобус, ибо он следует по расписанию.*

К. Прутков-инженер. Мысль № 90

«Мы бежали по парку напрямик; в ветвях и в наших ушах свистел ветер. Небо застилали тучи цвета асфальта.

В лаборатории пахло теплым болотом. Лампочки под толчком маячили в тумане. Возле своего стола я наступил на шланг, который раньше здесь не лежал, и отдернул ногу: шланг стал извиваться!

Колбы и бутылки покрылись рыхлым серым налетом; что делалось в них — не разобрать. Журчали струйки воды из дистилляторов, щелкали реле в термостатах. В дальнем углу,

куда уже не добраться из-за переплетения проводов, трубок, шлангов, мигали лампочки на пульте ЦВМ-12.

Шлангов стало куда больше, чем раньше. Мы пробирались среди них, будто сквозь заросли лиан. Некоторые шланги сокращались, проталкивали сквозь себя какие-то комки. Стены бака тоже обросли серой плесенью. Я очистил ее рукавом.

...В золотисто-мутной среде вырисовывался силуэт человека. «Еще дубль?! Нет...» Я всмотрелся. В ванне наметились контуры женского тела, и очертания этого тела я не спутал бы ни с каким другим. Напротив моего лица колыхалась голова без волос. Была какая-то сумасшедшая логика в том, что именно сейчас, когда мы с дублем схлестнулись из-за Лены, машина тоже пыталась решить эту задачу. Я испытывал страх и внутренний протест.

— Но... ведь машина ее не знает!

— Зато ты знаешь. Машина воспроизводит ее по твоей памяти...

Мы говорили почему-то шепотом.

— Смотри!

За призрачными контурами тела Лены стал вырисовываться скелет. Ступни уплотнились в белые фаланги пальцев, в суставы; обозначились берцовые и голенные кости. Изогнулся похожий на огромного кольчатого червя позвоночник, от него разветвились ребра, выросли топорики лопаток. В черепе наметились швы, обрисовались ямы глазниц... Не могу сказать, что это приятное зрелище — скелет любимой женщины, — но я не мог оторвать глаз. Мы видели то, чего еще никто не видел на свете: как машина создает человека!

«По моей памяти, по моей памяти... — лихорадочно соображал я. — Но ведь ее недостаточно. Или машина усвоила общие законы построения человеческого тела? Откуда — ведь я их не знаю!»

Кости в баке начали обрастать прозрачно-багровыми полосами и свивами мышц, а они подернулись желтоватым,

как у курицы, жирком. Красным пунктиром пронизала тело кровеносная система. Все это колебалось в растворе, меняло очертания. Даже лицо Лены с опущенными веками, за которыми виднелись водянистые глаза, искажали гримасы. Машина будто примеривалась, как лучше скомпоновать человека. Я слишком слабо знаком с анатомией вообще и женского тела в частности, чтобы оценить, правильно или нет строила машина Лену. Но вскоре почуял неладное.

Первоначальные контуры ее тела стали изменяться. Плечи, еще несколько минут назад округлые, приобрели угловатость и раздались вширь... Что такое?

— Ноги! — Дубль больно сжал мое предплечье. — Смотри, ноги!

Я увидел внизу жилистые ступни под сорок второй размер ботинок — и от догадки меня прошиб холодный пот: машина исчерпала информацию о Лене и достраивает ее моим телом! Я повернулся к дублю: у него лоб тоже блестел от пота.

— Надо остановить!

— Как? Вырубить ток?

— Нельзя, это сотрет память в машине. Дать охлаждение?

— Чтобы затормозить процесс? Не выйдет, у машины большой запас тепла...

А искаженный образ в баке приобретал все более ясные очертания. Вокруг тела заколыхалась прозрачная мантия — я узнал фасон простенького платья, в котором Лена мне больше всего нравилась. Машина с добросовестностью идиота напояливала его на свое создание...

— Надо приказать машине, внушить... но как?

— Верно! — Дубль подскочил к стеклянному шкафчику, взял «шапку Мономаха», нажал на ней кнопку «Трансляция» и протянул мне. — Надевай и ненавидь Ленку! Думай, что хочешь ее уничтожить... ну!

Я сгоряча схватил блестящий колпак, повертел в руках, вернул.

— Не смогу...

— Тютя! Что же делать? Ведь *это* скоро откроет глаза и...

Он плотно натянул колпак и стал кричать напропалую, размахивая кулаками:

— Остановись, машина! Остановись сейчас же, слышишь! Ты создаешь не макет, не опытный образец — человека! Остановись, идиотище! Остановись по-хорошему!

— Остановись, машина, слышишь! — Я повернулся к микрофонам. — Остановись, а то мы уничтожим тебя!

Тошно вспоминать эту сцену. Мы, привыкшие нажатием кнопки или поворотом ручки прекращать и направлять любые процессы, кричали, объясняли... и кому? — скопищу колб, электронных схем и шлангов. Тьфу! Это была паника.

Мы еще что-то орали противными голосами, как вдруг шланги около бака затряслись от энергичных сокращений, овеществленный образ-гибрид затянула белая муть. Мы замолкли. Через три минуты муть прояснилась. В золотистом растворе не было ничего. Только переливы и блики растекались от середины к краям.

— Ф-фу... — сказал дубль. — До меня раньше как-то не доходило, что человек на семьдесят процентов состоит из воды. Теперь дошло...

Мы выбрались к окну. От влажной духоты мое тело покрылось липким потом. Я расстегнул рубашку, дубль сделал то же. Наступал вечер. Небо очистилось от туч. Стекла институтского корпуса напротив как ни в чем не бывало отражали багровый закат. Так они отражали его в каждый ясный вечер: вчера, месяц, год назад — когда *этого* еще не было. Природа прикидывалась, будто ничего не произошло.

У меня перед глазами стоял обволакиваемый прозрачными тканями скелет.

— Эти анатомические подробности, эти гримасы... бррр! — сказал дубль, опускаясь на стул. — Мне и Лену что-то расхотелось видеть.

Я промолчал, потому что он выразил мою мысль. Сейчас-то все прошло, но тогда... одно дело знать, пусть даже близко, что твоя женщина — человек из мяса, костей и внутренних, другое дело — увидеть это.

Я достал из стола лабораторный журнал, просмотрел последние записи — куцые и бессодержательные. Это ведь когда опыт получается, как задумал, или хорошая идея пришла в голову, то расписываешь подробно; а здесь было:

«8 апреля. Раскодировал числа, 860 строк. Неудачно».

«9 апреля. Раскодировал выборочно числа с пяти рулонов. Ничего не понял. Шизофрения какая-то!»

«10 апреля. Раскодировал с тем же результатом. Долил в колбы и бутылки: № 1, 3 и 5 глицерина по 2 л; № 2 и 7 — раствора тиомочевины по 200 мл; во все — дистиллята по 2—3 л».

«11 апреля. «Стрептоцидовый стриптиз с трепетом стрептококков». Ну — все...»

А сейчас возьму авторучку и запишу: «22 апреля. Комплекс воспроизвел меня, В. В. Кривошеина. Кривошеин № 2 сидит рядом и чешет подбородок». Анекдот!

И вдруг меня подхватила волна сатанинской гордости. Ведь открытие-то есть — да какое! Оно вмещает в себя и системологию, и электронику, и бионику, и химию, и биологию — все, что хотите, да еще сверх того что-то. И сделал его я! Как сделал, как достиг — вопрос второй. Но главное: я! Я!!! Теперь пригласить Государственную комиссию да продемонстрировать возникновение в баке нового дубля... Представляю, какие у всех будут лица! И знакомые теперь уж точно скажут: «Ну ты да-ал!», скажут: «Вот тебе и Кривошеин!» И Вольтампернов прибежит смотреть... Я испытывал неудержимое желание захихикать; только присутствие собеседника остановило меня.

— Да что знакомые, Вольтампернов, — услышал я свой голос и не сразу понял, что это произнес дубль. — Это, Валек, Нобелевская премия!

«А и верно: Нобелевская! Портреты во всех газетах... И Ленка, которая сейчас относится ко мне несколько свысока — конечно, она красивая, а я нет! — тогда поймет... И посредственная фамилия Кривошеин (я как-то искал в энциклопедии знаменитых однофамильцев — и не нашел: Кривошлыков есть, Кривоногов есть, а Кривошеиных еще нет) будет звучать громоподобно: Кривошеин! Тот самый!...»

Мне стало не по себе от этих мыслей. Честолюбивые мечтания сгнули. Действительно: что же будет? Что делать с этим открытием дальше? Я захлопнул журнал.

— Так что: будем производить себе подобных? Устроим демпинг Кривошеиных? Впрочем, и других можно, если их записать в машину... Черт-те что! Как-то это... ни в какие ворота не лезет.

— М-да. А все было тихо-мирно... — Дубль покрутил головой.

Вот именно: все было тихо-мирно... «Хорошая погода, девушка. Вам в какую сторону?» — «В противоположную!» — «И мне туда, а как вас зовут?» — «А вам зачем?» — Ну и так далее, вплоть до Дворца бракосочетаний, родильного дома, порции ремня за убитую из рогатки кошку и сжигаемой после окончания семи классов ненавистой «Зоологии». Как хорошо сказано в статье председателя Днепровской конторы загса: «Семья есть способ продолжения рода и увеличения населения государства». И вдруг — да здравствует наука! — появляется конкурентный способ: засыпаем и заливаем реактивы из преysкуранта Главхимторга, вводим через систему датчиков информацию — получаем человека. Причем сложившегося, готового: с мышцами и инженерной квалификацией, с привычками и жизненным опытом... «Выходит, мы заманиваемся на самое человеческое, что есть в людях: на любовь, на отцовство и материнство, на детство! — Меня стал преследовать озноб. — И выгодно. Выгодно — вот что самое страшное в наш рационалистический век!»

Дубль поднял голову, в глазах у него были тревога и замешательство.

— Слушай, но почему страшно? Ну, работали — точнее, ты работал. Ну, сделал опытную установку, а на ней открытие. Способ синтеза информации в человека — заветная мечта алхимиков. Расширяет наши представления о человеке как информационной системе... Ну и очень приятно! Когда-то короли щедро ассигновали такие работы... правда, потом рубили головы неудачливым исследователям, но если подумать, то и правильно делали: не можешь — не берись. Но нам-то ничего не будет. Даже наоборот. Почему же так страшно?

«Потому что сейчас не средние века, — отвечал я себе. — И не прошлое столетие. И даже не начало XX века, когда все было впереди. Тогда первооткрыватели имели моральное право потом развести руками: мы, мол, не знали, что так скверно выйдет... Мы, их счастливые потомки, такого права не имеем. Потому что мы знаем. Потому что все уже было.

...Все было: газовые атаки — по науке; Майданеки и Освенцимы — по науке; Хиросима и Нагасаки — по науке. Планы глобальной войны — по науке, с применением математики. Ограниченные войны — тоже по науке... Десятилетия минули с последней мировой войны: разобрали и застроили развалины, сгнили и смешались с землей 50 миллионов трупов, народились и выросли новые сотни миллионов людей — а память об этом не слабеет. И помнить страшно, а забыть еще страшнее. Потому что это не стало прошлым. Осталось знание: люди это могут.

Первооткрыватели и исследователи — всего лишь специалисты своего дела. Чтобы добыть у природы новые знания, им приходится ухлопать столько труда и изобретательности, что на размышление не по специальности: а что из этого в жизни получится? — ни сил, ни мыслей не остается. И тогда набегают те, кому это «по специальности»: людишки, для которых любое изобретение и открытие — лишь новый способ для достижения старых целей: власти, богатства, влия-



ния, почестей и покупных удовольствий. Если дать им наш способ, они увидят в нем только одно «новое»: выгодно! Дублировать знаменитых певцов, актеров и музыкантов? Нет, не выгодно: грампластинки и открытки выпускать прибыльнее. А выгодно будет производить массовым тиражом *людей для определенного назначения*: избирателей для победы над политическим противником (рентабельнее, чем тратить сотни миллионов на обычную избирательную кампанию), женщин для публичных домов, работников дефицитных специальностей, солдат-сверхсрочников... можно и специалистов по-мирней с узко направленной одаренностью, чтобы делали новые изобретения и не совались не в свои дела. Человек для определенного назначения, *человек-вещь* — что может быть хуже! Как мы распоряжаемся вещами и машинами, исполнившими назначение, отслужившими свое? В переплавку, в костер, под пресс, на свалку. Ну и с людьми-вещами можно так же».

— Но ведь это там... — Дубль неопределенно указал рукой. — У нас общественность не допустит.

«А разве нет у нас людей, которые готовы употребить все: от идей коммунизма до фальшивых радиопередач, от служебного положения до цитат из классиков, — чтобы достичь благополучия, известного положения, а потом еще большего благополучия для себя, и еще, и еще, любой ценой? Людей, которые малейшее покушение на свои привилегии норовят истолковать как всеобщую катастрофу?»

— Есть, — кивнул дубль. — И все же люди — в основном народ хороший, иначе мир давно бы превратился в клубок кусающих друг друга подонков и сгинул бы без всякой термоядерной войны. Но... Ведь если не считать мелких природных неприятностей: наводнений, землетрясений, вирусного гриппа — во всех своих бедах, в том числе и в самых ужасных, виноваты сами люди. Виноваты, что подчинялись тому, чему не надо подчиняться, соглашались с тем, чему надо противостоять, считали свою хату с краю. Виноваты тем,

что выполняли работу, за которую больше платят, а не ту, что нужна всем людям и им самим... Если бы большинство людей на Земле соразмеряло свои дела и занятия с интересами человечества, нам нечего было бы опасаться за это открытие. Но этого нет. И поэтому, окажись сейчас в опасной близости от него хоть один влиятельный и расторопный подлец, — наше открытие обернется страшилищем.

Потому что применение научных открытий — это всего лишь техника. Когда-то техника была выдумана для борьбы человека с природой. Теперь ее легко обратить на борьбу людей с людьми. А на этом пути техника никаких проблем не решает, только плодит их. Сколько сейчас в мире научных, технических, социальных проблем вместо одной, решенной два десятилетия назад: как синтезировать гелий из водорода?

Выдадим мы на-гора свое открытие — и жить станет еще страшнее. И будет нам «слава»: каждый человек будет точно знать, кого и за что проклясть.

— Слушай, а может... и вправду? — сказал дубль. — Ничего мы не видели, ничего не знаем. Хватит с людей страшных открытий, пусть управятся хоть с теми, что есть. Вырубим напряжение, перекроем краны... А?

«И сразу — никакой задачи. Израсходованные реактивы спишу, по работе отчитаюсь как-нибудь. И займусь чем-то попроще, поневиннее...»

— А я уеду во Владивосток монтировать оборудование в портах, — сказал дубль.

Мы замолчали. За окном над черными деревьями пылала Венера. Плакала где-то кошка голосом ребенка. В тишине парка висела высокая воющая нота — это в Ленкином КБ шли стендовые испытания нового реактивного двигателя. «Работа идет. Что ж, все правильно: 41-й год не должен повториться... — Я раздумывал над этим, чтобы оттянуть решение. — В глубоких шахтах рвутся плутониевые и водородные бомбы — высокооплачиваемым ученым и инженерам необходимо совершенствовать ядерное оружие... А на

бетонных площадках и в бетонных колодцах во всех уголках планеты смотрят в небо остроносые ракеты. Каждая нацелена на свой объект, электроника в них включена, вычислительные машины непрерывно прошупывают их «тестами»: нет ли где неисправности? Как только истекает определенный исследованиями по надежности срок службы электронного блока, тотчас техники в мундирах отключают его, вынимают из гнезда и быстро, слаженно, будто вот-вот начнется война, в которой надо успеть победить, вталкивают в пустое гнездо новый блок. Работа идет».

— Вздор! — сказал я. — Человечество для многого не созрело: для ядерной энергии, для космических полетов — так что? Открытие — это объективная реальность, его не закроешь. Не мы, так другие дойдут — исходная идея опыта проста. Ты уверен, что они лучше распорядятся открытием? Я — нет... Поэтому надо думать, как сделать, чтобы это открытие не стало угрозой для человека.

— Сложно... — вздохнул дубль, поднялся. — Я посмотрю, что там в баке делается.

Через секунду он вернулся. На нем лица не было.

— Валька, там... там батя!

У радистов есть верная примета: если сложная электронная схема заработала сразу после сборки, добра не жди. Если она на испытаниях не забарахлит, то перед приемочной комиссией осрамит разработчиков; если комиссию пройдет, то в серийном производстве начнет объявляться недоделка за недоделкой. Слабина всегда обнаружится.

Машина вознамерилась прийти в информационное равновесие уже не со мной, непосредственным источником информации, а со всей информационной средой, о которой узнала от меня, со всем миром. Поэтому возникала Лена, поэтому появился отец.

Поэтому же было и все остальное, над чем мы с дублем хлопотали без отдыха целую неделю. Эта деятельность машины была продолжением прежней логической линии раз-

вития; но технически это была попытка с негодными средствами. Вместо «модели мира» в баке получился бред...

Не могу писать о том, как в баке возникал отец, — страшно. Таким он был в день смерти: рыхлый, грузный старик с широким бритым лицом, размытая седина волос вокруг черепа. Машина выбрала самое последнее и самое тяжелое воспоминание о нем. Умирал он при мне, уже перестал дышать, а я все старался отогреть холодеющее тело...

Потом мне несколько раз снился один и тот же сон: я что есть силы тру холодное на ощупь тело отца — и оно теплеет, батя начинает дышать, сначала прерывисто, предсмертно, потом обыкновенно — открывает глаза, встает с постели. «Прихворнул немного, сынок, — говорит извиняющимся голосом. — Но все в порядке». Этот сон был как смерть наоборот.

А сейчас машина создавала его, чтобы он еще раз умер при нас. Разумом мы понимали, что никакой это не батя, а очередной информационный гибрид, которому нельзя дать завершиться; ведь неизвестно, что это будет — труп, сумасшедшее существо или еще что-то. Но ни он, ни я не решались надеть «шапку Мономаха», скомандовать машине: «Нет!» Мы избегали смотреть на бак и друг на друга. Потом я подошел к щиту, дернул рубильник. На миг в лаборатории стало темно и тихо.

— Что ты делаешь?! — Дубль подскочил к щиту, врубил энергию.

Конденсаторы фильтров не успели разрядиться за эту секунду, машина работала. Но в баке все исчезло.

Потом я увидел в баке весь хаос своей памяти: учительницу ботаники в 5-м классе Елизавету Моисеевну; девочку Клаву из тех же времен — предмет мальчишеских чувств; какого-то давнего знакомого с поэтическим профилем; возчика-молдаванина, которого я видел мельком на базаре в Кишиневе... скучно перечислять. Это была не «модель мира»: все образовывалось смутно, фрагментарно, как оно и хранится в умеющей забывать человеческой памяти. У Елизаве-

ты Моисеевны, например, удались лишь маленькие строгие глазки под вечно нахмуренными бровями, а от возчика-молдаванина вообще осталась только баранья шапка, надвинутая на самые усы...

Спать мы уходили по очереди. Одному приходилось дежурить у бака, чтобы вовремя надеть «шапку» и приказать машине: «Нет!»

Дубль первый догадался сунуть в жидкость термометр (приятно было наблюдать, в какое довольное настроение привел его первый самостоятельный творческий акт!). Температура оказалась 40 градусов.

— Горячный бред...

— Надо дать ей жаропонижающее, — сболтнул я полушутя.

Но, поразмыслив, мы принялись досыпать во все питающие машину колбы и бутылки хинин. Температура упала до 39 градусов, но бред продолжался. Машина теперь комбинировала образы, как в скверном сне, — лицо начальника первого отдела института Иоганна Иоганновича Кляппа плавно приобретало черты Азарова, у того вдруг отрастали хилобоковские усы...

Когда температура понизилась до 38 градусов, в баке стали появляться плоские, как на экране, образы политических деятелей, киноартистов, передовиков производства вместе с уменьшенной Доской почета, Ломоносова, Фарадея, известной в нашем городе эстрадной певицы Марии Трапезунд. Эти двухмерные тени — то цветные, то черно-белые — возникали мгновенно, держались несколько секунд и растворялись. Похоже, что моя память истощалась.

На шестой или седьмой день (мы потеряли счет времени) температура золотистой жидкости упала до 36,5.

— Норма! — И я поплелся отсыпаться.

Дубль остался дежурить. Ночью он растолкал меня:

— Вставай! Пойдем, там машина строит глазки.

Спросонок я послал его к черту. Он вылил на меня кружку воды. Пришлось пойти.

\* \* \*

...Поначалу мне показалось, что в жидкости бака плавают какие-то пузыри. Но это были глаза — белые шарики со зрачком и радужной оболочкой. Они возникали в глубине бака, всплывали, теснились у прозрачных стенок, следили за нашими движениями, за миганием лампочек на пульте ЦВМ-12: голубые, серые, карие, зеленые, черные, рыжие, огромные с фиолетовым зрачком лошадиные, отсвечивающие и с темной вертикальной щелью — кошачьи, черные птичьи бисеринки... Здесь собрались, наверное, глаза всех людей и животных, которые мне приходилось видеть. Оттого, что без век и ресниц, они казались удивленными.

К утру глаза начали появляться и возле бака: от живых шлангов выпячивались мускулистые отростки, заканчивающиеся веками и ресницами. Веки раскрывались. Новые глаза смотрели на нас пристально и с каким-то ожиданием. Было не по себе под бесчисленными молчаливыми взглядами.

А потом... из бака, колб и от живых шлангов стремительно, как побеги бамбука, стали расти щупы и хоботки. Было что-то наивное и по-детски трогательное в их движениях. Они сплетались, касались стенок колб и приборов, стен лаборатории. Один щупик дотянулся до оголенных клемм электрошита, коснулся и, дернувшись, повис, обугленный.

— Эге, это уже серьезно! — сказал дубль.

Да, это было серьезно: машина переходила от созерцательного способа сбора информации к деятельному и строила для этого свои датчики, свои исполнительные механизмы... Вообще, как ни назови ее развитие: стремление к информационному равновесию, самоконструирование или биологический синтез информации — нельзя не восхищаться необыкновенной цепкостью и мощностью этого процесса. Не так, так эдак — но не останавливаться!

Но после всего, что мы наблюдали, нам было не до восторгов и не до академического любопытства. Мы догадывались, чем это может кончиться.

— Ну хватит! — Я взял со стола «шапку Мономаха». — Не знаю, удастся ли заставить ее делать то, что мы хотим...

— Для этого неплохо бы знать, чего мы хотим, — вставил дубль.

— ...но для начала мы должны заставить ее не делать того, чего мы не хотим.

«Убрать глаза! Убрать щупы! Прекратить овеществление информации! Убрать глаза! Убрать щупы! Прекратить...» — мы повторяли это со всем напряжением мысли через «шапку Мономаха», произносили в микрофоны.

А машина по-прежнему поводила живыми щупами и тарасилась на нас сотнями разнообразных глаз. Это было похоже на поединок.

— Доработались, — сказал дубль.

— Ах так! — Я ударил кулаком по стенке бака. Все щупы задергались, потянулись ко мне — я отступил. — Валька, перекрывай воду! Отсоединяй питательные шланги.

«Машина, ты погибнешь. Машина, ты умрешь от жажды и голода, если не подчинишься...»

Конечно, это было грубо, неизящно, но что оставалось делать? Двойник медленно закручивал вентиль водопровода. Звон струек из дистилляторов превратился в дробь капель. Я защемлял шланги зажимами... И, дрогнув, обвисли щупы! Начали скручиваться, втягиваться обратно в бак. Потускнели, заслезились и сморщились шарики глаз.

Час спустя все исчезло. Жидкость в баке стала по-прежнему золотистой и прозрачной.

— Так-то оно лучше! — Я снял «шапку» и смотал провода.

Мы снова пустили воду, сняли зажимы и сидели в лаборатории до поздней ночи, курили, разговаривали ни о чем, ждали, что будет. Теперь мы не знали, чего больше бояться: нового машинного бреда или того, что замордованная таким обращением система распадется и прекратит свое существование. В день первый мы еще могли обсуждать идею

«а не закрыть ли открытие?». Теперь же нам становилось не по себе при мысли, что оно может «закраться» само, поманит небывалым и исчезнет.

То я, то дубль подходили к баку, с опаской втягивали воздух, боясь почуять запахи тления или тухлятины; не доверяя термометру, трогали ладонями стенки бака и теплые живые шланги: не остывают ли? Не пынут ли снова горячечным жаром?

Но нет, воздух в комнате оставался теплым, влажным и чистым, будто здесь находилось большое опрятное животное. Машина жила. Она просто ничего не предпринимала без нас. Мы ее подчинили!

В первом часу ночи я посмотрел на своего двойника, как в зеркало. Он устало помаргивал красными веками, улыбался:

— Кажется, все в порядке. Пошли отсыпаться, а?

Сейчас не было искусственного дубля. Рядом сидел товарищ по работе, такой же усталый и счастливый, как я сам. И ведь — странное дело! — я не испытывал восторга при встрече с ним в парке, меня не тешила фантазмагория памяти в баке... а вот теперь мне стало покойно и радостно. Все-таки самое главное для человека — чувствовать себя хозяином положения!»

## Глава пятая

*Не сказывается ли в усердном поиске причин-  
ных связей собственнический инстинкт людей?  
Ведь и здесь мы ищем, что чему принадлежит.*

К. Прутков-инженер. Мысль № 10

«Мы вышли в парк. Ночь была теплая. От усталости мы оба забыли, что нам не следует появляться вместе, и вспомнили об этом только в проходной. Старик Вахтерич в упор



смотрел на нас слегка осовелыми голубыми глазками. Мы замерли.

— А, Валентин Васильевич! — вдруг обрадовался дед. — Уже оддежурили?

— Да... — в один голос ответили мы.

— И правильно. — Вахтерыч тяжело поднялся, отпер выходную дверь. — И ничего с этим институтом не сделается, и никто его не украдет, и всего вам хорошего, а мне еще сидеть. Люди гуляют, а мне еще сидеть, так-то...

Мы выскочили на улицу, быстро пошли прочь.

— Вот это да! — Тут я обратил внимание, что фасад нового корпуса института украшен разноцветными лампочками. — Какое сегодня число?

Дубль прикинул по пальцам:

— Первое... нет, второе мая. С праздничком, Валька!

— С прошедшим... Вот тебе на!

Я вспомнил, что мы с Леной условились пойти Первого мая в компанию ее сотрудников, а второго поехать на мотоцикле за Днепр, и скис. Обиделась теперь насмерть.

— А Лена сейчас танцует... где-то и с кем-то, — молвил дубль.

— Тебе-то что за дело?

Мы замолчали. По улице неслись украшенные зеленью троллейбусы. На крышах домов стартовали ракеты-носители из лампочек. За распахнутыми настезь окнами танцевали, пели, чокались...

Я закурил, стал обдумывать наблюдения за «машинной-маткой» (так мы окончательно назвали весь комплекс). «Во-первых, она не машина-оракул и не машина-мыслитель, никакого отбора информации в ней не происходит. Только комбинации — иногда осмысленные, иногда нет. Во-вторых, ею можно управлять не только энергетическим путем (зажимать шланги, отключать воду и энергию — словом, брать за горло), но и информационным. Правда, пока она отзывалась лишь на команду «Нет!», но лиха беда начало. Кажется,

удобней всего командовать ею через «шапку Мономаха» биопотенциалами мозга... В-третьих, «машина-матка» хоть и очень сложная, но машина: искусственное создание без цели. Стремление к устойчивости, к информационному равновесию — конечно, не цель, а свойство, такое же, как и у аналитических весов. Только оно более сложно проявляется: через синтез в виде живого вещества внешней информации. Цель всегда состоит в решении задачи. Задачи перед ней никакой не было — вот она и дурила от избытка возможностей. Но...»

— ...задачи для нее должен ставить человек, — подхватил дубль; меня уже перестала удивлять его способность мыслить параллельно со мной. — Как и для всех других машин. Следовательно, как говорят бюрократы, вся ответственность на нас.

Думать об ответственности не хотелось. Работаешь, работаешь, себя не жалеешь — и на тебе, еще и отвечать приходится. А люди вон гуляют... Упустили праздник, идиоты. Вот так и жизнь пройдет в вонючей лаборатории...

Мы свернули на каштановую аллею, что вела в Академгородок. Впереди медленно шла пара. У нас с дублем, трезвых, голодных и одиноких, даже защемило сердца: до того славно эти двое вписывались в подсвеченную газосветными трубками перспективу аллеи. Он, высокий и элегантный, поддерживал за талию ее. Она чуть склонила пышную прическу к его плечу. Мы непроизвольно ускорили шаги, чтобы обогнать их и не растревлять душу лирическим зрелищем.

— Сейчас послушаем магнитофон, Танечка! У меня такие записи — пальчики оближете! — донесся до нас журчащий голос Хилобока, и мы оба сбились с ноги. Очарование пейзажа сгнуло.

— У Гарри опять новая, — констатировал дубль.

Приблизившись, мы узнали и девушку. Еще недавно она ходила на практику в институт в школьном передничке; те-

перь, кажется, работает лаборанткой у вычислителей. Мне нравилась ее внешность: пухлые губы, мягкий нос, большие карие глаза, мечтательные и доверчивые.

— А когда Аркадий Аркадьевич в отпуске или в загранкомандировке, то мне многое приходится вместо него решать... — распускал павлиний хвост Гарри. — Да и при нем... что? Конечно, интересно, а как же!

Идет Танечка, склонив голову к лавсановому хилобоковскому плечу, и кажется ей доцент Гарри рыцарем советской науки. Может, он даже страдает лучевой болезнью, как главный герой в фильме «Девять дней одного года»? Или здоровье его вконец подорвано научными занятиями, как у героя фильма «Все остается людям»? И млеет, и себя воображает соответствующей героиней, дуреха... Здоров твой ученый кавалер, Танечка, не сомневайся. Не утомил он себя наукой. И ведет он сейчас тебя прямым путем к первому крупному разочарованию в жизни. По этой части он тоже артист...

Дубль замедлил шаг, сказал вполголоса:

— А не набить ли ему морду? Очень просто: ты идешь сейчас к знакомым, обеспечиваешь алиби. А я...

Своим высказыванием он опередил меня на секунду. Он вообще торопился высказываться, чтобы утвердить свою самобытность, — понимал, что мы думаем одинаково... Но коль скоро опередил, то во мне тотчас сработал второй механизм самоутверждения: противостоять чужой идее.

— Из-за девчонки, что ли? Да шут с ней, не эта, так другая нарвется.

— И из-за нее, и вообще за все. Для души. Ну, помнишь, как он пустил вонь о нашей работе? — У него сузились глаза. — Помнишь?

Я помнил. Тогда я работал в лаборатории Валерия Иванова. Мы разрабатывали блоки памяти для оборонных машин. Дела в мире происходили серьезные — мы вкалывали, не замечая ни выходных, ни праздников, и сдали работу на полгода раньше правительственного срока... А вскоре ин-

ститутские «доброжелатели» передали нам изречение Хилобока: «В науке тот, кто выполняет исследования раньше срока, либо карьерист, либо очковтиратель, либо и то и другое!» Изречение стало популярным: у нас немало таких, кому не угрожает опасность прослыть карьеристом и очковтирателем по нашему способу. Самолюбивый и горячий Валерка все порывался поговорить с Хилобоком по душам, потом разругался с Азаровым и ушел из института.

У меня кулаки потяжелели от этого воспоминания. «Может, пусть дубль обеспечит алиби, а я?..» И вдруг мне представилось: трезвый интеллигентный человек дубасит другого интеллигентного человека в присутствии девушки... Ну что это такое!

Я тряхнул головой, чтобы прогнать из воображения эту картину.

— Нет, это все-таки не то. Нельзя поддаваться низменным движениям души.

— А что «то»?

Действительно: а что «то»? Я не знаю.

— Тогда надо хоть уберечь эти мечтательные глазки от потных Гарриных объятий... — Дубль задумчиво покусал губу и толкнул меня под дерево. (Опять проявил инициативу.) — Гарри Харитонович, можно вас на пару конфиденциальных слов?

Хилобок и девушка оглянулись.

— А, Валентин Васильевич! Пожалуйста... Танечка, я вас догоню. — Доцент повернул к дублю.

«Ага!» — Я понял его замысел и мелкими перебежками стал пробираться в тени деревьев. Все получилось удачно. Танечка дошла до развилки аллей, остановилась, оглянулась и увидела того самого человека, который минуту назад отозвал ее кавалера.

— Таня, — сказал я, — Гарри Харитонович просил передать свои извинения, сожаления и прочее. Он не вернется. Дело в том, что приехала его жена и... Куда же вы? Я вас провожу!

Но Танечка уже мчалась, закрыв лицо руками, прямо к троллейбусной остановке.

Я направился домой. Через несколько минут вернулся двойник.

— Подожди, — сказал я, прежде чем он открыл рот. — Ты объяснил Гарри, что Таня невеста твоего знакомого, мастера спорта по боксу?

— И по самбо. А ты ей — насчет жены?

— Точно. Хоть какое-то полезное применение открытию нашли...

Мы разделись, помылись, начали располагаться ко сну. Я постелил себе на тахте, он — на раскладушке.

— Кстати, о Хилобоке. — Дубль сел на раскладушку. — Что же ты молчишь, что на ближайшем ученом совете будет обсуждение нашей поисковой темы? Если бы Гарри мне любезно не напомнил, я пребывал бы в неведении. «Пора, пора, Валентин Васильевич, а то ведь уже полгода работаете, а до сих пор не обсуждали. Конечно, свободный поиск вещь хорошая, но заявки на оборудование и материалы подаете, а мне вон из бухгалтерии все звонят, интересуются, по какой теме списывать. И разговоры в институте, что Кривошеин занимается чем хочет, а другим хоздоговора и заказы выполнять... Я, конечно, понимаю, что для диссертации вам надо, но необходимо вашу тему оформить, внести в общий план...» Сразу, шельмец, о делах вспомнил, когда я ему про мастера спорта объяснил.

— Хилобока послушать, так вся наука делается для того, чтобы не огорчать бухгалтерию...

Я объяснил дублю, в чем дело. Когда из машины повалили невразумительные числа, я от полного отчаяния позвонил Азарову, что хотел бы с ним посоветоваться. Аркадию Аркадьевичу, как всегда, было некогда, и он сказал, что лучше обсудить тему на ученом совете; он попросит Хилобока организовать обсуждение.

— Тем временем из яичка, которое хорошо было бы к красну дню, вылупился интересный результат, — заключил дубль. — Так доложим? На предмет написания кандидатской диссертации. Вон и Хилобок понимает, что надо...

— И на защите я буду демонстрировать тебя, да?

— Кто кого будет демонстрировать, это вопрос второй, — уклончиво ответил он. — Но, вообще говоря... нельзя! — Он помотал головой. — Ну нельзя и нельзя!

— Верно, нельзя, — уныло согласился я. — И авторское свидетельство заявить нельзя. И Нобелевскую премию получить нельзя... Выходит, я от этого дела пока имею одни убытки?

— Да отдам я тебе эти деньги, отдам... у, сквалыга! Слушай... а на что тебе Нобелевская премия? — Дубль сощурил глаза. — Если «машина-матка» запросто воспроизводит человека, то денежные знаки...

— ...ей сделать проще простого! С естественной сеткой, с водяными картинками... нет, а что же?!

— Купим в кооперативах по трехкомнатной квартире. — Дубль мечтательно откинулся к стене.

— По «Волге»...

— По две дачи: в Крыму для отдыха и на Рижском взморье для респектабельности.

— Изготовим еще несколько самих себя. Один работает, чтобы не волновать общественность...

— ...а остальные тунеядствуют в свое удовольствие...

— ...И с гарантированным алиби. А что?

Мы замолчали и посмотрели друг на друга с отвращением.

— Боже, какие мы унылые мелкачи! — Я взялся за голову. — Огромное открытие примеряем черт знает к чему: к диссертации, к премии, к дачам, к мордобой с гарантированным алиби... Ведь это же Способ Синтеза Человека! А мы...

— Ничего, бывает. Мелкие мысли возникают у каждого человека и всегда. Важно не дать им превратиться в мелкие поступки.

— Собственно, пока я вижу только одно полезное применение открытия: со стороны в себе замечаешь то, что легче видеть у других, — свои недостатки.

— Да, но стоит ли из-за этого удваивать население Земли?

Мы сидели в трусах друг против друга. Я отражался в дубле, как в зеркале.

— Ладно. Давай по существу: чего мы хотим?

— И что мы можем?

— И что мы сможем в этом деле?

— Начнем с того, что к этому шло. Идеи Сеченова, Павлова, Винера, Эшби сходятся из разных точек к одному: мозг — это машина. Опыты Петруччо по управлению развитием человеческого зародыша — еще один толчок. Стремление ко все большей сложности и универсальности систем в технике — одни замыслы микроэлектронщиков создать машины, равные по сложности мозгу, чего стоят!

— То есть наше открытие — не случайность. Оно подготовлено всем развитием идей и технических средств в науке. Не так, так иначе, не сейчас, так через годы или десятилетия, не мы, так другие пришли бы к нему. Следовательно, вопрос сводится вот к чему...

— ...что мы можем и должны сделать за тот срок — может, это год, может, десятки лет, никто не знает, но лучше ориентироваться на меньший срок, — на который мы опередили других?

— Да.

— Как обычно бывает? — Дубль подпер рукой щеку. — Есть у инженера задел или просто желание сотворить что-то понетленнее. Он ищет заказчика. Или заказчик ищет его, в зависимости от того, кому больше нужно. Заказчик выставляет техническое задание: «Примените ваши идеи и ваши знания для создания такого-то устройства или такой-то технологии. Устройство должно иметь такие-то параметры, выдерживать такие-то испытания... технология должна обеспечивать выход годных изделий не ниже столько-то процентов.

Сумма такая-то, срок работы такой-то. Санкции в установленном порядке». Подписывается хоздоговор — и действуй... И у нас есть задел, есть желание развивать его дальше. Но если сейчас придет заказчик с толстой мошной и скажет: «Вот деньги, отработайте ваш способ для надежного массового дублирования людей — и не ваше дело, зачем мне это надо», — договор не состоится, верно?

— Ну, об этом еще рано говорить. Способ не исследован, не отработан — какая от него может быть продукция! Может, и ты через пару месяцев рассыплешься, кто знает...

— Не рассыплюсь. На это лучше не рассчитывать. Не дожدهмся.

— Да мне-то что? Живи, разве я против?

— Спасибо! Ну и хам же ты — сил нет! Просто дремучий хам! Так бы и врезал.

— Ладно, ладно, не отвлекайся, ты меня не так понял. Я к тому, что мы еще не знаем всех сторон и возможностей открытия. Мы стоим в самом начале. Если сравнить, скажем, с радио, то мы сейчас находимся на уровне волн Герца и искрового передатчика Попова. Что дальше? Надо исследовать возможности.

— Правильно. Но это дела не меняет. Исследования, которые применимы к человеку и человеческому обществу, надо вести с определенной целью. А нам сейчас не от кого получить два машинописных листка с техническим заданием. И не надо. Нужно самим определить, какие цели сейчас стоят перед человеком.

— Н-ну... раньше цели были простые: выжить и продлить свой род. Для достижения их приходилось хлопотать насчет дичи, насчет шкуры с чужого плеча, насчет огня... отбиваться палицей от зверей и знакомых, отрывать в глине однокомнатную пещеру без удобств, все такое. Но в современном обществе эти проблемы в основном решены. Работай где-нибудь — и достигнешь прожиточного минимума, чего там! Не пропадешь. И детей завести можно — в крайнем случае



государство возьмет заботы по воспитанию на себя... Стало быть, у людей должны теперь возникнуть новые стремления и потребности.

— О, их хоть отбавляй! Стремление к комфорту, к развлечениям, к интересной и непыльной работе. Потребность в изысканном обществе, в различных символах тщеславия — званиях, титулах, наградах. Потребность в отличной одежде, вкусной пище, в выпивке, в пляжном загаре, в новостях, в чтении книг, в смешном, в украшениях, в модных новинках...

— Но все это не главное, черт побери! Не может это быть главным. Люди не хотят, да и не могут вернуться к прежнему примитивному бытию, выжимают из современной среды все — это естественно. Но за их стремлениями и потребностями должна быть какая-то цель? Новая цель существования...

— Короче говоря, в чем смысл жизни? Удивительно свежая проблема, не правда ли? Договорились. Так я и знал, что к этому придем! — Дубль встал, сделал несколько разминочных движений, снова сел.

Так — сначала с хаханьками, а чем далее, тем серьезней — повели мы этот самый главный для нашей работы разговор. Мне не раз доводилось — за коньяком или просто в перекуре — рассуждать и о смысле жизни, и о социальном устройстве общества, и о судьбах человечества. Инженеры и ученые так же любят судачить о мирах, как домохозяйки о дороговизне и падении нравов. Домохозяйки занимаются этим, чтобы утвердить свою рачительность и добродетель, а исследователи — чтобы продемонстрировать друг перед другом широту взглядов... Но этот разговор был несравнимо труднее такого инженерного трепы: мы ворочали мысли, будто глыбы. Все отличалось на ответственность: за разговором должны были последовать дела и поступки — дела и поступки, в которых нельзя ошибиться.

Спать нам уже не хотелось.

— Ладно. Примем, что смысл жизни — удовлетворение потребностей. Любых, какие душа пожелает. Но какие потребности и запросы людей можно удовлетворить, создавая новых людей? Ведь искусственно произведенные люди сами будут обладать потребностями и запросами! Заколдованный круг.

— Не то. Смысл жизни — жить. Жить полнокровно, свободно, интересно, творчески. Или хоть стремиться к этому... и что?

— «Полнокровно!» «Смысл жизни!» «Стремления!» — Дубль подхватился с раскладушки, забежал по комнате. — «Интересы», «потребности»... Мама родная, до чего же все это туманно! В позапрошлом веке такие приблизительные понятия были бы в самый раз, но сейчас... Какое, к черту, может быть ТЗ, если нет точных знаний о человеке! Каким вектором обозначить стремление? В каких единицах измерить интересы?

(Это обескураживало нас тогда — обескураживает и сейчас. Мы привыкли к точным понятиям: «параметры», «габариты», «объем информации в битах», «быстродействие в микросекундах» — и столкнулись с ужасающей неопределенностью знаний о человеке. Для беседы они годятся. Но как, скажите на милость, руководствоваться ими в прикладных исследованиях, где владычествует простой и свирепый закон: если ты что-то знаешь не точно — значит, ты этого не знаешь?)

— Уфф... завидую тем, кто изобрел атомную бомбу. — Дубль встал, прислонясь к косяку балконной двери. — «Это устройство, джентльмены, может уничтожить сто тысяч человек!» — и сразу ясно, что надо строить Ок-Ридж и Нью-Хэнфорд... А наше устройство может производить людей, джентльмены!

— Одни люди исследуют уран... другие строят заводы по обогащению урана нужным изотопом... третьи конструируют бомбу... четвертые из высших политических соображений

отдают приказ... пятые сбрасывают бомбу на шестых, на жителей Хиросимы и Нагасаки... седьмые... постой, а в этом что-то есть!

Дубль смотрел на меня с любопытством.

— Понимаешь, мы рассуждаем строго логично — и не можем выпутаться из парадоксов, мертвых вопросов типа «В чем смысл жизни?». И знаешь почему? В природе не существует Человека Вообще. На Земле живут разные люди — и устремления у них разные, часто противоположные: скажем, человек хочет хорошо жить и для этого изобретает орудия убийства. Или просто противоречивые: юнец мечтает стать великим ученым, но грызть гранит науки ему не хочется — не вкусно. И эти разные люди живут в разных условиях, оказываются в разных обстоятельствах, мечтают об одном, стремятся к другому, а достигают третьего... А мы всех под одну гребенку!

— Но если мы перейдем на личности да с учетом всех обстоятельств... — Дубль поморщился. — Запутаемся!

— А тебе хочется, чтоб все было попроще, как при создании блоков памяти для бортовой вычислительной машины, да? Не тот случай.

— Я понимаю, что не тот случай. Открытие наше сложно, как и сам человек, — ничего не отбросить, не упростить для удобства работы. Но какие конструктивные идеи вытекают из твоей могучей мысли, что все люди разные? Именно конструктивные, для работы.

— Для работы... м-да. Тяжело...

Разговор опять сошел на нет. Внизу возле дома шумели под ветром тополя. Кто-то, насвистывая, подошел к подъезду. С балкона потянуло холодом.

Дубль бессмысленно глядел на лампочку, потом засунул в нос полпальца; лицо его исказила яростная радость естественного отправления. У меня в правой ноздре тоже чувствовалось какое-то неудобство, но он меня опередил... Я смотрел на себя, ковыряющего в носу, и вдруг понял, по-

чему я не узнал дубля при встрече в парке. В сущности, ни один человек не знает себя. Мы не видим себя — даже перед зеркалом мы бессознательно корректируем свою мимику по отражению, интересничаем, прихорашиваемся. Мы не слышим себя, потому что колебания собственной гортани достигают барабанных перепонки не только по воздуху, но и через кости и мышцы головы. Мы не наблюдаем себя со стороны.

И поэтому каждый человек в глубине души тешит себя мыслью, что он не такой, как все, особый. Окружающие — другое дело, насчет них все ясно. Но сам он, этот человек, иной. Что-то в нем есть... уж тут его не проведешь, он точно знает. А между тем все мы и разные и такие, как все.

Дубль очистил нос, потом палец, взглянул на меня и рассмеялся, поняв мои мысли.

— Так какие же все-таки люди — разные или одинаковые?

— И разные и одинаковые. Можно вывести некую объективную суть — не из твоих дурных манер, конечно. Речь идет о техническом производстве новой информационной системы — Человека. Техника производит и другие системы: машины, книги, приборы... Общее для каждого такого изделия-системы — одинаковость, стандартность. В любой книге данного тиража одинаково все, вплоть до опечаток. В приборе данной серии тоже: и стрелки, и шкала, и класс точности, и гарантийный срок. Различия пустяковые: в одной книге текст чуть почетче, чем в другой, на одном приборе — царапина, или на высоких температурах он дает чуть большую погрешность, чем его коллега...

— ...но в пределах класса точности.

— Разумеется. На языке нашей науки можно сказать, что объем индивидуальной информации в каждой такой искусственной системе пренебрежимо мал в сравнении с объемом информации, общей для всех систем данного класса. А для человека это не так. В людях содержится общая информация: биологическая, общие знания о мире, но в

каждом человеке есть огромное количество личной, индивидуальной информации. Пренебречь ею нельзя — без нее человек не человек. Значит, каждый человек не стандартен. Значит...

— ...все попытки найти оптимальные «параметры» для человека с допустимой погрешностью не более пяти процентов — пустая трата времени. Отлично! Тебе от этого стало легче?

— Нет. Но такова суровая действительность.

— Следовательно, нам в нашей работе никуда не деться от этих ужасных и загадочных, как смысл жизни, понятий: интересы человека, характеры, желания, добро, зло... и может быть, даже душа? Уволюсь.

— Не уволешься. Кстати, такие ли уж они загадочные, эти понятия? Ведь в жизни все люди понимают, что в них к чему. Ну, например, обсудят скверный поступок и скажут: «Знаете, а это подлость». И все согласны.

— Все... кроме подлеца. Что, между прочим, очень существенно... — Он хлопнул себя руками по бедрам. — Нет, я тебя не понимаю! Тебе мало обжечься на простеньком слове «понимание» — хочешь давать задачи на «добро» и «зло»?! Машина подтекста не улавливает, шуток не понимает, добро и зло внимает равнодушно. Почему ты смеешься?

Меня в самом деле разобрал смех.

— Я не понимаю, как это ты можешь меня не понимать? Ведь ты — это я!

— Это не по существу. Я прежде всего исследователь, а потом уж Кривошеин, Сидоров, Петров! — Он явно вошел в дискуссионный раж. — Как мы будем работать, не имея точных представлений о сути дела?

— Н-ну... как работали, скажем, на заре электротехники. Тогда все знали, что такое флогистон, но никто не имел понятия о напряжении, силе тока, индуктивности. Ампер, Вольта, Генри, Ом тогда еще были просто фамилии. Напряжение определяли при помощи языка, как сейчас мальчишки —

годность батарейки. Ток обнаруживали по отложению меди на катоде. Но работали же люди. И мы... что с тобой?

Теперь дубль согнулся от хохота.

— Представляю: лет через двадцать будет единица измерения чего-то — «кривошея»... Ой, не могу!

Я так и лег на тахте.

— И будет «кривошееметр»... вроде омметра!

— И «микркривошеи»... или, наоборот, «мегакривошеи» — «мегакры» сокращенно... Ох!

Приятно вспомнить, как мы ржали. Мы были явно недостойны своего открытия. Отсмеялись. Посерьезнели.

— Исторические примеры — они, конечно, вдохновляют, — сказал дубль. — Но не то. Гальвани мог сколько угодно заблуждаться насчет «животного электричества», Зеебек мог упрямо твердить, что в термопарах возникает не термоэлектричество, а «термомагнетизм», — природа вещей от этого не менялась. Рано или поздно приходили к истине, потому что там главным был анализ информации. Анализ! А у нас — синтез... И здесь природа человеку не указ: она строит свои системы — он свои. Единственными истинами для него в этом деле являются возможности и цель. Возможности у нас есть. А цель? Мы не можем ее сформулировать...

— Цель простая: чтоб все было хорошо.

— Опять? — Дубль посмотрел на меня. — И дальше начинается детский разговорчик на тему «Что такое хорошо и что такое плохо?».

— Не надо детских разговорчиков! — взмолился я. — Будем оперировать с этими произвольными понятиями, будь они неладны: хорошо, плохо, желания, потребности, здоровье, одаренность, глупость, свобода, любовь, тоска, принципиальность — не потому, что они нам нравятся, а просто других нет. Нет!

— На это мне возразить нечего. Действительно, других нет. — Дубль вздохнул. — Ох, чувствую, это будет та работка!

— И давай договаривать до точки. Да, нужно, чтоб все было хорошо. Нужно, чтобы все применения открытия, которые мы будем выдавать в жизнь, в мир... чтобы мы в них были уверены: они не принесут вреда людям, а только пойдут им на пользу. И давай отложим до лучших времен дискуссию на тему: в каких единицах измерять пользу. Я не знаю, в каких единицах.

— В кривошеях, — не удержался дубль.

— Да будет тебе! Но я знаю другое: роль интеллектуального злодея мирового класса мне не по душе.

— Мне тоже. Но маленький вопрос: у тебя есть идея?

— Идея чего?

— Способа, как применить «машину-матку», чтобы она выдавала в человеческое общество только благо. Понимаешь, это был бы беспрецедентный способ в истории науки. Все, что изобретали и изобретают сейчас, таким чудесным свойством не обладает. Лекарством можно отравить. Электрическим током можно не только освещать дома, но и пытаться. Или запустить ракету с боеголовкой. И так во всем...

— Нет у меня пока конкретной идеи. Мало мы еще знаем. Будем исследовать «машину-матку», искать этот способ. Он должен быть. Это не важно, что ему нет прецедента в науке — прецедента нашему открытию тоже нет. Ведь мы же будем синтезировать именно ту систему, которая делает и добро, и зло, и чудеса, и глупости, — человека!

— Что ж, все правильно, — подумав, согласился дубль. — Найдем мы этот великий способ или не найдем, но без такой цели за эту работу не стоит и браться. Кое-как людей и без нас делают...

— Так что — завершим заседание, как полагается? — предложил я. — Составим задание на работу? Как это пишется в хоздоговоре: мы, нижеподписавшиеся: Человечество Земли, именуемое далее «Заказчик», с одной стороны, и заведующие лабораторией новых систем Института системологии

Кривошеин В.В. и Кривошеин В.В., именуемые далее «Исполнители», с другой, — составили настоящий о нижеследующем...

— Чего уж там вилить с хоздоговором и техзаданием — ведь интересы Заказчика в данной работе представляем мы сами. Давай прямо!

Он встал, снял со шкафа магнитофон «Астра-2», поставил его на стол, включил микрофон. И мы: я, Кривошеин Валентин Васильевич, тридцати четырех лет от роду, и мой искусственный двойник, появившийся на свет неделю тому назад, — два несентиментальных, иронического склада мышления человека — произнесли клятву. Со стороны это, наверное, выглядело выпренно и комично. Не звучали фанфары, не шелестели знамена, не замирали по стойке «смирно» шеренги курсантов — бледнело предутреннее небо, мы стояли перед микрофоном в одних трусах, и сквозняк с балкона холодил нам ноги... Но клятву мы принесли всерьез.

Так и будет. Иначе — нет».

## Глава шестая

*Если, возвратясь ночью домой, ты по ошибке  
выпил вместо воды проявитель, выпей и закрепи-  
тель, иначе дело не будет доведено до конца.*

К. Прутков-инженер.

Советы фотолюбителям, т. 2

«На следующий день мы принялись строить в лаборатории информационную камеру. Отгородили в комнате площадку два на два метра, обнесли ее гетинаксовыми щитами и начали сводить туда все микрофоны, анализаторы, щупы,



объективы — все датчики, которые ранее были живописно там и сям раскиданы по блокам «машины-матки».

Идея такая: в камеру помещается живой объект, он в ней кувыркается, пасется, дерется с себе подобными или просто гуляет, опутанный датчиками, а в машину передается информация для синтеза.

«Живые объекты» и по сей день спокойно кушают раннюю парниковую капусту в клетках в коридоре. У нас с дублем постоянно возникали распри: кому за ними убирать? Это кролики. Я выменял их у биоников за шлейфовый осциллограф и генераторную лампу ГИ-250. У одного кролика (альбиноса Васьки) на голове нечто вроде бронзовой короны из вживленных в череп электродов для энцефалограмм.

Седьмого мая случилась хоть и мелкая, но досадная неприятность. Обычно мы с дублем довольно четко координировали все дела, чтобы не оказаться вместе на людях и не повторять друг друга. Но эта растреклятая лаборатория экспериментальных устройств кого угодно выведет из равновесия!

Еще зимой я заказал в ней универсальную систему био-датчиков: изготовил чертежи, монтажную схему, выписал со склада все нужные материалы и детали — только собрать. И до сих пор ничего не сделано! Нужно монтировать систему в камеру, а ее нету... Беда в том, что в этой лаборатории хроническая текучесть завоов. Один сдает дела, другой принимает — работать, понятно, нельзя. Потом новый зав разбирается в ситуации, проводит реформы и начинания (новая метла чисто метет) — работы опять нет. Тем временем разъяренные заказчики устраивают скандалы, идут с челобитной к Аркадию Аркадьевичу — и новый зав сдает дела сверхновому, тот... словом, смотри выше. Я и непосредственно на мастеров воздействовал, спиритиком их ублажал, дефицитные транзисторы П657 для карманных приемников добывал — и все напрасно. Недавно запас желаю-

ших стать заведующим в этой зачарованной лаборатории иссяк, и за нее взялся Г.Х. Хилобок. По совместительству, конечно, на полставки. Гарри — он у нас такой: чем угодно возьмется руководить, что угодно организовывать, проворачивать, охватывать, лишь бы не остаться с глазу на глаз с природой, с этими ужасными приборами, которым не прикажешь и не откажешь, а которые показывают то, что есть и в чем надо разбираться.

В этот день я снова позвонил мастеру Гаврющенко. Снова услышал неопределенное мычание насчет нехватки провода монтажного, «сопрыков» — осатанел окончательно и помчался объясняться с Гарри.

Сгоряча я не заметил, что вид у Хилобока несколько ошарашенный, и высказал ему все. Пообещал, что отдам заказ школьникам и тем посрамлю лабораторию окончательно...

А вернувшись во флигель, я застал там своего милого дубля: он ходил по комнате и остывал от возмущения. Оказывается, он был у Хилобока за пять минут до меня и имел с ним точно такую же беседу. Уфф... хорошо, хоть мы там не столкнулись.

В первых опытах решили обойтись без универсальной системы. Для кроликов достаточно тех датчиков, что у нас есть. А когда займемся снова объектом «хомо сапиенс»... может, к тому времени в лаборатории экспериментальных устройств появится дельный зав.

Ученый совет состоялся 16 мая. Вечером накануне мы еще раз продумали, что надо и чего не надо говорить. Решили доложить и обосновать (в умозрительном плане) первоначальную идею, что электронная машина с элементами случайных переключений может и должна конструировать себя под воздействием произвольной информации. Работа будет представлять собой экспериментальную проверку этой идеи. Для того чтобы установить пределы, до которых машина может дойти при конструировании себя, необходимы

такие-то и такие-то установки, материалы, приборы — прилагается перечень.

— Для предварительной подготовки умов, равно как и для отдела снабжения, это будет в самый раз, — сказал я. — Значит, так и доложу.

— А почему, собственно, ты доложишь? — Дубль воинственно задрал правую бровь. — Как за кроликами убирать, так я, а на ученый совет, так ты? Что за дискриминация искусственных людей?! Настаиваю на жеребьевке!

...Вот так и вышло, что я безвинно схлопотал выговор «за бестактное поведение на ученом совете института и за грубость по отношению к доктору технических наук профессору И. И. Вольтампернову». Нет, правда обидно. Пусть бы это на меня бывший зубр ламповой электроники, заслуженный деятель республиканской науки и техники, доктор технических наук, профессор Ипполит Илларионович Вольтампернов (ах, почему я не конференсье!) обрушил свое: «А знает ли инженер Кривошеин, кой предлагает нам поручить машине произвольно, тэк-скэать, без руля и без ветрил, как ей заблагорассудится, конструировать себя, какой огромный и, смею сказать, осмысленный — да-с, именно осмысленный! — труд вкладывают квалифицированнейшие специалисты нашего института в расчет и проектирование вычислительных систем? В разработку блоков этих систем?! И элементов этих систем?! Да представляет ли себе вульгаризаторствующий перед нами инженер хотя бы методику, тэк-скэать, оптимального проектирования триггера на лампе 6Н5? И не кажется ли инженеру Кривошеину, что он своими домыслами относительно того, что машина, тэк-скэать, справится с оптимальным конструированием лучше, нежели специалисты, — оскорбляет большое число сотрудников института, выполняющих, смею сказать, важные для народного хозяйства работы?! Позволительно спросить инженера: что это даст для?...» — Причем каждый раз слово «инженер» звучало в докторских устах как нечто среднее между «студент» и «сукин сын».

Добро бы именно я в своем ответном слове напомнил уважаемому профессору, что, видимо, подобного сорта оскорбленность водила его пером в прошлые времена, когда он писал разоблачительные статьи о «реакционной лженауке кибернетике», но перемена ветра заставила и его заняться делом. Если профессор опасается после успеха данной работы остаться не у дел, то напрасно: в крайнем случае он всегда может вернуться к околонучной журналистике. И вообще, пора бы усвоить, что наука делается с применением высказываний по существу дела, а не при помощи демагогических выпадов и луженой глотки.

Именно после этих застенографированных фраз Вольтампернов начал судорожно зевать и хвататься за нагрудный карман пиджака.

Но, граждане, это же был не я! Доклад делал созданный точь-в-точь по предлагаемой методике мой искусственный двойник... Он три дня потом ходил злой и сконфуженный. Вообще говоря, его можно понять!

(Но, между прочим, в ту минуту, когда подписанный Азаровым приказ о выговоре достиг канцелярии, поблизости оказался именно я. И именно мне при большом скоплении публики закричала, выглянув из дверей, грубая женщина-начканц Аглая Митрофановна Гаража:

— Товарищ Кривошеин, вам тут выговор! Зайдите и распишитесь!

Я, как бобик, зашел и расписался... Ну, не злая судьба?)

Впрочем, бог с ним, с выговором. Главное, тему утвердили! Ее поддержал сам Азаров. «Интересная идея, — сказал он, — и довольно простая, можно проверить». «Но ведь это не алгоритмизуемая задача, Аркадий Аркадьевич», — возразил доцент Прищепа, самый ортодоксальный математик нашего института. «Что же, если не алгоритмизуемая, то ей и не быть? — парировал академик. (Слушайте, слушайте!) — В

наше время алгоритм научного поиска не сводится к набору правил формальной логики». Вот это да! Ведь Азаров всегда неодобрительно смотрел на «случайные поиски», я-то знаю. Что это? Неужели дубль покори́л его логикой своего доклада? Или у шефа наконец прорезалась научная терпимость? Тогда мы с ним поладим.

Словом, восемнадцать «за», один (Вольтампернов) «против». Осторожный Прищепа воздержался. Дубль, как не имеющий ученой степени и звания, в голосовании не участвовал. Даже Хилобок голосовал «за», и он верит в успех нашей работы. Не подкачаем, Гаврюшка, не сумлевайся!

Кстати, дубль принес на хвосте потрясающую новость: Хилобок пишет докторскую диссертацию!

— О чем же?

— Закрытая тема. Ученый совет принимал повестку дня на следующее заседание, в ней был пункт: «Обсуждение работы над диссертацией на соискание ученой степени доктора технических наук Г. Х. Хилобок. Тема закрытая, гриф «Совершенно секретно». Вот так, сидим в лаборатории и отстаем от движения науки.

— Закрытая тема — это роскошно! — Я даже отложил паяльник. Дело было в лаборатории, мы монтировали датчики в камере. — Это ловко. Никаких открытых публикаций, никакой аудитории на защите... тсс, товарищи: совершенно секретно! Все ходят и заранее уважают.

Новость задела за живое. Тут кандидатскую не можешь сделать, а Гарри в доктора выходит. И выйдет, «техника» известная: берется разрабатываемая (или даже разработанная) где-нибудь секретная схема или конструкция, вокруг наворачивается компилятивная халтура с использованием закрытых первоисточников. И за руку не схватишь...

— Э, в конце концов, не он первый, не он последний! — Я снова взялся за паяльник. — Думат еще о нем... своей работы хватает.

— К тому же за нашу тему голосовал, — поддержал дубль. — Свой парень Гарри! Конечно, можно бы попробовать его того... да стоит ли игра свеч?

Вообще-то нам было чуточку неловко. Мне всегда бывает не по себе, когда приходится наблюдать преуспевание набирающего силу пройдохи; испытываешь негодование в мыслях и начинаешь презирать себя за благоразумное осуждение конечностей... Но ведь и вправду: не стоит игра свеч. У нас вон какая серьезная работа на двоих, а положение мое еще непрочное — стоит ли заводиться? К тому же связаться с Гарри Хилобоком... Пробовали мы однажды с Ивановым подсечь его на плагиате. Валерка выступил на семинаре, все доказал. Ну, только и того, что ученый совет рекомендовал Хилобоку переделать статью. А уж как за это он потом нас поливал...

Да и вообще эти общественные мордобои с привлечением публики, разбирательства, после которых люди перестают здороваться друг с другом, — занятия не по мне. Когда они происходят, я испытываю неудержимое стремление убежать в лабораторию, включить приборы, заносить в журнал результаты измерений и тем приносить пользу... Вот если бы лабораторным способом одолевать таких, как Гарри, — так сказать, усилием инженерной мысли...

А стоит подумать. Тот факт, что вольтамперновы и хилобоки выкатываются на широкую столбовую дорогу науки, свидетельствует о явной нехватке умных людей. И это в науке, где интеллект — основное мерило достоинств человека. А по другим занятиям? Вывешивают объявления: «Требуются токари...», «Требуются инженеры и техники, бухгалтеры и снабженцы...» И никто не напишет: «Требуются умные люди. Квартира предоставляется». Стесняются, что ли? Или квартир нет? Можно поначалу и без квартир... Ведь что скрывать: требуются умные люди, ох как требуются! И в группу А, и в группу В, и в надстройку. Для жизни требуются, для развития общества.

— Нужно... дублировать умных людей! — выпалил я. — Умных, деятельных, порядочных! Ой, Валька, это железное применение!

Он посмотрел на меня с нескрываемой досадой.

— Опередил, чертяка...

— И таким людям это будет как награда за жизнь, — развивал я мысль.

— Нужный ты обществу человек, умеешь работать плодотворно, жить честно — значит, произвести еще такого! Или даже несколько, дело всем найдется. Тогда хилобокам придется потесниться...

Эта идея вернула нам самоуважение. Мы снова почувствовали себя на высоте и весь тот день мечтали, как станем размножать талантливых ученых, писателей, музыкантов, изобретателей, героев... Ей-ей, это была неплохая идея!»

## Глава седьмая

*Научный факт: звук «а» произносится без напряжения языка, одним выдыханием воздуха; если при этом открывать и закрывать рот, получится «ма... ма...». Таково происхождение первого слова ребенка. Выходит, младенец идет по линии наименьшего сопротивления. Чему же радуются родители?*

К. Прутков-инженер. Мысль № 53

«Первые недели я все-таки посматривал на дубля с опаской: а вдруг раскиснет, рассыплется? Или записхует? Искусственное создание — кто знает... Но где там! Он яростно наворачивал колбасу с кефиром вечером, намаявшись в лаборатории, со вкусом плескался в ванной, любил выкурить папироску перед сном — словом, совсем как я.

После инцидента с Хилобоком мы каждое утро тщательно договаривались: кому где быть, чем заниматься, кому когда идти в столовую — вплоть до того, в какое время пройти через проходную, чтобы Вахтерич за мельканием лиц успел забыть, что один Кривошеин уже проходил. Вечерами мы рассказывали друг другу, с кем встречались и о чем разговаривали.

Только о Лене мы не говорили. Будто ее и не было. Я даже спрятал в стол ее фотографию. И она не звонила, не приходила ко мне — обиделась. И я не звонил ей. И он тоже... Но все равно она была.

А шел май, поэтичный южный май — с синими вечерами, соловьями в парке и крупными звездами над деревьями. Осыпались свечи каштанов, в парке зацвела акация. Ее сладкий, тревожно дурманивший запах проникал в лабораторию, отвлекал. Мы оба чувствовали себя обездоленными. Ах, Ленка, милая, горячая, нежная, самозабвенная в любви Ленка, почему ты одна на свете?

Вот какие юношеские чувства возбудило во мне появление дубля-«соперника»! До сих пор была обычная связь двух уже умудренных жизнью людей (Лена год назад разошлась с мужем; у меня было несколько лирических разочарований, после которых я твердо записал себя в холостяки), какая возникает не столько от взаимного влечения, сколько от одиночества; в ней оба не отдают себя целиком. Мы с удовольствием встречались, старались интересно провести время; она оставалась у меня или я у нее; утром мы чувствовали себя несколько принужденно и с облегчением расставались. Потом меня снова тянуло к ней, ее ко мне... и т. д. Я был влюблен в ее красоту (приятно было наблюдать, как мужчины смотрели на нее на улице или в ресторане), но нередко скучал от ее разговоров. А она... но кто поймет душу женщины? У меня часто появлялось ощущение, что Лена ждет от меня чего-то большего, но я не стремился выяснить, чего



именно... А теперь, когда возникла опасность, что Лену у меня могут отнять, я вдруг почувствовал, что она необыкновенно нужна мне, что без нее моя жизнь станет пустой. Вот все мы такие!

Сборка камеры, впрочем, спорилась. В сложной работе важно понимать друг друга — и в этом смысле получалось идеально: мы ничего не растолковывали друг другу, просто один занимал место другого и продолжал сборку. Мы ни разу не поспорили: так или иначе расположить датчики, здесь или в ином месте поставить разъемы и экраны.

— Слушай, тебя не настораживает наша идилия? — спросил как-то дубль, принимая от меня смену. — Никаких вопросов, никаких сомнений. Этак мы и ошибаться будем в полном единстве взглядов.

— А куда денешься! У нас с тобой четыре руки, четыре ноги, два желудка и одна голова на двоих: одинаковые знания, одинаковый жизненный опыт...

— Но мы же спорили, противоречили друг другу!

— Это мы просто размышляли вместе. Спорить можно и с самим собой. Мысли человека — лишь возможные варианты поступков, они всегда противоречивы. А поступать-то мы стремимся одинаково.

— Да-а... — протянул дубль. — Но ведь это никуда не годится! Сейчас мы не работаем, а вкалываем: лишняя пара рук — удвоение работоспособности. Но основное наше занятие — думать. И вот здесь... слушай, оригинал, нам надо становиться разными!

Я не мог представить, к каким серьезным последствиям приведет этот невинный разговор. А они, как пишут в романах, не заставили себя ждать.

Началось с того, что на раскладке возле института дубль купил учебник «Физиология человека» для физических

вузов. Не берусь гадать, решил ли он в самом деле отличаться от меня или его привлек ярко-зеленый с золотым тиснением переплет, но, едва раскрыв его, он стал бормотать: «Ух ты!», «Вот это да...» — будто читал забористый детектив, а потом стал доносить меня вопросами:

— Ты знаешь, что нервные клетки бывают до одного метра длиной? Ты знаешь, чем управляет симпатическая нервная система? Ты знаешь, что такое запредельное торможение?

Я, естественно, не знал. И он со всей увлеченностью неопита растолковывал, что симпатикус регулирует функции внутренних органов, что запредельное торможение, или «пессимум», бывает в нервных тканях, когда сила раздражения превосходит допустимый предел...

— Понимаешь, нервная клетка может отказаться реагировать на сильный раздражитель, чтобы не разрушиться! Транзисторы так не могут!

После этого учебника он накопил целую кипу биологических книг и журналов, читал их запоем, цитировал мне понравившиеся места и оскорблялся, что я не разделяю его восторгов... А с чего бы это я их разделял!»

Аспирант Кривошеин отложил дневник. Да, именно так все и началось. В сухих академических строчках книг и статей по биологии он вдруг ощутил то *прикосновение к истине*, которое раньше переживал лишь читая произведения великих писателей: когда, вникая в переживания и поступки выдуманных людей, начинаешь что-то понимать о себе самом. Тогда он не осознавал, почему физиологические сведения, что называется, взяли его за душу. Но его всерьез озадачило, что Кривошеин-оригинал остался к ним безразличен. Как так? Ведь они одинаковые, значит, и это должны воспринимать одинаково... Выходит, он, искусственный Кривошеин, не такой?

Это был первый намек.

\* \* \*

«...После того как он дважды проспал свой выход на работу — сидел за книжкой до рассвета, — я не выдержал:

— Заинтересовался бы ты минералогией, что ли, если уж очень хочется стать «разным», или экономикой производства! Хоть спал бы нормально.

Разговор происходил в лаборатории, куда дубль явился в первом часу дня, заспанный и небритый; я утром выскоблил щетину. Такого несовпадения было достаточно, чтобы озадачить институтских знакомых.

Он поглядел на меня удивленно и свысока.

— Скажи: что это за жидкость? — И он показал на бак. — Какой ее состав?

— Органический, а что?

— Не густо. А для чего «машина-матка» использовала аммиак и фосфорную кислоту? Помнишь: она выстукивала формулы и количество, а ты бегал по магазинам как проклятый, доставал. Зачем доставал? Не знаешь? Объясняю: машина синтезировала из них аденозинтрифосфорную кислоту и креатинофосфат — источники мышечной энергии. Понял?

— Понял. А бензин марки «Галоша»? А кальций роданис-  
тый? А метилвиолет? А еще три сотни наименований реак-  
тивов зачем?

— Пока не знаю, надо биохимию читать...

— Угу... А теперь я тебе объясню, зачем я доставал эти гадкие вещества: я выполнял логические условия эксперимента, правила игры — и не более. Я не знал про этот твой суперфосфат. И машина наверняка не знала, что формулы, которые она выстукивала двоичным кодом, так мудроно называются, — потому что природа состоит не из названий, а из структурных веществ. И тем не менее она запрашивала аммиак, фосфорную кислоту, сахар, а не водку и не стрихнин. Своим умом дошла, что водка — яд, без учебников. Да и тебя она создала не по учебникам и не по медицинской энциклопедии — с натуры...

— Ты напрасно так ополчаешься на биологию. В ней содержится то, что нам нужно: знания о жизни, о человеке. Ну, например... — ему очень хотелось меня убедить, это было заметно по его старательности, — знаешь ли ты, что условные рефлексы образуются лишь тогда, когда условный раздражитель предшествует безусловному? Причина предшествует следствию, понимаешь? В нервной системе причинность мира записана полнее, чем в философских учебниках! И в биологии применяют более точные термины, чем бытовые. Ну, как пишут в романах? «От неосознанного ужаса у него расширились зрачки и учащенно забилось сердце». А чего тут не осознать: симпатикус сработал! Вот, пожалуйста... — он торопливо листал свою зеленую библию, — «...под влиянием импульсов, приходящих по симпатическим нервам, происходит: а) расширение зрачка путем сокращения радиальной мышцы радужной оболочки глаза; б) учащение и усиление сердечных сокращений...» Это уже ближе к делу, а?

— Спору нет, ближе, но насколько? Тебе не приходит в голову, что если бы биологи достигли серьезных успехов в своем деле, то не мы, а они синтезировали бы человека?

— Но на основе их знаний мы сможем проанализировать человека.

— Проанализировать! — Я вспомнил «стрептоцидовый стриптиз с трепетом...», свои потуги на грани помешательства, костер из перфолент — и взвился. — Давай! Бросим работу, вызубрим все учебники и рецептурные справочники, освоим массу терминов, приобретем степени и лысины и через тридцать лет вернемся к нашей работе, чтобы расклеить ярлычки! Это креатинфосфат, а это клейковина... сотни миллиардов названий. Я уже пытался анализировать твое возникновение, с меня хватит. Аналитический путь нас черт знает куда заведет.

Словом, мы не договорились. Это был первый случай, когда каждый из нас остался при своем мнении. Я и до сих

пор не понимаю, почему он, инженер-системотехник, системолог, электронщик... ну, словом, тот же я, повернул в биологию? У нас есть экспериментальная установка, такую он ни в одной биологической лаборатории не найдет; надо ставить опыты, систематизировать результаты и наблюдения, устанавливать общие закономерности — именно *общие*, информационные! Биологические по сравнению с ними есть шаг назад. Так все делают. Да только так и можно научиться как следует управлять «машиной-маткой» — ведь она прежде всего информационная машина.

Споры продолжались и в следующие дни. Мы горячились, наскикивали друг на друга. Каждый приводил доводы в свою пользу.

— Техника должна не копировать природу, а дополнять ее. Мы намереваемся дублировать хороших людей. А если хороший человек хромой? Или руку на фронте потерял? Или здоровье никуда не годится? Ведь обычно ценность человека для общества познается когда он уже в зрелом, а еще чаще в пожилом возрасте; и здоровышко не то, и психика утомлена... Что же, нам все это воспроизводить?

— Нет. Надо найти способ исправления изъянов в дублях. Пусть они получают здоровыми, отлично сложенными, красивыми...

— Ну, вот видишь!

— Что «видишь»?

— Да ведь для того, чтобы исправлять дублей, нужна биологическая информация о хорошем сложении, о приличной внешности. Биологическая!

— А это уже непонятно. Если машина без всякой биологической подготовки воспроизводит *всего* человека, то зачем ей эта информация, когда понадобится воссоздавать *части* человека? Ведь по биологическим знаниям ни человека, ни руку его не построишь... Чудило, как ты не понимаешь, что нам нельзя вникать во все детали человеческого

организма? Нельзя, запутаемся, ведь этих деталей несчитанные миллиарды, и нет даже двух одинаковых! Природа работала не по ГОСТам. Поэтому задача исправления дублей должна быть сведена к настройке «машины-матки» по внешним интегральным признакам... попросту говоря, к тому, чтобы ручки вертеть!

— Ну, знаешь! — Он разводил руками, отходил в сторону.

Я разводил руками, отходил в другую сторону. Такая обстановка начала действовать на нервы. Мы забрели в логический тупик. Разногласия во взглядах на дальнейшую работу — дело не страшное; в конце концов, можно пробовать и так и эдак, а приговор вынесут результаты. Непостижимо было, что *мы не понимаем друг друга!* Мы — два информационно одинаковых человека. Есть ли тогда вообще правда на свете?

Я принялся (в ту смену, когда дубль работал в лаборатории) почитать собранные им биологические описания. Может, я действительно не вошел во вкус данной науки, иду на поводу у давней, школьных времен, неприязни к ней, а сейчас прочту, проникнусь и буду восторженно бормотать «Вот это да!»? Не проникся. Спору нет: интересная наука, много поучительных подробностей (но только подробностей!) о работе организма, хороша для общего развития, но не то, что нам надо. Описательная и приближительная наука — та же география. Что он в ней нашел?

Я инженер — этим все сказано. За десять лет работы в мою психику прочно вошли машины, с ними я чувствую себя уверенно. В машинах все подвластно разуму и рукам, все определено: да — так «да», нет — так «нет». Не как у людей: «Да, но...» — и далее следует фраза, перечеркивающая «да». А ведь дубль — это я.

Мы уже избегали этого мучительного спора, работали молча. Может, все образуется, и мы поймем друг друга... Информационная камера была почти готова. Еще день-два, и в

нее можно запускать кроликов. И тут случилось то, что рано или поздно должно было случиться: в лаборатории прозвучал телефонный звонок.

И ранее звенели звонки. «Валентин Васильевич, представьте к первому июня акт о списании реактивов, а то закроем для вас склад!» — из бухгалтерии. «Товарищ Кривошеин, зайдите в первый отдел», — от Иоганна Иоганновича Кляппа. «Старик, одолжи серебряно-никелевый аккумулятор на недельку!» — от теплого парня Феди Загребняка. И так далее. Но это был совершенно особый звонок. У дубля, как только он произнес в трубку: «Кривошеин слушает», — лицо сделалось блаженно-глуповатым.

— Да, Ленок, — не заговорил, а заворковал он, — да... Ну что ты, маленькая, нет, конечно... каждый день и каждый час!

Я с плоскогубцами в руках замер возле камеры. У меня на глазах уводили любимую женщину. Любимую! Теперь я это точно понимал. Мне стало жарко. Я сипло кашлянул. Дубль поднял на меня затуманенные негой глаза и осекся. Лицо его стало угрюмым и печальным.

— Одну секунду, Лена... — И он протянул мне трубку. — На. Это, собственно, тебя.

Я схватил трубку и закричал:

— Слушаю, Леночка! Слушаю...

Впрочем, о чем мы с ней говорили, описывать не обязательно. Она, оказывается, уезжала в командировку и только вчера вернулась. Ну, обижалась, конечно, за праздники. Ждала моего звонка...

Когда я положил трубку, дубля в лаборатории не было. У меня тоже пропала охота работать. Я запер флигель и, на-свистывая, отправился домой: побриться и переодеться к вечеру.

Дубль укладывал чемодан.

— Далеко?

— В деревню к тетке, в глушь, в Саратов! Во Владивосток, слизывать брызги! Не твое дело.

— Нет, кроме шуток: ты куда? В чем дело?

Он поднял голову, посмотрел на меня исподлобья.

— Ты вправду не понимаешь в чем? Что ж, это закономерно: ты — не я.

— Нет, почему же? Ты — это я, а я — это ты. Такой, во всяком случае, была исходная позиция.

— В том-то и дело, что нет. — Он закурил сигарету, снял с полки книгу. — «Введение в системологию» я возьму, ты сможешь пользоваться библиотечной... Ты первый, я — второй. Ты родился, рос, развивался, занял какое-то место в жизни. Каждый человек занимает какое-то место в жизни: хорошее ли, плохое — но свое. А у меня нет места — занято! Все занято: от любимой женщины до штатной должности, от тахты до квартиры...

— Да спи, ради бога, на тахте, разве я против?

— Не мели чепуху, разве дело в тахте!

— Слушай, если ты из-за Лены, то... может, поэкспериментируем еще, и... можем же мы себе такое позволить?

— Произвести вторую Лену, искусственную? — Он мрачно усмехнулся. — Чтобы и она тряслась по жизни, как безбилетный пассажир... Награда за жизнь — додумались тоже, идиоты! Первые ученики общества вместо медалей награждаются человеком — таким же, как они, но без места в жизни. Гениальная идея, что и говорить! Я-то еще ладно, как-нибудь устроюсь. А первые ученики — народ балованный, привередливый. Представь, например, дубля Аркадия Аркадьевича: академик А.А. Азаров, но без руководимого института, без оклада, без членства в академии, без машины и квартиры — совсем без ничего, одни личные качества и приятные воспоминания. Каково ему придется? — Он упрятал в чемодан полотенце, зубную щетку и пасту. — Словом, с меня хватит. Я не могу больше вести такую двусмыслен-



ную жизнь: опасаться, как бы нас вдвоем не застукали, ози-  
раться в столовой, брать у тебя деньги — да, именно у тебя  
твои деньги! — ревновать тебя к Лене... За какие грехи я дол-  
жен так маяться? Я человек, а не экспериментальный образец  
и не дубль кого-то!

— А как же будет с работой?

— А кто сказал, что я собираюсь бросать работу? Каме-  
ра почти готова, опыты ты сможешь вести сам. Здесь от  
меня мало толку — у нас ведь «одна голова на двоих». Уеду,  
буду заниматься проблемой «человек — машина» с друго-  
го конца...

Он изложил свой план. Он едет в Москву, поступает в  
аспирантуру на биологический факультет МГУ. Работа  
разветвляется на два русла: я исследую «машину-матку», оп-  
ределяю ее возможности; он изучает человека и его возможно-  
сти. Потом — уже разные, с разным опытом и идеями —  
продолжим работу вместе.

— Но почему все-таки биология? — не выдержал я. —  
Почему не философия, не социология, не психология,  
не жизневедение, сиречь художественная литература? Ведь  
они тоже трактуют о человеке и человеческом обществе.  
Почему?

Он задумчиво посмотрел на меня.

— Ты в интуицию веришь?

— Ну, допустим.

— Вот моя интуиция мне твердит: если пренебречь био-  
логическими исследованиями, мы упустим что-то очень важ-  
ное. Я еще не знаю, что именно. Через год постараюсь  
объяснить.

— Но почему моя интуиция мне ничего такого не твердит?!

— А черт тебя знает почему! — Он вздохнул с прежней  
выразительностью — к нему возвращалось хорошее настрое-  
ние. — Может, ты просто тупой как валенок...

— Ну да, конечно. А ты смысленный — вроде той собаки,  
которая все чувствует, но выразить не может!

Словом, поговорили. Все понятно: ему надо набирать индивидуальную информацию, становиться самим собой. Приемлю также, что ему для этого надо быть не при мне, а где-то отдельно; по совести говоря, меня наше «двойное» положение тоже стало тяготить. Но с этой биологией... здесь я его крупно не понял...»

Аспирант откинулся на стуле, потянулся.

— И не мог понять, — сказал он вслух. Он сам себя тогда еще не понимал.

## Глава восьмая

Вместо эпиграфа:

— Темой сегодняшней лекции будет: почему студент потеет на экзамене? Тихо, товарищи! Рекомендую конспектировать — материал по программе... Итак, рассмотрим физиологические аспекты ситуации, которую всем присутствующим приходилось переживать. Идет экзамен. Студент посредством разнообразных сокращений легких, гортани, языка и губ производит колебания воздуха — отвечает по билету. Зрительные анализаторы его контролируют правильность ответа по записям на листке и по кивкам экзаменатора. Наметим рефлекторную цепь: исполнительный аппарат Второй Сигнальной Системы произносит фразу — зрительные органы воспринимают подкрепляющий раздражитель, кивок — сигнал передается в мозг и поддерживает возбуждение нервных клеток в нужном участке коры. Новая фраза — кивок... и так далее. Этому нередко сопутствует вторичная рефлекторная реакция: студент жестикулирует, что делает его ответ особенно убедительным.

Одновременно сами собой безотказно и ненапряженно действуют безусловно-рефлекторные цепи. Трапецевидная и ши-

рокие мышцы спины поддерживают корпус студента в положении прямохождения — столь же свойственном нам, как нашим предкам положение прямохождения. Грудные и межреберные мышцы обеспечивают ритмичное дыхание. Прочие мышцы напряжены ровно настолько, чтобы противодействовать всемирному тяготению. Мерно сокращается сердце, вегетативные нервы притормозили пищеварительные процессы, чтобы не отвлекать студента... все в порядке.

Но вот через барабанные перепонки и основные мембраны ушей студент воспринимает новый звуковой раздражитель: экзаменатор задал вопрос. Мне никогда не надоедает любоваться всем дальнейшим — и, уверяю вас, в этом любовании нет никакого садизма. Просто приятно видеть, как быстро, четко, учитывая весь миллионлетний опыт жизни предков, отключается нервная система на малейший сигнал опасности.

Смотрите: новые колебания воздуха вызывают перво-наперво торможение прежней условно-рефлекторной деятельности — студент замолкает, часто на полуслове. Тем временем сигналы от слуховых клеток проникают в продолговатый мозг, возбуждают нервные клетки задних бугров четверохолмия, которые командуют безусловным рефлексом настороживания: студент поворачивает голову к зазвучавшему экзаменатору! Одновременно сигналы звукового раздражителя ответвляются в промежуточный мозг, а оттуда — в височные доли коры больших полушарий, где начинается поспешный смысловой анализ данных сотрясений воздуха.

Хочу обратить ваше внимание на высокую целесообразность такого расположения участков анализа звуков в коре мозга — рядом с ушами. Эволюция естественным образом учла, что звук в воздухе распространяется очень медленно: какие-то триста метров в секунду, почти соизмеримо с движением сигналов по нервным волокнам. А ведь звук может быть шорохом подкрадывающегося тигра, шипением змеи или — в наше время — шумом выскочившей из-за угла машины. Нельзя терять даже доли секунды на передачу сигналов в мозг! Но в данном случае сту-

дент осознал не шорох тигра, а заданный спокойным вежливым голосом вопрос. Цхэ, некоторые, возможно, предпочли бы тигра!

Полагаю, вам не надо объяснять, что вопрос на экзамене воспринимается как сигнал опасности. Ведь опасность в широком смысле слова — это препятствие на пути к поставленной цели. В наше благоустроенное время сравнительно редки опасности, которые препятствуют основным целям живого: сохранению жизни и здоровья, продолжению рода, утолению голода и жажды. Поэтому на первое место выступают опасности второго порядка: сохранение достоинства, уважения к себе, стипендии, возможности учиться и впоследствии заняться интересной работой и прочее...

Итак, безусловно-рефлекторная реакция на опасность студенту удалась блестяще. Посмотрим, как он отразит ее.

На лекциях по биохимии вас знакомили с замечательным свойством рибонуклеиновой кислоты, которая содержится во всех клетках мозга, — перестраивать под воздействием электрических нервных сигналов последовательное расположение своих радикалов: тимина, урацила, цитозина и гуанина. Эти радикалы — буквы нашей памяти: их сочетаниями мы записываем в коре мозга любую информацию... Стало быть, картина такая: осмысленный в височных участках коры вопрос вызывает возбуждение нервных клеток, которые ведают в мозгу студента отвлеченными знаниями. В коре возникают слабые ответные импульсы в окрестных участках: «Ага, что-то об этом читал!» Вот возбуждение концентрируется в самом обнадеживающем участке коры, захватывает его, и — о ужас! — там с помощью тимина, урацила, цитозина и гуанина в длинных молекулах рибонуклеиновой кислоты записано бог знает что: «Леша, бросай конспекты, нам четвертого не хватает!» Тихо, товарищи, не отвлекайтесь.

И тогда в мозгу начинается тихая паника — или, выражаясь менее образно, тотальная иррадиация возбуждения. Нервные импульсы будоражат участки логического анализа

(может быть, удастся сообразить!), клетки зрительной памяти (может быть, видел такое?). Обостряются зрение, слух, обоняние. Студент с необычайной четкостью видит чернильное пятно на краю стола, кипу зачеток, слышит шелест листьев за окном, чьи-то шаги в коридоре и даже приглушенный шепот: «Братцы, Алешка горит...» Но все это не то. И возбуждение охватывает все новые и новые участки коры — опасность, опасность! — разливается на двигательные центры в передней извилине, проникает в средний мозг, в продолговатый мозг, наконец, в спинной мозг...

И здесь я хочу отвлечься от драматической ситуации, чтобы воспеть этот мягкий серо-белый вырост длиной в полметра, пронизывающий наши позвонки до самой поясницы, — спинной мозг.

Спинной мозг... О, мы глубоко заблуждаемся, когда считаем, что он является лишь промежуточной инстанцией между головным мозгом и нервами тела, что он находится в подчинении головного мозга и сам способен управлять лишь несложными рефлексами естественных отпращиваний! Это еще как сказать: кто кому подчиняется, кто кем управляет! Спинной мозг является более почтенным, древним образованием, чем головной. Он выручал человека еще в те времена, когда у него не было достаточно развитой головы, когда он, собственно, не был еще человеком. Наш спинной мозг хранит память о палеозое, когда наши отдаленные предки — ящеры — бродили, ползали и летали среди гигантских папоротников; о кайнозое, времени возникновения первых обезьян. В нем отобраны и сохранены проверенные миллионами лет борьбы за существование нервные связи и рефлексы. Спинной мозг, если хотите, наш внутренний очаг разумного консерватизма.

Что говорить, в наше время этот старик, который умеет реагировать на сложные раздражения современной действительности лишь с двух позиций: сохранения жизни и продолжения рода, — не может выручать нас повсеместно, как в мезозойскую эру. Но он еще влияет — на многое влияет! Бегусь, например, показать, что часто именно он определяет наши

литературные и кинематографические вкусы. Что? Нет, спинной мозг не знает письменности и не располагает специальными рефлексамии для просмотра фильмов. Но скажите мне: почему мы часто отдаем предпочтение детективным картинам и романам, как бы скверно они ни были поставлены или написаны? Почему весьма многие уважают любовные истории: от анекдотов и сплетен до «Декамерона», читаемого выборочно? Интересно? А почему интересно?

Да потому что накрепко записанные в спинном мозгу инстинкты самосохранения и продолжения рода заставляют нас накапливать знания — отчего помереть можно? — чтобы при случае спастись. Как и почему получается счастливая, завершающаяся в наследниках любовь? Как и отчего она разрушается? — чтобы самому не оплошать. И не важно, что такого опасного случая в вашей благоустроенной жизни никогда не будет; и не важно, что любовь состоялась и наследников хоть отбавляй! — спинной мозг знает гнет свою линию...

Я не пытаюсь, подобно литературным критикам, заисельмовать такие устремления читателей и зрителей, как низменные. Нет, почему же? Это здоровые устремления, естественные устремления, полнокровные устремления. Если коровы когда-нибудь в процессе своей естественной эволюции научатся читать, они тоже начнут именно с детективов и любовных историй.

Но вернемся к студенту, головной мозг которого спасовал перед вопросом экзаменатора. «Эх, молодо-зелено», — как бы говорит спинной мозг своему коллеге, восприняв панический сигнал возбуждения, и начинает действовать. Прежде всего он направляет сигналы по мотоневронам всего тела: мышцы напрягаются в состоянии готовности. Первичные источники мышечной энергии: аденозинтрифосфорная кислота и креатинфосфат разлагаются в волокнах соответственно на аденозиндифосфорную кислоту и креатин с отщеплением фосфорной кислоты и выделением первых порций тепла...

*И снова хочу обратить ваше внимание на биологическую целесообразность повышения мышечного тонуса. Ведь опасность в древнем смысле требовала быстрых, энергичных движений: отпрыгнуть, ударить, пригнуться, влезть на дерево. А поскольку пока неясно, в какую сторону надо отпрыгнуть или нанести удар, то в готовность приводятся все мышцы. Одновременно с мышцами возбуждается вегетативная нервная система, начинает командовать всей кухней обмена веществ в организме. Ее сигналы достигают надпочечника, он выбрасывает в кровь адреналин, который возбуждает все и вся. Печень и селезенка, подобно губкам, выжимают в сосуды несколько литров запасной крови. Расширяются сосуды мышц, легких, мозга. Чаше стучит сердце, перекачивая во все органы тела кровь и вместе с ней — кислород и глюкозу... Спинной мозг и вегетативные нервы готовят организм студента к тяжелой, свирепой, длительной борьбе не на жизнь, а на смерть!*

*Но экзаменатора нельзя оглушить дубиной или хоть марморной чернильницей. Убежать от него тоже нельзя. Не удовлетворяет экзаменатора, даже если преисполненный мышечной энергией студент вместо ответа выжмет на краю стола стойку на кистях... Поэтому вся скрытая бурная деятельность организма студента завершается бесполезным сгоранием глюкозы в мышцах и выделением тепла. Терморецепторы различных участков тела посылают в спинной и головной мозг тревожные сигналы о перегреве — и мозг отвечает на них единственно возможной командой: расширить сосуды кожи! Теплоноситель — кровь устремляется к кожным покровам (побочно это вызывает у студента рефлекс покраснения ланит), начинает прогревать воздух между телом и одеждой. Открываются потовые железы, чтобы хоть испарением влаги помочь студенту. Рефлекторная цепь, возбужденная вопросом экзаменатора, наконец замкнулась!*

*Я полагаю, что выводы из рассказанного как относительно роли знаний в правильной регуляции человеческого организма в нашей сложной современной среде, так и о роли их в*

*регуляции студенческого организма на предстоящей сессии вы сделаете сами.*

Из лекции проф. В.А. Андросиашвили  
по курсу «Физиология человека»

...Да, он уезжал, чтобы стать самим собой, а не тем Кристошевым, что живет и работает в Днепропетровске. Еще в поезде он выбросил в окно ключ от квартиры, который Валька заботливо сунул ему в карман; вымарал из записной книжки адреса и телефоны московских знакомых, даже родственницы тети Лапанальды. Нет у него ни знакомых, ни родственников, ни прошлого — только настоящее, от момента поступления на биофак, и будущее. Он знал простой, но верный способ, как утвердить себя в будущем; способ этот не подводил его никогда: работа. Но было не только это.

...Когда-то физики усовершенствовали методы измерения скорости света — просто так, чтобы добиться высокой точности. Добились. И установили скандальный факт: скорость света не зависит от скорости движения источника света. «Не может быть! Врут приборы! Это же противоречит классической механике...» Проверили. Измерили скорость света другим методом — тот же результат. И почти законченное, логически совершенное мироздание, воздвигавшееся в лесах прямоугольных координат, рухнуло, подняв ужасную пыль. Начался «кризис физики».

Человеческий ум часто стремится не к углубленному познанию мира, а к примирению всех фактов в нем; главное — чтоб вышло проще и логичнее. А потом неизвестно откуда выплывает лукавый неучтенный фактик, который не укладывается в идеально подогнанные друг к другу представления, и все надо начинать сначала... Они тоже построили в своих умах простую и понятную картину того, как машина по информации о человеке создает человека. «Машина-матка» занималась детской игрой в кубики: комбини-



ровала электрическими импульсами в жидкой среде молекулы в молекулярные цепи, молекулярные цепи в клетки, а клетки в ткани — с той лишь разницей, что «информационных кубиков» здесь было несчитанные миллиарды. Тот факт, что в результате такой игры получилось не чудище и даже не другой человек, а он, информационный двойник Кривошеина, свидетельствовал, что задача имела только одно решение. Ну, разумеется, иначе и быть не могло: ведь кубики складываются только в ту картинку, детали которой есть на ее гранях. Прочие же варианты (фрагментарная Лена, фрагментарный отец, «бред» памяти, глаза и шупы) были просто информационным хламом, который не мог существовать отдельно от машины.

Это представление не было ошибочным — оно было просто поверхностным. И оно устраивало их, пока факты подтверждали, что они одинаковы и во внешности, и в мыслях, и в поступках. Но когда у них возникли непримиримые разногласия на применение биологии в работе, это представление оказалось несостоятельным. Да, именно то, что они не поняли друг друга, а не само увлечение биологией (которое у Кривошеина-2 могло бы и пройти без последствий), стало для его открытия тем же, чем факт постоянства скорости света был для теории относительности. Человек никогда не знает, что в нем банально, что оригинально; это познается лишь в сравнении себя с другими людьми. А в отличие от обычных людей Кривошеин-дубль имел возможность сравнивать себя не только со знакомыми, но и с «эталонном себя».

Теперь аспирант Кривошеин ясно понимал, в чем состояло их различие: разными были пути возникновения. Валентин Кривошеин возник три с лишним десятилетия назад таким же образом, как и все живое, — из эмбриона, в котором определенным расположением белковых молекул и радикалов была записана хорошо отработанная за тысячи веков и тысячи поколений программа построения человеческого

организма. А «машине-матке», которая работала хоть и от индивидуальной кривошеинской, но все равно произвольной информации, приходилось заново *искать* и принципы образования, и все детали биологической информационной системы. И машина нашла другой путь по сравнению с природой: биохимическую сборку вместо эмбрионального развития.

Да, теперь он многое понимает. За год он прошел путь от ощущений до знаний и от знаний до овладения собой. А тогда... тогда было лишь властное тяготение к биологии да невыразимая словами уверенность, что здесь надо искать. Даже Кривошеину ничего не смог толком объяснить.

В Москву он приехал со смутным чувством, что в нем что-то не так. Не болен, не психует, а именно надо в себе разобраться; убедиться, что его ощущения не навязчивая идея, не ипохондрические галлюцинации, а реальность.

Он работал так, что о днях, проведенных в институте в Днепровске, приходилось вспоминать как о каникулах. Лекции, лаборатории, анатомический театр, библиотека, лекции, коллоквиумы, лаборатории, лекции, клиника, библиотека, лаборатории... Первый семестр он не выезжал с Ленинских гор, только перед сном выходил к парапету на склон Москвы-реки покурить, полюбоваться огнями, что на горизонте смыкались со звездами.

Сероглазая, чем-то похожая на Лену второкурсница всегда устраивалась возле него на лекциях Андросиашвили, которые Кривошеин приходил слушать. Однажды спросила: «Вы такой солидный, серьезный — наверное, после армии?» «После заключения», — ответил он, свирепо выпятив челюсть. Девушка утратила интерес к нему. Ничего не поделаешь — девушки требуют времени.

...И он убеждался в каждом опыте, в каждом измерении: да, в срезе нервного жгута, что идет от мозга к горошине гипофиза, под микроскопом действительно можно насчи-

тать около ста тысяч нервных волокон — значит, гипофиз подробно управляется мозгом. Да, если скормить обезьяне из вивария вместе с банановой кашей навеску бета-радио-активного кальция, а потом гейгеровской трубкой считать меченые атомы в ее выделениях, то действительно выходит, что костные ткани обновляются примерно два раза в год. Да, если воткнуть иглы-электроды в нервное волокно мышцы и отвести усиленные биотоки в наушники, то можно услышать ритмичное кваканье или drobный стук нервных сигналов, и по характеру своему эти звуки совпадают с тем, что он *ощущал!* Да, клетки кожи действительно движутся изнутри к поверхности, изменяют структуру, умирают, чтобы отшелушиться и уступить место новым.

Он исследовал и свое тело: брал пробы крови и лимфы; добыл из правого бедра срез мышечной ткани и внимательно просмотрел его сначала под оптическим, а потом и под электронным микроскопом; оклеветал себя, чтобы в клинике ему сделали «пробу Вассермана» (пыточную операцию отбора спинномозговой жидкости из позвоночника для диагностики сифилиса)... И установил, что у него все было в норме. Даже количество и распределение нервов в тканях у него было таким же, как у учебных трупов в анатомическом театре. Нервы уходили в мозг, но туда он с помощью лабораторной техники забраться не мог: слишком много пришлось бы вживить в свой череп игольчатых электродов и со слишком многими осциллографами соединить их, чтобы понять тайны себя. Да и понял ли бы? Или снова вышел бы «стрептоцидовый стриптиз» — только не в словах-числах, а в зубчатых линиях электроэнцефалограмм?

Ситуация: живой человек изучает, но не может даже с помощью приборов постигнуть тайны *своего* организма — сама по себе парадоксальна. Ведь речь идет не об открытии невидимых «радиозвезд» или синтезе античастиц: вся информация уже есть в человеке. Остается только перевести

код молекул, клеток и нервных импульсов в код второй сигнальной системы — слова и предложения.

Слова и фразы нужны (да и то не всегда), чтобы один человек смог понять другого. Но необходимы ли они, когда требуется понять себя? Кривошеин этого не знал. Поэтому в ход шло все: исследования с приборами, работа воображения, чтение книг, анализ ощущений в своем теле, разговоры с Андросиашвили и другими преподавателями, наблюдения за больными в клинике, вскрытия...

Все, что возражал ему Вано Александрович в памятном декабрьском разговоре, было правильно, ибо определялось знаниями Андросиашвили о жизни, его верой в непреложную целесообразность всего, что создано природой. Не знал профессор одного: что разговаривал с искусственным человеком.

Даже сомнения Вано Александровича в успехе его замысла были вполне основательны, потому что Кривошеин начал именно с инженерного «машинного» решения. Тогда же в декабре он принялся проектировать «электропотенциальный индуктор» — продолжение идеи все той же «шапки Мономаха». Сотни тысяч микроскопических игольчатых электродов, соединенных с матрицами самообучающегося автомата (на нем в лаборатории бионики моделировали условные рефлексы), должны были сообщать клеткам мозга дополнительные заряды, наводить в них через череп искусственные биотоки и тем связывать центры мышления в коре с вегетативной нервной системой.

Кривошеин усмехнулся: чудак, хотел этим примитивным устройством подправить свой организм! Хорошо хоть, что не забросил физиологические исследования из-за этого проекта.

...Вскрывая очередной труп, он мысленно оживлял его: представлял, это он сам лежит на топчане в секционном зале, это его белые волокна нервов пробираются среди

мышц и хрящей к лиловому, в желтых потеках жира сердцу, к водянистым гроздьям слюнных желез под челюстью, к серым лохмотьям опавших легких. Другие волоконца свиваются в белые шпагаты нервов, идут к позвоночнику, в спинной мозг и далее, через шею, под череп. По ним оттуда бегут сигналы-команды: сократиться мышцам, ускорить работу сердца, выжать слюну из желез!

В студенческой столовой он таким же образом прослеживал движение каждого глотка пищи в желудок, силился представить и ощутить, как там, в темном пространстве, ее медленно разминают гладкие мышцы, разлагают соляная кислота и ферменты, как всасывается в стенки кишок мутно-желтая каша, — и иногда засиживался по два часа над остывшим шницелем.

Собственно, он вспоминал. Девять десятых его открытия приходится на то, что он вспомнил и понял, как было дело. «Машине-матке» было просто ни к чему начинать с зародыша: она имела достаточно материала, чтобы «собрать» взрослого человека — Кривошеин-оригинал об этом позаботился. Первоначально в неопределенной биологической смеси в баке были только «блуждающие» токи и «плавающие» потенциалы от внешних схем — эти образные понятия из теоретической электротехники в данном случае проявляли себя в буквальном смысле. Затем возникли прозрачные нервные волокна и клетки — продолжение электронных схем машины. Поиск информационного равновесия продолжался: нервная сеть становилась все сложнее и объемней, в ней слои нервных клеток оформились в кору и подкорку — так возник его мозг, и, начиная с этого момента, он существовал.

Его мозг первоначально тоже был продолжением машинной схемы. Но теперь уже он принимал импульсы внешней информации, перебирал и комбинировал варианты, искал, как овеществить информацию в биологической среде, — собирал себя! В баке раскинулась — пока еще произвольная —

сеть нервов; вокруг них стали возникать ткани мышц, сосуды, кости, внутренности — в том почти жидком состоянии, когда все это под воздействием нервных импульсов может раствориться, смешаться, изменить строение... Нет, это не было осмысленной сборкой тела по чертежу, как не было и чертежа; продолжалась игра в кубики, перебор множества вариантов и выбор среди них того единственного, который точно отражает информацию о Кривошеине. Но теперь — как электронная машина оценивает каждый вариант решения задачи двоичными электрическими сигналами, так его мозг-машина оценивал синтез тела по двоичной арифметике ощущений: «да» — приятно, «нет» — больно. Неудачные комбинации клеток, неверное расположение органов отзывались в мозгу тупой или колющей болью; удачные и верные — сладостной удовлетворенностью.

И память поиска, память ощущений возникающего тела осталась в нем. Жизнь создает людей, которые мало отличаются свойствами организма, но необыкновенно различны по своей психике, характерам, знаниям, душевной утонченности или грубости. «Машина-матка» поступила наоборот. Аспирант был тождествен Кривошеину по психике и интеллекту, да оно и понятно: ведь эти качества человека формируются в жизни тем же способом случайного поиска и отбора произвольной осмысленной информации; машина просто повторила этот поиск. А биологически они различались, как книга и черновик рукописи этой книги. Даже не один черновик, а все варианты и наброски, из которых возникло выношенное и отработанное произведение. Конечное содержание одинаково, но в черновиках исправлениями, дописками, вычеркиваниями записан весь путь поиска и отбора слов.

«Впрочем, это сравнение тоже несовершенно. — Аспирант поморщился. — Черновики книг возникают раньше книг, а не наоборот! Да и если познакомить графомана со всеми черновыми вариантами «Войны и мира», разве это

сделает его гением? Впрочем, кое-чему, наверное, научит... Э нет, лучше без сравнений!»

Человек вспоминает то, что знает, лишь в двух случаях: когда надо вспоминать — целевое воспоминание — и когда встречается с чем-то хоть отдаленно похожим на записи своей памяти; это называют ассоциативным воспоминанием. Книжечки по биологии и стали тем намеком, который растревожил его память. Но трудность состояла в том, что помнил-то он не слова и даже не образы, а ощущения. Он и сейчас не может перевести все в слова — да, наверное, и никогда не сможет...

Впрочем, не это главное. Важно то, что такая информация есть. Ведь смогли же эти «знания в ощущениях» породить в нем четкую осмысленную идею: управлять обменом веществ в себе.

...Первый раз *это* получилось у него 28 января вечером, в общежитии. Получилось совсем как у павловских собак: искусственное выделение слюны. Только в отличие от них он думал не о пище (как раз поужинал кефиром и докторской колбасой), а о нервной регуляции слюнных желез. По обыкновению старался представить и ощутить весь путь нервных сигналов от вкусовых рецепторов языка через мозг до слюнных желез и вдруг почувствовал, как рот наполняется слюной!

Еще не вполне осознав, как это получилось, он напряг мысль в испуганном протесте: «Нет!» — и во рту мгновенно пересохло!

В тот вечер он повторял мысленные приказы «Слюна!» и «Нет!» до тех пор, пока желваки не стало сводить судорогой...

Всю следующую неделю он сидел у себя в комнате — благо шли студенческие каникулы, на лекции и лабораторки не надо было отвлекаться. Приказам в мысленных ощущениях подчинялись и другие органы! Сначала удавалось управлять лишь грубо: из глаз текли ручьи слез, пот то обиль-

но выступал по всей коже, то мгновенно высыхал; сердце или затихало в полуобморочной вялости, или бешено отстукивало сто сорок ударов в минуту — середины не было. А когда он первый раз приказал желудку прекратить выделение соляной кислоты, то еле успел домчаться до туалета — такой стремительный понос прошиб его...

Но постепенно он научился тонко и локально управлять внешними выделениями; даже смог однажды написать капельками пота на коже предплечья «ПОЛУЧАЕТСЯ!», как татуировку. Потом он перенес опыты в лабораторию и прежде всего повторил на себе известный эффект «сахарного укола» Клода Бернара. Только теперь не требовалось вскрывать череп и колоть иглой промежуточный мозг: количество сахара в крови увеличивалось от мысленного приказа.

Но вообще с внутренней секрецией все обстояло гораздо сложнее — она не выдавала результаты команд-ощущений на-гора. Он исколол себе пальцы и мышцы, проверяя, выполняют ли железы приказы мозга о выделении в кровь адреналина, инсулина, глюкозы, гормонов; истерзал пищевод зондом для отбора желудочного сока, когда сознательно изменял кислотность... Все получалось — и все было очень сложно. Тогда до него дошло: надо ставить организму общую цель — сделать то-то, произвести нужные изменения. В самом деле, ведь когда он идет, то не командует мышцам: «Правая прямая бедра — сократиться! Двуглавая — расслабиться! Левая икроножная — сократиться...» — ему до этого нет дела. Сознание дает общую установку: идти быстрее или медленнее, обойти столб, повернуть в подъезд. А нервные центры мозга сами распределяют задания мышцам. Так должно быть и здесь: ему нет дела до того, какие железы и сосуды будут производить различные реакции. Лишь бы они делали то, что он хочет!

...Мешали слова, мешали образы. Он пытался разжевать до подробностей: печени — как синтезировать гликоген



из аминокислот и жиров, расщепить гликоген до глюкозы, выделить ее в кровь; щитовидной железе — сократиться, выжать в кровь капельки тироксина; кровеносной системе — расширить капилляры в тканях больших грудных мышц, максимально сократить прочие сосуды — и ничего не получалось, грудные мышцы не наращивались. Ведь печень не знала, что она печень, щитовидная железа понятия не имела о термине «тироксин» и не могла представить себе его капельки.

Аспирант Кривошеин клял себя за излишнее усердие на лекциях и в библиотеке. Результатом этих усилий была лишь головная боль.

В том-то и дело, что для обмена веществ в себе следовало избегать чисел, терминов и даже образов, а мыслить только в ощущениях. Задача сводилась к тому, чтобы превратить «знания в ощущениях» в третью сигнальную систему управления внутренней секрецией с помощью ощущений.

...Самое смешное, что для этого не понадобились ни лабораторные приборы, ни схемы управления. Просто лежать в темной комнате, закрыв глаза и залепив пластилином уши, полудремотно прислушиваться к себе. Станные ощущения приходили изнутри: зудела, обновляя кровь, селезенка; щекотно сокращались кишки; холодили под челюстью слюнные железы; сладостной судорогой отзывался на сигнал нервов надпочечник; порция крови, обогащенная адреналином и глюкозой, тепло расходилась по телу, как глоток крепкого вина; легким покалыванием извещали о себе нездоровые клетки мышц.

Если употребить инженерную терминологию, то он «прозванивал» свое тело нервами, как монтажник прозванивает электронную схему тестером.

К этому времени он уже четко представлял себе двоичную арифметику ощущений: «больно» — «приятно». И ему пришло в голову, что самый простой способ подчинить сознанию процессы в клетках — это заставить их болеть. Весь-

ма возможно, что этому изобретению способствовал случай с сосулькой: идея пришла в голову после него.

Действительно, клетки, которые разрушались и гибли от различных причин, давали весьма ощутимо знать о себе. Они ныли, саднили, покалывали — будто кричали о помощи. Организм и сам, без команды «сверху», бросал им на помощь лейкоциты крови, тепло воспаленной ткани, ферменты и гормоны: оставалось либо ускорять, либо тормозить усилиями сознания эти микроскопические бои за жизнь.

...Он колол и резал мышцы всюду, куда только мог дотянуться иглой или ланцетом. Впрыскивал под кожу смертельные дозы культур тифозных и холерных бактерий. Дышал парами ртути, пил растворы сулемы и древесный спирт (на более быстродействующие яды, правда, не хватило духа). И чем дальше, тем проще его организм справлялся со всеми осознаваемыми опасностями.

А потом он возбудил в себе рак. Возбудить в себе рак! Любой врач плюнул бы ему в глаза за такое заявление. Возбудить рак, мыслимое ли дело — для этого ведь надо знать, от чего возникают раковые опухоли. По совести говоря, он не стал бы утверждать, что знает причины рака — просто потому, что не может перевести на язык слов все те ощущения, что сопровождали перерождение клеток кожи на правом боку... Он начал с того, что выпрашивал пациентов, проходивших в лаборатории радиобиологии курс гамма-терапии: что они чувствуют? Это было немилосердно: расспрашивать напуганных, тоскующих, кривящихся от болей людей об их переживаниях и не обещать ничего взамен, — но так он вживался в образ больного раком.

...Опухоль разрасталась, твердела. От нее стали ответвляться наросты — причудливые и зелено-лиловые, как у цветной капусты. Боль грызла бок и плечо. В студенческой поликлинике, куда он отправился на освидетельствование, ему предложили немедленно оперироваться, не хотели даже

выпускать из кабинета. Он отвертелся, наврал, что желает сначала пройти курс гамма-терапии...

Аспирант Кривошеин, разминая папироску, вышел на балкон. Стояла теплая ночь. По загородному шоссе, махая лучами фар, промчалась автомашина. От созвездия Лебедя к Лире торопливо перебирались два огонька — красный и зеленый; за ними волочился рев реактивных двигателей. Как спичка по коробку, чиркнул по небу метеор.

...Когда же у себя в комнате, стоя перед зеркалом, он напряг волю и чувства, опухоль рассосалась в течение четверти часа. Через двадцать минут на месте ее было лишь багровое пятно величиной с блюдце; еще через десять минут — обычная чистая кожа в гусиных пупырышках озноба: в комнате было довольно прохладно.

Но и знание, как устранить рак, он пока не может выразить в рецептах и рекомендациях. То, что он смог бы описать словами, никого не исцелит — разве что таких, как он сам, дублей, возникающих впервые. И все его знания применимы только к ним.

Со временем, вероятно, удастся преодолеть барьер между дублями «машины-матки» и обычными людьми. Ведь биологически они малоразличимы. А знания есть. Ну, не удастся выразить их словами — запишут на магнитные пленки колебания биопотенциалов, снимут карты температур, обрабатывают числа анализов в вычислительных машинах — медицина ныне наука точная. Да в конце концов, научатся записывать и передавать точные ощущения. Слова не обязательны: для больного главное — выздороветь, а не написать диссертацию о своем исцелении. Дело не в том...

Внимание аспиранта привлек вспыхнувший внизу огонек. Он всмотрелся: прислонясь к фонарному столбу, прикуривал давешний широкоплечий верзила в плаще —

сыщик. Вот он бросил спичку, стал мерно прохаживаться по тротуару.

«Нашел-таки; черт бы его взял! Вот прицепился!» У Кривошеина сразу испортилось настроение. Он вернулся в комнату, сел к столу читать дневник.

## Глава девятая

*Жизнь коротка. Ее едва хватает, чтобы  
совершить достаточное количество ошибок.  
А повторять их — недопустимая роскошь.*

К. Прутков-инженер. Мысль № 22

Теперь аспирант читал записи придирчиво, с ревнивым любопытством: ну, чего же достиг он, который намеревался «ручки вертеть»?

«1 июня. Уфф... все! Информационная камера готова. Завтра начинаю опыты с кроликами. Если следовать общей традиции, то полагается начинать с лягушек... но чтобы я взял в руки эту гадость! Нет, пускай жабами занимается мой дубль-аспирант. Аспирант суть первый ученик в науке, ему приличествует прилежание. Как-то он там?»

«2 июня. Оснастил кроликов датчиками, запустил в камеру — всех сразу. Пусть нагуливают информацию».

«7 июня. Четыре дня кролики обитали в камере: лакомились морковкой и капустными листьями, трясли ноздрями, дрались, спаривались, дремали. Сегодня утром сделал первую пробу. Надел «шапку Мономаха», мысленно скомандовал «Можно!» — и «машина-матка» сработала! Четыре кролика-дубля за полтора часа. Гора с плеч — машина действует. Любопытная деталь: зримое возникновение кроли-

ков (что делается до этого, не знаю) начинается с кровеносной системы; красно-синие сосуды намечаются в золотистой жидкости точь-в-точь как в желтке насиженного курицей яйца.

Ожив, кролики всплывали. Я их вылавливал за уши, купал, тепленьких и дрожащих, в тазике, потом подсаживал к обычным. Встреча естественных и искусственных двойников носила еще более пошлый характер, чем некогда у нас с дублем. Они недоуменно пялились друг на друга, обнюхивались и (поскольку у них нет второй сигнальной системы, чтобы объясниться) начинали драку. Потом уставали, снова обнюхивались и далее вели нормальную кроличью жизнь.

Главное, машина работает по моему заказу, без отсебятины. Надеть «шапку», вспомнить (желательно зримо), какого именно кролика ты хочешь продублировать, дать мысленное разрешение — и через 25—30 минут он барахтается в баке.

Противоположную операцию — растворение возникающего кролика по команде «Нет!» — «машина-матка» тоже выполняет безукоризненно.

За успехи и прилежание я скармливаю ей соли, кислоты, глицерин, витамины и прочие реактивы по списку. Совсем как сеledку дрессированному тюленю».

«20 июня. Когда получается, так получается. А вот когда не получается, так хоть головой бейся... Все эти дни я пробую остановить синтез кролика на какой-нибудь стадии. Какие только команды я не перепробовал: «Стоп!», «Замри!», «Хватит!», «Нуль!» — и в мысленном, и в звуковом выражении — и все равно: либо синтез идет до конца, либо происходит растворение.

Похоже, что «машина-матка» работает как триггер вычислительной машины, который либо заперт, либо открыт, а в промежуточном положении остановиться не может. Да, но сложной машине следует вести себя более гибко, чем этой ерундовой схемке. Пробуем еще...»

«6 июля. Жизнь остановить нельзя — вот, пожалуй, в чем дело. Всякая остановка жизни есть смерть. Но смерть — это только миг, за которым начинается процесс распада или в данном случае растворения. А я синтезирую *живые* системы. Да и сама «машина-матка» — собственно, живой организм. Поэтому ничего в ней застыть не может.

А жаль, это было бы очень удобно... Сегодня появился на свет первый приплод от искусственного самца и обычной крольчихи — восемь беленьких крольчат. Это, наверное, важный факт. Только и без того очень уж много у меня кроликов.

Черт возьми, но должна же «машина-матка» подчиняться более тонким командам, чем «Можно!» и «Нет!». Я должен *управлять* процессом синтеза, иначе все замыслы мои летят в тартарары...»

«7 июля. Так вот как ты работаешь, «машина-матка»! И до чего же просто... Сегодня я приказал машине еще раз воспроизвести кролика-альбиноса Ваську. Когда он прозрачным видением проявился в середине бака, я сосредоточил внимание на его хвостике и вообразил его длиннее. Никаких изменений не последовало. Это было что-то не то. Я так и подумал с досадой: «Не то...» — и тут в кролике все начало меняться!

Контуры тела заколебались в медленном ритме: тело, уши, лапы и хвост кроля то удлинялись и утолщались, то укорачивались и худели; органы внутри пульсировали в том же ритме. Даже цвет крови стал меняться от темно-вишневого до светло-красного и обратно.

Я вскочил со стула. Кролика продолжало «трясти». Формы его все более искажались, окарикатуривались; дрожание становилось все более частым и размашистым. Наконец альбинос расплылся в серо-лиловую туманность и растворился.

Сначала я напугался: картина напоминала давний «бред» машины! Вот только ритм. Все колебания размеров и оттенков были удивительно согласованны...

И тут я все понял. Сам понял, черт побери! — желаю это отметить. Первоначальную информацию о кролике машина получила конкретную и однозначную. Она комбинировала все информационные детали, искала точный вариант; но там ищи не ищи — что записано, то и воспроизведешь. Из деталей мотоцикла не соберешь пылесос.

И вдруг в машину поступает сигнал «Не то» — не отрицание и не утверждение — сигнал сомнения. Он нарушает информационную устойчивость процесса синтеза кролика; грубо говоря, сбивает машину с толку. И она начинает искать: что же «то» — простым методом проб (чуть больше, чуть меньше), чтобы не нарушить систему... Но машина не знает, что «то», и не получает подтверждений от меня. Тогда происходит полное расстройство системы и растворение: не то — значит не то...

И тогда (вот чем хороша работа исследователя: напал на жилу и в течение дня при помощи одной-двух идей можешь сделать работу, которую иначе не осилишь и за годы!) я снова надел «шапку Мономаха» и скомандовал машине «Можно!». Теперь я знал, что буду делать с дублем кролика. Он образовался. Я сосредоточил внимание на его хвосте (цепь связи: биоимпульсы от сетчатки моих глаз с изображением кроличьего хвоста ушли в мозг — в «шапку Мономаха» — в машину, а там — сравнение и отбор информации — машина зафиксировала мое внимание) и даже поморщился, чтобы выразительней вышло: «Не то!» В машину пошел мощный разбалансирующий импульс информации. И хвостик стал укорачиваться. Чуть-чуть...

«Не то!» Хвостик дрогнул, чуть удлинился... «Вот-вот! То!» Хвост замер. «Не то!» Еще удлинился... «То!» Замер. «Не то! То! Не то! То!» — и дело пошло. Самым трудным было уловить колебание в нужную сторону — и подтолкнуть. Дальше я транслировал в «машину-матку» уже не элементарные команды «то — не то», а просто молчаливое поощрение.

Хвост удлинялся; в нем выросла цепочка мелких позвонков, они покрылись волокнами мышц, розовой кожей, бе-

лой шерстью... Через десять минут дубль-Васька стегал себя по бокам мокрым белым хвостом, как разъяренный тигр.

А я сидел на стуле в «шапке Мономаха», и в голове творилась невообразимая толчея из «Н-ну!...», «Вот это да!», «Елки-палки!», «Уфф...» — как всегда, когда еще не можешь выразить все словами, но чувствуешь: понял, теперь не уйдет! И лицо мое, наверное, выражало ту крайнюю степень блаженства, какая бывает только у пускающего слюну идиота.

Все. Никакой мистики. «Машина-матка» работает по той же системе «да — нет», что и обычные вычислительные машины...»

— Правильно, — кивнул аспирант. — Но... это довольно грубое управление. Впрочем, для машины... да чего там, молодец!

«...Но, черт, как все-таки здорово! По моей команде «Да», «Не то», «Нет» машина формирует клетки, ткани, кости... Это могут лишь живые организмы, да и то гораздо медленнее.

Ну, голубушка, теперь я выжму из тебя все!»

«15 июля. Теперь мы, что называется, сработались с машиной. Точнее, она научилась принимать, расшифровывать и исполнять не разбитые на последовательность «то» и «не то» приказы моего мозга. Суть обратной связи и содержание команд осталось прежним — просто все происходило очень быстро. Я воображаю: что и как надо изменить в возникающем дубле-кролике. Ну, все равно как если бы я рисовал или лепил этот кроличий образ.

Машина теперь — мои электронно-биохимические руки. Как это роскошно, великолепно: усилием мысли лепить разнообразных кроличьих уродцев! С шестью ногами, с тремя хвостами, двухголовых, без ушей или, наоборот, с отвислыми мохнатыми ушами дворняг. Что там доктор Моро с его



скальпелем и карболкой! Единственное орудие труда — «шапка Мономаха»; не надо даже ручки вертеть.

Самое занятное, что эти уродцы живут: чешутся четырьмя лапами и наворачивают морковку в две пасти...»

— Легкая работенка, — с завистью пробормотал аспирант. — Почти как в кино: сиди, посматривай... Ничего не болит, нечего бояться. Никаких тебе сильных страстей — инженерная работа.

Он вздохнул, вспоминая свои переживания. К болям при различных автовिवисекциях он привык сравнительно просто: когда знаешь, что болезнь пройдет, рана зарастет, боль становится обычным раздражителем, вроде яркого света или громкого звука — неприятно, но не страшно. Когда знаешь... В своих продуманных опытах он это знал. Любое новое изменение он начинал тоже с малых проб — проверял ими, как выдерживает изменение организм; на крайний случай под рукой всегда были лекарства, ампулы нейтрализаторов и антибиотиков, телефон, по которому можно вызвать «скорую помощь». Но был у него один непродуманный опыт, в котором он едва не погиб... Собственно, это был даже не опыт.

...Шел факультативный практикум по радиобиологии. Студенты-третьекурсники обступили бассейн учебного уранового реактора, с уважением смотрели на темный ячеистый цилиндр в глубине — от него рассеивался в воде зеленый спокойный свет, на тросики, никелированные штанги, рычаги и штурвальчики управления над ним.

— Это красивое, цвета молодой травы сияние вокруг тела реактора, — сочным баритоном говорил профессор Валерно, — называется «черенковским свечением». Оно возникает от движения в воде сверхбыстрых электронов, кои, в свою очередь, возникают при делении ядер урана-235...

Кривошеин ассистировал, то есть просто сидел в сторонке, скучал и ждал, когда профессор пригласит его провести

демонстрационный опыт. Собственно, Валерно за милую душу мог бы провести этот «опыт» сам или попросить студента, но ему при его научном чине полагался квалифицированный ассистент. «Вот и сиди...» — уныло размышлял Кривошеин. Потом ему пришло в голову, что он не испытывал еще на себе лучевую болезнь. Он вострепнулся, стал обдумывать, как это сделать. «Взять колбу воды из реактора и для начала устроить себе легкий радиационный ожог... Дело-то серьезное!»

— ...Наличие интенсивного черенковского свечения в воде свидетельствует о наличии интенсивной радиации в окрестности тела реактора, — нудно объяснял Валерно, — что и не удивительно: цепная реакция. Возрастание яркости свечения свидетельствует о возрастании интенсивности радиации, уменьшение яркости — соответственно о противоположном. Вот, прошу смотреть. — Он повернул штурвальчик на щитке вправо и влево. Зеленый свет в бассейне мигнул.

— А если крутануть совсем вправо, взрыв будет? — опасно осведомился рыжий веснушчатый юноша в очках.

— Нет, — еле сдерживая зевоту, ответил профессор (такой вопрос задавали на каждом занятии). — Там ограничитель. И, помимо него, в реакторе предусмотрена автоблокировка. Как только интенсивность цепной реакции превзойдет дозволенные пределы, автомат сбрасывает в тело реактора дополнительные графитовые стержни... вон те, видите? Они поглощают нейтроны и гасят реакцию... А теперь познакомимся с действием радиоактивного излучения на живой организм. Валентин Васильевич, прошу вас!

Кривошеин подкатил к бассейну тележку с аквариумом, в котором извивался черным, отороченным бахромой плавников телом и скалил мелкие зубы полуметровый угорь.

— Вот угорь речной, *Anguilliformes*, — не поворачивая головы, объявил Валерно, — самая живучая из речных рыб.

Когда Валентин Васильевич выплеснет его в бассейн, угорь, повинаясь инстинкту, тотчас уйдет в глубину... м-м... что лично я на его месте не делал бы, поскольку самые удачные экземпляры через две-три минуты возвращаются оттуда к поверхности вверх брюхом. Впрочем, смотрите сами. Прошу засечь время. Валентин Васильевич, действуйте!

Кривошеин перевернул аквариум над бассейном, шелкнул секундомером. Студенты склонились над барьером. Черная молния метнулась к вымощенному серым кафелем дну бассейна, описала круг, другой, перечеркнула зеленое зарево над цилиндром. Видимо, ослепнув там, угорь ударился о противоположную стенку, шарахнулся назад...

Вдруг свечение в бассейне сделалось ярче — и в этом зеленом свете Кривошеин увидел такое, что у него похолодела спина: угорь запутался в тросиках, на которых висели графитовые стержни, регуляторы реакции, и бился среди них! Один стержень выскочил из ячейки, отлетел зеленой палочкой в сторону. Свечение стало еще ярче.

— Все назад! — быстро оценив ситуацию, скомандовал побледневший Валерно. Баритон его как-то сразу сел. — Прошу уходить!

Дернул по нервам аварийный звонок. Защелкали контакты автомата блокировки. Свет в воде замигал, будто в бассейне вели электросварку, и стал еще ярче. Студенты, прикрывая лица, отхлынули к выходу из зала. В дверях возникла давка.

— Прошу не волноваться, товарищи! — совсем уж фальцетом закричал потерявший голову Валерно. — Концентрация урана-235 в тепловыделяющих элементах реактора недостаточна для атомного взрыва! Будет лишь тепловой взрыв, как в паровом котле!

— О господи! — воскликнул кто-то.

Затрещали двери. Какая-то девушка завизжала дурным голосом. Кто-то выругался. Веснушчатый студент-очкарик, не растерявшись, схватил со стола двухпудовый синхронос-

коп С1-8, высадил им оконную раму и вслед за ней ринулся вниз... В несколько секунд зал опустел.

В первый миг паники Кривошеин метнулся за всеми, но остановил себя, подошел к реактору. От цилиндра поднимались частые крупные бульбы, клубилась вода — вместо спокойного свечения в бассейне теперь полыхал зеленый костер. Угорь больше не бесновался, но выбитые им графитовые стержни перекошились и заклинились в гнездах.

«Закипит вода — и облако радиоактивного пара на всю окрестность, — лихорадочно соображал Кривошеин. — Это не хуже атомного взрыва... Ну, могу? Боюсь... Ну же! На кой черт все мои опыты, если я боюсь? А если как угорь?.. Э, черт!»

(Даже сейчас аспиранту Кривошеину стало не по себе: как он мог решиться? Возомнил, что ему уже все нипочем? Или сработала психика мотоциклиста, представилось, будто проскакиваешь между двумя встречными грузовиками: главное — не раздумывать, вперед!.. Пьянящий миг опасности, рев машин, и с колотящимся сердцем вырываешься на асфальтовый простор! Но ведь здесь был не «миг» — вполне мог остаться в бассейне в компании с дохлым угрем.)

Порыв мотоциклетной отваги охватил его. Обрывая пуговицы, он сбросил одежду, перекинул ногу через барьер, но — «Стоп! Спокойно, Валька!» — прыгнул от бассейна к препараторскому столу, надел резиновые перчатки, герметичные очки («Эх, акваланг бы сейчас!..» — мелькнула мысль). Набрал в легкие воздух и плюхнулся в бассейн.

Даже поодаль от реактора вода была теплая. «Тысяча один, тысяча два...» — Кривошеин, инстинктивно отворачивая лицо, шагнул по скользким плиткам к центру бассейна. «Тысяча шесть...» — стал на шаривать в бурлящей воде. Резиновые перчатки касались непонятно чего, пришлось все-таки взглянуть: угорь, свившись в петлю между тросами, висел чуть ниже.

«Тысяча десять, тысяча одиннадцать...» — осторожно, чтобы ненароком не выдернуть стержни, потянул обмякшее тело

рыбы. «Тысяча шестнадцать...» Рукам стало горячо, хотел отдернуть, но сдержался и медленно выводил угря из путаницы тросов. Очки оказались не такими уж герметичными, струйки радиоактивной воды просочились к векам. Прищурился. «Тысяча двадцать, тысяча двадцать один...» — вывел! Зеленое сияние замерцало, стержни беззвучно скользнули в цилиндр. В бассейне сразу стало темно.

«Тысяча двадцать пять!» Резким толчком Кривошеин отпрянул к стенке, выпрыгнул до пояса из воды, ухватился за барьер, вылез. «Тысяча тридцать...»

Хватило ума попрыгать, чтобы стряхнуть с себя лишнюю губительную влагу, даже покататься по полу. Насухо вытер штанами лицо, глаза. «Только бы не ослепнуть раньше, чем добегу». Оделся кое-как, бросился прочь из зала.

Хрипло взревел на проходной сигнализатор облучения. Высунулись, преграждая путь, скобы автотурникета. Он перепрыгнул турникет, побежал прямо по свежевскопанному газону к общежитию.

«Тысяча семьдесят, тысяча семьдесят один...» — машинально отсчитывал время мозг. Сумерки помогли не встретить знакомых; только у ограды зоны «Б» кто-то крикнул вслед: «Эй, Валя, ты куда спешишь?» — кажется, аспирант Нечипоров со смежной кафедры. «Тысяча восемьдесят, восемьдесят один...» Кожа зудела, чесалась, потом ее начали колоть миллионы игл: это утонченная в прежних опытах нервная система извещала, что протоны и гамма-кванты из распавшихся ядер расстреливают молекулы белка в клетках эпителия, в окончаниях кожных нервов, пробивают стенки кровеносных сосудов, ранят белые и красные тельца крови. «Тысяча сто... тысяча сто пять...» Теперь покалывание перекинулось в мышцы, в живот, под череп; в легких засадило, будто от затяжки крепчайшего самосада-вергуна. Это кровь разнесла взорванные атомы и раздробленные белки по всему телу.

«Тысяча двести пять... двести восемь... идиот, что же я наделал?! Двести двенадцать...» — уже не было замысла, не было порыва. Был страх. Хотелось жить.

Живот стали подергивать тошнотворные спазмы, рот переполнила слюна с медным привкусом. Задев на бегу массивную входную дверь так, что она загудела, Кривошеин понял: кружится голова. Потемнело в глазах. «Двести сорок один... не добегу?» Надо было подняться на четвертый этаж. Он наотмашь хлестнул себя по щекам — в голове прояснилось.

В темноту комнаты вместе с ним ворвалось сумеречное сияние. Первые секунды Кривошеин бессмысленно и ослабленно кружил по комнате. Страх, тот неподвластный сознанию биологический страх, который гонит раненого зверя в нору, едва не погубил его: он забыл, что нужно делать. Стало ужасно жаль себя. Тело наполнила звенящая слабость, сознание уходило. «Ну и пропадай, дурак», — безразлично подумал он и почувствовал прилив небывалой злобы на себя. Она-то и выручила его.

Одежда в зеленых, как лишай на деревьях, пятнах полетела на пол; в комнате стало еще светлее: светились ноги, на руках были видны волосы и рисунок вен. Кривошеин бросился в душевую, повернул рукоятку крана. Свистнула холодная вода, потекла, отрезвляя, по голове, по телу, образовала на резиновом коврике переливающуюся изумрудными тонами лужу и на необходимые, чтобы собрать в кулак мысли и волю, мгновения взбодрила его.

Теперь он, как стратег, командовал разыгравшейся в теле битвой за жизнь. Кровь, кровь, кровь бурлила во всех жилах! Лихорадочный стук сердца отдавался в висках. Мириады капилляров вымывали из каждой клетки мышц, желез, высасывали из лимфы поврежденные молекулы и частицы; белые тельца стремительно и мягко обволакивали их, разлагали на простейшие вещества, уносили в селезенку, в легкие, в пе-

чень, почки, кишечник, выбрасывали к потовым железам... «Перекрыть костные сосуды!» — мысленными ощущениями приказывал он нервам, вовремя вспомнив, что радиоактивность может осесть в костном, творящем кровяные тельца мозгу. Прошло несколько минут. Теперь он выдыхал радиоактивный воздух со слабо светящимися парами воды; отплевывал светящуюся слюну, в которой накапливались разрушенные радиоактивные клетки мозга и мышц головы; смывал с кожи зеленоватые капли пота, то и дело мочился красивой изумрудной струей. Через час выделения перестали светиться, но тело еще покалывало.

Так он провел в душевой три часа: глотал воду, обмывался и выбрасывал из организма все поврежденное радиацией. Вышел в комнату за полночь, шатаясь от слабости и физического истощения. Отпихнул подальше в угол светящиеся тряпки одежды, повалился на койку — спать!..

На следующий день ему все время хотелось пить. Он зашел в радиометрическую лабораторию, поводил вокруг себя щупом счетчика Гейгера — прибор потрескивал по-обычному, отмечая лишь редкие космические частицы.

— Елки-палки, когда ты успел так похудеть?! — изумился, встретив его у лекционной аудитории, аспирант Нечипоров.

«Да, по результатам это, конечно, был знатный опыт, — усмехнулся аспирант. — Одолеl сверхсмертельную дозу облучения! Но по исполнению... нет, с такими «опытами» баловаться накладно. Лучше вот как он».

«27 июля. Дублей и уродцев развелось у меня великое множество, — продолжал аспирант чтение дневника. — Нормальных кроликов выпускаю в парк, уродцев по одному выношу в спортивном чемоданчике с территории, увожу в Червоный Гай за Днепр. Ну, все. Наслаждение новизной откpытия прошло. Мне это надругательство над природой уже

противно: хоть и кролик, но ведь живая тварь. Эти недоуменно косящие друг на друга глаза у двух голов на одной шее... бр-р! Впрочем, какого черта? Я нашел способ управления биологическим синтезом, испытывал и отработывал его. Наука в конечном счете создает способы — не конструкции, не вещества, не предметы обихода, а именно способы: как все это сделать. И никакой исследователь не упустит случая выжать из своего способа все возможное.

Между прочим, вчера в институтской столовой появилось блюдо «Кролик жареный с картошкой молодой, цена 45 коп.». Гм?! Будем считать это совпадением. Но возможно и такое применение открытия: разводить на мясо кролей, коров, улучшать породу... при промышленной постановке дела окажется наверняка выгоднее обычного животноводства...

Завтра я возвращаюсь к опытам по синтезу человека. Методика ясна, нечего тянуть. И все равно при одной мысли об этом у меня начинает сосать под ложечкой. Возвратиться к синтезу человека... Одно дело, когда мой дубль возник сам по себе, почти нечаянно, как оно и в жизни бывает; другое дело изготовлять человека сознательно, как кролика. В сущности, мне предстоит не «возвратиться», а начать...

Что это за существо такое — человек, что я не могу работать с ним так же спокойно, как с кроликами?!

Восстановим масштабы. Плавает в черном пространстве звездная туча Метагалактика. В ней чечевицеобразная пылинка из звезд — наш Млечный Путь. На окраине его Солнце, вокруг — планеты. На одной из них — ни самой большой, ни самой маленькой — живут люди. Три с половиной миллиарда, не так и много. Если выстроить всех людей в каре, то человечество можно оглядеть с Эйфелевой башни. Если сложить их, то получится куб со стороной в километр, только и всего. Кубический километр живой и мыслящей материи, молекула в масштабе Вселенной... И что?



А то, что я сам человек. Один из них. Ни самый низкий, ни самый высокий. Ни самый умный, ни самый глупый. Ни первый, ни последний. А кажется, что самый. И чувствуешь себя в ответе за все...»

## Глава десятая

*В заботе о ближнем главное —  
не перестараться.*

К. Прутков-инженер. Мысль № 33

«29 июля. Сажу в информационной камере в окружении датчиков, на голове «шапка Мономаха». Веду дневник, потому что больше заняться решительно нечем. Эту неделю мне и ночевать предстоит в камере, на раскладушке. Сажу, стало быть, и мудрствую.

Итак, человек. Высшая форма живой материи. Каркас из трубчатых косточек, податливые комочки белков, в которых заключено то, что ученые и инженеры стараются проанализировать и воспроизвести в логических схемах и электронных моделях, — Жизнь, сложная, непрерывно действующая и непрерывно меняющаяся система. Миллионы бит информации ежесекундно проникают в нас через нервные окончания глаз, ушей, кожи, носа, языка и превращаются в электрические импульсы. Если усилить их, то в динамике можно услышать характерные «дрр-р... др-р...» — бионики мне однажды демонстрировали.

Пулеметные очереди импульсов разветвляются по нервам, усиливаются или подавляют друг друга, суммируются, застревают в молекулярных ячейках памяти. Огромный коммутатор — мозг — сортирует их, сравнивает с химическими записями внутренней программы, в которой есть все: меч-

ты и желания, долг и цель, инстинкт самосохранения и голод, любовь и ненависть, привычки и знания, суеверия и любопытство, — составляет команды для исполнительных органов. И люди говорят, бегут, целуются, пишут стихи и доносы, летят в космос, чешут в затылке, стреляют, нажимают кнопки, воспитывают детей, задумываются...

Что же главное? У меня вырисовывается способ управляемого синтеза человека. Можно вводить дополнительную информацию и тем изменять форму и содержание человека. Это будет — к тому идет. Но какую информацию вводить? Какие исправления делать? Вот, скажем, я. Допустим, это меня будет синтезировать машина (тем более что это так и есть): что я хотел бы в себе исправить?

Так сразу и не скажешь. Я к себе привык. Меня гораздо больше занимают окружающие, чем своя личность... Во-во, все мы так — хорошо знаем, чего хотим от окружающих: чтобы они не отравляли нам жизнь. Но чего мы хотим от самих себя?

Вчера у меня был такой разговор:

— Скажи, Лен, какого бы ты хотела иметь сына?

— А... что?

— Ну, каким бы ты хотела видеть его, например, уже взрослым человеком?

— Красивым, здоровым, умным, талантливым даже... честным и добрым. Пусть будет твоего роста примерно... нет, лучше повыше! Пусть бы он стал скрипачом, а я ходила бы слушать его концерты. Пусть будет похож на... да господи, чего ты заговорил об этом? Ой, понимаю: ты решил сделать мне предложение! Да? Как интересно! Начинай по всем правилам, не исключено, что я соглашусь. Ну!

— М-м... да нет, я так, вообще.

— Ах вообще! Сын в абстракте, да?

— Именно.

— Тогда тебе надо обсуждать этот вопрос с некой абстрактной женщиной, а не со мной!

Женщины все воспринимают удивительно конкретно.

Впрочем, из того, что она сказала, можно выделить одно качество — быть умным. Это то, в чем я разбираюсь.

Логическое мышление у людей действует гораздо хуже, чем у электронных систем. Скорость переработки информации мизерная: 15—20 бит в секунду, — поэтому то и дело приходится включать «линии задержки». Спроси у человека внезапно что-нибудь посложнее, чем «Который час?» — и услышишь в ответ: «А?» или «Чего?» Это не значит, что собеседник туг на ухо — просто за время, пока ты повторяешь вопрос, он лихорадочно соображает, что ответить. Иногда и этого времени недостаточно, тогда раздается: «Мм-м... видите ли... э-э... как бы это вам получше объяснить... дело в том, что...»

Перекур. А то засиделся. На волю!

Утро похоже на мелодию скрипки. Зелень свежа, небо синее, воздух чист... Вон шагает по парку в институтский гараж Паша Пукин — слесарь, запивоха и плут; он мужественно несет на покатых плечах проклятие своей фамилии. Сейчас я на нем проверю!

— Скажи, Паша, чего ты хочешь от жизни в такое утро?

— Валентин Васильевич! — Слесарь будто ждал этого вопроса, смотрит на меня восторженно и проникновенно. — Вам я скажу, как родному: десять рублей до получки! Ей-богу, отдам!

От растерянности я вынимаю десятку, даю и лишь потом соображаю, что Паша никому и никогда долгов не отдавал, не было такого факта.

— Спасибо, Валентин Васильевич, век не забуду! — Пукин торопливо прячет деньги. Припухлое лицо его выражает сожаление, что он не попросил больше. — А чего вы хотите от жизни в такое утро?

— М-м... собственно... видишь ли... ну-у... хотя бы получить деньги обратно.

— За мной не пропадет! — И Паша шествует дальше.

М-да... как же это я? Выходит, и у меня с логическим мышлением слабина? Странно: моя нервная сеть каждую секунду перерабатывает целую Ниагару информации, с помощью ее я совершаю сложнейшие, не доступные никаким машинам движения (пишу, например), а вот чтобы вовремя сообразить... Словом, следует подготовить для ввода в «машину-матку» информацию о том, как быть умным, хорошо соображать. Если мне бог не дал, надо хоть для нового дубля порадеть. Пусть будет умнее меня, авось не подсидит».

«3 августа. Да, но чтобы ввести в машину информацию, надо ж ее иметь! А ее нет. Сейчас я делю время между информационно-камерой и библиотекой. Перебрал не меньше тонны всякой литературы — и ничего.

Можно было бы увеличить объем мозга дубля — это трудно: я вижу, как возникает мозг. Но связи между весом мозга и умом человека нет: мозг Анатоля Франса весил килограмм, мозг Тургенева — два кило, а у одного крестина мозг потянул почти три килограмма: 2 килограмма 850 граммов.

Можно бы увеличить поверхность коры мозга, число извилин; это столь же не трудно. Но связи между числом извилин и интеллектом тоже нет: у дрозда гораздо больше извилин, чем у нашего ближайшего родича орангутанга. Вот тебе и птичьи мозги! Я знаю, с чем связан ум человека: с быстродействием наших нервных ячеек. Это совершенно ясно, для электронных машин быстродействие имеет самое важное значение. Не успела машина решить задачу за то короткое время, пока в стартующей ракете сгорает топливо, — и ракета, вместо того чтобы выйти на орбиту, кувырком летит на землю.

Большинство глупостей делаются нами аналогичным образом: мы не успеваем за требуемый отрезок времени решить задачу, не успеваем сообразить. Задачи в жизни — не

проще задач вывода ракеты на орбиту. А времени всегда в обрез. Страшно подумать, какое количество глупостей совершается в мире из-за того, что мы можем переработать за секунду лишь два десятка бит логической информации, а не две сотни бит! И что же? Огромное количество статей, отчетов, монографий по усовершенствованию логики и ускорению работы вычислительных машин (хотя их быстродействие приближается уже к 10 миллионам операций в секунду) — и ничего об улучшении логики и быстрогодействия человеческого мышления. Сапожник ходит без сапог.

Словом, как ни грустно, но этот замысел придется оставить до лучших времен...»

Аспирант Кривошеин задумчиво потер шею. «Да, действительно...» Он не думал над этой проблемой, как-то не пришлось — может быть, потому, что с аспирантской стипендии не очень-то одолжишь? Единственное, чем он занимался, это усовершенствованием своей памяти, да и оно пришло само собой: слишком много требовалось помнить одновременно для преобразования себя. А когда опыт кончался, ненужная информация мешала новой работе. Так ему пришлось освоить химию направленного забывания: «стирать» в коре мозга те мелкие подробности новых знаний, которые проще заново додумать, чем помнить.

Но это совсем другое дело. А о логическом быстродействии мозга он не думал. Аспиранту стало неловко: так влез в биологию, даже забыл, что пришел в нее как инженер-системолог изыскивать новые возможности в человеке... Выходит, не он вел работу, а работа увела его? Делал то, что в руки давалось. «Человечество может погибнуть из-за того, что каждый делает лишь то, что в руки дается», — сказал Андросиашвили. И очень просто.

«Но к этой проблеме нелегко подступиться: в человеке информацию переносят ионы, от них не добьешься такого

быстродействия, как от быстрых и легких электронов вычислительных машин... Э, я, кажется, оправдываю себя! Человек умеет очень быстро решать сложные задачи: двигаться, работать, говорить, а по части логики у него просто мало биологического опыта. Животным в процессе эволюции не требовалось думать, им надо было во всех ситуациях «принимать меры»: укусить, завывать, прыгнуть, подползти — и чем быстрее, тем лучше. Вот если бы животным для успеха в борьбе за существование требовалось решать системы уравнений, вести дипломатические переговоры, торговать и осмысливать мир... будь здоров, какая у них развилась бы логика! Здесь надо подумать, поискать...»

«4 августа. Мерцание лампочек на пульте ЦВМ-12 успокоилось. Это значит, что вся информация обо мне запечатлена в «машине-матке». Где они сейчас, мои мечты, недостатки характера, строение кишечника, мысли и незаурядная внешность — в кубках «магнитной памяти»? В ячейках кристаллоблока? Или растворились в золотистой жидкости бака? Не знаю, да это и не важно.

Завтра пробное воспроизведение. Только проба, и ничего больше».

«5 августа. 14 часов 5 минут — «Можно!». В баке из солнечного цвета жидкости начал возникать новый призрачный «я». Картина такая же, как и при возникновении кролика, только одновременно с кровеносной системой в верхней части бака образуется расплывчатый сероватый сгусток; из него потом формируется мозг. Мозг, для которого у меня нет улучшающей информации. Видит око, да зуб неймет...

К четырем часам пополудни новый дубль овеществился до непрозрачной стадии; на нем наметились трусы и майка...

...Если бы полгода назад кто-нибудь мне сказал, что в методику моих опытов войдут вопросы жизни и смерти,

морали и уголовного законодательства, я вряд ли смог бы достойно оценить такую остроту. А сегодня я стоял возле бака и думал: «Вот сейчас он оживет, вынырнет из жидкости... Зачем? Что я с ним буду делать?»

— Я существовал и до появления в машине, — сказал мне первый дубль. — Я был ты.

И он был недоволен своим положением. И с этим у нас тоже начнутся прелести совместной жизни: разногласия из-за Лены, опасения, что застукают, проблема тахты и раскладушки... И главное: это не то, чего я ждал от нового опыта. Я хочу вести управляемый синтез человека, а это только проба. Проба удалась: машина воспроизводит меня. Надо идти дальше.

Но если растворить его командой «Нет!» — это же смерть? Но, простите, чья смерть? Моя? Нет, я живу. Дубля в баке? Но он ведь еще не существует.

Не подсудное ли дело — мои эксперименты? А с другой стороны, если я в каждом опыте буду плодить своих дублей, не есть ли это злоупотребление служебным положением? Дубль-аспирант прав: это действительно «та работка»!

Все это, пожалуй, от слабости души. В современном мире люди во имя идей и политических целей идут сами и посылают других людей убивать и умирать. Есть идеи и цели, которые оправдывают такое. У меня тоже большая идея и большая цель: создать способ, улучшающий человека и человеческое общество; ради нее я, если понадобится, и себя не пожалею. Так почему же я боюсь в интересах своей работы скомандовать «Нет!»? Надо быть жестче, раз уж взялся за такое дело.

Тем более что это все-таки не смерть. Смерть есть исчезновение информации о человеке, но в «машине-матке» информация не исчезает и лишь переходит из одной формы (электрические импульсы и потенциалы) в другую, в человека. Всегда по первому требованию я могу выдать нового дубля...

Я раздумывал, пока шланги, расходившиеся от бака, не начали ритмично сокращаться, отсасывать лишнюю жид-

кость. Тогда я надел «шапку», приказал машине «Нет!». Очень неприятно видеть: был человек — и растворился. И сейчас не по себе...

Ничего, парень, не спеши. Я тебя сработаю так, что любо-дорого. Правда, я не могу прибавить тебе ума сверх того, что имею сам, но внешность я тебе сделаю такую — закачаешься.

Ведь в тебе, как и во мне, множество изъянов: кривоватые ноги, слишком широкие и толстые бедра, сутулая спина, туловище как обрубок бревна, масса лишних волос на ногах, на груди и на спине. А оттопыренные уши, а челюсть, которая придает моему лицу вид исполнительного тупицы, а лоб, а нос... нет, будем самокритичны: такая внешность ни к черту не годится!»

«6 августа. Проба вторая — час от часу не легче! Сегодня я вознамерился одним махом исправить внешность нового дубля и оконфузился так, что вспоминать неприятно. Я начал опыт, точно зная, что «не то» в моей внешности (собственно, все не то, если могу изменить). Но что «то»? В опытах с кроликами критерием «то» было все, что мне заблагорассудится. Но человек не кролик; хоть и говорят: одна голова хорошо, а две лучше, но никто и никогда не понимал это в биологическом смысле.

Когда после команды «Можно!» возник образ нового двойника и полупрозрачные сиреневые мышцы живота стали покрываться желтым налетом жира, я дал сигнал «Не то!». Машина, подчиняясь моему воображению, растворила жировую ткань там, где я ее видел: на животе и около шеи. А на спине и на боках жир остался... Я это не сразу заметил, потому что взялся исправлять лицо. Воображением придавал лбу дубля благородные очертания, а когда взглянул сбоку, пришел в ужас: череп сплюснулся с затылка! Да и форма лба явно противоречила остальной части лица. Словом, я растерялся. Машина справедливо восприняла это как сплошное «Не то!» и растворила дубля.



Я стал в тупик. «То» — безусловно, красота человеческого тела. Классические образцы есть. Но... в течение двух часов синтеза превратить дубля в приятного мужчину с античными формами — такая задача не под силу не то что неподготовленному мне, но и самому квалифицированному ваятелю Союза художников СССР! Единственная надежда, что машина запоминает все вносимые в дубля изменения.

Тогда я еще раз скомандовал «Можно!». Да, «машина-матка» все запоминает: в дубле сохранились мои бездарные поправки. Это уже легче, можно работать столько сеансов, сколько понадобится.

В этот сеанс я окончательно снял лишний жир с тела дубля. У него исчезло брюшко, даже наметилась талия, шея приобрела четкие очертания... Для начала хватит. «Нет!»

Все растворилось, я побежал в городскую библиотеку.

Сейчас листаю «Атлас пластической анатомии» профессора Г. Гицеску (в запасе еще четыре богато иллюстрированные книги об искусстве эпохи Возрождения), вникаю в пропорции человеческого тела, подбираю дублю внешность, как костюм. Каноны Леонардо да Винчи, каноны Дюрера, пропорции Шмидта-Фрича... Оказывается, у пропорционально сложенного мужчины ягодицы расположены как раз на половине роста. Кто бы мог подумать!

Боже, чем бедному инженеру приходится заниматься! Беру за основу Геркулеса Фарнезского, благо он показан в атласе со всех сторон.

«14 августа. Двенадцать проб — и все не то. Аляповато, вульгарно. То одна нога получается короче другой, то руки разные. Вот что: лучше проектировать дубля по пропорциям дюреровского Адама».

«20 августа. Пропорции есть. А с лицом хоть плачь. Безглазый мертвый слепок с чертами Кривошеина. Крупные мраморные завитки рыжего цвета вместо волос. Словом, сегодня было двадцать первое «Нет!».

Кто-то осторожный и недоверчивый во мне все спрашивает: «А это то? Способ, который ты разрабатываешь сейчас, это тот способ?»

По-моему, да. Во всяком случае, это шаг в том направлении. Пока я ввожу для синтеза человека лишь высококачественную информацию о его теле. Но таким же образом можно (со временем мы придумаем, как это сделать) вводить в «машину-матку» любую накопленную человечеством информацию о наилучших человеческих качествах и создавать не только внешне красивых и физически сильных людей, но и красивых и сильных по своим умственным и душевным качествам. Обычно в людях хорошее перемешано с плохим: тот умен, да слаб духом, другой имеет сильную волю, но по глупости или невежеству употребляет ее по пустякам, а третий и умен, и тверд, и добр, да здоровьем слаб... А по этому способу можно будет отбросить все плохое и синтезировать в человека только самые лучшие качества людей.

«Синтетический рыцарь без страха и упрека» — это, наверное, ужасно звучит. Но в конце концов, какая разница: синтетические или естественные? Лишь бы их было побольше. Ведь их очень мало, таких «рыцарей», — лично я знаком с ними только по книгам да по кино. А они очень нужны в жизни: каждому найдется и место и работа. И каждый из них может повлиять, чтобы дела в мире шли лучше».

«28 августа. Получается! Эх, мазилы несчастные, пытающиеся кистью или молотком запечатлеть в мертвом материале красоту и силу живого человека! Вот она, моя «кисть»: электронно-химическая машина, продолжение моего мозга, моего воображения. И я — инженер, не художник! — не прикладывая рук, усилием мысли воспроизвожу красу живого в живом.

Изящные и точные пропорции дюреровского Адама и рельефная геркулесовская мускулатура. И лицо приятное... Еще две-три доводки — и все».

\* \* \*

«1 сентября, первый день календаря! Сейчас я иду в лабораторию. Брюки для него есть, рубашка есть, туфли есть. В чемоданчик! Да, не забыть кинокамеру — буду снимать возникновение великолепного дубля. Предвкушаю заранее, какое потрясение умов произведет когда-нибудь демонстрация этого любительского фильма!

Сейчас я приду, надену «шапку Мономаха» и мысленно скомандую... нет, скажу, произнесу, черт побери, сильным и красивым голосом, каким когда-то в подобной ситуации говаривал бог Саваоф:

— Можно! Явись на свет, дубль Адам-Геркулес-Кривошеин!

«И увидел бог, что вышло хорошо...» Конечно, я не бог. Я месяц создавал человека, а он управился за сокращенный рабочий день, субботу. Но разве ж то была работа?»

## Глава одиннадцатая

*Человек всегда считал себя умным — даже когда ходил на четвереньках и закручивал хвост в виде ручки чайника. Чтобы стать умным, ему надо хоть раз основательно почувствовать себя дураком.*

К. Прутков-инженер. Мысль № 59

Следующая запись в дневнике поразила аспиранта Кривошеина неровным, будто даже изменившимся почерком.

«6 сентября. Но ведь я не хотел... не хотел и не хотел я такого! Мне сейчас в пору закричать: не хотел я этого! Я старался, чтобы получилось хорошо... без халтуры и ошибок. Даже ночами не спал, лежал с закрытыми глазами, пред-

ставлял во всех подробностях тело Геркулеса, потом Адама, намечал, какие надо внести в дубля изменения. И я не мог уложиться в один сеанс. Никак не мог, поэтому и растворял... Не выпускать же калеку с ногами и руками разной длины. И я знать не знал, что в каждое растворение я убиваю его. Откуда я мог это знать?!

...Как только жидкость обнажила его голову и плечи, дубль ухватился своими могучими руками за край бака, выпрыгнул — а я как раз водил кинокамерой, запечатлевал исторический миг появления человека из машины — и упал передо мной на линолеум, захлебываясь от хриплого воющего плача. Я кинулся к нему:

— Что с тобой?

Он обнимал липкими руками мои ноги, терся о них головой, целовал мои руки, когда я пытался его поднять.

— Не убивай меня! Не убивай меня больше! За что ты меня, о-о-о-о! Не надо! Двадцать пять раз... двадцать пять раз ты меня убивал, о-о-о-о!

Но я же не знал. Я не мог знать, что его сознание оживало в каждую пробу! Он понимал, что я перекраиваю его тело, изгаляюсь над ним как хочу, и ничего не мог поделать. И от моей команды «Нет!» сначала растворялось его тело, а потом угасало сознание... Что же тот идиот искусственный молчал, что сознание начинает работать раньше тела?!»

— Ах, черт! — растерянно пробормотал аспирант. — Ведь в самом деле — мозг и выключиться должен последним... Постой, когда это было? — Он перевернул страницы, посмотрел даты и вздохнул с некоторым даже облегчением: нет, он не виноват. В августе и сентябре он ничего не мог сообщить, сам еще не понимал. Веди он этот опыт — ошибся бы точно так же.

«...И получился человек с классическим телосложением, приятной внешностью и сломленной психикой забитого раба. «Рыцарь без страха и упрека»...

Виляй теперь, ищи виноватых, подонок: не знал, старался! Только ли старался? Разве не было самолюбования, разве не ощущал ты себя богом, восседающим на облаках в номенклатурном кожаном кресле? Богом, от колебаний мысли и настроения которого зависело, возникнуть или раствориться человеку, быть ему или не быть. Разве не испытывал ты этакое интеллектуального сладострастия, когда снова и снова отдавал «машине-матке» команды «Можно!», «Не то!», «Нет!»?

...Он сразу же попытался вырваться из лаборатории, убежать. Я еле уговорил его помыться и одеться. Он весь дрожал. О том, чтобы он работал вместе со мной в лаборатории, не могло быть и речи.

Пять дней он жил у меня, страшные пять дней. Я все надеялся: опомнится, отойдет... Где там! Нет, он здоров телом, все знает, все помнит — «машина-матка» добросовестно вложила в него мою информацию, мои знания, мою память... Но над всем этим не подвластный ни его воле, ни мыслям страх пережитого. Волосы его в первый же день поседели от воспоминаний.

Ко мне он испытывал неодолимый ужас. Когда я возвращался домой, он сразу вскакивал, становился в приниженную позу: его гладиаторская спина сутулилась, руки с могучими буграми мышц расслабленно обвисали — он будто старался стать меньше. А глаза... о, эти глаза! Они смотрели на меня с мольбой, с затравленной готовностью умилистить непонятно чем. Мне становилось страшно и неловко. Никогда не видел, чтобы человек так смотрел. А это не просто человек — тот же я. Значит, и меня можно так сломать?..

А сегодня ночью, где-то в четвертом часу... сам не знаю, почему я проснулся. На потолке был серый мертвый свет от газосветных фонарей с улицы. Дубль Адам стоял надо мной, заносил над моей головой гантель. Я отчетливо видел, как на-

пряглись мышцы правой руки для удара. Несколько секунд мы в оцепенении глядели друг на друга. Потом он нервно захихикал, отошел — босые ноги шаркали по паркету. Я сел на тахте, включил верхний свет. Он скорчился на полу возле шкафа, уткнул голову в колени. Плечи и гантель в руке тряслись.

— Что же ты? — зло спросил я. — Надо было бить, раз нацелился. Все, глядишь, полегчало бы на душе.

— Не могу забыть, — бормотал он сквозь судорожные всхлипывания гулким баритоном, — понимаешь, не могу забыть, как ты меня убивал... двадцать пять раз!

Я раскрыл стол, выложил свой паспорт, инженерный диплом, деньги, какие были, потряс его за плечи:

— Встань! Одевайся и уходи. Уезжай куда-нибудь, устраивайся, работай, живи. Вместе у нас ничего не получится: ни тебе покоя, ни мне... Я не виноват! Черт побери, ты можешь понять, что я не знал?! Я делал то, чего никто еще не делал, — мог же я чего-то не знать?! Человек может родиться уродом или душевнобольным, может сделаться им после болезни, после аварии, но там некого винить, некому раскроить череп гантелью. Окажись ты на моем месте, получилось бы то же самое, ибо ты — это я, понимаешь?!

Он пытался к стене, трясся. Это меня отрезвило.

— Извини. Бери мои документы, я здесь как-нибудь обойдусь. Вот смотри, — я раскрыл паспорт, — на фотокарточке ты даже больше похож на меня, чем я сам... Фотограф, наверное, тоже стремился усовершенствовать мою физиономию. Бери деньги, чемодан, одежду — и дуй на волю. Поживешь сам, поработаешь — может, отойдешь.

Два часа назад он ушел. Условились, что напишет мне с места, где устроится. Не напишет.

Все-таки хорошо, что он покушался меня убить. Значит, не раб — обиду чувствует. Может, у него все и восстановится?

А я сижу... ни одной мысли в голове. Надо начинать сначала... О природа, какая ты все-таки стерва! Как тебе нра-

вится смеяться над нашими замыслами! Поманишь, а потом...

Брось! Брось, виноватых ищешь — природа здесь ни при чем, она в твоей работе участвует только на элементарном уровне. А дальше все твое, нечего вилять.

Зазвенел будильник: четверть восьмого — время вставать, умываться, бриться, идти на работу... Мутное солнце над домами, небо в дымах, грязное, как застиранная занавеска. Ветер поднимает пыль, полощет деревья, дует в балконную дверь. Внизу у дома троллейбус слизывает людей с остановки. Они накапливаются снова, у всех одинаковое выражение лица: как бы не опоздать на работу!

И мне надо на работу. Сейчас приду в лабораторию, занесу в журналчик результат неудачного эксперимента, утешу себя прописями: «на ошибках учатся», «в науке нет проторенных дорог...» Возьмусь за следующий опыт. И снова буду ошибаться, калечить не образцы — людей?.. Самовлюбленный мечтательный кретин, вооруженный новейшей техникой!

Ветер полощет деревья... Все было: дни поисков и открытий, вечера размышлений, ночи мечтаний. Вот ты и наступило, ясное холодное утро, которое вечера мудреней. Беспощадное утро! Наверное, именно в такое трезвое время дня женщины, промечтав ночь о ребенке, идут делать аборт. И у меня получился аборт, выкидыш... Я мечтал, я хотел людям счастья, а создал уже двоих несчастных. Не одолеть мне такую работу. Я слаб, ничтожен и глуп. Надо браться за что-нибудь посредственное, чтоб по плечу — для статьи, для диссертации. И все будет благополучно.

Ветер полощет деревья. Ветер полощет деревья... На соседнем балконе проигрыватель исполняет «Реквием» Моцарта. Мой сосед доцент Прищепа настраивает себя с утра на математический лад. «Requi... requiem...» — чисто и непреложно отрешают кого-то от жизни голоса. Под такую музыку хоро-

шо бы застрелиться — никто не обратил бы внимания на выстрел.

Ветер полощет деревья... Что же я наделал? А ведь были сомнения, потом и не сомнения — знание: знал, что любое внесенное мной изменение остается в нем, что «машина-матка» все помнит. Не придал значения? Почему?

...Была мысль, не выраженная даже словами, чтоб не так стыдно было, или чувство благополучной безопасности, что ли: это же не я. Это происходит не со мной... И еще — чувство безнаказанности: что захочу, то и сделаю, ничего мне не будет...

Не застрелишься, падло! Ничего ты с собой не сделаешь — доживешь до пенсионного возраста и еще будешь ставить свою жизнь в пример другим.

Ветер полощет деревья. Троллейбус слизывает людей с остановки... Я не хочу идти на работу».

«20 сентября. Серый асфальт. Серые тучи. Мотоцикл глотает километры, как лапшу. Застыл у дороги пацан, и по его позе понятно, что он сейчас намертво решил: вырасту большим — буду мотоциклистом на красном мотоцикле. Становись мотоциклистом, пацан, не становись только исследователем...

Все прибавляю газ. Стрелка спидометра перевалила за девяносто. Ветер наотмашь хлещет по лицу. Показался встречный самосвал — прет, конечно, по самой середине дороги, даже с захватом левой стороны. Эти сволочи, водители самосвалов, мотоциклистов за людей не считают, норовят согнать на обочину. Ну, этому я не уступлю!

Нет, я не врезался. Жив. Вот записываю, как мчал сегодня с остекленелыми глазами неизвестно куда и зачем. Надо же что-то записывать... Самосвал в последнюю секунду вильнул вправо. В зеркальце заднего вида я наблюдал, как водитель выскочил на дорогу, махал мне вслед кулаками.



Собственно, если бы я и разбился, какая разница? Есть запасной Кривошеин в Москве... Сил нет, какое у меня сейчас отвращение ко всему. И к себе.

...Как он дрожал, как обнимал мои ноги — сильный, красивый «не я»! А ведь мог я понять и предотвратить, мог! Но решил: сойдет и так, чего там! Ведь он — не я. А все было так интересно, хорошо, красиво: мы мечтали и разглагольствовали, заботились о благе людей, принимали клятву... стыд-то какой! А в работе пренебрег тем, что создаю человека. Обо всем думал: об изящных формах, об интеллектуальном содержании, а то, что ему может быть больно и страшно, как-то и в голову не пришло. Сварганил на скорую руку «обоснование», что информационной смерти в опыте нет, — и ладно. А была смерть как акт насилия над ним.

Как же так получилось? Как получилось?

Белые столбики вдоль шоссе отражают звук мотора: чак-чак-чак-как получилось? Чак-чак-чак-как получилось? Спидометр показывает сто десять, мелькают серо-зеленые полосы из земли и деревьев. На такой скорости я мог бы уйти от погони, спасти кого-нибудь, приехав вовремя! Но мне не от кого убегать и некого спасать. Мне было кого спасать, но там требовалось честно думать, а не выжимать ручку газа. Честно думать... Я могу преодолевать различные высоты, стихии, — и усилием мысли, и усилием мышц — чего там! Со стихиями ясно, преодолеть их можно. А вот как преодолеть себя?

Сейчас я перелистал дневник — и даже страшно стало: до чего же подла и угодлива моя мысль! Вот я рассуждаю о том, что беды людей происходят от их беспринципности, от того, что считают «свою хату с краю», а через несколько страниц я ловко обосновываю расположение своей «хаты с краю»: не надо заводить с Гарри Хилобоком, пусть делает свою докторскую диссертацию... Вот я размышляю о том, как сделать, чтобы из открытия получилось «хорошо», а вот я призываю себя к жестокости со ссылками на убийства в

мире... Вот я (или мы с дублем-аспирантом, все равно) понижаю себя до уровня заурядного инженера, которому трудно и непривычно вести такую работу — моральная перестраховочка на случай, если не выйдет; а вот, когда стало получаться, я равняю себя с богом... И все это я писал искренне, не замечал никаких противоречий.

Не замечал? Не хотел замечать! Так было приятно и удобно: красоваться, лгать самому себе от чистого сердца, приспособливать идеи и факты к своему душевному комфорту. Выходит, думал-то я в основном не о человечестве, а о самом себе? Выходит, эта работа, если оценить ее не с научной, а с моральной стороны, была просто незаурядным пижонством? Конечно, где уж тут заботиться о каких-то экспериментальных образцах! Что же ты за человек, Кривошеин?»

«22 сентября. Не работаю. Нельзя мне сейчас работать... Сегодня съездил на мотоцикле в Бердичев непонятно зачем и, кстати, понял смысл таинственной фразы, что когда-то выдали печатающие автоматы. Двадцать шесть копеек — это цена заправки: пять литров бензина, двести граммов масла — ее как раз хватает от Бердичева до Днепровска... Раскрыл еще одну «тайну»!

Где-то сейчас дубль Адам, куда уехал?

...И это существо, которое машина пыталась выдать сразу после первого дубля: полу-Лена, полу-я... Оно, наверное, тоже пережило ужас смерти, когда мы приказали «машинематке» растворить его? И батя... О черт! Зачем я думаю об этом?

Батя... последний казак из рода Кривошеиных. По семейному преданию, прадеды мои происходят из Запорожской Сечи. Жил когда-то казак лихой, повредили ему шею в бою — вот и пошли Кривошеины. Когда императрица Катька разогнала Сечь, они переселились в Заволжье. Дед мой Карп

Васильевич избил попа и станового пристава, когда те решили упразднить в селе земскую школу, а вместо нее завести церковноприходскую. Я понятия не имею, какая между ними разница, но помер дед на каторге.

Батя участвовал во всех революциях, в гражданскую воевал у Чапаева ротным. Последнюю войну он воевал стариком, лишь первые два года. Отступал по Украине, вывел свой батальон из окружения под Харьковом. Потом по причине ранения и нестроевого возраста его перевели в тыл, в Зауралье военкомом. Там, в станице, он, солдат и крестьянин, учил меня ездить верхом, обхаживать и запрягать лошадей, пахать, косить, стрелять из винтовки и пистолета, копать землю, рубить тальник-осоавиахимовской саблей; заставлял и кур резать, и свинью колоть плоским штыком под правую лопатку, чтоб крови не боялся. «В жизни пригодится, сынок!»

...Незадолго до его кончины ездили мы с ним на его родину в Мироновку, к двоюродному брату Егору Степановичу Кривошеину. Когда сидели в избе, выпивали по случаю встречи, примчался внучонок деда Егора:

— Деда, а в Овечьей балке, где плотину ставят, шкилет из глины вырыли!

— В Овечьей? — переспросил батя. Старики переглянулись. — А ну пошли посмотрим...

Толпа рабочих и любопытствующих расступилась, давая дорогу двум грузно шагавшим дедам. Серые трухлявые кости были сложены кучей. Отец потыкал палкой череп — тот перевернулся, показал дыру над правым виском.

— Моя! — Батя победно поглядел на Егора Степановича. — А ты, значит, промазал, руки тряслись?

— Почему ты знаешь, что твоя?! — оскорбленно задрал бороду тот.

— Ну, разве забыл? Он ведь в село возвращался. Я по правую сторону дороги лежал, ты — по левую... — И батя для убедительности вычертил палкой на глине схему.

— Это чьи же останки, старики? — строго спросил молодой жавый прораб в щегольском комбинезоне.

— Есаула, — сощурившись, объяснил батя. — В первую революцию уральские казачки в нашем селе квартировали — так это ихний есаул. Ты уж милицию не тревожь, сынок. Замнем за давностью лет.

...Как это было славно: лежать в ночной степи за селом с отцовской берданкой, поджидать есаула — как за идею, так и за то, что он, сволочь, мужиков нагайкой порол, девок на гумно возил! Или лететь на коне, чувствуя тяжесть шашки в руке, примериваться: рубануть вон того, бородатого, от погона наискось!

А я последний раз дрался лет восемнадцать назад, да и то не до победы, а до звонка на урок. И на коне не скакал с зауральских времен. Всей моей удали — обгоны на мотоцикле при встречном транспорте.

Не боюсь я, батя, ни крови, ни смерти. Только не пригодились мне твоя простая наука. Теперь революция продолжается другими средствами, открытия и изобретения — оружие посерьезней сабель. И боюсь я, батя, ошибиться...

Врешь! Врешь! Снова красуешься перед собой, пижон, подонок! Неистребимое стремление к пижонству... Ах, как красиво написано: «Боюсь я, батя, ошибиться» и про революцию. Не смей об этом!

Ты намеревался синтезировать в людях (да, в людях, а не в искусственных дублях!) благородство души, которого в тебе нет; красоту, которой у тебя нет; решительность поступков, которой ты не обладаешь; самоотверженность, о которой ты понятия не имеешь...

Ты из хорошей семьи; твои предки умели и работать, и отстаивать правое дело, бить гадов: когда кулаком, когда из берданки, спуску не давали... А что есть ты? Выступал ли ты за справедливость? Ах, не было подходящего случая? А не

избегал ли ты — умненько и осторожно — таких случаев? Что, неохота вспоминать?

То-то и есть, что я всего боюсь: жизни, людей. Даже Лену я люблю как-то трусливо: боюсь приблизить — боюсь и потерять. И, боже упаси, чтобы не было детей. Дети усложняют жизнь... А то, что я таюсь со своим открытием, — разве не из боязни, что я не смогу отстоять правильное развитие его? И ведь верно: не смогу... Я слабак. Из породы тех умных слабаков, которым лучше не быть умными. Потому что ум им дан только для того, чтобы понимать свое падение и бессилие...»

Аспирант Кривошеин закурил, стал нервно ходить по комнате. Читать эти записи было тяжело — ведь написано было и о нем. Он вздохнул, вернулся к столу.

«...Спокойно, Кривошеин. Спокойно. Так можно договориться до истерических поступков. А работа все-таки на тебе... Не все еще потеряно, не такой уж ты сукин сын, что следует немедленно удушиться.

Могу даже представить себя в выгодном свете. Я не использовал это открытие для личного успеха и не буду использовать. Я работал на полную силу, не волянил. Теперь я разбираюсь в сути дела. Так что я не хуже других. Ошибся. А кто не ошибался?

Да, но в этой работе сравнения по относительной шкале — хуже или лучше я других — неприменимы. Другие занимаются себе исследованием кристаллов, разработкой машин; они знают свое дело туго — и этого достаточно. Вздорные черты их характера отравляют жизнь только им самим, сотрудникам по лаборатории и ближайшим родственникам. А у меня не та специфика. Для того чтобы делать Человека, мало знать, мало иметь исследовательскую хватку, умело «рукоятки вертеть» — надо самому быть Человеком, не лучше или хуже других, а в абсолютном смысле: рыцарем без страха и упрека. Я бы и не прочь, только не знаю как. Нет у меня такой информации...

Выходит, мне эта работа не по зубам?»

«8 октября. В нашем парке желто-красная осень, а я не могу работать. Полно сухой листвы, самый пустяковый дождик поднимает на ней страшный шум, а после распространяется кофейный запах прели. А я не могу работать...

Может, ничего этого и не надо? Хорошая наследственность, качественное трудовое воспитание, гигиенические условия жизни... Пусть умные люди сами воспроизводят себя: заводят побольше детей с хорошей наследственностью. Прокормить смогут, заработка хватит — они ведь умные люди... И воспитать смогут — они же умные люди... И не потребуются никаких машин.

Сегодня звонил Гарри Хилобок. В институте организуется постоянно действующая выставка «Успехи советской системологии», и, понятное дело, он ее попечитель.

— Не дадите ли что-нибудь, Валентин Васильевич?

— Нет.

— Что ж вы так? Вот отдел Ипполита Илларионовича Вольтампернова три экспоната выставляет, другие отделы и лаборатории многое дают. Надо бы хоть один экспонат по вашей теме, неужели до сих пор ничего нет?

— Нет. Как дела с системой биодатчиков, Гарри Харитонович?

— Э, Валентин Васильевич, что значит одна система в сравнении со всей системологией, хе-хе! Будем делать, а как же, но пока, сами понимаете, все бросили на борьбу за оформление выставочных стендов, макетов, демонстрационных табло, трафаретные надписи на трех языках составляем, а как же, голова кругом, и лаборатория перегружена и мастерские, но если у вас, Валентин Васильевич, появится что-то для выставки, устроим, это у нас зеленой улицей идет...

Я чуть было не сказал ему, что именно система биодатчиков нужна мне, чтобы осчастливить выставку своим экс-

понатом (пусть делает, а там посмотрим), но сдержался. Все бы тебе ловчить, Кривошеин!

Разбрелись мои экспонаты по белу свету. Один грызет гранит биологической науки в Москве, другие — травку и капусту на огородах. Один и вовсе забежал неизвестно куда...

Выставить, что ли, «машину-матку» для потрясения академической общественности? Производить для демонстрации двухголовых и шестилапых кролей — по две штуки в час... То-то будет шуму.

Нет, брат. Это устройство делает человека. И от этого никуда не денешься».

## Глава двенадцатая

*Любое действие обязывает. Бездействие не обязывает ни к чему.*

К. Прутков-инженер. Мысль № 2

«11 октября. Повторяю опыты по управляемому синтезу кроликов — просто так, чтобы механизмы не простаивали. Снимаю все на пленку. Будет кинодокумент. Граждане, предъявите кинодокументы!»

«13 октября. Изобрел способ, как надежно и быстро уничтожить биологическую информацию в «машине-матке». Можно назвать его «электрический ластик»; подаю на входы кристаллоблока и ЦВМ-12 напряжение от генератора шумов, и через 15—20 минут машина забывает все о кроликах.

Будь у меня этот способ раньше вместо команды «Нет!», я каждый раз уничтожал бы дубля Адама необратимо и основательно.

Не знаю только, было бы это ему приятнее.

Время осыпает листья, холодит небо. А дело стоит. Не могу я снова браться за серьезные опыты, духу не хватает. Растерялся я...

Ну вот что, Кривошеин! Можно считать доказанным, что ты не бог и не пуп Земли. А раз так, то следует искать помощи у других. Надо идти к Аркадию Аркадьевичу...

— Эге! — нахмурился аспирант Кривошеин.

«...Следует поступать в установленном порядке. Он — мой начальник. Впрочем, дело не в этом: он — умный, знающий и влиятельный человек. И великолепный методист, умеет четко формулировать любые задачи. А «сформулированная задача, — как написано в его «Введении в системологию», — есть записанное в неявной форме решение данной задачи». Этого мне как раз не хватает. И тему мою он поддержал на ученом совете. Правда, он не в меру величествен и честолюбив, но столкнемся. Ведь он умный человек, поймет, что в этой работе слава — не главное.

Э, погоди! Благие намерения само собой, а разумная осторожность не помешает. Выдавать Азарову за здорово живешь святая святых открытия — что «машина-матка» может синтезировать *живые* системы — нельзя. Нужно начать с чего-нибудь попроще. «А там посмотрим», как он сам любит выражаться.

Нужно синтезировать в машине электронные схемы. Это то, на что нападал старик Вольтампернов, и это, кстати сказать, моя официальная тема на ближайшие полтора года.

«Надо, Валентин Васильевич, надо!» Прикинем схему опыта. Вводим в жидкость шесть проводов: два — питание, два — контрольный осциллограф и два — генератор импульсов. Задаю машине через «шапку Мономаха» параметры типовых схем, примерные размеры. Здесь я точно знаю, что «то», что «не то» — дело знакомое.





«15 октября. В баке возникают закругленные квадратики коричневого цвета, похожие на гетинакс. На них оседают металлические линии проводников схемы, прослойки изоляторов, накладываются друг на друга пленочки конденсаторов, рядом пристраиваются полосы сопротивлений, пятна диодов и транзисторов... Это похоже на пленочную технологию, которая сейчас развивается в микроэлектронике, только без вакуума, электрических разрядов и прочей пиротехники.

И до чего же приятно после всех головолomных кошмаров щелкать переключателями, подстраивать рукоятками резкость и яркость луча на экране осциллографа, отсчитывать по меткам микросекундные импульсы! Все точно, ясно, доступно. Будто домой вернулся из дальних краев... Черт меня занес в эти края, в темные джунгли под названием «человек» без проводника и компаса. Но кто проводник? И что компас?

Ладно. Параметры схем соответствуют, тема 154 наполовину выполнена; то-то Ипполит Илларионович будет рад!

Иду к Азарову. Покажу образцы, объясню кое-что и буду намекать на дальнейшие перспективы. Приду завтра и скажу:

— Аркадий Аркадьевич, я пришел к вам как умный человек к умному человеку...»

«16 октября. Сходил... разлетелся на распростертые объятия! Итак, утром я основательно продумал разговор, прихватил образцы и направился к старому корпусу. Осеннее солнце озаряло стены с архитектурными излишествами, гранитные ступени и меня, который поднимался по ним. Подавление моей психики началось от дверей. О эти государственные трехметровые двери из резного дуба, с витыми аршинными ручками и тугими пневмопружинами! Они будто специально созданы для саженных мордатых молодцов-бюрократов с ручищами широкими, как сковородки на

дюжину яиц: молодцы открывают двери легким рывком и идут ворочать большими нужными делами. Проникнув сквозь двери, я стал думать, что разговор с Азаровым не следует начинать с шокирующей фразы («Я пришел к вам как умный к умному...»), а надо блюсти субординацию: он академик, я инженер.

А когда поднимался по мраморным лестничным маршам в коврах, пришипленных никелированными штангами, с перилами необъятной ширины, в моей душе возникла почти-тельная готовность согласиться со всем, что академик скажет и порекомендует...

Словом, если к гранитной лестнице упругой походкой подходил Кривошеин-первооткрыватель, то в директорскую приемную вошел, шаркая ногами, Кривошеин-проситель: с сутулой спиной и виноватой мордой.

Секретарша Ниночка бросилась наперерез мне со стремительностью, которой позавидовал бы вратарь Лев Яшин.

— Нет-нет-нет, товарищ Кривошеин, нельзя, Аркадий Аркадьевич собирается на конгресс в Новую Зеландию, вы же знаете, как мне влетает, когда я пускаю! Никого не принимает, видите?

В приемной действительно было много сотрудников и командированных. Все они недружелюбно посмотрели на меня. Я остался ждать — без особых надежд на удачу, просто: другие ждут и я буду. Чтоб не отрываться от коллектива. Тупая ситуация.

Народ прибывал. Лица у всех были угрюмые, некрасивые. Никто ни с кем не разговаривал. Чем больше становилось людей в приемной, тем мельче мне казалось мое дело. Мне пришло в голову, что образцы мои только измерены, но не испытаны, что Азаров, чего доброго, станет доказывать, что технологические работы по электронике не наш профиль. «И вообще чего я лезу? До конца темы еще год с лишним. Чтобы опять Хилобок пускал пикантные изречения?»

Легкий на помине Хилобок с целеустремленным видом возник в дверях; я вовремя занял выгодную позицию и вслед за ним юркнул в кабинет.

— Аркадий Аркадьевич, мне бы...

— Нет-нет, Валентин... э-э... Васильевич, — принимая от Гарри какие-то бумаги, поморщился в мою сторону Азаров. — Не могу! Никак не могу. С визой задержка, доклад вот надо после машинистки вычитать... Обратитесь с вашим вопросом к Ипполиту Илларионовичу, он будет замещать меня этот месяц, или к Гарри Харитоновичу. Не один же я на свете, в конце концов!

Вот так. Человек летит в Новую Зеландию, о чем разговор! На конгресс и для ознакомления. И чего это мне пришлось в голову хватать его за полу? Смешно. Работай себе, пока не потребуют отчета.

Когда-нибудь из-за этой работы будут прерывать заседания правительства... Да, но почему это должно быть когда-нибудь?

Не будут прерывать заседание, не волнуйся. Тебя будут выслушивать второстепенные чиновники, которые никогда не отважатся что-то предпринять под свою ответственность, — такие же слабаки, как и ты сам.

Слабак. Слабак, и все! Надо было поговорить, раз уж решился. Не смог. Извинился противным голосом и ушел из кабинета. Да, склонить к своей работе спешащего за океан Азарова — это не «машинной-маткой» командовать.

Но все-таки это что-то не то...»

«25 октября. А вот это, кажется, то! Наш город посетил видный специалист в области микроэлектроники, кандидат технических наук, будущий доктор тех же наук Валерий Иванов. Он звонил мне сегодня. Встреча состоится завтра в восемь часов в ресторане «Динамо». Форма одежды соответствующая. Присутствие дам не исключено.

Валерка Иванов, с которым мы коротали лекции по организации производства за игрой в «балду» и в «слова», жили

в одной комнате общежития, вместе ездили на практику и на вечера в библиотечный институт! Валерка Иванов, мой бывший начальник и соавтор по двум изобретениям, спорщик и человек отважных идей! Валерка Иванов, с которым мы пять лет работали душа в душу! Я рад.

«Слушай, Валерка, — скажу я ему, — бросай свою микроэлектронику, перебирайся обратно. Тут такое дело!»

Пусть даже заведует лабораторией, раз кандидат. Я согласен. Он работать может.

Ну поглядим, каким он стал за истекший год».

«26 октября, ночь. Ничто в жизни не проходит даром. С первого взгляда на Иванова я понял, что прежнего созвучия душ не будет. И дело не в годе разлуки. Между нами вкралась та Гаррина подлость. Ни он, ни я в ней не повинны, но мы оказались как бы по разные стороны. Он, гордо подавший в отставку, хлопнувший дверью, как-то больше прав, чем я, который остался и не разделил с ним эту горькую гордость. Поэтому весь вечер между нами была тонкая, но непреодолимая неловкость и горечь, что не смогли мы тогда эту подлость одолеть. Мы теперь как-то меньше верили друг в друга и друг другу...

Хорошо, что я взял с собой Лену, хоть она украсила нашу встречу. Впрочем, разговор был интересный. Он заслуживает того, чтобы его описать.

Встреча началась в 20.00. Передо мной сидел петербуржец. Импортный пиджак в мелкую серую клетку и без отворотов, белая накрахмаленная рубашка, шестигранные очки на прямом носу, корректный ершик черных волос. Даже втянутые щеки вызвали у меня воспоминание о блокаде.

Лена тоже не подкачала. Когда проходили по залу, на нее все оборачивались. Один я пришел вахлак вахлаком: клетчатая рубаха и не очень измятые серые брюки; два дубля ощутимо уменьшили мой гардероб.

В ожидании, пока принесут заказ, мы с удовольствием рассматривали друг друга.

— Ну, — нарушил молчание петербуржец Иванов, — хрюкни что-нибудь.

— Я смотрю, морда у тебя какая-то асимметричная...

— Асимметрия — признак современности. Это от зубов, — он озабоченно потрогал щеку, — продуло в поезде.

— Давай вдарю — пройдет.

— Спасибо. Я лучше коньячком...

Обычная наша разминочка перед хорошим разговором. Принесли коньяк и вино для дамы. Мы выпили, утолили первый аппетит заливной осетриной и снова с ожиданием уставились друг на друга. Окрест нас пировали. Корпусный мужчина за сдвинутыми столами произносил тост «за науку-маму» (видно, смачивали чью-то диссертацию). Подвыпивший одинокий человек за соседним столиком грозил пальцем графинчику с водкой, бормотал:

— Я молчу... Я молчу! — Его распирала какая-то тайна.

— Слушай, Валька!..

— Слушай, Валерка!..

Мы озадаченно посмотрели друг на друга.

— Ну, давай ты первый, — кивнул я.

— Слушай, Валька, — у Иванова завлекательно сверкнули глаза за очками, — бросай-ка ты этот свой... эту свою системологию, перебирайся к нам. Перевод я тебе устрою. Мы сейчас такое дело разворачиваем! Микроэлектронный комплекс: машина, делающая машины, — чувствуешь?

— Твердые схемы?

— А, что твердые схемы — поделки, пройденный этап! Электронный и плазменный лучи плюс электрофотография плюс катодное напыление пленок плюс... Словом, идея такая: схема электронной машины разворачивается пучками электронов и ионов, как изображение на экране телевизора, — и все. Она готова, может работать. Плотность элементов как в мозгу человека, чувствуешь?

— И это уже есть?

— Ну, видишь ли... — Он поднял брови. — Если бы было, зачем бы я тебя звал? Сделаем в установленные сроки.

(Ну конечно же, мне нужно бросить системологию и идти за ним! Не ему же за мной, у меня на поводу... Разумеется! Так всегда было.)

— А у американцев?

— Они тоже стараются. Вопрос в том, кто раньше. Работаем вовсю, я уже двенадцать заявок подал — чувствуешь?

— Ну а цель?

— Очень простая: довести производство вычислительных машин до массовости и дешевизны газет. Знаешь, какой шифр я дал теме? «Поэма». И это действительно технологическая поэма! — От выпивки у Валерки залоснился нос. Он старался вовсю и, наверное, не сомневался в успехе: меня всегда было нетрудно уговорить. — Завод вычислительных машин размерами чуть побольше телевизора, представляешь? Машина-завод! Она получает по телетайпу технические задания на новые машины, пересчитывает ТЗ в схемы, кодирует расчет электрическими импульсами, а они гоняют лучи по экрану, печатают схему. Двадцать секунд — и машина готова. Это листок, на котором вмещается та же электронная схема, что сейчас занимает целый зал, представляешь? Листок в конверте посылают заказчику, он вставляет его в исполнительное устройство... Ну там в командный пульт химзавода, в систему управления городскими светофорами, в автомобиль, куда угодно — и все, что раньше медленно, неуклюже, с ошибками выполнял человек, теперь с электронной точностью делает умный микроэлектронный листик! Чувствуешь?

Лена смотрела на Валерку с восхищением. Действительно, картина вырисовывалась настолько роскошная, что я не сразу понял: речь идет о тех же пленочных схемах, которые я недавно осуществил в баке «машины-матки». Правда, они попроще, но в принципе можно делать и «умные» листики-машины.

— А почему вакуум да разные лучи? Почему не химия... наверное, тоже можно?

— Химия... Лично я с тех пор, как доцент Варфоломеев устраивал нам «варфоломеевские зачеты», химию не очень люблю. (Это было сказано для Лены. Она оценила и рассмеялась.) Но если у тебя есть идеи по химической микроэлектронике — давай. Я — «за». Будешь вести это направление. В конце концов, не важно, как сделать, главное — сделать. А тогда... тогда можно развернуть такое! — Он мечтательно откинулся на стуле. — Суди сам, зачем машине-заводу давать задания на схемы? Это лишняя работа. Ей нужно сообщать просто информацию о проблемах. Ведь теперь в производстве, в быту, на транспорте, в обороне — всюду работают машины. Зачем превращать их импульсы в человеческую речь, если потом ее снова придется превращать в импульсы! Представляешь: машины-заводы получают по радио информацию от дочерних машин из сферы производства, планирования, сбыта продукции, перевозок... отовсюду — даже о погоде, видах на урожай, о потребностях людей. Сами перерабатывают все в нужные схемы и рассылают...

— Микроэлектронные рекомендации?

— Директивы, милый! Какие там рекомендации: математически обоснованные электронные схемы управления, так сказать, рефлексy производства. С математикой не спорят!

Мы выпили.

— Ну, Валера, — сказал я, — если ты сделаешь эту идею, то прославишься так, что твои портреты будут печатать даже на туалетной бумаге!

— И твои тоже, — великодушно добавил он. — Вместе будем красоваться.

— Но, Валерий, — сказала Лена, — ведь получается, что в вашем комплексе нет места человеку. Как же так?

— Лена, вы же инженер... — снисходительно шевельнул бровями Иванов. — Давайте смотреть на этот предмет, на человека то есть, по-инженерному: зачем ему там место?

Может человек воспринимать радиосигналы, ультра- и инфразвуки, тепловые, ультрафиолетовые и рентгеновы лучи, радиацию? Выдерживает он вакуум, давление газов в сотни атмосфер, ядовитую среду, перегрузки в сотни земных тяготений, резонансные вибрации, термоудары от минус ста двадцати по Цельсию до плюс ста двадцати с часовой выдержкой при каждой температуре, холод жидкого гелия? Может он летать со скоростью снаряда, погружаться на дно океана или в расплавленный металл? Может он за доли секунды разобраться во взаимодействии десяти — хотя бы десяти! — факторов? Нет.

— Он все это может с помощью машин, — защищала человечество Ленка.

— Да, но машины-то это могут и без его помощи! Вот и остается ему в наш суровый атомно-электронный век только кнопки нажимать. Но как раз эти-то операции автоматизировать проще простого. Вы же знаете: в современной технике человек — самое ненадежное звено. Недаром всюду ставят предохранители, блокировки и прочую «защиту от дурака».

— Я молчу! — угрожающе возгласил пьяный.

— Но ведь человека, наверное, можно усовершенствовать, — заикнулся я.

— Усовершенствовать? Меня душит смех! Да это все равно что усовершенствовать паровозы — вместо того чтобы заменять их тепловозами или электровозами. Порочен сам физический принцип, заложенный в человеке: ионные реакции в растворах, процесс обмена веществ. Ты оглядись, — он широко повел рукой по залу, — все силы отнимает у людей проклятый процесс!

Я огляделся. За сдвинутыми столиками пирующие размашисто целовали новоиспеченного кандидата: лысого юношу, изможденного трудами и волнениями. Рядом сияла жена. По соседству с ними чинно питались двенадцать ин-



туристов. Дым и галдеж стояли над столиками. На эстраде саксофонист, непристойно скособочившись и выпятив живот, вел соло с вариациями; под сурдину синкопировали трубы, неистовствовал ударник — оркестр исполнял стилизованную под твист «Из-за острова на стрежень...». Возле эстрады, не сходя с места, волновались всеми частями тела пары. «Я молчу!» — возглашал наш сосед, уставясь в пустой графин.

— Собственно, единственное достоинство человека — универсальность, — снисходительно заметил Иванов. — Он хоть плохо, но многое может делать. Но универсальность — продукт сложности, а сложность — фактор количественный. Научимся делать электронно-ионными пучками машины сложностью в десятки миллиардов элементов — и все. Песенка людей спета.

— Как это спета? — тревожно спросила Лена.

— Никаких ужасов не произойдет, не надо пугаться. Просто тихо, благопристойно и незаметно наступит ситуация, когда машины смогут обойтись без людей. Конечно, машины, уважая память своих создателей, будут благосклонны и ко всем прочим. Будут удовлетворять их нехитрые запросы по части обмена веществ. Большинство людей это, наверное, устроит — они в своей неистребимой самовлюбленности даже будут считать, что машины служат им. А для машин это будет что-то вроде второстепенного безусловного рефлекса, наследственной привычки. А возможно, и не останется у машин таких привычек: ведь основа машины — рациональность... Зачем им это надо?

— Между прочим, рациональные машины сейчас служат нам! — горячо перебила его Лена. — Они удовлетворяют наши потребности, разве нет?

Я помалкивал. Валерка засмеялся.

— А это как смотреть, Леночка! У машин не меньше оснований считать, что люди удовлетворяют их потребности. Если бы я был, скажем, электронной машиной «Урал-4»,

то не имел бы к людям никаких претензий: живешь в светлой комнате с кондиционированием, постоянным и переменным током — эквивалент горячей и холодной воды, так сказать. Да еще прислуга в белых халатах суетится вокруг каждого твоего каприза, в газетах о тебе пишут. А работа не пыльная: переключай себе токи, пропускай импульсы... Чем не жизнь!

— Я молчу! — в последний раз произнес сосед, потом распрямился и заголосил на весь зал: — Укуси миня за талию, укуси миня за грудь! Укуси, пока я голая, укуси за што-нибудь!..

К нему тотчас бросились метрдотель и дружинники.

— Ну и что, если я пьяный! — скандалил дядя, когда его под руки волокли к выходу. — Я на свои пью, на заработанные. Воровать — тоже работа...

— Вот он, предмет ваших забот, во всей красе! — скривил тонкие губы Валерка. — Достойный потомок того тунейца, что кричал на подпитии: «Человек — это звучит гордо!» Уже не звучит... Ну так как, Валька? — повернулся он ко мне. — Перебирайся, включайся в тему, тогда и от тебя в будущем что-то останется. Разумные машины-заводы, деятельные и всесильные электронные мозги — и в них твои идеи, твое творчество, лучшее, что в нас есть... чувствуешь? Человек-творец — это пока еще звучит гордо. И это лучшее останется и будет развиваться даже тогда, когда малограмотная баба Природа окончательно опростоволосится со своим «хомо сапиенс»!

— Но ведь это страшно — что вы говорите! — возмущенно сказала Ленка. — Вы... как робот! Вы просто не любите людей!

Иванов взглянул на нее мягко и покровительственно:

— Мы ведь не спорим, Лена. Я просто объясняю вам, что к чему.

Это уже было слишком. Ленка психанула и замолчала. Я тоже ничего не ответил. Молчание становилось неловким. Я

позвал официанта, расплатился. Мы вышли на проспект Маркса, на самый «днепровский Бродвей». Гуляющие дефилировали.

Вдруг Валерка больно схватил меня за руку.

— Валька, слышишь? Видишь?!

Сначала я не понял, что надо слышать и видеть. Мимо нас прошли парень с девицей, оба в толстых свитерах и с одинаковыми прическами. У парня на шее джазил транзисторный приемник в желтой перламутровой коробочке, перереченной силуэтом ракеты. Чистые звуки саксофона и отчетливые синкопы труб самоутверждающе разносились вокруг... Я узнал бы звучание этого транзистора среди сотен марок приемников и радиол, как мать узнает голос своего ребенка в галдеже детсадика. «Малолумящий широкополосный усилитель», который стоит в нем, — наше с Валеркой изобретение.

— Значит, в серию пустили, — заключил я. — Можно требовать с завода авторские... Эй, юноша, сколько отвалил за транзистор?

— Пятьдесят долларов, — гордо сообщил чувак.

— Вот видишь: пятьдесят долларов, они же сорок пять золотых тугриков. Явная наценка за качество звучания. Радоваться должен!

— Радоваться?! Радуйся сам! Вот ты говоришь: страшное... (собственно, ему это говорила Лена, а не я). Пусть лучше страшное, чем такое!

М-да... Когда-то мы вникали в квантовую физику, поражались непостижимой двойственности «волны-частицы» электрона, изучали теорию и технологию полупроводников, осваивали тончайшие приемы лабораторной техники. Полупроводниковые приборы тогда были будущим электроники; о них писали популяризаторы и мечтали инженеры. Многое было в этих мечтаниях — одно сбылось, другое отброшено техникой. Но вот мечты о том, что транзисторы украсят туалеты прыщеватых пижончиков с проспекта, не было.

А как мы с Валеркой бились над проблемой шумов! Дело в том, что электроны распространяются в полупроводниковом кристалле, как частицы краски в воде — то же хаотичное бестолковое «броуново движение». В наушниках или в динамике из-за этого слышится шум, похожий одновременно на шипение патефонной иглы и на отдаленный шорох морского прибоя. Словом, там целая история... У меня это было первое изобретение — и какой торжественной музыкой звучала для меня официальная фраза заявления в Комитет по делам изобретений СССР: «Прилагая при сем нижеперечисленные документы, просим выдать нам авторское свидетельство на изобретение под названием...»!

Ну, хорошо: кто-то там переживал радость познания, горел в творческом поиске, испытывал свою инженерную удачу, а какое дело до этого бедному чуваку? Ему-то от этих радостей ничего не перепало. Вот и остается: отвали кровные тугрики, нажми кнопку, поверни рукоятку — и ходи как дурак с помытой шеей...

Мы проводили Валерку до гостиницы.

— Так как? — спросил он, подавая мне руку.

— Подумать надо, Валер.

— Подумать?! — Ленка гневно смотрела на меня. — Ты еще будешь думать?!

Все-таки невыдержанный она человек. Нет бы промолчать...

Самое занятное, что Валерка даже не спросил, чем я занимаюсь, — настолько очевидно было для него, что в Институте системологии ничего хорошего быть не может и нужно перебираться к нему. Что ж, стоит подумать».

«27 октября. Звонил Иванов:

— Надумал?

— Нет еще.

— Ах эти женщины! Я тебя, конечно, понимаю... Решайся, Валька, вместе работать будем. Я тебе завтра перед отъездом позвоню, лады?

...Если бы тогда, в марте, когда мой комплекс только начал проектировать и строить себя, я остановил опыт и стал анализировать возможные пути развития — все повернулось бы в направлении синтеза микроэлектронных блоков. Потому что это было то, что я понимал. Сейчас я был бы уже впереди Валерки. Работа покатила бы по другим рельсам — и ни мне, ни кому другому и в голову не пришло бы, что здесь упущен способ синтеза живых организмов.

Но он не упущен, этот способ. Как приятно было усилием инженерной мысли строить в баке эти пластиночки с микросхемами: триггерами, инверторами, дешифраторами! Эта его «Поэма», если к ней присовокупить мою «машину-матку», — дело верное. Собственно, «машина-матка» уже есть его «машина-завод». И в этом деле я на высоте. Еще не поздно повернуть... И такие работы действительно могут привести к созданию независимого от людей мира (или общества) машин; не роботов, а именно взаимно дополняющих друг друга разнообразных машин. Может быть, это в самом деле естественное продолжение эволюции? Если глядеть со стороны, ничего ужасного: ну, были на Земле белковые (ионно-химические) системы — на их информационной основе развились электронно-кристаллические системы. Эволюция продолжается...

Да, но если глядеть со стороны, то и при мировой термоядерной катастрофе ничего страшного не произойдет. Ну, что-то там такое вспыхнуло, возрос радиоактивный фон атмосферы. Но вращается Земля вокруг оси? Вращается. Вокруг Солнца? Вращается. Значит, устойчивость Солнечной системы не нарушилась, все в порядке.

«Вы не любите людей!» — сказала Лена Иванову. Что есть, то есть: хилобоковская вонь, уход из института, вчерашняя встреча с нашим изобретением — все это ступеньки

на лестнице человеконенавистничества. Мало ли их, таких ступенек, в жизни каждого деятельного человека! Сопоставишь свой житейский опыт с инженерным и действительно можешь прийти к убеждению, что проще развивать машины, в которых все рационально и ясно.

Ну хорошо, а я-то люблю людей? Именно от этого зависит, чем мне дальше заниматься. Никогда над этим не задумывался... Ну, я люблю себя, как это ни ужасно. Любил отца. Люблю (допустим) Лену. Если когда-нибудь обзаведусь детьми, наверное, буду любить и их. Валерку не то что люблю, но уважаю. Но чтобы всех людей, которые ходят по улице, попадаются мне на работе, в присутственных местах, о которых читаешь в газетах и слышишь разговоры... что мне до них? Что им до меня? Мне нравятся красивые женщины, умные веселые мужчины, но я презираю дураков и пьяниц, терпеть не могу автоинспекторов, холоден к старикам. А в утренней транспортной давке на меня иногда находят приступы ТТБ — трамвайно-троллейбусного бешенства, когда хочется всех бить по головам и скорее выбраться наружу... Словом, к людям я испытываю самые разнообразные чувства.

Ага, в этом что-то есть. К людям мы испытываем чувства уважения, любви, презрения, стыда, страха, гордости, симпатии, унижения и так далее. А к машинам? Нет, они тоже вызывают эмоции: с хорошей машиной приятно работать, если попусту испортили машину или прибор — жалко; а уж как, бывает, изматеришься, пока найдешь неисправность... Но это совсем другое. Это, собственно, чувства не к машинам, а к людям, которые их делали и использовали. Или могут использовать. Даже боязнь атомных бомб — лишь отражение нашего страха перед людьми, которые их сделали и намереваются пустить в ход. И намерения людей строить машины, которые оттеснят человека на второй план, тоже вызывают страх.

Я люблю жизнь, люблю чувствовать все — это уж точно. Ну а какая же жизнь без людей? Смешно... Конечно же, надо гипотетической «машине-заводу» Иванова противопоставить «машину-матку»!

Ясно, я выбираю людей! А умный и сильный парень Валера еще слабее меня. Не он выбирает работу, а работа выбирает его...

(Ну а по-честному, Кривошеин? Совсем-совсем по-честному: если бы ты не имел сейчас на руках способа делать человека, разве не исповедовал бы ты взгляды в пользу электронных машин? Каждый из нас, специалистов, стремится подвести под свою работу идейную базу — не признаваться же, в самом деле, что занимаешься ею лишь потому, что ничего другого не умеешь делать! Для творческого работника такое признание равносильно банкротству. Кстати, а умею ли я делать то, за что берусь?..)

Ну, хватит! Конечно, это очень интеллигентно и мило: оплевать себя, плакаться над своим несовершенством, мучиться раздвоенностью мечтаний и поступков... Но где он, тот рыцарь духа с высшим образованием и стажем работы по требуемой специальности, которому я могу спокойно сдать тему? Иванов? Нет. Азаров? Не удалось установить. А работа стоит. Поэтому, какой я ни есть, пусть мой палец пока полежит на этой кнопке».

«28 октября. Звонок в лабораторию.

— Ну, Валя, решился? (Как тонко поставлен вопрос!)

— Нет, Валер.

— Жаль. Мы бы с тобой славно поработали. Впрочем, я тебя понимаю. Привет ей. Очень милая женщина, рад за тебя:

— Спасибо. Передам.

— Ну, пока. Будешь в Ленинграде, навести.

— Непременно! Счастливо долететь, Валера.

Ни хрена ты, Валерка, не понимаешь... Ну да ладно. Все! Я, кажется, почувствовал злость к работе. Спасибо тебе, Валерка, хоть за это!»

## Глава тринадцатая

*Никогда не знаешь, что хорошо, что плохо.*

*Так, стенография возникла из дурного  
почерка, теория надежности — из поломок  
и отказов машин.*

К. Прутков-инженер. Мысль № 100

«1 ноября. Итак, я, сам того не желая, доказал, что, управляя синтезом, можно на основе информации о... скажем, заурядном человеке создать психопата и раба. Получилось так потому, что при введении дополнительной информации было совершено грубое насилие (ох, не укладывается этот «результат» в академические фразы!). Теперь мне как минимум необходимо доказать противоположную возможность.

Положительное в опыте с дублем Адамом то, что он оказался жив и телесно здоров. И внешность получилась такая, как я задумал. И еще: теперь у меня есть опыт по преобразованиям форм человеческого тела... Отрицательное: «удобный» способ многократных преобразований и растворов категорически отпадает; все надо сделать за один раз. И способ корректировки «то — не то» надо применять лишь в тех случаях, когда я твердо знаю, что «то», и могу контролировать изменения, попросту говоря, исправлять только мелкие внешние изъяны. Словом, и в третий раз приходится начинать на голом месте...

Я хочу создать улучшенный вариант себя: более красивый и более умный. Единственно возможный способ — записать в машину вместе со своей информацией и свои пожелания. Она может их воспринять, может не воспринять; в крайнем случае получится такой же Кривошеин — и все. Лишь бы не хуже.

С внешностью более или менее ясно: надену «шапку Мономаха» и буду до галлюцинаций зримо представлять себя



стройным, без дефектов физиономии (долгой веснушки, рубец над бровью, исправить нос, уменьшить челюсть и т. д.) и тела (убрать жир, срастить коленную связку). И волосы чтоб были потемнее...

А вот усилить умственные способности... Как? Просто пожелать, чтобы мой новый двойник был умнее меня? «Машина-матка» оставит это без внимания, она воспринимает только конструктивную информацию... Надо подумать».

«2 ноября. Есть идея. Примитивная, как лапоть, но идея. Я не одинаково умен в разное время дня. После обеда, как известно, тупеешь — этому даже есть какое-то биологическое обоснование (кровь отливает от головы). Следовательно, информацию о себе записывать в машину только натошак. И не накуриваться до обалдения. И еще одно качество своего мышления стоит учесть: чем ближе к ночи, трезвые мысли и рассуждения вытесняются у меня мечтами, игрой воображения и чувств. Это тоже ни к чему, мечтательность уже подвела меня под монастырь. Следовательно, как вечер — долой из камеры. Пусть мой новый дубль будет трезв, смышлен и уравновешен!»

«17 ноября. Третья неделя пошла, как я натаскиваю «машину-матку» на усовершенствование себя. Так и подмывает отдать через «шапку Мономаха» приказ «Можно!», поглядеть, что получится. Но нет: там человек! Пусть машина впитывает все мои мысли, представления, пожелания. Пусть поймет, чего я хочу».

«25 ноября, вечер. Снег сыплет на белые трубки фонарей, сыплет и сыплет, будто норму перевыполняет... Вот опять мимо нашего дома идет эта девочка на костылях — возвращается из школы. Наверное, у нее был полиомиелит, отнялись ноги. Каждый раз, когда я вижу ее — с большим ранцем за острыми плечами, как она неумело загребает ко-

стылями, вкривь и вкось виснет между ними, — мне стыдно. Стыдно, что сам я здоров, хоть об дорогу бей; стыдно, что я, умный и знающий человек, ничем не могу ей помочь. Стыдно от ощущения какой-то огромной бессмысленности, существующей в жизни.

Дети не должны ходить на костылях. Чего стоит вся наука и техника на свете, если дети ходят на костылях!

Неужели я и сейчас делаю что-то не то? Не то, что нужно людям? Ведь девочке этот мой способ никак не поможет.

...Скоро месяц, как я, предварительно составив программу, о чем думать, вхожу в информационную камеру, укрепляю на теле датчик, надеваю «шапку Мономаха», думаю, разговариваю вслух. Иногда меня охватывают сомнения: а вдруг в «машине-матке» снова что-то получается не так? Нет контроля, черт побери! И я трушу, так трушу, что боюсь, как бы это не отразилось на характере будущего дубля...»

Следующая запись в дневнике была сделана карандашом.

«4 декабря. Ну вот... По идее, мне следует сейчас ликовать: получилось. Но нечем, нет ни сил, ни мыслей, ни эмоций. Устал. Ох как я устал! Леню даже поискать свою авторучку. Машина в основном учла мои пожелания о внешности. Кое-что я подправил в процессе синтеза. Никакой опыт не пропадает; когда дубль возникал, мне не требовалось прикидывать, примеряться — наметанный глаз сразу отмечал «не то» в его строении и контролировал, как машина исправляет эти «не то».

К баку я подставил трап, помог ему выбраться. Он стоял передо мной: голый, стройный, мускулистый, красивый, темноволосый — чем-то похожий и уже непохожий на меня. Около его ступней растекались лужи жидкости.

— Ну как? — Голос у меня почему-то был сиплый.

— Все в порядке. — Он улыбнулся.

А потом... потом у меня тряслись губы, тряслось лицо, ходили ходуном руки. Я даже не мог закурить. Он зажег мне сигарету, налил полмензурки спирта, приговаривал: «Ну-ну... все в порядке, чего там», — словом, успокаивал. Смешно...

Попробую сейчас уснуть».

«5 декабря. Сегодня я проверял логические способности дубля-3. Первый тур (игра в «балду»): 5:3 в его пользу. Второй тур (игра в «слова»): из слова «аббревиатура» за 10 минут он построил на 8 слов больше, чем я; из слова «перенапряжение» — на 12 слов больше. Третий тур решали взапуски логические задачи из вузовского задачника по системологии Азарова, начиная от номера 223. Я дошел только до № 235 за два часа работы, он — до № 240.

Ни о каком подыгрывании с моей стороны не может быть и речи — меня разобрал азарт. Получается, что он соображает быстрее меня на 25—30 процентов — и это от ерундового кустарного нововведения! А как можно было бы усилить способности человека по настоящей науке? Но посмотрим, как он покажет себя в работе».

«7 декабря. Работа у нас пока не интеллектуальная: прибираем в лаборатории. Это не просто из-за переплетения проводов и живых шлангов. Вытираем и отсасываем пыль, очищаем колбы, приборы и панели от налета плесени.

— Скажи, как ты относишься к биологии?

— К биологии? — Он с недоумением посмотрел на меня, вспомнил. — А, вон ты о чем! Знаешь, я его тоже не понимаю... По-моему, это у него был заскок от самоутверждения...»

— Фьи-ути! — присвистнул аспирант Кривошеин и даже подпрыгнул на стуле от неожиданности. — Вот это да!

Как же так... ведь дубль-3 тоже был продолжением «машины-матки»! Выходит... выходит, машина уже научилась

строить организм человека? Ну конечно. Ведь он был первый, поэтому требовался сложный поиск. А теперь машина запомнила все пути поиска, выбрала из них те, что непосредственно ведут к цели, и построила себе программу синтеза человека.

Значит, его открытие внутренних преобразований действительно уникам. Его надо беречь... Лучше всего записать себя снова в «машину-матку»: уже не со смутной памятью поиска, а с точными и проверенными знаниями, как преобразовывать себя. Вот только зачем?

— Э, сколько можно об этом думать! — поморщился аспирант и снова уткнулся в дневник.

«18 декабря. Не помню: эти морозы называются крещенскими или те, что бывают в январе? Северо-восточный ветер пригнал к нам такую сибирскую зиму, что паровое отопление еле справляется с холодом. В парке все бело, и в лаборатории стало светлее. По библейскому ли графику, нет ли, но крещение нового дубля состоялось. И крестным папашей был Гарри Хилобок.

Состоялось оно так. В институт на годичную практику прибыли студенты Харьковского университета. Позавчера я зашел в общежитие молодых специалистов, куда их поселили, и позаимствовал «для психологических опытов» студбилет и направление на практику. Студенты смотрели на меня с робким почтением, в глазах их светилась готовность отдать для науки не только студбилеты, но и ботинки. Паспорт я одолжил у Паши Пукина.

Затем мы познакомили «машину-матку» с видом и содержанием этих документов: вертели перед объективами, шестели листками... Когда паспорт, студенческий билет и бланк направления возникли в баке, я надел «шапку Мономаха» и методом «то — не то» откорректировал все записи, как требовалось.

Дубль-3 наречен Кравцом Виктором Витальевичем. Ему, стало быть, 23 года, он русский, военнообязанный, студент

пятого курса физфака ХГУ, живет в Харькове, Холодная гора, 17... Очень приятно познакомиться!

Так ли уж приятно? Во время этой операции мы с новым Кравцом разговаривали вполголоса и чувствовали себя фальшивомонетчиками, которых вот-вот накроют. Сказалось стойкое уважение интеллигентов к законности.

Когда на следующий день мы отправились к Хилобок: Кравец — оформляться, а я — просить, чтобы студента направили ко мне в лабораторию, — нам тоже было не по себе. Я, помимо прочего, опасался, что Гарри пошлет его в другую лабораторию. Но обошлось. Студентов в этом году навалило больше, чем снегу. Когда Хилобок услышал, что я обеспечу студенту Кравцу материал для дипломной работы, он попытался всучить мне еще двух.

Гарри, конечно, обратил внимание на наше сходство.

— Он не родственник вам будет, Валентин Васильевич?

— Да как вам сказать... слегка. Троюродный племянник.

— А-а, ну тогда понятно! Конечно, конечно... — Лицо его выразило понимание моих родственных чувств и снисхождение к ним. — И жить он будет у вас?

— Нет, зачем? Пусть в общежитии.

— Да-да, конечно, как же... — По лицу Гарри было ясно, что и мои отношения с Леной для него не тайна. — Понимаю вас, Валентин Васильевич, ах как я вас понимаю!

Боже, до чего противно, когда Хилобок тебя «ах как понимает»!

— А как у вас дела с докторской диссертацией, Гарри Харитонович? — спросил я, чтобы изменить тему разговора.

— С докторской? — Хилобок посмотрел на меня очень осторожно. — Да так... а почему вы заинтересовались, Валентин Васильевич? Вы же дискретник, аналоговая электроника не по вашей части.

— Я сейчас сам не знаю, что по моей, а что не по моей части, Гарри Харитонович, — чистосердечно признался я.

— Вот как? Что ж, это похвально... Но я еще не скоро представлю диссертацию к защите: дела все отвлекают, текучка, некогда творчески подзаняться, вы сами быстрее меня защитите, Валентин Васильевич, и кандидатскую и докторскую, хе-хе...

Мы возвращались в лабораторию в скверном настроении. Какая-то сомнительная двойственность в нашей работе: в лаборатории мы боги, а когда приходится вступать в контакт с окружающей нас средой, начинаем политиковать, жулить, осторожничать. Что это — специфика исследований? Или специфика действительности? Или, может быть, специфика наших характеров?

— В конце концов, не я придумал систему квитанций на человека: паспорта, прописки, анкеты, пропуска, справки, — сказал я. — Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек.

Виктор Кравец промолчал.

«20 декабря. Ну, начинается совместная работа!

— Тебе не кажется, что мы крупно дали маху с нашей клятвой?

— ?!

— Ну, не со всей клятвой, а с тем сакраментальным пунктом...

— «...использовать открытие на пользу людям с абсолютной надежностью»?

— Именно. Мы осуществили четыре способа: синтез информации о человеке в человека, синтез кроликов с исправлениями и без, синтез электронных схем и синтез человека с исправлениями. Дает ли хоть один из них абсолютную гарантию пользы?

— М-м... нет. Но последний способ в принципе позволяет...

— ...делать «рыцарей без страха и упрека», георгиевских кавалеров и пламенных борцов?

— Скажем проще: хороших людей. Ты против?

— Мы пока еще не голосуем, а обсуждаем. И мне кажется, что идея эта основана — извини, конечно, — на очень телячьих представлениях о так называемых хороших людях. Не существует абстрактно «хороших» и абстрактно «плохих» — каждый человек для кого-то хорош и для кого-то плох. Объективных критериев здесь нет. Поэтому-то у настоящих рыцарей без страха и упрека было гораздо больше врагов, чем у кого-либо другого. Хорош для всех только умный и подловатый эгоист, который для достижения своих целей стремится со всеми ладить. Существует, правда, «квазиобъективный» критерий: хорош тот, кого поддерживает большинство. Согласен ли ты в основу данного способа положить такой критерий?

— М-м... дай подумать.

— Стоит ли, если я уже подумал, ведь к тому же придешь... (Нет, каков!) Этот критерий не годится: испокон веку кого только не поддерживало большинство... Есть еще два критерия: «хорошо то, что я считаю хорошим» (или тот, кого я считаю хорошим) и «хорошо то, что хорошо для меня». Мы, как и подавляющее большинство людей, профессионально заботящихся о благе человечества, руководствовались обоими критериями — только по простоте своей думали, что руководствуемся первым, да еще считали его объективным...

— Ну, это ты уж хватил через край!

— Ничуть не через край! Я не буду напоминать о злосчастном дубле Адаме, но ведь даже когда ты синтезировал меня, то заботился о том, чтоб было мне хорошо (точнее, по твоему мнению «хорошо»), и о том, чтоб было хорошо тебе самому. Разве не так? Но этот критерий субъективен, и другие люди...

— ...с помощью этого способа будут стряпать то, что хорошо по их мнению и для них?

— Именно.

— М-да... Ну, допустим. Значит, надо искать еще способы синтеза и преобразования информации в человеке.

— Какие же именно?

— Не знаю.

— Я тебе скажу, какой нужен способ. Надо превратить нашу «машину-матку» в устройство по непрерывной выработке «добра» с производительностью... скажем, полтора миллиона добрых поступков в секунду. А заодно сделать ее и поглотителем дурных поступков такой же производительности. Впрочем, полтора миллиона — это капля в море: на Земле живет три с половиной миллиарда людей, и каждый совершает в день несколько десятков поступков, из которых ни один не бывает нейтральным. Да еще нужно придумать способ равномерного распределения этой — гм! — продукции по поверхности земной суши. Словом, должно получиться что-то вроде силосоуборочного боронователя на магнетронах из неотожженного кирпича...

— Издеваешься, да?

— Да. Топчу ногами нежную мечту — иначе она черт-те куда нас заведет.

— Ты считаешь, что я?..

— Нет. Я не считаю, что ты работал неправильно. Странно выглядело бы, если бы я так считал. Но понимаешь: субъективно ты и мечтал и замышлял, а объективно делал только то, что определяли *возможности* открытия. И в этом-то все дело! Надо соразмерять свои замыслы с возможностями своей работы. А ты вознамерился противопоставить какую-то машинишку ежедневным ста миллиардам разнообразных поступков человечества. Ведь именно они, эти сто миллиардов плюс несчитанные миллиарды прошлых поступков, определяют социальные процессы на Земле, их добро и их зло. Вся наука не в силах противостоять этим могучим процессам, этой лавине поступков и дел: во-первых, потому что научные дела составляют лишь малую часть дел в мире, а во-вторых, это ей не по специальности. Наука не вырабатывает ни добро, ни зло — она вырабатывает новую



информацию и дает новые возможности. И все. А применение этой информации и использование возможностей определяют упомянутые социальные процессы и социальные силы. И мы даем людям всего лишь новые возможности по производству себе подобных, а уж они вольны использовать эти возможности себе во вред или на благо или вовсе не использовать.

— Что же, ты считаешь, надо опубликовать открытие и умыться руки?! Ну, знаешь! Если нам наплевать, что от него получится в жизни, то остальным и подавно.

— Не кипятись. Я не считаю, что надо опубликовать и наплевать. Надо работать дальше, исследовать возможности — так все делают. Но и в исследованиях, и в замыслах, и даже в мечтах по теме № 154 надо учитывать: то, что получится от этой темы в жизни, зависит прежде всего от самой жизни, или, выражаясь культурно, от социально-политической обстановки в мире. Если обстановка будет развиваться в благоприятную сторону, можно опубликовать. Если нет — придержать или даже совсем уничтожить работу, как это предусмотрено той же клятвой. Не в наших силах спасти человечество, но в наших силах не нанести ему вреда.

— Гм... что-то очень уж скромно. По-моему, ты недооцениваешь возможности современной науки. Сейчас существует способ нажатием кнопки — или нескольких кнопок — уничтожить человечество. Почему бы не возникнуть альтернативному способу: нажатием кнопки спасти человечество или уберечь его? И почему бы, черт побери, этому способу не лежать на нашем направлении поиска?

— Не лежит он здесь. Наше направление созидательное. Мост несравнимо труднее построить, чем взорвать.

— Согласен. Но мосты строят.

— Но никто еще не построил такой мост, который было бы нельзя взорвать.

Здесь мы зашли с ним в некий схоластический тупик. Но каков, а? Ведь, по сути, он ясно и толково изложил мне все

мои смутные сомнения; они меня давно одолевали... Не знаю даже, огорчаться мне или радоваться».

«28 декабря. Итак, прошел год с тех пор, как я сидел посреди вновь образованной лаборатории на нераспакованном импульсном генераторе и замышлял неопределенный опыт. Только год? Нет, все-таки время измеряется событиями, а не вращением Земли: мне кажется, что прошло лет десять. И не только потому, что много сделано — много пережито. Я стал больше думать о жизни, лучше понимать людей и себя, даже немного изменился — дай бог, чтобы в лучшую сторону.

И все равно: какая-то неудовлетворенность — от излишней мечтательности, наверное? Все, что я задумывал, получалось, но получалось как-то не так: с трудностями, с ужасными осложнениями, с разочарованиями... Так оно и бывает в жизни: человек никогда не мечтает, в чем бы ему разочароваться или где бы шлепнуться лицом в грязь, это приходит само собой. Умом я это превосходно понимаю, а смириться все равно никак не могу.

...Когда я синтезировал дубля-3 (в мире — Кравца), то туманно надеялся: что-то щелкнет в «машине-матке» — и получится именно рыцарь без страха и упрека! Ничего не щелкнуло. Он хорош, ничего не скажешь, но не рыцарь: трезв, рассудочен и осторожен. Да и откуда взяться рыцарю — от меня, что ли?

Дурень, мечтательный дурень! Ты все рассчитываешь, что природа вывезет, сама вложит в твои руки «абсолютно надежный способ», — ничего она не вывезет и ничего она не вложит. Нет у нее такой информации.

Черт, но неужели нельзя? Неужели прав усовершенствованный мной Кривошеин-Кравец?

...Есть один способ спасти мир нажатием кнопки; он применим в случае термоядерной войны. Упрятать в глубокую

шахту несколько «машин-маток», в которые записана информация о людях (мужчинах и женщинах) и большой запас реактивов. И если на испепеленной поверхности Земли не останется людей, машины сберегут и возродят человечество. Все какой-то выход из положения.

Но ведь снова все получится не так. Швырнуть в мир такой способ, он нарушит установившееся равновесие и, чего доброго, толкнет человечество в ядерную войну. «Люди останутся живы, атомные бомбы не страшны — ну-ка выпьем им! — рассудит какой-нибудь дошлый политикан. — Проблема Ближнего Востока? Нет Ближнего Востока! Проблема Вьетнама? Нет Вьетнама! Покупайте персональные атомоубежища для души!»

Выходит, и это «не то». Что же «то»? И есть ли «то»?»

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## Трезвость (Испытание себя)

### Глава первая

*Сон — лучший способ борьбы с сонливостью.*

К. Прутков-инженер.  
«Набросок энциклопедии»

Быстротечна июньская ночь: давно ли угас на юго-западе лиловый закат, а вот на юго-востоке, за Днестром, уж снова светлеет небо. Но и короткая ночь — ночь; она оказывает на людей свое обычное действие. Спят жители затененной части планеты. Спят граждане города Днестровска. Спят многие участники описываемых событий.

Беспокойно спит Матвей Аполлонович Онисимов. Ему долго не удавалось уснуть: курил, ворочался в постели, беспокоя жену, — размышлял о происшедшем. Задремал, утомившись, — и перевозбужденная психика поднесла ему безобразный сон: будто в трех городских парках обнаружили три трупа убитых из огнестрельного оружия. Судмедэксперт Зубато, ленись исследовать каждое убийство в отдельности, придумал версию: все трое убиты одним выстрелом — навывлет; и для доказательства своей правоты усадил трупы в обнимку на мраморной скамье секционного зала так, чтобы пулевые отверстия совпадали.

И Матвей Аполлонович, которому обычно виделись только черно-белые и мутные, как заношенная кинолента, сны, воспринимал эту картину объемно, в красках и с запахами: сидят трое Кривошеинных — огромные, голые, розовые и пахнущие мясом, — смотрят на него, фотогенично улыбаясь... Онисимов проснулся из чувства протеста.

Но (сон в руку!) в голове его стала вырисовываться правдоподобная версия: они там, в лаборатории, варили труп умерщвленного Кривошеина! Ведь труп — всегда главная улика, а спрятать или зарыть опасно, ненадежно, могут обнаружить и опознать. Вот они и варили или разлагали труп в специальном составе, а поскольку дело это не простое, что-то не рассчитали, опрокинули бак. Поэтому и теплым оказался труп, когда техник Прахов обнаружил его в баке! Поэтому так скоро и разложились пропитанные ихней химией мягкие ткани трупа, остался скелет. Лаборанта пришибло баком, а второй соучастник — этот, который вчера кривлялся перед ним (мистификатор, циркач, надувные маски или тренировка мимики — они ловкачи, это ясно!), — убежал. И организовал себе алиби — своими масками и мимотехникой он мог и московского профессора ввести в заблуждение. А документы его — хорошо сделанная липа.

Матвей Аполлонович закурил еще одну папиросу. И все-таки это дело отдает не обычной уголовщиной. Если преступники работают и в Москве и здесь и мотивов корысти, личных счетов и секса нет, то... наверное, Кривошеин действительно сделал серьезное изобретение или открытие. Нет, завтра он будет настаивать перед Алексеем Игнатьевичем, чтобы к этому делу подключили органы безопасности! (Хотя Онисимов никогда не узнает, как обстояло дело, нельзя не отдать должное его следовательской хватке. В самом деле: ничего не понимать в сути дела, а только на основе внешних случайных фактов построить логически непротиворечивую версию — это не каждый может!)

Подумав так, Матвей Аполлонович успокоенно уснул. Сейчас ему снится приятное: что его повысили за раскрытие такого дела... Но сны еще менее подвластны нашим мечтаниям, чем реальная действительность, — и вот следовательно раздосадованно мычит, а пробудившаяся жена озабоченно спрашивает: «Матюша, что с тобой?» Онисимову привиделось, что в горотделе произошел пожар и сгорело новое штатное расписание...

Аркадий Аркадьевич Азаров уснул совсем недавно, да и то после двух таблеток снотворного: утром проснется с неврастениями. Его тоже одолевали мысли о происшествии в лаборатории новых систем... Уже звонили из горкома партии: «У вас опять авария, Аркадий Аркадьевич? С человеческими жертвами?» — и откуда они так быстро узнают! Теперь пойдет: вызовы, комиссии, объяснения... Что ж, на то ты и директор, много денег получаешь, чтобы тебя дергали всюду! Вот из-за таких вещей, в которых он не повинен и не может быть повинен, ставится под сомнение его честная положительная работа! Аркадий Аркадьевич чувствовал себя одиноким и несчастным.

«...Не надо было организовывать эту лабораторию «случайного поиска». Не послушал себя. Ведь идея, что путем случайных проб и произвольных комбинаций можно достичь истины и верных решений в науке, была глубоко противна твоему мышлению. И противна сейчас. Метод Монте-Карло... одно название чего стоит! Вера в случай — что может быть ужасней для исследователя? Вместо того чтобы, логически анализируя проблему, уверенно и неторопливо приближаться к ее решению — испытывать, пусть даже с помощью приборов и машин, свое игорное счастье! Конечно, и таким путем можно строить наукообразные системы и алгоритмы, но не похожи ли они на те «системы», с помощью которых игроки в рулетку, надеясь выиграть, просаживают свои состояния... Подумаешь, изменил название

лаборатории. Но суть-то осталась. Пустил на самотек, рассудил: такое направление в мировой системологии есть — пусть разовьется и у нас... Вот и «развилось»!»

Тогда Аркадий Аркадьевич не высказал Кривошеину своих сомнений, чтобы не убить его энтузиазм, только спросил: «Чего же вы намереваетесь достичь... э-э... случайным поиском?» «Прежде всего освоить методику», — ответил Кривошеин, и это понравилось Азарову больше, чем если бы он начал фонтанировать идеи. «Нет, он не только осваивал методику. — Аркадий Аркадьевич вспомнил лабораторию, установку, похожую на осьминога, обилие приборов и колб. — Развернул какую-то большую экспериментальную работу... Неужели у него получалось то, о чем он докладывал на ученом совете? Но все кончилось трупом. Трупом, обратившимся в скелет! — Азаров почувствовал отвращение и ярость. — Надо сворачивать экспериментальные работы, вечно в них что-нибудь случается! Непременно! Системология по сути своей наука умозрительная, анализ и синтез любых систем надо вести математически — и нечего... Теорию нужно двигать! А хочется работать с машинами — пожалуйста, программируйте свои задачи и идите в машинный зал... Да и вообще эти эксперименты, — академик усмехнулся, успокаиваясь, — никогда не знаешь, что ты сделал: глупость или открытие!»

...Аркадий Аркадьевич имел давние счеты с экспериментальной наукой, суждения его о ней были тверды и окончательны. Тридцать с лишним лет назад молодой физик Азаров изучал процесс сжижения гелия. Однажды он сунул в дюар несколько стеклянных соломинок-капилляров, и охлажденная до двух градусов по абсолютной шкале жидкость необыкновенно быстро испарилась. Два литра драгоценного в то время гелия пропали, эксперимент был сорван! Аркадий сгоряча обвинил лабораторного стеклодува, что тот подсунил дефектный дюар; стеклодува наказали...

А два года спустя сокурсник Азарова по университету Петр Капица в аналогичном опыте (капилляры погрузить в сосуд) открыл явление сверхтекучести гелия! С той поры Аркадий Аркадьевич разочаровался в экспериментальной физике, полюбил надежный и строгий мир математики и ни разу не пожалел об этом. Именно математика вознесла его — математический подход к решению нематематических проблем. В тридцатых годах он применил свои методы к проблемам общей теории относительности, которая тогда владела умами ученых; позже его изыскания помогли решить важные задачи по теории цепных реакций в уране и плутонии; затем он приложил свои методы к проблемам химического катализа полимеров; и теперь он возглавил направление дискретных систем в системологии.

«Э, я все не о том! — подосадовал на себя Азаров. — Что же все-таки случилось в лаборатории Кривошеина? Помнится, прошлой осенью он приходил ко мне, хотел о чем-то поговорить... О чем? О работе, разумеется. Отмахнулся, было некогда... Всегда считаешь главным неотложное! А следовало поговорить, теперь знал бы, в чем дело. Больше Кривошеин ко мне не обращался. Ну конечно, такие люди горды и застенчивы... Постой, какие люди? Какой Кривошеин? Что ты о нем знаешь? Несколько докладов на семинарах, выступление на ученом совете, несколько реплик и вопросов к другим докладчикам да еще раскланивались при встречах. Можно ли по этому судить о нем? Можно, не так уж слабо ты разбираешься в людях, Аркадий... Он был деятельный и творческий человек, вот что. Таких узнаешь и по вопросу, и по фразе — по повадке. У таких видна непрерывная работа мысли — не каждому видна, но ты ведь сам такой, можешь заметить... Человек ест, ходит на работу, здороваются со знакомыми, смотрит кино, ссорится с сослуживцами, одалживает деньги, загорает на пляже — все это делает полнокровно, не для порядка — и думает, думает. Над одним. Над идеей, которая не связана ни с его поступками, ни с бытейскими



заботами, но его с этой мысли ничто не собьет. Она главное в нем: из нее рождается новое... И Кривошеин был такой. И это очень жаль, что был, — со смертью каждого такого человека что-то очень нужное уходит из жизни. И чувствуешь себя более одиноким... Э, полно, что это я?! — спохватился Аркадий Аркадьевич. — Спать, спать!»

Гарри Харитонович Хилобок тоже долго не мог уснуть в эту ночь: все смотрел на светящиеся в доме напротив окна квартиры Кривошеина и гадал: кто же там есть? В одиннадцатом часу из подъезда быстро вышла Лена Коломиец (Гарри Харитонович узнал ее по фигуре и походке, подумал рассеянно: «Надо бы теперь с ней поближе познакомиться, есть чем заинтересовать»), но свет продолжал гореть. Хилобок погасил свет в своей квартире, пристроился на подоконнике с театральным биноклем, но ракурс был невыгодный — он увидел только часть книжного шкафа и трафарет из олимпийских колец на стене. «Забыла она погасить лампу, что ли? Или там кто-то еще? Позвонить в милицию? Да ну их, сами пусть разбираются. — Гарри Харитонович сладко зевнул. — Может, кто-то из ихних там обыскивает...»

Он вернулся в комнату, зажег ночник — фигурку обнаженной женщины из искусственного мрамора с лампочкой внутри. Мягкий свет осветил медвежью шкуру на полу, синие стены в золотистых обоях, полированные грани письменного стола, шкаф для книг, шкаф для одежды, телевизионную тумбу, стеганую розовую кушетку, темно-красный ковер со сценой античного пиршества — все вокруг располагало к полнокровной неге. Гарри Харитонович разделся, подошел к зеркалу шкафа, стал рассматривать себя. Он любил свое лицо: прямой крупный нос, гладкие, но не полные щеки, темные усы — в нем что-то есть от Ги де Мопассана... Не так давно он перед этим зеркалом примерял к своему лицу выражение для доктора технических наук.

«Что ему надо было, этому Кривошеину? — Гарри Харитонович почувствовал клокотание внутри от яростной ненависти. — Что я ему такого сделал? И за тему его голосовал, и родственника помог в лабораторию устроить... Сам не защищается, так другим завидует! Или это он за то, что я не сделал для него заказ по СЭД-2? Ну, да все равно — нету больше Кривошеина. Спекся. Вот так-то. В жизни в конечном счете выигрывает тот, кто переживает противника».

Хилобока порадовало нечаянное остроумие этой мысли. «Хм... Надо запомнить и пустить». Вообще следует заметить, что Гарри Харитонович был не так глуп, как могло показаться по его поведению. Просто в основу своего преуспеяния в жизни он положил правило: с дурака меньше спрос. От него никто никогда не ждал ни дельных мыслей, ни знаний; поэтому в тех редких случаях, когда он обнаруживал знания или выдавал хоть скудненькие, но мысли, это казалось таким приятным сюрпризом, что сотрудники начинали думать: «Недооцениваем мы все-таки Гарри Харитоновича...» и стремились своим расположением исправить недооценку. Так проходили в сборник «Вопросы системологии» его статьи, от которых редакторы наперед не ждали ничего хорошего и вдруг обнаруживали в них крупницы смысла. Так же Гарри Харитонович сдавал темы заранее деморализованным его поведением и разговорами заказчиком. Вот только с докторской диссертацией вышла осечка... Ну ничего, он свое возьмет!

Гарри Харитоновича убаюкали приятные мысли и радужные надежды. Сейчас он спал крепко и без сновидений, как спали, наверное, еще в каменном веке.

Спал и счастливо улыбался во сне вернувшийся с ночного дежурства в городе милиционер Гаевой.

Поплакав от обиды на Кривошеина и на себя, уснула Лена.

\* \* \*

Но не все спят... Успешно борется с дремой старшина милиции Головорезов, охраняющий лабораторию новых систем; он сидит на крыльце флигеля, курит, смотрит на звезды над деревьями. Вот в траве неподалеку что-то зашуршало. Он посветил фонариком: из лопухов на него смотрел краснотелый кролик-альбинос. Старшина кышкнул — кролик прыгнул в темноту. Головорезов не знал, *какой* это кролик.

Виктор Кравец все ворочался на жесткой откидной койке в одиночной камере дома предварительного заключения под суконным одеялом, от которого пахло дезинфекцией. Он находился в том состоянии нервного возбуждения, когда невозможно уснуть.

«Как же теперь будет? Как будет? Выкрутится аспирант Кривошеин или лаборатория и работа погибнут? И что я еще смогу сделать? Отпираться? Сознаться? В чем? Гражданин следовательно, я виноват в благих намерениях — в благих намерениях, которые ничему не помогли... Что ж, наверное, это жестокая вина, если так получилось. Все гнали: скорей-скорей! — овладеть открытием полностью, добраться до способа «с абсолютной надежностью». Я тоже, хоть и не признавался себе в этом, ждал, что мы откроем такой способ... Эволюция каждую новую информацию вводила в человека постепенно, методом малых проб и малых отклонений, проверяла полезность ее в бесчисленных экспериментах. А мы — все в один опыт! Надо было с самого начала выбросить из головы мысли о возможных социальных последствиях, работать открыто и спокойно, как все. В конце концов, люди не маленькие, должны сами понимать, что к чему. До всего мы дошли: что человек — сверхсложная белковая квантово-молекулярная система, что он — продукт естественной эволюции, что он — информация, записанная в растворе. Одно только упустили из виду: человек — это человек. Свободное существо. Хозяин своей жизни и своих

поступков. И свобода его началась задолго до всех бунтов и революций, в тот далекий день, когда человекообразная обезьяна задумалась: можно залезть на дерево и сорвать плод, но можно и попробовать сбить его палкой, зажатой в лапе. Как лучше? Она неспроста задумалась, эта обезьяна: она видела, как в бурю обломившаяся ветка сбила плоды... Свобода — это возможность выбирать варианты своего поведения, ее исток — знание. С тех пор каждое открытие, каждое изобретение давало людям новые возможности, делало их все более свободными.

Правда, были и открытия (их немного), которые говорили людям: нельзя! Нельзя построить вечные двигатели первого и второго рода, нельзя превзойти скорость света, нельзя одновременно точно измерить скорость и положение электрона... Но наше-то открытие ничего не запрещает и ничего не отменяет, оно говорит: можно!

Свобода... Это не просто: осознать свою свободу в современном мире, умно и трезво выбирать варианты своего поведения. Над человеком тяготеют миллионы лет прошлого, когда биологические законы однозначно определяли поведение его животных предков и все было просто. И сейчас он норовит свалить свои ошибки и глупости на силу обстоятельств, на злой рок, возложить надежды на бога, на сильную личность, на удачу — лишь бы не на себя. А когда надежды рушатся, ищут и находят козла отпущения; сами же люди, возложившие надежды, ни при чем! В сущности, люди, идущие по линии наименьшего сопротивления, не знают свободы...»

Кружочек на двери камеры отклонился, пропустил лучик света; его заслонило лицо дежурного. Наверное, проверяет, не замыслил ли новый побег беспокойный подследственный?

Виктор Кравец неслышно рассмеялся: что и говорить, кутузка — самое подходящее место для размышлений о сво-

боде! Он с удовлетворением осознал, что, несмотря на все передраги, чувство юмора его еще не покинуло...

Дубль Адам-Геркулес сидел на скамье у троллейбусной остановки на опустевшей улице и вспоминал. Вчера, когда он шел с вокзала, размышлял о воздействии трех потоков информации (науки, жизни, искусства) на человека, возникала у него смутная, но очень важная идея. Перебили эти трое со своей дурацкой проверкой документов, чтоб им... Осталось ощущение, что приблизился к ценной догадке — лучше бы его не было, этого ощущения, теперь не успокоиться!

«Попробуем еще раз. Я обдумывал: какой информацией и как можно облагородить человека? Была у Кривошеина идея синтезировать «рыцаря без страха и упрека» — она перешла ко мне, отречься от нее нельзя... Я отбраковал информацию от среды и информацию от науки, потому что воздействие их на человека в равной мере может быть и положительное, и отрицательное... Остался способ «чувства добрые лирой пробуждать» — Искусство. Верно, оно пробуждает. Только несовершенный инструмент лира: пока тренькает, человек облагорожен, а отзвучала — все проходит. Что-то остается, конечно, но мало, поверхностная память об увиденном спектакле или прочитанной книге... Ну хорошо, а если вводить в «машину-матку» эту информацию при синтезе какого-то человека: скажем, записать в нее содержание многих книг, показать отличные фильмы? То же самое будет, отложится содержание в поверхностной памяти — и все. Ведь книга-то не о нем!

Ага, об этом тоже я думал: между источником информации Искусства и приемником ее — конкретным человеком — есть какая-то прозрачная стенка. Что же это за стенка? Черт побери, неужели жизненный опыт всегда будет главным фактором в формировании личности человека? Нужно самому страдать, чтобы понять страдания других? Ошибаться, что-

бы научиться правильно поступать? Как ребенку — надо обжечься, чтобы не тянуть пальцы к огню... Но ведь это очень тяжелая наука — жизненный опыт, и не каждый может ее одолеть. Жизнь может облагородить, но может и озлобить, оподлить; может сделать человека мудрым, но может и оболванить...»

Он закурил и принялся расхаживать около скамейки по тротуару. «Информация Искусства не перерабатывается человеком до конца, до решения на ее основе своих задач в жизни. Постой! Информация не перерабатывается до решения задачи... это уже было. Когда было? Да в начале опыта: первоначальный комплекс «датчики — кристаллоблок — ЦВМ-12» не усваивал информацию от меня... от Кривошеина — все равно! И тогда я применил обратную связь!»

Теперь Адам уже не ходил, а бегал по заплеванному тротуару от урны до фонарного столба.

«Обратная связь, будь она неладна! Обратная связь, которая увеличивает эффективность информационных систем в тысячи раз... Вот почему «стенка», вот почему мала эффективность Искусства — нет обратной связи между источником и приемником информации. Есть, правда, кое-что: отзывы, читательские конференции, критические нахлобучки, но это не то. Должна быть *непосредственная техническая* обратная связь, чтобы изменять вводимую в человека информацию Искусства применительно к *его* индивидуальности, характеру, памяти, способностям, даже внешности и анкетным данным. Таким способом можно проигрывать в процессе синтеза его поведение в критических ситуациях (пусть сам ошибается, учится на ошибках, ищет верные решения!), раскрыть перед ним *его* — а не выдуманного героя — душевный мир, способности, достоинства и недостатки, помочь ему понять и найти себя... И тогда эта великая информация станет его жизненным опытом наравне с житейской, станет для него обобщенной истиной наравне с научной. Это будет уже какое-то иное Искусство — не писательское, не актер-

ское, не музыкальное, — а все вместе, выраженное в биопотенциалах и химических реакциях. Искусство Синтеза Человека!»

Внезапно он остановился. «Да, но как это осуществить в «машине-матке»? Как наладить в ней *такую* обратную связь? Не просто... Ну, да — опыты, опыты, опыты — сделаем! Смогли же мы построить обратную связь между блоками комплекса. Главное — есть идея!..»

Вано Александрович Андросиашвили тоже не спал на своей подмосковной даче. Он стоял на веранде, слушал шорох ночного дождика... Сегодня на заседании кафедры обсуждали итоги работы аспирантов. В наименее выгодном свете предстал аспирант Кривошеин: за год он не сдал ни одного кандидатского экзамена, лекции и лаборатории посещал последнее время очень редко, тему для кандидатской диссертации еще не выбрал. Профессор Владимир Вениаминович Валерно высказал мнение, что человек напрасно занимает аспирантское место, получает стипендию и что недурно освободить вакансию для более прилежного аспиранта. Вано Александрович решил было отмолчаться, но не сдержался и наговорил Владимиру Вениаминовичу много резких и горячих слов о косности в оценке работ молодых исследователей, о пренебрежении... Валерно был ошеломлен, а сам Андросиашвили чувствовал сейчас себя неловко: Владимир Вениаминович, в общем, таких упреков не заслужил.

Вано Александрович не один вечер размышлял над фактом чудесного исцеления аспиранта после удара пудовой соевыйкой, припоминал разговор с ним об управлении обменом веществ в организме и пришел к выводу, что Кривошеин открыл и привил себе свойство быстрой регенерации тканей, присущее в природе только простейшим кишечнополостным. Его мучило, что он не в силах понять, как тот сделал такое. Он ждал, что Кривошеин все-таки придет и

расскажет; Ваню Александрович готов был забыть обиду, дать обет молчания, если понадобится, только бы узнать! Но Кривошеин молчал.

Сейчас Андросиашвили досадовал на себя, что вчера во время вызова к милицейскому телевидеофону не разузнал, почему и за что задержали аспиранта. «Он что-то натворил? Но когда он успел: еще утром он заходил на кафедру сообщить, что улетит на несколько дней в Днепровск! Вторая тайна Кривошеина...» — профессор усмехнулся.

Но беспокойство не проходило. Хорошо, если вышло недоразумение, а если там что-то серьезное? Что ни говори, а Кривошеин — автор и носитель важного открытия о человеке. Это открытие не должно пропасть.

«Мне надо лететь в Днепровск», — неожиданно возникла в голове мысль. Гордая кровь горца и члена-корреспондента вскипела: он, Ваню Андросиашвили, помчится выручать попавшего в сомнительную переделку аспиранта! Аспиранта, которого он из милости взял на кафедру и который глубоко оскорбил его своим недоверием!

«Цхэ, помчится! — Ваню Александрович тряхнул головой, смиряя себя. — Во-первых, ты, Ваню, не веришь, что Кривошеин совершил какое-то преступление — не такой он человек. Там либо беда, либо недоразумение. Надо выручать. Во-вторых, ты мечтал о случае завоевать его доверие, сблизиться с ним. Это именно тот случай. Возможно, у него есть серьезные основания таиться. Но пусть не думает, что Андросиашвили человек, на которого нельзя положиться, который отшатнется из мелких побуждений. Нет! Конечно, я и в Днепровске не стану выспрашивать его — захочет, сам расскажет. Но это открытие надо беречь. Оно выше моего самолюбия».

Ваню Александровичу стало легко и покойно на душе от того, что он преодолел себя и принял мудрое решение.

Аспирант Кривошеин тоже не спал. Он продолжал читать дневник.



## Глава вторая

*По учению Будды, чтобы избавиться  
от страданий, следует избавиться  
от привязанностей. Пусть мне укажут,  
от каких привязанностей надо избавиться,  
чтобы перестал болеть глазной зуб. И скорее!!!*

К. Прутков-инженер. Мысль без номера

«5 января. Вот и я оказался в положении человека-черновика для более совершенной копии. И хоть я сам создатель копии — приятного мало.

— А интересный у тебя племянник, — сказала мне Лена, после того как я познакомил их на новогоднем вечере. — Симпатичный.

Вернувшись домой, я долго рассматривал себя в зеркало: картина унылая... И разговаривать он ловок, куда мне до него.

Нет, Кравец Виктор ведет себя с Леной по-джентльменски. То ли прежние воспоминания действуют, то ли чувствует свои возможности по части покорения сердец, но внешне он к ней равнодушен. А если бы постарался — не видать мне Ленки.

...Когда мы с ним идем по Академгородку или по институтскому парку, встречаю девушки, которые раньше еле кивали мне, громко и радостно здороваются:

— Здрасьте, Валентин Васильевич! — а сами проникновенно косятся на незнакомого парня рядом со мной.

А как он ходит на лыжах! Вчера мы втроем отправились за город, так он и Лена оставили меня далеко позади. А как он танцевал на новогоднем балу!

Даже секретарша Ниночка, которая раньше и дорожку-то к флигелю не знала, теперь нет-нет да и занесет мне какую-нибудь бумагу из приемной.

— Здравсьте, Валентин Васильевич! Здравствуйте, Витя... Ой, как у вас здесь интересно, одни трубки!

Словом, теперь я ежедневно наблюдаю не только себя, какой я есть, но и себя, каким я мог быть, если бы не... если бы не что? Не голодовки во время войны и после, не фамильное сходство с не весьма красивым — увь! — родителем («Весь в батю, мордастеный!» — умилялись, бывало, родственники), не ухабы на жизненном пути, не столь нездоровый образ жизни: лаборатория, библиотека, комната, разговоры, размышления, миазмы реактивов — и никакой физической нагрузки. Право же, я не стремился стать некрасивым, толстым, сутулым тугодумом — так получилось.

По идее, я должен гордиться: переплюнул природу! Но что-то мешает... Все-таки эта идея ущербна. Допустим, мы доведем способ управляемого синтеза до кондиции. Будут получаться великолепные люди: сильные, красивые, одаренные, энергичные, знающие — ну, такие хозяева жизни с плаката «Вклад в сберкассе мы хранили — гарнитур себе купили!». А те, с которых их будут воспроизводить, — выходит, черновики, набросанные жизнью? За что же их-то унижать? Хороша «награда за жизнь»: сожаление о своем несовершенстве, мысли, что никогда не станешь совершенным потому, что вместо налаженного производства тебя произвела на свет обыкновенная мама! Выходит, что наш способ синтеза человека все-таки противостоит людям? И не только скверным — всем, ибо каждый из нас в чем-нибудь несовершенен. Выходит, и хорошим, но обыкновенным (не искусственным) людям придется потесниться в жизни?

(Во! Вот такой ты, Кривошеин, и есть — толстошкурый... Пока самого за живое не возьмет, ничего не доходит. «Хоть кол на голове теши», — как говаривал батя. Ну ладно: не важно, как дошло, — главное, что дошло.)

Есть над чем задуматься... Пожалуй, все человеческие изъяны имеют общую природу — это перегибы. Взять, напри-

мер, хорошее, приятное в общении качество характера: простодушие. Оно заложено в нас с детства. Но не дотянула природа, подгадило воспитание, жизненная обстановка не так сложилась — и вместо простодушия получилась дремучая глупость. Вместо разумной осторожности таким же манером получается трусость, вместо необходимой в жизни уверенности в себе — ложная самоуверенность, вместо прямоты и здорового скептицизма — цинизм, вместо трезвой дерзости — наглость, беспробудное хамство, вместо ума — хитрость.

За многими словами прячем мы свое бессилие перед несовершенством людей: за шутивными («медведь на ухо наступил», «нянька уронила»), за наукообразными («анемия», «деградация личности», «комплекс неполноценности»), за житейскими («это ему не дано», «этим он одарен»)... Раньше считали: «дар божий», в наш материалистический век — «дар природный», а в сущности, один черт, все равно человек не властен. У одних есть, у других нет.

А можно догадаться, почему «не дано». В первобытной жизни и в прочих общественных формациях совершенство человека было не обязательно. Живешь, работать и размножаться можешь, ловчить умеешь — и ладно! Только сейчас, когда в наши представления вошла не утопическая, а конструктивная идея коммунизма, — вырабатываются настоящие требования к Человеку. Мы примеряем людей к этой прекрасной идее — и больно стало замечать то, на что раньше не обращали внимания...»

«8 января. Изложил свои мысли Кравцу.

— Хочешь применить способ синтеза к обычным людям? — сделал быстрый вывод смысленный дубль-3.

— Да. Но как? — Я поглядел на него с надеждой: а вдруг он и это знает? Он понял мой взгляд и рассмеялся.

— Не забывай, что я — это ты. По уровню знаний, во всяком случае.

— Но, может, ты лучше знаешь, что это за жидкость? — Я показал на бак. — Ведь ты вышел из нее, как... как Афродита из морской пены. Ее состав и прочее?

— В двух словах?

— Можно в трех.

— Пожалуйста. Эта жидкость — человек. Ее состав — состав человеческого тела. Кроме того, эта жидкость — квантово-молекулярная биохимическая вычислительная машина с самообучением и огромной памятью, в каждой молекуле жидкости есть некая своя информация... То есть, как ни верти, жидкость «машины-матки» — это просто человек в жидкой фазе. Можешь делать из этого факта научные, практические и организационные выводы.

Чувствовалось, что новая проблема занимает его не столь живо, как меня. Я попытался подогреть его воображение.

— Витек, а что, если этот способ будет именно «то»? Ведь он для обычных людей, а не...

— Иди ты к...! (Ай-ай, а еще искусственный человек!) Я решительно отказываюсь рассматривать нашу работу с позиций «то — не то» и приверженности к клятве, которую я не давал! В наше время надо спокойней относиться к клятвам! (Ну, если это называется спокойное отношение...) Ты хочешь применить открытие к преобразованию людей?

— В ангелов... — наподдал я еще.

— К чертям собачьим ангелов! Информационные преобразования «хомо сапиенс» — и все! В таком академическом плане и давай рассматривать проблему!

Я впервые наблюдал, как он вышел из себя... в меня. Как ни старайся, а кривошеинская натура себя выказывает. Но главное: он завелся. Это самое необходимо, когда начинаешь новое исследование — завестись, почувствовать злость к работе. В результате шестичасового разговора с перерывом на обед мы сделали четыре шага в осмыслении новой проблемы.

Шаг первый. Искусственные и естественные люди, судя по всему (ну, хотя бы по тому, что обычная пища не яд для

дублей), биологически одинаковы. Следовательно, все, что делает «машина-матка» с дублями, можно *в принципе* (если отвлечься от трудностей технической реализации, как пишут в статьях) распространить на обычных людей.

Шаг второй. «Машина-матка» выполняет команды по преобразованию в баке без каких-либо механических приспособлений и контрольных устройств. Следовательно, сама жидкость есть и контрольно-управляющая схема, и исполнительный биохимический механизм; она осуществляет в баке, как сказали бы биологи, управляемый обмен веществ...»

— Ах, черти! — пробормотал аспирант и нервно закурил.

«...или точнее: преобразует внешнюю информацию в структурные записи в веществе — органические молекулы, клетки, тельца, ткани...

Шаг третий. Как в принципе можно преобразовать человека в «машине-матке»? Искусственный дубль зарождается в ней как продолжение и развитие машинной схемы. На прозрачной стадии он уже ощущает и осознает себя как человек, но активно действовать не может (опыт с Адамом и подтверждение Кравца). Затем дубль овеществляется до непрозрачной стадии, *отключается* от жидкой схемы «машины-матки» (или схема от него), овладевает собой и вылезает из... нет-нет, надо академически! — отделяется от машины. С обычным человеком следует, видимо, поступать в обратном порядке, то есть прежде всего «включить» его в схему машины. Технически: погрузить человека в жидкость.

Шаг четвертый. Но включится ли человек в схему «машины-матки»? Ведь требуется ни мало ни много, как — я все-таки достаточно знаком с нейрофизиологией, Эшби читал — полный контакт всей нервной сети человека с жидкостью; а наши проводники-нервы уже изолированы от внешней среды кожей, тканями, костями черепа. Чтобы

добраться до них, жидкость-схема должна проникнуть внутрь человека...

Мы рассудили, что она может проникнуть. Ведь человек — это раствор. Только не водный раствор (иначе бы люди растворялись в воде); свободной воды в человеке не так много. Это количественный анализ затуманивает все дело, проклятый гипноз чисел, когда, разложив живую ткань, мы получаем убедительные цифры: воды 75 процентов, белков 20 процентов, жиров 2 процента, солей 1 процент и так далее. Человек — биологический раствор, все составляющие существуют в нем в единстве и взаимосвязи. Есть в теле «жидкие жидкости»: слюна, моча, плазма крови, лимфа, желудочный сок — их можно налить в пробирку. Другие жидкости наполняют клеточные ткани: мышцы, нервы, мозг — каждая клетка сама по себе пробирка. Биологические жидкости даже кости пропитывают, как губку... Так что, несмотря на отсутствие подходящей посуды, у человека гораздо больше оснований считать себя жидкостью, чем, скажем, у сорокапроцентного раствора едкого натра.

Если быть более точным: человек — это информация, записанная в биологический раствор. Начиная с момента зачатия, в этом растворе происходят превращения, формируются мышцы, внутренности, нервы, мозг, кожа. То же самое — только быстро и по-иному — делается в биологической жидкости «машины-матки». Так что, с какой стороны ни взгляни, эти две жидкости очень родственны, и взаимопроникновение их вполне возможно...

Как нам ни хотелось каждую мысль и каждую догадку немедленно проверить в «машине-матке», но мы превозмогли себя и весь день занимались теорией. Хватит играть со случаем, надо все продумать наперед.

Итак, прежде всего включиться».

«1 февраля. Ах, как хороши были теории, которые мы подводили под то, что уже сделано! Игра в кубики, арифме-

тика «то — не то» — приятно вспомнить, как все гладко получалось... Построить теорию, с помощью которой можно достичь новых результатов, куда сложнее.

Пока что теоретически осмысленная жидкость (жидкая схема) в баке ведет себя как вульгарная вода. Только что погуще.

Надо ли писать, что на следующий день мы прибежали в лабораторию с утра пораньше, что, замирая и предвкушая, сунули в бак кончики указательных пальцев — «включились». И ничего. Жидкость была ни теплой, ни холодной. Простояли так около часа: никаких ощущений, никаких изменений.

Надо ли описывать, как мы купали в жидкости последних двух кроликов, пытаясь включить их в машину? «Машина-матка» не подчинялась даже команде «Нет!» и не растворяла их. Кончилось тем, что кроли нахлебались, а откачать их мы не смогли.

Надо ли упоминать, что мы опускали в жидкость проводники и смотрели на осциллографе колебания плавающих потенциалов? Колеблются потенциалы, кривая похожа на зубчатую электроэнцефалограмму. И что?

Вот так всегда... Будь я новичком, я бы уже спасовал».

«6 февраля. Опыт: я опустил в жидкость палец, Кравец надел «шапку Мономаха» и стал своим пальцем касаться разных предметов. *Я чувствовал, какую поверхность он трогает!* Вот что-то теплое (батарея отопления), вот холодное и мокрое (он сунул палец под кран)...

Значит, палец-то мой включился?! Машина через него передает мне внешнюю информацию ощущений... Да, но это не те ощущения. Мне нужны сигналы (пусть в ощущениях) работы жидкой схемы в баке!»

«10 февраля. Если долго держать руку в жидкости и сосредоточиться, то чувствуешь очень слабое зудение и покалывание в коже... Может, это самовнушение? Очень уж неуловимо слабо».

\* \* \*

«15 февраля. Маленький, невинный, пустяковый результат. По масштабам он уступает даже изготовлению кроликов. Просто я сегодня порезал мякоть левой ладони и залечил порез.

— Понимаешь, — задумчиво сказал утром Кравец, — чтобы было ощущение работы (жидкой схемы), она должна работать. А над чем ей, простите, работать? Зачем ей «включаться» в тебя, в меня, в кроликов? Все в нас уже сделано, все находится в информационном равновесии.

...Не знаю, действительно ли я сообразил быстрее его, что надо делать дальше (лышу себя этим), или ему просто не захотелось делать себе больно. Но опыт начал я: нарушил информационное равновесие в своем организме.

Скальпель был острый, по неопытности я распахал себе мясо до самой кости. Кровь залила руку. Опустил ладонь в бак: жидкость вокруг начала густо багроветь. Боль не исчезала.

— Шапку надень, шапку! — закричал Кравец.

— Какую шапку, зачем? — От боли и вида крови я не очень хорошо соображал.

Тогда он напялил мне на голову «шапку Мономаха», защелкал тумблерами — и боль сразу исчезла; через несколько секунд жидкость очистилась от крови. Кисть охватило какое-то сладкое зудение — и началось чудо: на моих глазах кисть становилась прозрачной! Сначала показались красные жгуты мышц. Через минуту они расплылись, сквозь красноватое желе стали просвечивать белые костяшки пальцев. Возле сухожилий запястья быстро утолщался и опадал, проталкивая кровь, сиреневый сосуд.

Мне стало страшно, я выдернул руку из бака. Сразу — боль. Кисть была цела, только блестела, как смазанная; с прозрачных пальцев стекали тяжелые капли. Я попробовал пошевелить пальцами — они не слушались. И вдруг я заметил, что кончики пальцев каплевидно утолщаются... Это было совсем страшно.



— Опустит обратно, руку потеряешь! — заорал Кравец.

Я опустил, сосредоточил все внимание на порезе. Сладко ныло именно там. «Да, машина... то... то...» — поощрял я. Зудение постепенно ослабевало — и кисть снова становилась непрозрачной! Я, с облегчением выдохнув воздух, вытащил ее: пореза уже не было, лишь на его месте вздулся красно-синий шрам. В трещинах выступили прозрачные капельки сукровицы. Шрам нестерпимо саднил и чесался. Наверное, это было еще не все. Я снова опустил руку в жидкость... Снова — прозрачность, зудение, «то, машина... то...». Наконец зудение исчезло, кисть стала непрозрачной.

Весь опыт длился двадцать минут. Сейчас я и сам не смог бы указать место, где полоснул себя скальпелем.

Надо разобраться... Самое интересное, что мне не понадобилось внушать «машине-матке» специальную информацию: как залечивать порез — да я и не мог ее внушить. Возможно, и мои поощрения «то... то...» были излишни: ощущение боли и без того породило в моем мозгу довольно красноречивые биотоки.

Выходит, «машину-матку» включает в человека сигнал о нарушении информационного равновесия в системе. Но таким сигналом может стать не только боль: волевая команда изменить что-то в себе, неудовлетворенность («не то»). А далее можно управлять ощущениями.

Пустяковый, неэффективный опыт в сравнении со всем прочим. Ведь порез можно было залить йодом, перебинтовать — зажило бы и так... Самый главный опыт из всего, что достигли за год работы! Теперь открытие может быть применено не только для синтеза и усовершенствования искусственных дублей, а для преобразования сложной информационной системы, заключенной в самый сложный биологический раствор, которую мы упрощенно называем «Человек». Преобразование любого человека!»

\* \* \*

«20 февраля. Да, жидкая схема включается в организм человека и по волевой команде. Сегодня я таким способом снял с левой руки волосяную растительность по самый локоть. Погрузил руку в бак, надел «шапку». Команда «Не то!», сосредоточенная на волосах. Покалывание и зудение усилились. Кожа стала прозрачной. Через минуту волосы растворились.

Кравец по этой методе за пять минут отрастил на мизинце и указательном пальце ногти длиной в два сантиметра. Окунул в жидкость обе ладони и превратил обычный узор кожи на подушечках пальцев в нечто похожее на «елочку» протектора автомобильной шины. Потом он попробовал восстановить прежний узор, но позабыл, каков у него был раньше.

Теперь понятно, почему у нас не получилось с кроликами — ведь у них нет сознания, нет воли, нет неудовлетворенности собой. Этот способ для человека. И только для человека!»

Далее аспирант Кривошеин читал бегло, для запоминания. Он листал страницы дневника и будто фотографировал их своей памятью. Ему все было ясно: Кривошеин и Кравец другим путем пришли к тому же, что и он, — к управлению обменом веществ в человеке. Только при помощи машины.

И это очень важно, что при помощи машины: теперь его открытие не уникам, не вид уродства, а знание, как преобразовать себя. Мало иметь способ преобразования — надо располагать полной информацией о человеческом организме. У них ее нет и не могло быть. А его «знание в ощущениях» теперь можно записать в «машину-матку» и через нее передать всем. Каждому человеку. И каждый человек потом приобретет неслыханное могущество.

Аспирант мечтательно смежил глаза, откинулся на стуле... Уж что там: борьба с болезнями — о них скоро забудут! Человеку станут и без машин подвластны все стихии.

...Синие глубины океанов, куда не опуститься без водолазного костюма, без батискафа. И человек-дельфин, отративший себе жабры и плавники, сможет наслаждаться водной стихией, жить в ней, работать, путешествовать.

...Потянет в воздух — можно вырастить себе крылья, летать, парить орлом в теплых воздушных потоках.

..Враждебные чужие планеты: с ядовитой атмосферой из хлорных газов, раскаленные зноем солнца и жаром неостывшей магмы или замороженные космическим холодом, зараженные смертоносными бактериями. И человек сможет жить там вольно, как на Земле, без скафандра и биологической защиты: ему понадобится лишь перестроить свой организм на окисление хлором вместо кислорода или, может быть, заменить обычный белок в теле кремнийорганическим.

Ведь в человеке не главное, что он дышит кислородом. И руки-ноги — не главное. Можно завести жабры, крылья, плавники, дышать фтором, заменить белок кремнийорганикой — и остаться человеком. А можно иметь нормальные конечности, белую кожу, голову и документы — и не быть им!

— Да, но... — Кривошеин в задумчивости облокотился о стол. Взгляд его снова упал на записи своего оригинала.

«... — Исчезнут болезни и уродства, не страшны раны, отравления. Каждый сможет стать сильным, смелым, красивым, сможет мобилизовать ресурсы организма, чтобы выполнить работу, которая раньше казалась непосильной. Люди будут как боги!.. Ну что ты улыбаешься мудрой улыбкой? Это ведь в самом деле тот способ безграничного совершенствования человека!

— Мудрый я, вот и улыбаюсь, — отвечивал холодно Кравец. — Ты опять залетаешь. Не только такое может быть.

— Да брось ты! Разве каждый человек не стремится стать лучше, совершеннее?

— Стремится, — в меру своих представлений о хорошем и совершенном. Могут, например, из данного способа возникнуть «косметические ванны Кривошеина».

— Какие еще ванны?

— Ну, такие... по пять рублей за сеанс. Приходит гражданочка, разоблачается за ширмой, погружается в биологический раствор. Оператор — какой-нибудь там Жора Шерверпуца, бывший парикмахер, — водружает на себя «шапку Мономаха», склоняется: «Чего изволите?» «Тапереча я хочу под Бриджит Бардо, — заказывает клиентка. — Только чтоб трошки пышнее и чернявая. Мой Вася уважает, когда чернявая...» Что кривишься? Еще и на чай Жоре даст. А клиенты мужеска пола будут трансформироваться под супермужчину Жана Маре или северных красавцев Олегов Стриженовых. А в следующем сезоне пойдет мода на Лоллобриджид и Виталиев Зубковых, как нынче на их открытки...

— Но можно же задать «машине-матке» какой-то нижний предел отбора информации... какой-то там фильтр по отбраковке пошлости и глупости. Или задать жесткую программу...

— ...которая одновременно с формулами впихивала бы в массового потребителя богатое внутреннее содержание? А если он не пожелает? Имеет он право не желать за свои деньги? «Что я — ненормальная какая, — заверещит та же дамочка, — что вы хотите меня исправлять? Сами вы придурки жизни!» Понимаешь, железобетонность позиции пошляка и обывателя в том и состоит, что они считают нормой именно свое поведение.

— Но можно сделать так, что оно не будет нормой для «машины-матки».

— Гм... Предлагаю провести простой опыт. Сунь, будь добр, в жидкость палец.

— Какой?

— Какой не жалко.

Я опустил в жидкость безымянный палец. Дубль надел «шапку», отошел к медицинскому шкафчику.

— Внимание!

— Ой, что ты делаешь?! — Я выдернул палец. На нем был порез, из него сочилась кровь.

Кравец Виктор пососал свой безымянный, потом вытер кровь со скальпеля.

— Понял теперь? Для машины нет и не может быть нормы поведения. Ей на все наплевать, что прикажут, то и делает...

Мы залечили порезы.

Спустил меня Кравец с небес на землю — кувырком по ступенькам. Мечтательный мы народ, изобретатели. И Эдисон, наверное, думал, что по его телефону люди будут сообщать друг другу только приятные и нужные сведения, а уж никак не сплетничать, доносить анонимно или вызывать потехи ради «скорую помощь» к абсолютно здоровым знакомым... Все мы так, мечтаем о хорошем, а когда жизнь выворачивает идею изобретения наизнанку, хлопам себя по бокам, как лесорубы на морозе: что ж это вы, люди, делаете?!

Проклятие науки в том, что она создает способы — и ничего более. Вот и у нас будет просто «способ преобразования информации в биологической системе». Можно обезьяну превратить в человека. Но и человека в обезьяну — тоже.

Но нельзя, нельзя, нельзя думать, что и после нашего открытия все будет как было! Не для науки — для жизни нельзя. Наше открытие именно для жизни: оно не стреляет, не убивает — оно создает. Возможно, мы не там ищем — не в свойствах машины дело, а в свойствах человека?»

Аспирант Кривошеин дочитывал дневник под внутренний аккомпанемент этих тревожных мыслей. Неужели на-

прасно надсаживались — их открытие пришло раньше времени и оно может выстрелить по людям? В Москве он мало задумывался над этим: открытие только в нем, ни к кому оно более не относится — знай исследуй да помалкивай... Правда, после купания в бассейне реактора ему очень хотелось поделиться своими знаниями и переживаниями с Андросиашвили и с ребятами в общежитии: радиацию и лучевую болезнь можно преодолеть! Но это его знание относилось к войне...

«Из-за подонков! — Кривошеина охватила ярость. — Из-за подонков, которых, может, один на тысячу и для которых услужливая проститутка Наука готовит способы взрывать города и уничтожать народы! Всего лишь способы. Черт, начать искоренять этих гадов по-мокрому, что ли? Никто меня не поймает, не подстрелит... И сам пойду дорогой подонков? Нет. Это тоже “не то”».

Аспирант закрыл тетрадь, поднял глаза. Настольная лампа горела, ничего не освещая. Было светло. За окном желтые одинаковые морды домов Академгородка среди зелени смотрели на невидимое солнце; казалось, стадо домов сейчас побредет за светилком. Часы показывали половину восьмого утра.

Кривошеин закурил, вышел на балкон. На остановке троллейбуса внизу накапливались люди. Широкоплечий мужчина в синем плаще все прохаживался под деревьями. «Ну и ну! — подивился его выносливости Кривошеин. — Ладно. Надо спасать то, что еще можно спасти».

Он вернулся в комнату, разделся, принял холодный душ. Вернулась бодрость. Потом раскрыл платяной шкаф, критически перевернул небогатый запас одежды. Выбрал украинскую рубашу с вышитым воротником и тесемками, надел. С сомнением осмотрел поношенный синий костюм — вздохнул, надел и его.

Затем аспирант четверть часа потренировался перед зеркалом и вышел из квартиры.

## Глава третья

— Эй, стойте! Не будьте ослом!  
— Легко сказать... — пробормотал осел  
и пустился прочь.

Современная сказка

Человек в плаще заметил Кривошеина, повернулся к нему всем корпусом, посмотрел в упор.

«Господи, что за примитив-детектив! — возмутился Кривошеин. — Нет бы следить за моим отражением в витрине или прикрыться газетой — пялится, как неандерталец на междугородний автобус! Инструкций у них нет, что ли? Читали бы хоть комиксы для повышения квалификации. Раскроешь с такими преступление, как же!»

Его разобрало зло. Он подошел вплотную к человеку.

— Послушайте, почему вас не сменяют? Разве на сыщиков не распространяется закон о семичасовом рабочем дне?

Тот удивленно поднял брови.

— Валя... — услышал аспирант мягкий баритон. — Валентин... разве ты меня не узнаешь?

— Гм... — Кривошеин заморгал, взгляделся и присвистнул. — Так это же... стало быть, вы дубль Адам-Геркулес? Вот оно что! А я-то думал...

— А вы выходит, не Кривошеин? То есть Кривошеин, но... из Москвы?

— Точно. Ну, здравствуйте... здравствуй, Валька-Адам, пропавшая душа!

— Здравствуй.

Они стиснули друг другу руки. Кривошеин рассматривал обветренное загорелое лицо Адама: черты его были грубы, но красивы. «Все-таки хорошо Валька постарался, смотри-ка!» Только в светлых глазах за выгоревшими ресницами пряталась робость.

— Много теперь будет Кривошеиных Валентинов Васильевичей.

— Можешь звать меня Адамом. Я возьму себе это имя.

— Где же ты был, Адам?

— Во Владивостоке, господи... — Тот усмехнулся, как бы сомневаясь в своем праве шутить. — Во Владивостоке и около.

— Ну? Здорово! — Кривошеин с завистью посмотрел на него. — Монтировал в портах оборудование?

— Не совсем. Взрывал подводные скалы. Вот... вернулся работать.

— А не страшно?

Адам прямо посмотрел на Кривошеина.

— Страшно, но... понимаешь, есть идея. Попробовать вместо синтеза искусственных людей преобразовывать в «машине-матке» обычных. Ну... погружаться в жидкость, воздействовать внешней информацией... наверное, можно, а?

Адам все-таки робел, понимал, что робеет, и досадовал, что из-за этого выношенная им идея выразилась так нескладно.

— Хорошая идея, — сказал аспирант. Он с новым любопытством поглядел на Адама. «В сущности, не такие мы и разные. Или это внутренняя логика открытия?» — Только уже было, Валь. Погружали они в нашу родную стихию различные части тела. Кажется, уже погружались и целиком.

— И получается?

— Получается... только с последним опытом еще не ясно.

— Так это же здорово! Понимаешь... ведь это... тогда можно устроить ввод информации Искусства в человека с отбором по принципу обратной связи... — И Адам, все так же сбиваясь и робея, изложил Кривошеину свои мысли об облагораживании человека искусством.

Но аспирант понял.

— «...Мы должны в своей работе исходить из того, что человек стремится к лучшему, — с улыбкой процитировал



он запись из дневника Кривошеина, — из того, что никто или почти никто не хочет сознательно делать подлости и глупости, а происходят они от непонимания. В жизни все сложно, не сразу разберешь, скверно ты поступаешь или нет; это я и по себе знаю. И если дать человеку ясную и применимую к его психике, к его делам и поступкам информацию — что хорошо, что скверно, что глупо — и ясное понимание того, что любая его подлость или глупость рано или поздно по закону большого счета обернется против него же, тогда ни его, ни за него можно не опасаться. Такую информацию можно вводить и в “машину-матку”...»

— Как, и это уже было? — удивился Адам.

— Нет. Было лишь смутное понимание, что это нужно. Что без такой информации все остальное не имеет смысла... Так что твоя идея очень кстати. Она, как выражаются в академических кругах, заполняет пробел... Послушай! — вдруг взъярился Кривошеин. — И ты с такой идеей ходил за мной, как сыщик, слонялся под окнами! Не мог окликнуть или войти в квартиру?

— Понимаешь... — замялся Адам, — я ведь думал, что ты — это он. Проходишь мимо, не замечаешь, не признаешь. Подумал: не хочет видеть. У нас с ним тогда такое вышло... — Он опустил голову.

— Да... И в лаборатории не был?

— В лаборатории? Но ведь у меня нет пропуска. А документы — Кривошеина, там их знают.

— А через забор?

— Через забор... — Адам смущенно повел плечами: ему эта мысль и в голову не пришла.

— Человек вырабатывает небывалой дерзости замыслы и идеи, а в жизни... боже мой! — Кривошеин неодобрительно покачал головой. — Избавляться надо от этой гаденькой робости перед жизнью, перед людьми — иначе пропадем. И работа пропадет... Ну ладно, — он протянул ему ключи, — иди располагайся, отдыхай. Всю ночь вокруг да около бродил, надо же!

— А где... он?

— Хотел бы я сам знать: где он, что с ним? — Аспирант помрачнел. — Попробую выяснить все. Позже увидимся. Пока. — Он улыбнулся. — Все-таки здорово, что ты приехал.

«Нет, человека не так просто сбить с пути! — мысленно приговаривал Кривошеин, направляясь к институту. — Великое дело, большая идея могут подчинить себе все, заставят забыть и об обидах, и о личных устремлениях, и о несовершенстве... Человек стремится к лучшему, все правильно!»

Мимо мчались переполненные утренние троллейбусы и автобусы. В одном из них аспирант заметил Лену: она сидела у окна и рассеянно смотрела вперед. Он остановился на секунду, проводил ее взглядом. «Ах, Ленка, Ленка! Как ты могла?»

Чтение дневника произвело на аспиранта действие, которое не произвело бы ни на кого другого: он будто прожил этот год в Днепровске. Сейчас он был просто Кривошеин — и сердце его защемило от воспоминания об обиде, которую ему (да, ему!) нанесла эта женщина.

«...Я знаю, к чему идут наши исследования, не будем прикидываться: мне лезть в бак. Мы с Кравцом производим мелкие поучительные опыты над своими конечностями, я недавно даже срастил себе жидкой схемой порванную давным-давно коленную связку и теперь не прихрамываю. Все это, конечно, чудо медицины, но мы-то замахнулись на большее — на преобразование всего человека! Здесь мельчить нельзя, так мы еще 20 лет протопчемся около бака. И лезть именно мне, обычному естественному человеку, — Кравцу в баке уже делать нечего.

В сущности, предстоит испытать не «машину-матку» — себя. Все наши знания и наши приемы слова доброго не сто-

ят, если у человека не хватит воли и решимости подвергнуть себя информационным превращениям в жидкости.

Конечно, я не вернусь из этой купели преобразившимся. Во-первых, у нас нет необходимой информации для основательных переделок организма и интеллекта человека; а во-вторых, для начала этого и не надо: достаточно испытать полное включение в «машину-матку», доказать, что это, возможно, не опасно, — ну и что-то в себе изменить. Так сказать, сделать первый виток вокруг Земли.

А это возможно? А это не опасно? Вернусь ли я из «купели», с орбиты, с испытаний — вернусь? Сложная штука «машина-матка» — сколько нового в ней открыли, а до конца ее не знаем... Что-то мне не по себе от блестящей перспективы наших исследований.

Мне сейчас самое время жениться, вот что. К черту осторожные отношения с Ленкой! Она мне нужна. Хочу, чтобы она была со мной, чтобы заботилась, беспокоилась и ругала, когда поздно вернусь, но чтобы сначала дала поужинать. И (поскольку с синтезом дублей уже все ясно) пусть новые Кривошеины появляются на свет не из машины, а благодаря хорошим, высоконравственным взаимоотношениям родителей. И пусть осложняют нам жизнь — я «за»! Женюсь! Как мне это раньше в голову не пришло?

Правда, жениться сейчас, когда мы готовим этот эксперимент... Что ж, в крайнем случае останется самая прочная память обо мне: сын или дочь. Когда-то люди уходили на фронт, оставляя жен и детей, — почему мне нельзя поступить так сейчас? Возможно, это не совсем благонамеренно: жениться, когда есть вероятность оставить вдову. Но пусть меня осудят те, кто шел или кому идти на такое. От них я приму».

«12 мая.

— Выходи за меня замуж, Ленка. Будем жить вместе. И пойдут у нас дети: красивые, как ты, и умные, как я. А?

- Ты действительно считаешь себя умным?
- А что?
- Был бы ты умный, не предложил бы такое.
- Не понимаю...
- Вот видишь. А еще рассчитываешь на умных детей.
- Нет, ты объясни: в чем дело? Почему ты не хочешь выйти за меня?

Она воткнула в волосы последнюю шпильку и повернулась от зеркала ко мне.

— Обожаю, когда у тебя так выпячиваются губы. Ах ты мой Валька! Ах ты мой рыжий! Значит, у тебя прорезались серьезные намерения? Ах ты моя прелесть!

— Подожди! — Я высвободился. — Ты согласна выйти за меня?

- Нет, мой родненький.
- Почему?

— Потому что разбираюсь в семейной жизни чуть больше тебя. Потому что знаю: ничего хорошего у нас не получится. Ты вспомни: мы хоть раз о чем-нибудь серьезном говорили? Так — встречались, проводили время... Вспомни: разве не бывало, что я прихожу к тебе, а ты занят своими мыслями, делами и не рад, даже недоволен, что я пришла? Конечно, ты делаешь вид, стараешься вовсю, но ведь я чувствую... А что же будет, если мы все время будем вместе?

— Значит... значит, ты меня не любишь?

— Нет, Валечка. — Она смотрела на меня ясно и печально. — И не полюблю. Не хочу полюбить. Раньше хотела... Я ведь, если по совести, с умыслом с тобой сблизилась. Думала: этот тихий да некрасивый будет любить и ценить... Ты не представляешь, Валя, как это мне было нужно: отогреться! Только не отогрелась я возле тебя. Ты ведь меня тоже не очень любишь... Ты не мой, я вижу. У тебя другая: Наука! — Она зло рассмеялась. — Тоже напридумывали себе игрушек: наука, техника, политика, война, а женщина так, между прочим. А я не хочу между прочим. Известно: мы, бабы,

дуры — все принимаем всерьез, в любви меры не знаем и ничего с собой поделать не можем... — Ее голос задрожал, она отвернулась. — Я бы тебе это все равно сказала. Ошиблась ты снова, Ленка!

Впрочем, подробности ни к чему. Я ее выгнал. Вот сижу, отвожу душу с дневником.

Значит, все было по расчету. «Не люби красивенького, а люби паршивенького». Загорелось мне создать здоровую семью... Холодно. Ох как холодно!..

«А за что меня любить Фраските? У меня и франков...» Ну, ты брось! Ленка не такая. А какая? И в общем она верно сказала: разве я этого сам не понимал? Еще как! Но раньше меня устраивали такие легкие отношения с ней... «Вас устроит?» — как говорят в магазинах, предлагая маргарин вместо сливочного масла.

Ничто в жизни не проходит даром. Вот я и сам изменился, осознал, а она все долбает... Поддался книжной иллюзии, чудака. Захотел отогреться.

И это все. Ничего больше в моей жизни не будет. Такую, как Ленка, мне не найти. А на дешевые связи я не согласен.

Не захотела Лена стать моей вдовой. Холодно... Мы утратили непосредственность, способность поступать по велению чувств: верить без оглядки — потому что верилось, любить — потому что любилось. Возможно, так вышло потому, что каждый не раз обжегся на этой непосредственности, или потому, что в театре и в кино видим, как *делаются* все чувства, или от сложности жизни, в которой все обдумать и рассчитать надо, — не знаю. «Нежность душ, разложенная в ряд Тейлора...» Разложили... Теперь нам надо заново разумом постигнуть, насколько важны цельные и сильные чувства в жизни человека. Что ж, может быть, и хорошо, что это требуется доказать.

Это можно доказать. И это будет доказано. Тогда люди обретут новую, упрочненную рассудком естественность чувств и поступков, поймут, что иначе — не жизнь. А пока — холодно...

Ах, Ленка, Ленка, бедная, запуганная жизнью девочка! Теперь я, кажется, в самом деле тебя люблю».

В половине девятого утра к лаборатории новых систем подошел следователь Онисимов. Дежурный старшина Головорезов сидел на самом солнцепеке на крыльце флигеля, привалившись к дверям, — фуражка надвинута на глаза. Вокруг раскрытого рта и по щекам ползали мухи. Старшина подергивал мускулами лица, но не просыпался.

— Сгорите на работе, товарищ старшина, — строго произнес Онисимов.

Дежурный сразу проснулся, поправил фуражку, встал.

— Так что все спокойно, товарищ капитан, ночью никаких происшествий не было.

— Понятно. Ключи при вас?

— Так точно. — Старшина вытащил из кармана ключи. — Как мне их вручили, так они и при мне.

— Никого не впускайте.

Онисимов отпер дверь флигеля, захлопнул ее за собой. Легко ориентируясь в темном коридоре, заставленном ящиками и приборами, нашел дверь в лабораторию.

В лаборатории он внимательно огляделся. На полу застыли желеобразные лужи, подсохшие края их заворачивались внутрь. Шланги «машины-матки» вяло обвисали вокруг бутылей и колб. Лампочки на пульте электронной машины не горели. Рубильники электрошита торчали вбок. Онисимов с сомнением втянул в себя тухловатый воздух, крутнул головой: «Эге!» Потом снял синий пиджак, аккуратно повесил его на спинку стула, закатал рукава рубашки и принялся за работу.

Прежде всего он промыл водой, поднял и поставил на место тефлоновый бак, свел в него отростки шлангов и концы проводов. Потом обследовал силовую кабель, нашел внизу, на стыке стены и пола, разъеденное кислотами и обгорелое

место короткого замыкания; взял в вытяжном шкафу резиновые перчатки, добыл из слесарного стола инструменты, вернулся к кабелю и принялся зачищать, скручивать, забинтовывать изолентой оплавленные медные жилы.

Через несколько минут все было сделано. Онисимов, отдуваясь, разогнулся, врубил электроэнергию. Негромко загудели трансформаторы ЦВМ-12, зашуршали вентиляторы обдувки, взвыл, набирая обороты, мотор вытяжки. На пульте электронной машины беспорядочно замерцали зеленые, красные, синие и желтые лампочки.

Онисимов, покусывая от волнения нижнюю губу, набрал в большую колбу воды из дистиллятора, стал доливать ее во все бутылки; достал из стола Кривошеина лабораторный журнал и, справляясь по записям, принялся досыпать в колбы и бутылки реактивы. Окончив все это, встал посреди комнаты в ожидании.

Трепещущий свет сигнальных лампочек перекидывался от края к краю пульта, снизу вверх и сверху вниз — метался, как на взбесившейся кинорекламе. Но постепенно бессистемные мерцания стали складываться в рисунок из ломаных линий. Зеленые прямые оттеняли синие и желтые. Мерцание красных лампочек замедлилось: вскоре они погасли совсем. Онисимов напряженно ждал, что вот-вот в верхней части пульта вспыхнет сигнал «Стоп!». Пять минут, десять, пятнадцать — сигнал не вспыхнул.

— Кажется, работает... — Онисимов крепко провел ладонью по лицу.

Теперь надо было ждать. Чтобы не томиться попусту, он налил в ведро воды, нашел в коридоре тряпки и вымыл пол. Потом обмотал изолентой оборванные концы проводов от «шапки Мономаха»; прочел записи в журнале, приготовил еще несколько растворов, долил в бутылки. Делать больше было нечего.

В коридоре послышались шаги. Онисимов резко повернулся к двери. Вошел старшина Головорезов.

— Товарищ капитан, там ученый секретарь Хилобок просится войти, говорит, что у него к вам разговор. Впустить?

— Нет. Пусть подождет. У меня к нему тоже разговор.

— Слушаюсь. — Старшина ушел.

«Что ж, придется поговорить и с Гарри, — усмехнулся Онисимов. — Самое время напомнить ему недавние события».

«...17 мая. А ведь слукавил тогда Гарри Харитонович, что-де некогда ему диссертацию писать! Слукавил. Вчера, оказывается, состоялась предварительная защита его докторской на закрытом заседании нашего ученого совета. У нас, как и во многих других институтах, заведено: прежде чем выпускать диссертанта во внешние сферы, послушать его в своем кругу. На днях будет официальная защита в Ленкином КБ.

Ой, неспроста Гарри лукавит! Что-то в этом есть».

«18 мая. Сегодня я постучал в окошечко, возле которого некий институтский поэт, на всякий случай пожелавший остаться неизвестным, написал карандашом на стене:

Первой формы будь достоин.

Враг не дремлет!

Майор Пронин

Я как раз достоин. Поэтому Иоганн Иоганнович впустил меня в закрытую читальню и выдал для ознакомления экземпляр диссертации к.т.н. Г.Х. Хилобока на соискание ученой степени доктора технических наук на тему... впрочем, об этом нельзя.

Ну, братцы... Во-первых, упомянутая тема вплотную примыкает к той разработке блоков памяти, которую когда-то вели мы с Валеркой, и получается, что Гарри был едва ли не автор и руководитель ее; прямо это не сказано, но догадаться можно. Во-вторых, он предался вольной импровизации в части истолкования и домысливания полученных результатов и основательно заврался. В-третьих, у



него даже давно известные факты, установленные зарубежными системотехниками и электронщиками, идут за фразой «Исследованиями установлено...». Как же наш ученый совет-то пропустил такое? Месяц май, половина людей в командировках и отпусках. Нет, это ему так не пройдет».

«19 мая.

— Ты арифметику знаешь? — спросил Кравец, когда я изложил ему суть дела и свои намерения.

— Знаю, а что?

— Тогда считай: два дня на подготовку к участию в защите плюс день защиты... плюс месяц нервотрепки после нее — ты ведь не маленький, знаешь, что такие штуки даром не проходят. Что больше весит: месяц наших исследований, результаты которых со временем повлияют на мир сильнее всей нынешней техники, или халтурная диссертация, которая ни на что не повлияет? Одной больше, одной меньше — и все.

— М-да... а теперь я тебе расскажу другую арифметику. Вот мы с тобой одинаковые люди и одинаковые специалисты, кое в чем ты даже меня превосходишь. Но если я сейчас пойду к тому же ученому секретарю Хилобоку и, не особенно утруждая себя обоснованиями, заявлю ему, что практикант Кравец глуп, не разбирается в азах вычислительной техники (даже арифметику знает слабо), портит приборы и тайком пьет спирт... что будет с практикантом Кравцом? Вон из института и вон из общежития. И пропал практикант. Никому он ничего не докажет, потому что он всего лишь студент. Вот такую же силу по сравнению с вами наберет Хилобок, став доктором наук. Я тебя убедил?

Я его настолько убедил, что он тут же отправился в библиотеку подбирать выписки из открытых литературных источников.

Могу и еще обосновать: нам надо думать не только об исследованиях, но и о том, что когда-то придется защищать

правильные применения открытия. А этого мы не умеем. Этому надо учиться.

Да к черту осторожные обоснования! В конце концов, живу я на свете или мне это только кажется?»

«22 мая. Все началось обыкновенно. В малом зале КБ собралась небольшая, но представительная аудитория. Гарри Харитонович приколот к доске листы ватмана с разноцветными схемами и графиками, картинно стал возле и произнес положенную двадцатиминутную речь. Допущенные слушали, испытывая привычную неловкость. Одни совсем не понимали, о чем речь; другие кое-что понимали, кое-что нет; третьи все понимали: и кто такой Гарри Хилобок, и что у него за работа, и почему он ее засекретил... Но каждый уныло думал, что нечего соваться в чужой огород, да и достаточно ли он сам совершенен, чтобы критиковать других? Обычные сонные размышления, благодаря которым в науку прошмыгнула уже не одна тысяча бездарей и пройдох.

Гарри закончил. Председательствующий прочел отзывы. Приятные отзывы, ничего не скажешь (кто же станет неприятные представлять на защиту?). Для меня серьезной неожиданностью было лишь то, что и Аркадий Аркадьевич дал отзыв. Затем были выступления официальных оппонентов. Известно, что такое официальный оппонент: он, чтобы оправдать свое название, отмечает некоторые недоделки, некоторые несоответствия, «а в целом работа соответствует... автор заслуживает...». Впрочем, не буду грешить: оппонент из Москвы очень квалифицированно поиздевался над всеми положениями диссертации и дал понять, что ее можно раздолбать, но он сделал это настолько тонко и осторожно, что его вряд ли понял сам Гарри; «а в целом работа заслуживает...».

И наконец: «Кто желает выступить?» Обычно к этому времени все чувствуют отвращение к происходящему, никто ничего не желает, диссертант благодарит — все.

Завлабораторией В. Кривошеин сделал глубокий вдох и выдох (к этому времени я осознал, что скандал получится серьезный) и поднял руку. Гарри Харитонович был неприятно поражен. Я, как и он, говорил 20 минут и в развитие своих доводов передавал членам совета журналы, монографии, брошюры, в которых излагались без ссылок на Хилобока защищаемые им результаты; затем воспроизвел на доске его схему... не важно, чего именно, тем более что единственным достоинством ее была «оригинальность», и доказал, что поскольку... то схема на частотах требуемого диапазона работать не будет. В зале стало шумно.

Затем выступил кандидат наук Валерий Иванов, прилетевший (не без моего звонка) из Ленинграда. Он тоже уточнил приоритетные данные и разобрал «оригинальную» часть диссертации; речь Валерки была исполнена эрудиции и тонкого юмора. В зале стало еще бодрее — и пошло!

Мой старый знакомец Жалбек Балбекович Пшембаков стал уточнять у Гарри: как же в схеме № 2 осуществляется... (об этом тоже не стоит). Хилобок не знал как, но попытался отбиться порцией разжижающей мозги болтовни. За ним вступили в интересный разговор другие работники КБ. В заключение выступил главный инженер КБ, профессор и лауреат... (его фамилию не рекомендовано упоминать всуе). «Мне с самого начала казалось, что здесь что-то не то», — начал он.

Словом, не помогла Хилобоку первая форма: раздолбали его диссертацию, как бог черепаху! На Гарри жалко было смотреть. Все расходились по своим делам, а он скалывал с доски роскошные ватманы — и упругие листы, свертываясь, били его по усам. Я подошел помочь.

— Спасибо уж, не надо, — пробурчал Хилобок. — Что — довольны? Сами не защищаетесь и другим не даете. Легко живете, Валентин Васильевич, природа наделила вас способностями...

— Хорошенькое дело, легко! — опешил я. — Зарплата в два раза меньше, чем у вас, отпуск тоже. А работы и забот сверх головы...

— Сами себе прибавляете забот-то, зачем вам было в это дело вмешиваться? — Гарри, сворачивая листы, взглянул на меня многообещающе и зло. — Об институте надо думать, не только о себе да обо мне... Ну да не здесь нам об этом говорить!

Это уж как водится. Но все равно: я сейчас себя удивительно хорошо чувствую. Такое ощущение, что сделал если не более значительное, то, несомненно, более нужное дело, чем наше открытие: прищемил гада. Значит, можно? И не так страшно, как казалось. Теперь и за будущее нашей работы как-то не так опасаясь. Можно одолевать и такие проблемы».

— А на работу это все-таки повлияло... — пробормотал Онисимов-Кривошеин, наблюдая за «машиной-маткой». — Э, да что только не влияет на работу!

«29 мая. Сегодня был вызван пред светлы очи Азарова. Он только вернулся из командировки.

— Вы понимаете, что вы наделали?

— Но, Аркадий Аркадьевич, ведь диссертация...

— Речь идет не о диссертации Гарри Харитоновича, а о вашем поведении! Вы подорвали престиж института, да как подорвали!

— Я высказал свое мнение.

— Да, но где высказали? Как высказали?! Неужели трудно понять, что во внешней организации вы не просто инженер, который стремится свести... э-э... научные счета с кем-то (ну, Гарри накапал!), а представитель Института системологии! Почему вы не высказали свое мнение на предварительной защите?

— Я не знал о ней.

— Все равно вы могли даже после нее изложить свое мнение моему заместителю — оно было бы учтено! (Это Вольтамперновым-то!)

— Оно не было бы учтено.

— Я вижу, мы не договоримся. Какие у вас планы на дальнейшее?

— Увольняться не собираюсь.

— Я вам этого и не предлагаю. Но мне кажется, что вам еще рано руководить лабораторией. Ученый, работающий в коллективе, должен учитывать интересы коллектива и, уж во всяком случае, не наносить ему вред своими действиями. Полагаю, что на предстоящем конкурсе вам трудно будет пройти на должность заведующего лабораторией... Все. Я вас не задерживаю.

Вот так. Сейчас по всему институту раздается оскорбленное индюшиное болботанье: «Инженер против кандидата! Супротив доктора!» Стараниями Гарри дело представляется так, будто я сводил с ним счеты. Вспоминают старые мои грехи: выговор, аварию в лаборатории Иванова (завхоз Матюшин носится с идеей взыскать с меня деньги за нанесенный ущерб). Спихватились, что я не представил годовой отчет о работе, хотя тема 154 кончается лишь в этом году. Поговаривают, что надо образовать комиссию по проверке работы лаборатории.

Недоброжелатели кричат, доброжелатели шепчут сочувственно и с оглядкой: «Здорово ты Хилобока приделал... Так ему, болвану, и надо... Ну, теперь тебя съедят...» И советуют, куда перейти. «Так вы бы вступились!» «Ну, видишь ли... — разводит руками тот же теплый парень Федя Загребняк. — Что я могу? Это же не моя специальность...»

Все-таки гнусная жизнь у узкого специалиста. Сытая, обеспеченная, но гнусная. Все его жизненные интересы сосредоточены вокруг каких-нибудь там элементов пассивной памяти, да и то не любых элементов, а на криотронах, да и

то не на любых криотронах, а пленочных, да и то не из любых пленок, а только из свинцово-оловянных... Рабочий, крестьянин, техник, инженер широкого профиля, учитель и даже канцелярист могут найти приложение своим силам и знаниям во множестве занятий, предприятий и учреждений, а этими треклятыми пленками занимаются в двух-трех институтах на весь Союз. Куда деваться в случае чего бедному Феде? Сиди и не чирикай... В сущности, узкая специализация — это способ самопорабощения. Поэтому у нас, в среде узких специалистов, почти никогда не бывает, чтоб все за одного (кроме случаев, когда этот один — Азаров); все на одного — это другое дело, это легче. Поэтому и разгораются страсти при каждом нарушении научной субординации.

«Это ж каждого так могут провалить!» — возопил Вольтампернов. И пошло...

Ладно, перетерпим. Выстоим. Главное — дело сделано. Я ведь знал, на что иду. Но противно. Сил нет как противно...»

Онисимов погасил папиросу, впился взглядом в машину. В расположении шлангов что-то медленно и неощутимо изменилось. Они будто напряглись. По некоторым прошла дрожь сокращений. И — Онисимов даже вздрогнул — первая капля из левого темно-серого шланга звонко ударилась о дно бака.

Онисимов приставил к баку лесенку, взобрался по ней. Подставил ладонь под шланг. За минуту в нее набралась лужица густой золотистой жидкости. Под ней, как под увеличительным стеклом, вырисовывались линии кожи. Он сосредоточился: кожа исчезла, обнажились красные волокна мышц, белые косточки фаланг, тяжи сухожилий... «Ах, если бы они это знали и умели, — вздохнул он, — опыт пошел бы не так. Не знали... И это повлияло».

Он выплеснул жидкость в бак, опустился на пол, вымыл руку под краном. Звон капель из всех шлангов теперь звучал по-весеннему весело и мелко.

— Работа! Крепка же ты, машина, — с уважением сказал Онисимов-Кривошеин. — Крепка, как жизнь.

Ему явно не хотелось уходить из лаборатории. Но, взглянув на часы, он заспешил, надел пиджак.

— Доброе утро, Матвей Аполлонович! — радостно приветствовал его Хилобок. — Уже работаете? Я вот вас дожидаясь, сообщить хочу. — Он приблизил усы к уху Онисимова. — Вчера в квартиру Кривошеина эта... женщина его бывшая приходила, Елена Ивановна Коломиец, что-то взяла и ушла. И еще кто-то там был, всю ночь свет горел.

— Понятно. Хорошо, что сообщили. Как говорится, правосудие вас не забудет.

— Что ж, я всегда пожалуйста. Мой долг!

— Долг-то долг, — голос Онисимова стал жестким, — а не движут ли вами, гражданин Хилобок, какие-либо иные приводящие мотивы?

— То есть какие такие мотивы?

— Например, то, что Кривошеин провалил вашу докторскую диссертацию.

Лицо Гарри Харитоновича на мгновение раскисло, но тут же выразило оскорбленность за человечество.

— Вот люди, а! Уже успел кто-то сообщить... Ну что у нас за народ такой, вы подумайте, ах ты, ей-богу! Ну что вы, Матвей Аполлонович, как вы могли сомневаться, я от чистого сердца! Да не так уж сильно повлиял Кривошеин на защите, как вам рассказали, там посерьезней его специалисты были, и одобряли многие, а он, известно, завидовал, ну и, конечно, порекомендовали доработать, ничего особенного, скоро снова буду представлять... Ну, впрочем, если у вас ко мне есть недоверие, то смотрите все сами, мое дело сказать, а там... Всего вам доброго!

— Всего хорошего.

Гарри Харитонович удалился вне себя: и с того света достает его Кривошеин!

— Крепко вы его, товарищ капитан! — одобрил старшина. Онисимов не услышал. Он смотрел вслед Хилобоку.

«...Все одно к одному. Поневоле раздумаешься: а стоит ли? Давай напрямую, Кривошеин: ведь можешь гробануться в этом опыте. Очень просто, по своей же статистике удачных и неудачных опытов. Наука наукой, методика методикой, но с первого раза никогда как следует не получается — закон старый. А ошибка в этом опыте — не испорченный образец.

Ведь выходит, что я полез в бак просто как узкий специалист по этому делу. Такая у меня специальность — как у Феди Загребняка криотронные пленки. Но могу и не лезть, никто не заставит... Смешно: просто из-за неудачно сложившейся специальности погружаться в эту сомнительную среду, которая запросто растворяет живые организмы! Из-за людей? Да ну их! Что мне — больше других надо? Буду жить спокойно и для себя. И будет хорошо.

...И все станет ясно — последней холодной ясностью подлеса. И всю жизнь придется оправдывать свое отступление тем, что все люди такие, не лучше тебя, а еще хуже, все живут только для себя. И придется поскорее избавиться от всех надежд и мечтаний о лучшем, чтобы не напоминали они тебе: ты продал! Ты продал и не вправе ждать от людей ничего хорошего.

И тогда совсем холодно станет жить на свете...»

Старшина Головорезов что-то спрашивал.

— Что?

— Я говорю, смена скоро будет, товарищ капитан? Ведь в двадцать два ноль-ноль заступил.

— Неужели не выпались? — весело сощурил на него глаза Онисимов. — Час-полтора поскучать вам еще придется, потом снимут — обещаю. Ключи я возьму с собой, так надежнее. Никого сюда не пускайте!



## Глава четвертая

*И у Эйнштейна были начальники,  
и у Фарадея, и у Попова... но о них почему-то  
никто не помнит. Это есть нарушение  
субординации!*

К. Прутков-инженер. Мысль № 40

Окна кабинета Азарова выходили в парк. Были видны верхушки лип и поднимающийся над зеленью серый в полосах стекла параллелепипед нового корпуса. Аркадию Аркадьевичу никогда не надоедало любоваться этим пейзажем. По утрам это помогало ему прогнать неврастению, прибавляло сил. Но сегодня, взглянув в окно, он только кисло поморщился и отвернулся.

Возникшее вчера чувство одиночества и какой-то вины не проходило. «Э! — попытался отмахнуться Азаров. — Когда кто-то умирает, чувствуешь себя виноватым уже оттого, что остался жив. Особенно если покойник моложе тебя. А одиночество в науке естественно и привычно для каждого творческого работника. Каждый из нас знает все ни о чем — и каждый свое. Понять друг друга трудно. Поэтому мы часто заменяем взаимопонимание молчаливым согласием не вникать в дела других... Но что же знал он? Что делал он?»

— Можно? Доброе утро, Аркадий Аркадьевич! — Хлоббок приблизился по ковру, распространяя запах одеколона.

...Намек Онисимова взволновал Гарри Харитоновича; ему пришло в голову, что могут истолковать, будто он сводил счеты с Кривошеиным из-за диссертации, будто травил его и тем способствовал его смерти. «Известно, когда человек погиб, всегда виноватого ищут. А у нас могут, у нас народ такой...» — затравленно думал доцент. Он еще не знал точно, чего и кого именно ему нужно бояться, но бояться надо было, чтобы не дать маху.

— Так, значит, я вот подготовил проектик приказа, Аркадий Аркадьевич, относительно происшествия с Кривошеиным, чтобы, значит, все у нас относительно него... и этого происшествия было оформлено как полагается. Здесь всего два пункта: относительно комиссии и относительно прикрытия лаборатории, ознакомьтесь, пожалуйста, Аркадий Аркадьевич, если вы не возражаете...

Хилобок склонился над лакированным столом, положил перед академиком лист бумаги с машинописным текстом.

— Так, значит, в состав комиссии по расследованию этого происшествия я записал товарища Безмерного, инженера по технике безопасности, ему по штату такими делами положено заниматься, хе-хе... Ипполита Илларионовича Вольтампернова — как специалиста по электронной технике, Аглаю Митрофановну Гаражу — как члена месткома по охране труда, Людмилу Ивановну из канцелярии в качестве технического секретаря комиссии... ну, и сам возглавлю, если вы, Аркадий Аркадьевич, не будете возражать, возьму на себя и эту обузу, хе-хе! — Он осторожно взглянул на академика.

Аркадий Аркадьевич рассматривал своего верного ученого секретаря. Доцент был, как всегда, тщательно выбрит и отутюжен, тонкий алый галстук струился по накрахмаленной рубашке, как кровь из перерезанного воротником горла, но почему-то и вид, и хорошо поставленный голос Гарри Харитоновича внушали академику глухое отвращение. «Этот легкий трепет передо мной... эта нарочитая унтер-офицерская придурковатость... Ведь понятен ты, Гарри Харитонович, насквозь понятен! Может, именно потому я и держу его при себе, что он понятен? Потому что от него нельзя ждать ничего неожиданного и великого? Потому что цели его ясны? Когда цели функциональной системы понятны, ее поведение в тысячи раз легче предвидеть, чем когда цели неизвестны, — есть такое положение в системологии... Или мне просто нравится ежедневно осознавать себя в сравнении с

ним? Может быть, именно от этого и возникает одиночество, что окружаем себя людьми, над которыми легко высидеться?»

— И второй пункт насчет прикрытия, так сказать, приостановки работ в лаборатории новых систем на время работы комиссии... Ну а после комиссии уж будет ясно, как нам с этой лабораторией решить дальше: расформировать или придать другому отделу какому-нибудь...

— Работы там прекратились естественным образом, Гарри Харитонович, — невесело усмехнулся Азаров. — Некому там теперь работать. И расформировывать некого... — В памяти снова вырисовался труп Кривошеина с выкаченными глазами и скорбным оскалом. Академик помассировал пальцами виски, вздохнул. — Впрочем, я в принципе принимаю вашу идею о комиссии. Только состав ее следует несколько откорректировать. — Он придвинул к себе листик, раскрыл авто ручку. — Ипполита Илларионовича можно оставить, инженера по технике безопасности тоже, технический секретарь тоже нужен. А прочих не надо. Возглавлю комиссию я сам, возьму, как вы выразились, на себя эту обузу, чтоб вас не утруждать. Хочу как следует разобраться, что делал Кривошеин.

— А... а я? — упавшим голосом спросил ученый секретарь.

— А вы занимайтесь своими обязанностями, Гарри Харитонович.

Хилобок почувствовал себя совсем скверно: страхи оправдывались. «Отстраняет!» Сейчас он боялся и ненавидел мертвого Кривошеина больше, чем живого.

— Вот! Вот, пожалуйста, доработался он, а? — Хилобок пригорюнился, склонил голову к плечу. —хлопот теперь сколько! Ах, Аркадий Аркадьевич, разве я не вижу, как вы переживаете, разве я не понимаю! Но стоит ли вам самим отвлекаться, расстраиваться... Это же по всему городу пойдет, будут говорить, что в Институте системологии у Аза-

рова опять... и что он-де стремится это дело смазать — вы же знаете, какой народ теперь пошел. Ах, этот Кривошеин, этот Валентин Васильевич! Я ли не говорил вам, Аркадий Аркадьевич, я ли не предсказывал, что от него никакой пользы, кроме вреда и неприятностей, не будет! Не надо было вам, Аркадий Аркадьевич, поддерживать его тему...

Азаров слушал, морщился — и чувствовал, как его мозгом овладевает — будто снова возвращалась неврастения — привычное безнадежное оцепенение. Подобная одурь всегда одолевала его при продолжительном разговоре с Хилобок и заставляла его соглашаться с ним. Сейчас же в голове академика вертелась странная мысль, что наибольшего умственного усилия требуют, пожалуй, не математические исследования, а умение противостоять такой болтовне.

«А почему бы мне не выгнать его? — неожиданно пришла в голову еще одна мысль. — Выгнать прочь из института, и все. В конце концов, это унизительно... Да, но за что? Со своими обязанностями он справляется, имеет 18 печатных трудов, десять лет научного стажа, прошел по конкурсу (правда, другой кандидатуры не было) — не к чему придраться! И этот несчастный отзыв я ему дал на диссертацию... Выгнать просто за глупость и бездарность? Ну... это был бы чрезвычайный прецедент в науке».

— Заказы заказывал, материалы и оборудование использовал, отдельное помещение занимал, два года работал — и вот нате вам, пожалуйста! — распалялся от собственных слов Хилобок. — А как он на защите-то... ведь не только меня он осрамил — меня-то что, ладно, но ведь и вас, Аркадий Аркадьевич, вас!.. Вот будь на то моя воля, Аркадий Аркадьевич, я бы этому Кривошеину за то, что он такое сотворил ухитриться... то есть ухитрил сотвориться — тьфу, простите! — сотворить ухитрился... я бы ему за это!.. — Доцент навис над столом, в его карих глазах сиял нестерпимый блеск озарения. — Вот жаль, что у нас принято лишь награждать посмертно, объявления да некрологи вся-

кие, «де мортуис аут бене, аут нихиль», понимаете ли!.. А вот вынести бы Кривошеину выговор посмертно, чтоб другим неповадно было! Да строгий! Да с занесением...

— ...на надгробие. Это мысль! — добавил голос за его спиной. — Ох, и гнида же вы, Хилобок!

Гарри Харитонович распрямился так стремительно, будто ему всадили заряд соли пониже спины. Азаров поднял голову: в дверях стоял Кривошеин.

— Здравствуйте, Аркадий Аркадьевич, извините, что я без доклада. Разрешите войти?

— Здр... здравствуйте, Валентин Васильевич! — Азаров поднялся из-за стола. У него вдруг сумасшедше заколотилось сердце. — Здравствуйте... уфф, значит, вы не... рад вас видеть в добром здравии! Проходите, пожалуйста!

Кривошеин пожал мужественно протянутую академиком руку (тот с облегчением отметил, что рука была теплая), повернулся к Хилобоку. У Гарри беззвучно открылся и закрылся рот.

— Гарри Харитонович, не оставите ли вы нас одних? Вы меня премного обяжете.

— Да, Гарри Харитонович, идите, — подтвердил Азаров.

Хилобок попятился к выходу, звучно стукнулся затылком о стену, нашарил рукой дверь и выскочил прочь.

Опомнившись от неожиданности, Аркадий Аркадьевич сделал глубокий вдох и выдох, чтобы успокоить сердце, сел в директорское место и почувствовал раздражение. «Выходит, я оказался жертвой какого-то розыгрыша?!»

— Не будете ли вы столь любезны, Валентин Васильевич, объяснить мне, что все это значит?! Что это за история с вашим, простите, трупом, скелетом и прочим?

— Ничего криминального, Аркадий Аркадьевич. Вы разрешите? — Кривошеин опустился в кожаное кресло возле стола. — Самоорганизующаяся машина, об идее которой я докладывал на ученом совете прошлым летом, действитель-

но смогла развиваться... и развилась до стадии, на которой попыталась создать человека. Меня. Ну и, как водится, первый блин комом.

— Да, но почему я ничего об этом не знал?! — вне себя спросил Азаров, вспомнив о позавчерашнем унижительном разговоре со следователем и о прочих переживаниях этих дней. — Почему?

Кривошеина охватило бешенство.

— Черт побери! — Он яростно подался вперед, стукнул кулаком по мягкому валику кресла. — А почему вы не спросите, как мы это сделали? Как нам удалось такое? Почему вас в первую очередь занимает личный престиж, субординация, отношение других к вашему директорскому «я»?

Сообщение Кривошеина сначала дошло до Азарова в самом общем виде: получен некий результат. Мало ли о каких результатах сообщали ему заведующие отделами и лабораториями, сидя вот так же напротив в кожаном кресле! И только с изрядной задержкой Аркадий Аркадьевич начал постигать, какой это результат. Мир пошатнулся и на минуту стал нереальным. «Не может быть! Да нет, в том-то и дело, что может... Тогда все сходится и становится объяснимым».

Академик заговорил другим тоном.

— Безусловно, это... это грандиозно. Приношу свои поздравления, Валентин Васильевич. И... извинения. Я погорячился, вышло неловко. Тысяча извинений! Это действительно очень большое... э-э... изобретение, хотя идеи о передаче и синтезе информации, заложенной в человеке, высказывались еще покойным Норбертом Винером. (Кривошеин усмехнулся.) Впрочем, это, разумеется, не умаляет... Я помню вашу идею, видел позавчера в лаборатории некоторые... э-э... результаты работ. Поскольку я сам в определенной мере причастен к системологии (Кривошеин снова усмехнулся), то, следовательно, достаточно подготовлен, чтобы

принять то, что вы сказали. Разумеется, я от души поздравляю вас! Но согласитесь, Валентин Васильевич, что это счастливое для науки событие могло бы носить менее озадачивающий и даже в известной мере скандальный характер, если бы вы в течение последнего года работы держали меня в курсе дела.

— К вам трудно попасть на прием, Аркадий Аркадьевич.

— Гм... позвольте все же не считать ваш довод основным, Валентин Васильевич! — Азаров нахмурил брови. — Я допускаю, что вас унижает процедура приема (хотя все сотрудники института проходят через нее, да и мне самому приходится подвергаться ей в различных инстанциях). Но вы могли мне позвонить, оставить записку (не обязательно докладную, по установленной форме), посетить меня на квартире, наконец!

Аркадий Аркадьевич все-таки не мог подавить в себе оскорбленности. «Вот так... работаешь, работаешь!» — вертелось у него в голове. С давней поры, с тех времен, когда его неудачный опыт с гелием в руках другого исследователя обернулся открытием сверхтекучести, Аркадий Аркадьевич таил в себе надежду увидеть, найти и понять новое в природе, в мире. Он мечтал об открытии сладостно и боязливо, как мальчишка о потере невинности. Но не везло. Другим везло, а ему нет! Была квалифицированная, нужная, отмеченная многими премиями и званиями работа, но не было открытия — вершины познания.

И вот во вверенном ему институте сделалось без него и прошло мимо него огромное открытие, по сравнению с которым и его деятельность, и деятельность всего института кажется пигмейской! Обошлись без него: Более того: похоже, что его избегали. «Как же так? Что он — считал меня непорядочным человеком? Чем я дал повод так думать о себе?» Давно академику Азарову не приходилось испытывать таких сильных чувств, как сейчас.

— М-да... Разделяя вашу радость по поводу открытия, Валентин Васильевич, — продолжал академик, — я тем не менее озадачен и огорчен таким отношением. Возможно, это шокирующе звучит, но меня этот вопрос занимает не как ученого и не как вашего директора, а как человека: почему же так? Ведь вы не могли не понимать, что моя осведомленность о вашей работе не повредила бы, а только помогла бы вам: вы были бы обеспечены надежным руководством, консультациями. Если бы я счел, что требуется усилить вашу тему работниками или снабжением, то было бы сделано и это. Так почему же, Валентин Васильевич? Я, конечно, не допускаю мысли, что вы опасались за свои авторские права...

— И тем не менее не удержались, чтобы не высказать такую мысль, — грустно усмехнулся Кривошеин. — Ну ладно. В общем-то хорошо, что вас данный факт занимает прежде всего как человека, это обнадеживает... Одно время мы колебались, рассказать вам о работе или нет, пытались встретиться с вами. Контакт не получился. А потом рассудили, что пока, на этапе поиска, так будет лучше. — Он поднял голову, посмотрел на Азарова. — Мы не очень верили в вас, Аркадий Аркадьевич. Почему? Да хотя бы потому, что вот и сейчас вы перво-наперво попытались, не узнав сути дела, поставить открытие и его авторов на место: Винер высказывал... Да при чем здесь винеровская «телевизионная» идея — у нас все по-другому! Какие уж тут были бы консультации: вам, академику, да показать свое незнание перед подчиненными инженерами... И еще потому, что вы, прекрасно понимая, что ценность исследователя не определяется ни его степенью, ни званием, тем не менее никогда не отваживались ущемить «остепененных», их неотъемлемые «права» на руководство, на вакансию, на непогрешимость суждений. Думаете, я не знал с самого начала, какая роль мне была отведена в создании новой лаборатории? Думаете, не повлияло на этот последний опыт ваше предупреждение мне



после скандала с Хилобоком? Повлияло. Поэтому и с работой спешил, на риск шел... Думаете, не влияет на отношение к вам то обстоятельство, что в нашем институте заказы для выставок и различных показух всегда оттесняют то, что необходимо для исследований?

— Простите, но это уж мелко, Валентин Васильевич! — раздраженно поморщился Азаров.

— И по такой мелочи приходилось судить о вас, другого-то не было. Или по той «мелочи», что такая... такой... ну, словом, Хилобок благодаря вашему попустительству или поддержке, как угодно, задает тон в институте. Конечно, рядом с Гарри Хилобоком можно чувствовать свое интеллектуальное превосходство даже в бане!

В лицо Азарову бросилась краска: одно дело, когда что-то понимаешь ты сам, другое дело, когда об этом тебе говорят подчиненные. Кривошеин заметил, что перехватил, умерил тон.

— Поймите меня правильно, Аркадий Аркадьевич. Мы хотели бы, чтобы вы участвовали в нашей работе — именно поэтому, а не в обиду вам я и говорю все начистоту. Мы многого еще не понимаем в этом открытии: человек — сложная система, а машина, делающая его, еще сложнее. Здесь хватит дел для тысячи исследователей. И это наша мечта — окружить работу умными, знающими, талантливыми людьми... Но, понимаете, в этой работе мало быть просто ученым.

— Хочу надеяться, что вы все-таки более подробно ознакомите меня с содержанием вашей работы. — Азаров постепенно овладевал собой, к нему вернулось чувство юмора и превосходства. — Возможно, что я вам все-таки пригожусь — и как ученый и как человек.

— Дай-то бог! Познакомим, вероятно... не я один это решаю, но познакомим. Вы нам нужны.

— Валентин Васильевич, — академик поднял плечи, — простите, не намереваетесь ли вы решать вопрос, допускать

или не допускать *меня* к вашей работе, совместно с вашим практикантом-лаборантом?! Насколько я знаю, больше никого в вашей лаборатории нет.

— Да, и с ним... О господи! — Кривошеин выразительно вздохнул. — Вы готовы принять, что машина может делать человека, но допустить, что в этом деле лаборант может значить больше вас... выше ваших сил! Между прочим, Михаил Фарадей тоже был лаборантом, а вот у кого он работал лаборантом, сейчас уже никто не помнит... Все-таки подготовьте себя к тому, Аркадий Аркадьевич, что когда вы придете в нашу работу — а я надеюсь, что вы придете! — то не будет этого академического «вы наши отцы, мы ваши дети». Будем работать — и все. Никто из нас не гений, но никто и не Хилобок...

Он взглянул на Азарова — и осекся, пораженный: академик улыбался! Улыбался не так фотогенично, как фотокорреспондентам, и не так тонко, как при хорошо рассчитанной на успех слушателей реплике на ученом совете или на семинаре, а просто и широко. Это выглядело не весьма красиво от обилия возникших на лице Аркадия Аркадьевича морщин, но очень мило.

— Послушайте, — сказал Азаров, — вы устроили мне такую встрепку, что я... ну да ладно\*. Я ужасно рад, что вы живы!

— Я тоже, — только и нашелся сказать Кривошеин.

— А как теперь быть с милицией?

— Думаю, что мне удастся и их... ну, если не обрадовать, то хотя бы успокоить.

Кривошеин простился и ушел. Аркадий Аркадьевич долго сидел, барабанил по стеклу стола пальцами.

— Н-да... — сказал он.

И больше ничего не сказал.

---

\* Читателя просят помнить, что перед ним научно-фантастическое произведение. — *Примеч. автора.*

\* \* \*

«Что еще нужно учесть? — припоминал Кривошеин, шагая к остановке троллейбуса. — Ага, вот это!»

«...30 мая. Интересно все-таки прикинуть: я шел на обычной прогулочной скорости — 60 километров в час; этот идиллический в салатном «Москвиче» пересекал автостраду — значит, его скорость относительно шоссе равна нулю. Да и поперечная скорость «москвича», надо сказать, мало отличалась от нуля, будто на тракторе ехал... Кто таких ослов пускает за руль? Если уж пересекаешь шоссе с нарушением правил, то хоть делай это быстро! А он... то рванется на метр, то затормозит. Когда я понял, что «Москвич» меня не пропускает, то не успел даже нажать тормоз.

...Кравец Виктор, который ездил на 18-й километр за останками мотоцикла, до сих пор крутит головой:

— Счастливо отделался, просто на удивление! Если бы ты шел на семидесяти, то из останков «Явы» я сейчас бы соорудил памятник, а на номерном знаке, глотая слезы, выводил: «Здесь лежит Кривошеин — инженер и мотоциклист».

Да, но если бы я шел на семидесяти, то не врезался бы! Интересно, как произвольные обстоятельства фокусируются в фатальный инцидент. Не остановись я в лесу покурить, послушать кукушку («Кукушка, кукушка, сколько лет мне жить?» — она накуковала лет пятьдесят), пройди я один-два поворота с чуть большей или чуть меньшей скоростью — и мы разминулись бы, умчались по своим делам. А так — на ровной дороге при отличной видимости — я врезался в единственную машину, что оказалась на моем пути!

Единственное, что я успел подумать, перелетая через мотоцикл: «Кукушка, кукушка, сколько лет мне жить?»

Поднялся я сам. У «Москвича» был выгнут салатный бок. Перепуганный водитель утирал кровь с небритой физиономии: я выбил локтем стекло кабины — так ему и надо, болвану! Моя бедная «Ява» валялась на асфальте. Она сразу стала

как-то короче. Фара, переднее колесо, вилка, трубка рамы, бак — все было разбито, сплюснuto, исковеркано.

...Итак, начальную скорость 17 метров в секунду я погасил на отрезке пути менее метра. При этом мое тело испытало перегрузку... 15 земных ускорений! Ого! Нет, какая все же отличная машина — человек! Мое тело меньше чем за десятую долю секунды успело извернуться и собраться так, чтобы встретить удар выгоднейшим образом: локтем и плечом. А Валерка доказывал, что человек не соответствует технике. Это еще не факт! Ведь если перевести на человеческие термины повреждения мотоцикла, то у него раздроблена «голова», переломаны «передние конечности», «грудная клетка» и «позвоночный столб». Хорошая была машина, сама на скорость просилась...

Правда, мое правое плечо и грудь испытали, видимо, большую перегрузку. Правую руку трудно поднять. Наверное, треснули ребра.

Ну вот, все одно к одному: Теперь есть что исправлять в жидкой схеме «машины-матки» — и не внешнее, а внутри тела. В этом смысле «Москвич» подвернулся кстати. Сработает на науку...»

## Глава пятая

— *Выпишите пропуск на вынос трупа.*

— *А где же труп?*

— *Сейчас будет. (Стреляется.)*

— *Привет! А кто же будет выносить?*

Из сингапурской легенды

Милиционер Гаевой сидел в дежурке и, изнемогая от чувств, писал письмо на бумаге для объяснений. «Здравствуй-

те, Валя! Это пишет вам Гаевой Александр. Не знаю, помните вы меня или не совсем, а я так не могу позабыть, как вы смотрели на меня около танцплощадки при помощи ваших черных и красивых глаз, а луна была большая и концентрическая. Дорогая Валя! Приходите завтра вечером в парк имени тов. Т. Шевченко, я там дежурю до 24.00...»

Вошел Онисимов, брови у него были строго сведены. Гаевой вскочил, загрохотав стулом, покраснел.

— Подследственный Кравец доставлен?

— Так точно, товарищ капитан! Доставлен в полдесятого согласно вашему распоряжению, находится в камере задержаний.

— Проводите.

Виктор Кравец сидел в маленькой комнате с высоким потолком на скамье со спинкой, курил сигарету, пускал дым в пучок солнечного света от зарешеченного окна. Щеки его были в трехдневной щетине. Он скосил глаза в сторону вошедших, но не повернулся.

— Надо бы вам встать, как положено, — укоризненно заметил Гаевой.

— А я себя арестантом не считаю!

— Да вы и не арестант, гражданин Кравец Виктор Витальевич, — спокойно сказал Онисимов. — Вы были задержаны для выяснения. Теперь ситуация вырисовывается, и я не считаю необходимостью ваше дальнейшее пребывание под стражей. Понадобится — вызовем. Так что вы свободны.

Кравец встал, недоверчиво глядя на следователя. Тот, в свою очередь, окинул его скептическим взглядом. Узкие губы Онисимова дернулись в короткой усмешке.

— Прямой лоб, четкий подбородок, правильной формы нос... одним словом, темные локоны обрамляли его красивую круглую арбузообразную голову. У Кривошеина-оригинала были довольно провинциальные представления о мужской красоте. Впрочем, оно и понятно. (У Кравца расширились глаза.) А где мотоцикл?

— К-какой мотоцикл?

— «Ява», номерной знак 21—11 ДНА. В ремонте?

— В... в сарае.

— Понятно. Между прочим, телеграмму, — глаза Онисимова зло сузились, — телеграмму до опыта следовало давать! До, а не после!

Кравец стоял ни жив ни мертв.

— Ладно. Документы вам вернем несколько позже, — продолжал следователь официальным голосом. — Всего вам хорошего, гражданин Кравец. Не забывайте нас. Проводите его, товарищ Гаевой.

Матвей Аполлонович после плохо проведенной ночи пришел на работу с головной болью. Сейчас он сидел за столом в своей комнате, составлял план действий на сегодня. «1. Отправить жидкость на дополнительную экспертизу на предмет обнаружения нерастворившихся остатков тканей человеческого тела. 2. Связаться с органами госбезопасности (через Алексея Игнатьевича). 3...»

— Разрешите войти? — мягко произнес голос, от которого Онисимова продрал мороз по коже. — Доброе утро.

В дверях стоял Кривошеин.

— Меня верно направил дежурный? Вы и есть следователь Онисимов, который занимается происшествием в моей лаборатории? Очень приятно, разрешите? — Он сел на стул, вытащил платок, отер блестящее от пота лицо. — Утро, а уже такая жара, скажите на милость!

Следователь сидел в оцепенении.

— Стало быть, я — Кривошеин Валентин Васильевич, заведующий лабораторией новых систем в Институте системологии, — невозмутимо объяснил посетитель. — Мне, понимаете ли, только сегодня дали знать, что вы... что органы милиции интересуются этим досадным происшествием, и я сразу же поспешил сюда. Я бы, разумеется, еще вчера или даже позавчера представил вам исчерпывающие объясне-

ния, но... (пожатие плеч) мне и в голову не приходило, что вокруг одного неудачного опыта разгорится этакий, простите, сыр-бор с привлечением милиции! Вот я и отлеживался в квартире, будучи после эксперимента несколько не в себе. Видите ли, товарищ Онисимов... простите, как вас зовут?

— Аполлон Матве... то есть Матвей Аполлонович, — сиплым голосом молвил Онисимов и прокашлялся.

— Видите ли, Матвей Аполлонович, получилось так: в процессе эксперимента мне пришлось погрузиться в бак с биологической информационной средой. К сожалению, бак был укреплен непрочно и опрокинулся. Я упал вместе с ним, ударился головой об пол, потерял сознание. Боюсь, что бак при падении задел и моего лаборанта — он, помнится, в последний миг пытался удержать... Я пришел в себя под клеенкой на полу. Услышал, что в лаборатории разговаривают люди... — Кривошеин очаровательно улыбнулся. — Согласитесь, Матвей Аполлонович, мне было бы крайне неловко в своей лаборатории предстать перед посторонними в таком, мягко говоря, шокирующем виде — голым, с разбитой головой. К тому же эта жидкость... она, знаете, щиплется злее мыльной пены! Поэтому я потихоньку выбрался из-под клеенки, юркнул, простите, в душевую — обмыться, переодеться... Должен признаться, что в голове у меня гудело, мысли путались. Я вряд ли даже отдавал себе отчет в своих действиях. Не помню, сколь долго я находился в душевой, — помню лишь, что, когда я вышел из нее, в лаборатории никого не было.

И я ушел к себе домой — отлеживаться... Вот в общих чертах все. Если угодно, я могу дать вам письменное объяснение, и покончим с этим.

— Так, понятно... — Онисимов постепенно овладевал собой. — А какими же такими опытами вы занимались в лаборатории?

— Видите ли... я веду исследования по биохимии высших соединений в системологическом аспекте с привлечением

полиморфного антропологизма, — безмятежно возвел брови Кривошеин. — Или по системологии высших систем в биохимическом аспекте с привлечением антропологического полиморфизма, как вам будет угодно.

— Понятно... А скелет откуда взялся? — Матвей Аполлонович покосился на ящик, который стоял на краю его стола. «Ну, погоди!»

— Скелет? Ах да, скелет! — Кривошеин улыбнулся. — Видите ли, этот скелет мы держим в лаборатории в качестве, так сказать, учебно-наглядного пособия. Он всегда лежит в том же углу, куда положили меня, пока я был без сознания...

— А что вы на это скажете?! — И Матвей Аполлонович быстрым движением снял ящик, под которым стоял слепок головы Кривошеина. Светло-серые пластилиновые бельма в упор смотрели на посетителя — у того мгновенно посерело и обмякло лицо. — Узнаете?

Аспирант Кривошеин опустил голову. Только теперь он окончательно убедился в том, о чем догадывался, но с чем до последнего момента не хотел смириться: Валька погиб во время эксперимента.

— Не сходятся у вас концы с концами, гражданин... не знаю, как вас и кто вы! — Онисимов, тшечно сдерживая ликование, откинулся на стуле. — Вы вчера меня это... мистифицировали, но сегодня не выйдет! Вот сейчас я вам устрою очную ставочку с вашим сообщником Кравцом, что вы тогда мне покажете?!

Он потянулся к телефону. Но Кривошеин тяжело положил руку на трубку.

— Да вы что, позволь... — воинственно вскинул голову Онисимов — и осекся: напротив него сидел... он сам. Широкоскулое лицо с узкими губами и острым подбородком, тонкий нос, морщины вокруг рта и у маленьких, близко посаженных глаз. Только теперь Матвей Аполлонович обра-



тил внимание на синий, как у него самого, костюм собеседника, на рубашку с вышитым украинскими узорами воротником.

— Не дурите, Онисимов! Это будет не та ставка — вы просто поставите себя в неловкое положение. Не далее как двадцать минут назад следователь Онисимов отпустил на свободу подследственного Кравца из-за отсутствия улик.

— Так, значит... — Онисимов заворуженно смотрел, как лицо Кривошеина расслабилось и постепенно приобретало прежние очертания; от щек отливала кровь. У него перехватило дыхание. Во многих переделках приходилось бывать Матвею Аполлоновичу за время работы в милиции: и он стрелял, и в него стреляли — но никогда ему не было так страшно, как сейчас. — Так вы... это вы?!

— Именно: я — это я. — Кривошеин поднялся, подошел вплотную к столу. Онисимов поежился под его злым взглядом. — Послушайте, кончайте вы эту возню! Все живы, все на местах — чего вам еще надо? Никакими слепками, никакими скелетами вы не докажете, что Кривошеин умер. Вот он, Кривошеин, стоит перед вами! Ничего не случилось, понимаете? Просто работа такая.

— Но... как же так? — пролепетал Матвей Аполлонович. — Может, вы все-таки объясните?

Кривошеин досадливо скривился.

— Ах, Матвей Аполлонович, ну что я вам объясню! Вы всю технику сыска применяли: телевидеофоны, дактилоскопию, химические анализы, восстановление облика по Герасимову — и все равно... даже такую личность, как Хилобок, не смогли раскусить. Тут уж, как говорится, все ясно. Преступления не было, за это можете быть спокойны.

— Но ведь... с меня спросят. Мне ведь отчитываться по делу, отвечать... Как же теперь?

— Вот это деловой разговор. — Кривошеин снова уселся на стул. — Сейчас объясню как. Запоминайте относительно сходства скелета со мной. Этот скелет — семейная реликвия.

Мой дед со стороны матери, Андрей Степанович Котляр, известный в свое время биолог, завещал не хоронить его, а препарировать и передать скелет тем потомкам, которые пойдут по научной линии. Причуда старого ученого, понимаете? И еще: на скелете вы, видимо, обнаружили переломы ребер с правой стороны, что, понятное дело, вызывает сомнения... Так вот: дед погиб в дорожной катастрофе. Старик обожал гонять на мотоцикле с недозволенной скоростью. Теперь понятно?

— Понятно, — быстро кивнул Онисимов.

— Так-то оно лучше. Я надеюсь, что эта... семейная реликвия по закрытии дела будет возвращена ее владельцу. Равно как и прочие «улики», взятые из лаборатории. Придет время, Матвей Аполлонович, — голос Кривошеина зазвучал задумчиво, — придет время, когда эта голова будет красоваться не у вас на столе — на памятнике... Ну, мне пора. Надеюсь, я вам все объяснил. Возвратите мне, будьте добры, документы Кравца. Благодарю вас. Да, еще: старшина, коего вы любезно поставили охранять лабораторию, просит смены. Отпустите его, пожалуйста, сами... Всего доброго!

Кривошеин сунул документы в карман, направился к двери. Но по дороге его осенила мысль.

— Послушайте, Матвей Аполлонович, — сказал он, вернувшись к столу, — не обижайтесь, ради бога, на то, что я вам предложу, но не хотите ли поумнеть? Станете соображать быстро, мыслить широко и глубоко. Будете видеть не только улики, но вникать в суть вещей и явлений, понимать саму душу человеческую! И станут вашу голову посещать замечательные идеи — такие, что щеки будут холодеть от восторга перед ними... Понимаете, жизнь сложна, а дальше будет еще сложнее. Единственный способ оказаться в ней на высоте человеческого положения — это разбираться во всем. Другого пути нет... И это возможно, Матвей Аполлонович! Хотите? Могу устроить.

Лицо Онисимова дернулось от обиды, стало наливаясь кровью.

— Насмехаетесь... — тяжело выговорил он. — Мало вам того, что вы... так еще и насмехаетесь. Идите себе, гражданин!

Кривошеин пожал плечами, повернул к двери.

— Постойте!

— Что еще?

— Погодите минуту, гражданин... Кривошеин. Ну ладно: я не понимаю. Может, у вас действительно наука такая... И версию вашу я принимаю — ничего мне другого не остается. Можете думать обо мне как хотите, ваше дело... — Матвей Аполлонович никак не мог справиться с обидой. Кривошеин морщился: зачем он это говорит? — Но если без версий: ведь человек погиб! Кто-то же виноват?

Аспирант внимательно взглянул на него.

— Все понемногу, Матвей Аполлонович. И он сам, и я, и Азаров, и другие... и даже вы чуть-чуть, хоть вы его никогда не знали: например, тем, что, не разобравшись, профессионально подозревали людей. А криминально, чтоб по Уголовному Кодексу, — никто. Так тоже бывает.

— Кажется, и с этим вопросом все, — облегченно сказал себе аспирант, садясь в троллейбус.

«Завтра опыт. Собственно, даже не завтра — сегодня ночью, через семь-восемь часов. Перед серьезным делом мне всегда не хочется спать, а выспаться надо. Поэтому я ходил и ездил сегодня по городу часа четыре, чтобы устать и отвлечься. Где я только не побывал: в центре, на окраинах, в парках, около автовокзала — рассматривал людей, дома, деревья, животных. Принимал парад Жизни.

...Проковылял по жаре навстречу мне иссохший старик с желтыми от времени усами и красным морщинистым лицом. На серой сатиновой рубашке болтались, позвякивали на ходу

три Георгиевских креста и медаль на полосатых бантах. Старик остановился в короткой тени липы перевести дух.

Да, дед, и мы когда-то были! Много ты жил-пережил, а, видать, еще хочешь: ишь вышел покрасоваться — георгиевский кавалер! Налить бы тебе силой мышцы, прояснить хрусталики глаз, очистить от склероза и маразма мозг, освежить нервы — ты бы показал кузькину мать нам, молодым из века спутников!

...Плетутся мальчишки, обсуждая кино.

— А он в него — тррах! — из атомного пистолета!

— А они: та-та-та... тах-тах!

— Почему из атомного?

— А из какого еще? На Венере — и обыкновенный пистолет?!

...Кошка смотрит на меня тревожными глазами. Почему у кошек такие тревожные глаза? Они что-то знают? Знают, да не скажут... «Брысь, треклятая!» — сгнула в подворотне.

...Осанисто прошагал навстречу парень с низким лбом под серым ежиком: брюки обрисовывают сильные икры и бедра, тенниску распирает развитая грудь. И по лицу парня понятно, что он на все проблемы жизни может ответить прямым справа в челюсть либо броском через голову.

А вот мы всем сработаем такие мышцы, всем введем информацию насчет бокса и самбо — как тогда будет насчет прямого правой?

...В парке Шевченко мимо меня прошли, держась за руки и никого не замечая, парень и девушка. Вам нет нужды в нашем открытии, влюбленные. Вы хороши друг для друга и так. Ни пуха ни пера вам! Но... всяко бывает в жизни. И вашу любовь подстерегают опасности: быт, непонимание, благо-разумие, родственники, пресыщение — да мало ли! Одолеете сами — честь и хвала вам. А нет — наведайтесь: отремонтируем вашу любовь, починим лучше телевизора. Как новенькая будет — ну, как в тот день, когда вы впервые увидели друг друга в очереди к кассе кинотеатра.

...А какая дама встретила<sup>сь</sup> мне около универмага на проспекте! Сверхпышное тело втиснуто в парчовое платье, золотая брошь, ожерелье из поддельного янтаря, пятна пота около подмышек и на спине величиной с тарелки! Голубая парча переливается на ходу всеми оттенками штормового моря.

Фи, мадам! Разве можно в такую жару втискиваться в парчу, это ведь не Георгиевские кресты! Вас, видимо, не любит муж, мадам, да? Он с ужасом смотрит на ваши руки толщиной с его ногу, на этот жировой горб на спине... Вы несчастны, мадам, мне вас не жаль, но я понимаю. Муж не любит, дети не ценят, врачи не сочувствуют, а соседи... о, эти соседи! Ладно, мадам, придумаем что-нибудь и для вас. В конце концов, и вы имеете право на дополнительную порцию счастья в порядке живой очереди. Но, кстати, о счастье, мадам: ваш вкус настораживает. Нет, нет, я понимаю: вы влезли в эту неудобную парчу, нацепили серьги, золотую брошь и ожерелье, которое вам не идет, унижали пальцы толстыми кольцами, чтобы доказать, что вы не хуже других, что у вас все есть... Но, простите меня, мадам, ни черта у вас нет. И, как хотите, придется исправлять вам не только тело, но и вкус, а заодно и ум и чувства. За те же деньги, мадам, не пугайтесь. А иначе не расчет, мадам: расстрясете вы вновь обретенную красу и свежесть по ресторанам и вечеринкам, разменяете на любовников... стоит ли стараться? Истинная красота, мадам, — это гармония тела, ума и духа.

Две красивые девушки прошли и не взглянули на меня. Что им на меня глядеть! Небо чистое. Солнце высоко. Экзамены позади. И этим троллейбусом можно доехать до пляжа.

...Пацан, которого не пустили гулять, приплюснул нос к оконному стеклу. Поймал мой взгляд, скорчил рожу. Я тоже скорчил ему рожу. Тогда он устроил целую пантомиму...

Я люблю жизнь, я очень люблю жизнь! Не надо мне лучше, пусть будет какая есть, только бы... Что только бы? Что? Ух ты!..

Вот то-то и есть, что надо лучше. Очень многое неладно в мире. И я пойду. Я не продал, люди. Много можно будет этим способом сделать: прибавить людям красоты и ума, ввести в них новые способности, даже новые свойства. Скажем, сделать так, что человек станет обладать радиочувством, будет видеть в темноте, слышать ультразвуки, ощущать магнитное поле, испускать радиосигналы, отсчитывать без хронометра время с точностью долей секунды и даже угадывать мысли на расстоянии — хотите? Впрочем, все это, наверное, не главное.

А главное то, что я пойду. И еще кто-то пойдет, если выйдет не так. И еще... Вот так оно все и будет!»

— Никто не погиб, какого черта! — трясясь в троллейбусе, шептал аспирант Кривошеин непослушными губами. — Никто не умер...

«...Я иду, Жизнь! Спасибо тебе, судьба, или как там тебя, за все, что было со мной. Страшно подумать, что я мог остановиться на малом и остаться стригущим купоны заурядом! Пусть и дальше будет в моей жизни и тяжелое, и страшное, и передряги, и страдания — только пусть не будет в ней мелкости. Пусть никогда я не унижусь до драки за благополучие, за успех, до дрожи за свою шкуру в серьезном деле!

Время к ночи, а спать все не хочется и не хочется. Глупое это занятие: спать. От него, наверное, тоже можно избавиться. Говорят, в Югославии есть один чудак, который не спит уже лет тридцать — и свеж.

«Полночь в Мадриде. Спите спокойно! Уважайте короля и королеву! И пусть дьявол никогда не встает на вашем пути...» В те времена меня бы на костер — и все! Не спите

спокойно, люди! Не уважайте ни короля, ни королеву! И пусть дьявол встает на вашем пути — ничего страшного.

В юном возрасте я мечтал (о чем я только не мечтал!), когда придется идти на серьезное, рискованное дело, поговорить напоследок с отцом. Не было у меня серьезных дел, не дождался батя. Что ж, попробуем сейчас.

— Ну вот, батя, завтра мне стоять на бруствере. Страшно было стоять-то?

— Да как тебе сказать? Страшновато, конечно... До немецких окопов метров четыреста, мишень я видная. Братание еще не вошло в полную силу, постреливали. Пару раз и по мне стрельнули — у немцев тоже народ был всякий. Но не попали. Может, только испугать хотели.

— А что это за мера такая странная: стоять на бруствере?

— Временное правительство ввело. Специально для тех, кто агитировал кончать империалистическую войну. «Ах, они тебе братья-рабочие и братья-крестьяне?! Посмотрим, как они по тебе будут пулять». И — на два часа. А иных и на четыре. Бывало, что от страха и с ума сходили.

— Остроумно, ничего не скажешь... (Батя, а ты знал... ну, что я не верил тебе?)

— Знал, сынок... Ничего. Время было такое дурное. Я сам себе не всегда верил... А ты что затеял-то?

— Опыт по управлению информацией в своем организме. В конечном счете должен получиться способ анализа и синтеза человеком своего организма, психики, памяти... понимаешь?

— Вечно ты, Валька, мудрено говоришь. Не усваиваю я вашу науку. Когда-то пулемет с завязанными глазами собирал и разбирал. А это не улавливаю... что это даст?

— Ну... вот ты воевал за всеобщее равенство, верно? Первая стадия этого замысла выполняется: устраняется неравенство между богатым и бедным, между сильным и слабым. Общество предоставляет теперь равные возможности для всех.

Но, помимо неравенства, заложенного в обществе, есть неравенство, заложенное в самих людях. Бездарный человек не равен талантливому. Некрасивый не равен красивому. Больной и калека не равны здоровому... А если с этим способом выйдет, каждый человек сможет сделать себя таким, каким захочет: умным, красивым, молодым, честным...

— Молодым, умным, красивым — это ясно. Все захотят. А вот честным — тяжело. Это труднее всего — быть честным.

— Но если человек точно знает: эта информация прибавит ему подлости и изворотливости, а эта — честности и прямоты, не станет же он колебаться, что выбрать?!

— Да как сказать... Есть люди, которым важно казаться перед другими честными, а там можно хоть воровать — лишь бы не попадаться. Такие выберут изворотливость.

— Знаю... Не надо о них сейчас, батя. Завтра опыт.

— И непременно тебе идти? Смотри, сынок...

— А кому же еще, как не мне! Скажи, ты мог бы спрыгнуть с бруствера в окоп?

— Внизу два офицера стерегли. Сразу кончили бы.

— А упросить их нельзя было?

— Отчего же? Сказать, что не буду больше агитировать, что выхожу из большевиков, за милую душу отпустили бы.

— Почему же ты не сказал?

— Чтоб я — им? И не думал я об этом. О другом думал: если меня подстрелят — братанию на нашем участке конец.

— А почему ты об этом думал? Так уж очень любил людей, да? Но ведь ты и убивал людей — и до этого и после.

— И я убивал, и меня убивали — время было такое.

— Так почему?

— Гордый был, наверное, поэтому. Очень я был гордый тогда. Думал, что стою против всей войны.

— Вот и я, батя, теперь такой гордый.

— Конечно, попал на брустер — стоять надо гордо. Это верно. Только ты свое дело с тем брустером не равняй, сынок. Я ведь двух часов не достоял: солдатский комитет



поднял батальон по тревоге, офицерики кончили — и все... А у тебя есть кого поднимать по тревоге?

На этот вопрос мне нечего ответить — и выдуманный разговор кончается. Ну, хватит — спать! Кукушка, кукушка, сколько лет мне жить?»

## Глава шестая

*— Там прибыли с Земли, ваше совершенство.*

*— С Зем-ли? Зем-ля, Земля, гм...*

*— Это та самая планета, на которой сочинена «Летучая мышь», ваше совершенство.*

*— А! Трям-тири-тири, трям-тири-рири, трям-пам-пам-пам! Прелестная вещица. Ну, примите их по третьему разряду.*

Разговор во Вселенной

Аспирант Кривошеин поднялся на пятый этаж, вошел в квартиру. Виктор Кравец и дубль Адам курили на балконе; заметив его, вернулись в комнату. Кривошеин невесело оглядел их.

— Трое из одного стручка. А было четверо... — Он посмотрел на часы: время еще есть, сел. — Расскажи, Кравец Виктор, что там у вас получилось?

Тот закурил новую сигарету, начал рассказывать глухим голосом.

...Программа опыта была такая: погрузиться в жидкость по шею — проконтролировать ощущения — надеть «шапку Мономаха» — снова проконтролировать ощущения — дать «команду неудовлетворенности» («Не то») — войти во взаимопроницающий контакт с жидкой схемой — достигнуть стадии управляемой прозрачности — срastить поломанные ребра —

использовать этот «импульс удовлетворенности» для команды «То» — восстановить непрозрачность — выйти из контакта с жидкой схемой — покинуть бак. Вся эта методика была не один десяток раз опробована и отработана Кривошеиным и Кравцом на погружении конечностей. Взаимное проникновение жидкости и тела можно было легко контролировать и регулировать.

— Понимаете, ребята, оказывается, внутри нашего тела всегда есть какие-то менее здоровые места, мелкие неисправности, что ли, ну, все равно как на коже, даже на здоровой, кое-где бывают прыщики, царапины, натертости, местные воспаления. Я не знаю, какого рода внутренние «царапины», только после работы в жидкости всегда ощущаешь свою руку или ногу более здоровой и сильной. Жидкая схема исправляет эти мелкие изъяны. И каждое такое исправление можно узнать: зудение в этом месте сначала усиливается, потом резко ослабевает. И если после такого ослабления дать «команду удовлетворенности» («То»), машина выводит жидкую схему из контакта с телом, рука или нога становится непрозрачной... Я это к тому, что по методике входа в контакт и выхода из контакта с жидкой схемой у нас не было никаких вопросов...

— Пока погружали только десять — пятнадцать процентов тела, — вставил Кривошеин.

— Да... В том, что человеческое тело в жидкости на стадии управляемой прозрачности сохраняет упругость мышц, у нас тоже не было сомнений. Сколько раз мы устраивали «борьбу» в жидкости: его рука (прозрачная) с моей непрозрачной, либо правая на левую, когда обе прозрачные. То есть жидкая схема полностью поддерживает жизнеспособность тела...

— Части тела, — снова придиричиво поправил Кривошеин.

— Возможно, в этом все и дело, — вздохнул Кравец.

...Конечно, было страшно. Одно дело окунуть в жидкость руку или ногу — можно выдернуть, почувствовав опасность.

В крайнем случае останешься без руки. И совсем другое — самому погрузиться в бак, отдаться на волю сложной и, что ни говори, загадочной среды, от которой не отбиться, не убежать.

Они таили друг от друга этот страх. Кривошеин — потому что это был страх за себя. Кравец — чтобы понапрасну не пугать его.

Но все было подготовлено тщательно, на совесть. Отрегулировали уровень жидкости в баке так, чтобы при погружении Кривошеину было как раз по шею и он смог стоять. Напротив бака поставили большое зеркало (пришлось купить на свои, на складе не оказалось): по нему Кривошеин сам мог наблюдать и контролировать изменения в своем теле.

Чтобы до предела уменьшить влияние электромагнитных помех на «шапку Мономаха» и электронные схемы, решили провести опыт ночью, после двух часов, когда вокруг выключены все установки, а трамваи и троллейбусы стоят в депо.

Кривошеин разделся догола, взобрался по лесенке и, держась левой рукой за край (правая у него плохо слушалась после столкновения на мотоцикле), ухнул в бак. Жидкость заколыхалась. Он стоял по шею в ней — голова казалась отделенной от тела. Кравец с «шапкой Мономаха» стоял на стремянке.

Кривошеин облизал губы.

— Соленая... — Голос у него стал сиплым.

— Что?

— Жидкость. Как морская вода.

Выждали минуту.

— Кажется, порядок. Ощущений никаких, как и следовало ожидать. Давай «шапку».

Кравец плотно надел на его голову «шапку Мономаха», пощелкал тумблерами на ней, слез вниз. Теперь в его задачу входило наблюдать за Кривошеиным, подавать советы, если они понадобятся, и в случае непредвиденных осложнений

помочь ему покинуть бак. Кривошеин еще минуту осваивался в новом положении.

— Ощущения знакомые: зудения, покалывания, — сказал он. — Никаких откровений. Ну, все... пожелай мне. Начиная включаться.

— Ну пуха ни пера, Валька...

— К черту! Поехали...

Больше они не разговаривали.

...Тело Кривошеина проявлялось в жидкости, как цветной негатив. Под пурпурными, с прослойками желтого жира мышцами вырисовались белые контуры костей, сухожилий. Ритмично опускались и вздымались ребра, как распорки в кузнечном мехе. На двух ребрах справа Кравец увидел белые вздутия в местах переломов. Лилово-красный кулачок сердца то стискивался, то расслаблялся, проталкивая (уже непонятно во что) алые струи крови.

Кривошеин не сводил глаз со своего отражения в зеркале. Лицо его было бледным и сосредоточенным.

Вскоре мышцы сделались золотисто-желтыми, их можно было отличить от жидкости только по преломлению света.

— И тут... — Кравец крепко потер виски ладонями, затаился сигаретой, — и тут начались автоколебания. Ну, как тогда, в самом начале, с кроликами: все в Вальке начало менять синхронно размеры, оттенки... Я подскочил к баку: «Валька, что ты делаешь?!»

Он смотрел на меня, но ничего не ответил. «Автоколебания! Выключайся!» Он попытался что-то ответить, раскрыл губы и вдруг окунулся в жидкость с головой! Сразу как-то задергался, завертелся, засучил костями... пляшущий скелет с головой в никелированном колпаке!

Он снова жадно затянулся дымом.

— Единственное, что можно было сделать, чтобы спасти его, — это с помощью «шапки Мономаха» командами «То» и «Не то» попасть в ритм автоколебаниям его тела, успокоить их и постепенно направлять на возвращение тела в не-

прозрачную стадию. Ну, внешнее управление, метод, которым он овеществлял тебя, — Кравец кивнул на Адама, — и меня...

Он помолчал, стиснул челюсти.

— Сволочь Гарри! Вот когда пригодилась бы запасная «шапка» — СЭД-2. Но о какой СЭД-2 могла идти речь после провала его диссертации! В тюрьму его, гада, мало упрятать...

— За невыполнение лабораторного заказа в срок ему вряд ли даже выговор дадут, это ведь не профессору наругать, — холодно усмехнулся Кривошеин. — А в большем ты обвинить его не сможешь.

— Оставалось последнее: снять «шапку Мономаха» с Вальки, — продолжал Виктор. — Я вскочил на стремянку, опустил руки в жидкость — электрический удар через обе руки. Судя по впечатлению — вольт на четыреста—пятьсот, в жидкости раньше таких потенциалов никогда не было. Ну, вы знаете сами: в таких случаях руки отдергиваются произвольно. Я кинулся к шкафу, надел резиновые перчатки, снова сунулся в бак, но Валька погрузился уже глубоко, длины перчаток не хватило. На этот раз удар был такой силы, что я полетел на пол. Оставалось опрокинуть бак... не мог же я допустить, чтобы он на моих глазах растворился в жидкости, как... как ты. — Кравец посмотрел на Адама. — Ведь я был им, Кривошеиным, когда создавал и растворял тебя... (У Адама напряглось лицо.) К тому же он был еще жив... Лицо тоже растворилось, только «шапка» на черепе, но держится, значит, мышцы действуют... Я ухватился за край бака, стал раскачивать. Края упругие, скользкие, поддаются... наконец повалил его чуть ли не на себя, успел увернуться — только струя жидкости захлестнула лицо и шею. И от нее я получил третий удар... Дальше не помню, очнулся на носилках.

Он замолчал. Молчали и двое других. Кривошеин встал, в раздумье прошелся по комнате.

— Ничего не скажешь, опыт ставили солидно. Во всяком случае, обдуманно. Злодейства нет, фатального случая нет, даже грубого просчета нет... что называется, угробили человека по всем правилам! Если бы ты не опрокинул бак — он растворился бы. И вне бака он тоже растворился, так как пропитавшая его жидкость уже перестала быть организующей жидкой схемой... Напрасно он остался в «шапке Мономаха», вот что! Включившись в жидкость, он мог управлять собой и без нее...

— Вот как! — вскинул голову Кравец.

— Да. Этот дурацкий колпак вам требовался лишь для того, чтобы включиться в «машину-матку» — и все. Дальше мозг командует нервами непосредственно, а не через провода и схемы... И когда начались неуправляемые автоколебания, эта «шапка» погубила его. Чужеродный предмет в живой жидкости — все равно что пырнуть медведя рогамино!

— Да, но почему начались автоколебания? — вмешался Адам. Он повернулся к Кравцу. — Скажи, вы этот процесс после кроликов и... меня больше не исследовали?

— Нет. В последних опытах мы не приближались к нему. Все преобразования хорошо управлялись ощущениями, я же говорил. Ума не приложу, как он мог потерять контроль над собой! Растерялся? Вообще-то этот процесс сродни растерянности... Но почему растерялся?

— Переход количества в качество, — сказал Адам. — Пока вы погружали в жидкость руку или ногу, «очагов неисправности», по которым можно контролировать и управлять проникновением жидкой схемы в тело, было немного. Получалось так, будто разговариваешь с одним-двумя собеседниками. А когда он погрузил все тело... этих очагов в нем, конечно, гораздо больше, чем в части тела, и...

— Вместо приличного разговора получился невнятный галдеж толпы, — добавил аспирант. — И запутался. Очень может быть.

— Послушайте, вы, эксперты-самоучки! — с яростью поглядел на них Кравец. — Всегда, когда что-то получается не так, находится много людей, охочих посудачить: почему не получилось — и тем утвердить себя. «Я ж предвидел! Я ж говорил!» Если случится атомная война, наверное, тоже найдутся люди, которые, прежде чем сгореть, успеют радостно воскликнуть: «Я же говорил, что будет атомная война!» Настолько ли вы уверены, что опыт не вышел именно из-за этих недочетов, чтобы полезть в бак, если недочеты будут устранены?

— Нет, Кравец Виктор, — сказал Кривошеин, — не настолько. И никто из нас больше не полезет в бак лишь для того, чтобы доказать свою правоту или хоть неправоту кого-то другого, — не та у нас работа. Лезть, конечно, придется, и не один раз — идея правильная. Но делать это будем с минимальным риском и максимальной пользой... И ты напрасно кипятишься: вы спортачили опыт. Такой опыт! И едва не погубили всю работу и лабораторию. Все было: великие идеи, героические порывы, открытия, раздумья, квалифицированные старания... кроме одного — разумной осторожности! Конечно, может быть, не мне вас упрекать — я сам недалеко ушел, тоже положился на авось в одном серьезном опыте и едва не гробанулся... Но скажи, почему нельзя было вызывать меня из Москвы для участия в этом опыте?

Кравец посмотрел на него иронически.

— Чем бы ты помог? Ты ведь отстал от этой работы.

У аспиранта перехватило дух: после всех своих трудов слышать такое!

— Гад ты, Витя, — произнес он с необыкновенной кротостью. — Прискорбно говорить это информационно близкому человеку, но ты просто сукин сын. Значит, сунуть меня в качестве подставного лица в милицию, чтобы самому уйти от уголовной ответственности... на это я гожусь? А в исследователи по данной теме — нет? — Он отвернулся к окну.

— При чем здесь уголовная ответственность? — сконфуженно пробормотал Кравец. — Надо же было как-то спасти работу...

Вдруг он вскочил как ужаленный: от окна к нему подходил Онисимов! Адам тоже вздрогнул, ошеломленно поднял голову.

— Ничего бы вы не спасли, подследственный Кравец, — неприятным голосом сказал Онисимов, — если бы ваш заведующий лабораторией не научился кое-чему в Москве. Сидели бы вы сейчас на скамье подсудимых, гражданин лже-Кравец. Мне доводилось и с меньшими уликами упекать людей за решетку. Понятно?

На этот раз аспирант Кривошеин восстановил свое лицо за десять секунд: сказалась практика.

— Так, значит... это был ты?! Ты меня отпустил? Постой... как ты это делаешь?

— Неужели биология?! — подхватился Адам.

— И биология, и системология... — Кривошеин спокойно массировал щеки. — Дело в том, что в отличие от вас я помню, как был «машиной-маткой».

— Расскажи, как ты это делаешь! — не отставал Кравец.

— Расскажу, не волнуйся, всему свое время. Семинар устроим. Теперь мы эти знания будем применять в работе с «машиной-маткой». А вот внедрять их в жизнь придется очень осторожно... — Аспирант посмотрел на часы, повернулся к Адаму и Кравцу. — Пора. Пошли в лабораторию. Устроим разбор вашего опыта на месте.

— Надо же... ох эти мне ученые! — смеялся и качал головой начальник горотдела милиции, когда Матвей Аполлонович доложил ему окончательно выясненные обстоятельства происшествия в Институте системологии. — Значит, пока вы пробы брали да с академиком разговоры говорили, «труп» вылез из-под клеенки и пошел помываться?



— Так точно. Он не в себе был после удара головой, товарищ полковник.

— Конечно! И не такое мог учудить. А рядом скелет... надо же! Вот что значит плохо изучить место происшествия, товарищ Онисимов. — Алексей Игнатьевич наставительно поднял палец. — Не учили специфику. Это ж вам не выезд на шоссе или на утопленника — научная лаборатория! Там у них всегда черт-те что наворочено: наука... Понебрежнича-ли, Матвей Аполлонович!

«Рассказать ему все как есть? — в тоске подумал Онисимов. — Нет. Не поверит...»

— А как же врач «скорой помощи» опростоволосилась: живого человека в мертвецы записала? — размышлял вслух полковник. — Ох, чую я, у них с процентом спасаемости тоже дела не блестящи. Поглядела: плох человек, все равно помрет в клинике, так пусть хоть статистику не портит.

— Может, просто ошиблась, Алексей Игнатьевич, — великодушно вступился Онисимов. — Шоковое состояние, глубокий обморок, повреждения на теле. Вот она и...

— Возможно. Жаль, нашего Зубато не было: тот всегда по наличию трупных пятен определяет — без промаха. Да... Конечно, неплохо бы нам на этом деле повысить раскрываемость, очень кстати пришлось бы в конце полугодия, да шут с ним, с процентом! Главное: все живы-здоровы, все благополучно. Правда, — он поднял глаза на Онисимова, — есть некоторая неувязка с документами этого Кравца. А?

— Эксперт в них ни подчисток, ни подклеек, ни исправлений не обнаружил, Алексей Игнатьевич. Документы как документы. Может, харьковская милиция что-то напутала?

— Ну, это пускай волнует паспортный стол, а не нас, — махнул рукой полковник. — Преступления человек не совершал — и с этим вопросом все. Но вы-то, вы-то, Матвей Аполлонович, а? — Алексей Игнатьевич, смешливо морщась, откинулся на стуле. — В органы предлагали дело передать... хороши бы мы сейчас были перед органами! Не я ли

вам говорил: самые запутанные дела на поверку оказываются самыми простыми!

И его маленькие умные глазки под густыми бровями окружили, как лучи, добродушные морщины.

Они шли по полуденному Академгородку: Адам справа, Кривошеин в середине, Кравец слева. Размякший от зноя асфальт подавался под ногами.

— Все-таки теперь мы сможем работать грамотно, — молвил Кривошеин. — Мы немало узнали, многому научились. И вырисовывается ясное направление. Кравец Виктор, тебе Адам рассказал свою идею?

— Рассказал...

— А что это ты как-то так — индифферентно?

— Ну, еще один способ. И что?

Адам нахмурился, но промолчал.

— Нет, почему же! «Машина-матка» вводит информацию в человека прочно и надолго, на всю жизнь, а не на время сеанса. И информация Искусства сможет изменить психику человека, исправить ее — ну, как исправили твою внешность по сравнению со мной! Конечно, это дело серьезное, не в кино сходить. Будем честно предупреждать: человек, после нашей процедуры ты навсегда утратишь способность врать, мельчить, притеснять слабых, подличать, и не только активно, но даже воздержанием от честных поступков. Мы не гарантируем, что после этой процедуры ты будешь счастлив в смысле удовлетворения потребностей и замыслов. Жить станет яснее, но труднее. Но зато ты будешь Человеком!

— Анекдот! — со вкусом сказал Кравец. — Способ вернуть бл...ям утраченную невинность!

— Это почему же?! — одновременно воскликнули Адам и Кривошеин.

— Потому что, по сути, вы намереваетесь с помощью информации Искусства упростить и жестко запрограммиро-

вать людей! Пусть запрограммировать на хорошее: на честность, на самоотверженность, на красивые движения души, но все равно это будет не человек, а робот! Если человек не врет и не кусает других потому, что не знает, как это сделать, в этом его заслуги нет. Поживет, усвоит дополнительную информацию, научится — и будет врать, подличать, дело нехитрое. А вот если он умеет врать, ловчить, притеснять (а все мы это умеем, только не признаемся) и знает, что от применения этих житейских операций ему самому будет легче и благополучнее, но не делает так... и не делает не из боязни попасться, а потому что понимает: от этого жизнь и для него и для всех поганей становится — вот это Человек!

— Сложно сказано, — заметил Кривошеин.

— Да ведь и люди сложны, становятся еще сложнее — и упростить их никак нельзя. Как вы этого не понимаете? Тут ничего не поделаешь. Люди знают, что подлость в мире есть, и учитывают это в своих мыслях, словах и поступках. Какую бы вы благонамеренную новую информацию в них ни вводили и каким бы способом это ни делали, она только усложняет их. И все!

— Погоди, — хмуро сказал Адам. — Вовсе не обязательно упрощать людей, чтобы сделать их лучше. Ты прав: человек — не робот, ограничить его жесткой программой благих намерений нельзя. Да и не надо. Но можно при помощи информации Искусства ввести в него четкое понимание: что хорошо — по большому счету хорошо, а не только выгодно — и что плохо.

— Но цели-то, намерения эти самые у него останутся свои, и все будет подчинено им. А заложить цели (даже благие) в человека нельзя — это тот же курс на добродетельного робота. — Кравец поглядел на дублей, усмехнулся. — Боюсь, что голой техникой их не возьмешь... Вам не приходится в голову, что наши поиски «абсолютного способа» происходят не от ума, а от истовой инженерной веры, что наука

и техника могут все? Между тем они не все могут, и никуда мы не придем по этому направлению. Я вижу другое ясное направление: из наших исследований со временем возникнет новая наука — Экспериментальное и Теоретическое Человековедение. Большая и нужная наука, но только наука. Область знаний. Она скажет: вот что ты такое, человек. И возникнет Человекотехника... Сейчас это, наверное, ужасно звучит — техника синтеза и ввода информации в людей. Она включит в себя все: от медицины до математики и от электроники до искусств — но все равно это будет только техника. Она скажет: вот что ты можешь, человек. Вот как ты сможешь изменять себя. И тогда пусть каждый думает и решает: что же ты хочешь, человек? Что ты хочешь от самого себя?

Слова Виктора произвели впечатление. Некоторое время все трое шли молча — думали.

Академгородок остался позади. Издали виднелись парк и здания института, а за ними — огромный испытательный ангар КБ из стекла и стали.

— Ребята, а как теперь будет с Леной? — спросил Адам и посмотрел на Кривошеина. Взглянул на него и Кравец.

— Так и будет, — внушительно сказал тот. — Для нее ничего не случилось, ясно?

Адам и Кравец промолчали.

Они вступили в каштановую аллею. Здесь было больше тени и пролады.

— «Вот что ты такое, человек. Вот что ты можешь, человек. Что же ты хочешь от себя, человек?» — повторил Кривошеин. — Эффектно сказано! Ввах, как эффектно! Если бы у меня было много денег, я в каждом городе поставил бы обелиск с надписью: «Люди! Бойтесь коротеньких истин — носительниц полуправды! Нет ничего лживее и опаснее коротеньких истин, ибо они приспособлены не к жизни, а к нашим мозгам».

Кравец покосился на него.

— Это ты к чему?

— К тому, что твои недостатки, Витюнчик, есть продолжение твоих же достоинств. Мне кажется, Кривошеин-оригинал с тобой немного перестарался. Лично я никогда не понимал, почему людей с хорошо развитой логикой отождествляют с умными людьми...

— Ты бы все-таки по существу!

— Могу и по существу, Витюня. Ты хорошо начал: человек сложен и свободен, его нельзя упростить и запрограммировать, будет Человековедение и Человекотехника — и пришел к выводу, что наше дело двигать эту науку и технику, а от прочего отрешиться. Пусть люди сами решают. Вывод для нас очень удобный, просто неотразимый. Но давай применим твою теорию к иному предмету. Имеется, например, наука о ядре и ядерная техника. Имеешься ты — исполненный наилучших намерений противник ядерного оружия. Тебе предоставляют полную свободу решить данный вопрос: дают ключи от всех атомохранилищ, все коды и шифры, доступ на все ядерные предприятия — действуй!

Адам негромко рассмеялся.

— Как ты используешь эту блестящую возможность спасти мир? Я знаю как: будешь стоять посреди атомохранилища и реветь от ужаса.

— Ну, почему обязательно реветь?

— Да потому, что ты ни хрена в этом деле не смыслишь, так же как другие люди в нашей работе... Да, будет такая наука — Человековедение. Да, будет и Человекотехника. Но первые специалисты в этой науке и в этой технике — мы. А у специалиста, помимо общечеловеческих обязанностей, есть еще свои особые: он отвечает за свою науку и за все ее применения! Потому что в конечном счете *он все это делает* — своими идеями, своими знаниями, своими решениями. Он, и никто другой! Так что, хочешь не хочешь, а направлять развитие науки о синтезе информации в человеке *нам*.

— Ну, допустим... — Кравец не сдавался. — Но как направлять-то? Ведь способа применения открытия с абсолютной надежностью на пользу людям, которому мы присягнули год назад, нет!

— Смотрите, ребята, — негромко проговорил Адам. Все трое повернули головы влево. На скамье под деревом сидела девочка. Рядом лежал ранец и стояли костыли. Тонкие ноги в черных чулках были неестественно вытянуты. Лучики солнечного света, проникая сквозь листву, искрились в ее темных волосах.

— Идите, я догоню. — Кривошеин подошел к ней, присел рядом на край скамьи. — Здравствуйте, девочка!

Она удивленно подняла на него большие и ясные, но не детские глаза:

— Здравствуйте...

— Скажите, девочка... — Кривошеин улыбнулся как можно добродушней и умней, чтоб не приняла за пьяного и не напугалась, — только не удивляйтесь, пожалуйста, моему вопросу: у вас в школе плюют в ухо человеку, который не сдержал свое слово?

— Не-е-ет, — опасливо ответила девочка.

— А в мое время плевали, был такой варварский обычай... И знаете что? Даю слово: не пройдет и года, как вы станете здоровой и красивой. Будете бегать, прыгать, кататься на велосипеде, купаться в Днепре... Все будет! Обещаю. Можете мне плюнуть в ухо, если совру!

Девочка смотрела на него во все глаза. На ее губах появилась неуверенная улыбка.

— Но ведь... у нас не плюют. У нас школа такая...

— Понимаю! И школ таких не будет, в обычную бегать станете. Вот увидите! Вот так...

Больше сказать ему было нечего. Но девочка смотрела на него так хорошо, что уйти от нее не было никакой возможности.

— Меня зовут Саша. А вас?

— Валя... Валентин Васильевич.

— Я знаю, вы живете в тридцать третьем номере. А я в тридцать девятом, через два дома.

— Да, да... Ну, мне надо идти. На работу.

— На вторую смену?

— Да. На вторую смену. Всего хорошего, Саша.

— До свидания...

Он встал. Улыбнулся, вскинул голову, прижмурил глаза: не робей, мол, гляди веселей! Все будет! Она в ответ тоже вскинула голову, прищурилась, улыбнулась: я и не робею... И все равно он ушел с чувством, что оставляет человека в беде.

Аллея выводила на улицу. За крайними каштанами мелькали машины. Сворачивая, все трое обернулись: девочка смотрела им вслед. Они подняли руки. Она улыбнулась, помахала тонкой рукой.

— Понимаешь, Витюша, — Кривошеин обнял Кравца за плечи, — понимаешь, Витек, все-таки люблю я тебя, шельмеца, хотя и не за что. Отодрать бы тебя солдатским ремнем, как батя нас в свое время дирал, да больно уж ты большой и серьезный...

— Да ладно тебе! — освободился Кравец.

— Понимаешь, Витя, насчет «кнопки счастья» у нас, конечно, был инженерный загиб, ты прав. Люди вообще ожидают от техники лишь снижения требовательности к себе... Смешно! Для крыс легко устроить кнопку счастья: вратил ей электрод в центр удовольствия в коре — и пусть нажимает лапкой контакт. Но людям такое счастье, пожалуй, ни к чему... Однако есть способ. Не кнопочный и не математический, но есть. И эмпирически мы его понемногу осваиваем. То, что мы сушим головы именно над применением открытия на пользу людям, а не только себе, и на иные варианты не согласимся, — из этого способа. И то, что Адам смог преодолеть себя и вернуться с хорошей идеей, — тоже из

этого способа. И то, что Валька пошел на такой опыт, зная, на что идет, — тоже из этого способа. Конечно, если бы тщательнее подготовить опыт, возможно, он остался бы жив, а впрочем, никто из нас ни от ошибок, ни от печального исхода не застрахован: работа такая! И то, что он выбрал направление синтеза людей, хотя синтезировать микроэлектронные машины было бы не в пример проще и прибыльней, — из этого способа. И то, что мы накопили знания по своему открытию, — из этого способа. Теперь мы не новички-дилетанты, ни в работе, ни в споре нас с толку не собьешь — сами кого угодно собьем. А в честном споре знания — главное оружие...

— А в нечестном?

— И в нечестном споре этот способ годится. Гарри пришили — по этому способу. Вышли мы с тобой из трудного положения и спасли работу — тоже по нему. Мы многое можем, не будем прикидываться: и работать, и драться, и даже политиковать. Конечно, лучше бы всегда и со всеми обойтись по-хорошему, но если не выходит, будем и по-плохому... Адам, дай сигарету, у меня кончились.

Кривошеин закурил и продолжал:

— И в будущем нам следует руководствоваться этим эмпирическим способом — и в работе, и в жизни. Перво-наперво будем работать вместе. Самое страшное в нашем деле — это одиночество. Вот оно к чему привело... Будем собирать вокруг работы умных, честных, сильных и знающих людей. Для любого занятия: исследовать, организовывать работы. Чтобы ни на одном этапе рука подлеца, дурня или пошляка не коснулась нашего открытия. Чтобы было кого поднимать по тревоге! И Азарова привлечем, и Вано Александровича Андросиашвили — есть у меня такой на примете. И Валерку Иванова испробуем... И если укрепить таким способом работу — все будет «То»: способ дублирования людей, дублирование с исправлениями, информационные преобразования обычных людей...



— Но все-таки это не инженерное решение, стопроцентной гарантии здесь нет, — упрямо сказал Кравец. — Можно, конечно, попытаться... Ты думаешь, Азаров придет?

— Придет, куда он денется! Да, это не инженерное решение, организационное. И оно не простое, в нем нет столь желанной для нас логической однозначности. Но другого не дано... Соберем вокруг работы талантливых исследователей, конструкторов, врачей, художников, скульпторов, психологов, музыкантов, писателей, просто бывалых людей — ведь все они знают о жизни и о человеке что-то свое. Начнем внедрять открытие в жизнь с малого, с самого нужного: с излечения болезней и уродств, исправления внешности и психики... А там, глядишь, постепенно подберем информацию для универсальной программы для «машины-матки», чтобы ввести в мозг и тело человека все лучшее, что накоплено человечеством.

— УПСЧ, — произнес Виктор. — Универсальная Программа Совершенствования Человека. Звучит! Ну-ну...

— Надо пытаться, — упрямо сказал Адам. — Да, стопроцентной гарантии нет, не все в наших силах. Может, не все и получится. Но если не пытаться, не стремиться к этому, тогда уж точно ничего не получится! И знаете, мне кажется, что здесь не так уж много работы. Важно в одном-двух поколениях сдвинуть процесс развития человека в нужную сторону, а дальше дело пойдет и без машин.

«Все войдет, — вспомнилась аспиранту последняя запись из дневника, — дерзость талантливых идей и детское удивление перед сложным великолепием мира, рев штормового океана и умная краса приборов, великое отчаяние любви и эстетика половой жизни, ярость подвижничества и упоение интересной работой, синее небо и запах нагретых трав, мудрость старости и уверенная зрелость... и даже память о бедах и ошибках, чтобы не повторились они! Все войдет: знание мира, понимание друг друга, миролюбие и

упорство, мечтательность и подмечающий несовершенства скептицизм, великие замыслы и умение достигать их. В сущности, для хорошей жизни больше сделано — меньше осталось!

Пусть люди будут такими, какими хотят. Пусть только хотят!»

Желтым накалом светило солнце. Шуршали и урчали, проскакивая мимо, машины. Брели сквозь зной прохожие. Милиционер дирижировал перекрестком.

Они шагали, впечатывая каблуки в асфальт. Три инженера шли на работу.

# ТУПИК

Философский детектив в четырех трупях

*То, что выше неба, что ниже земли, то,  
что между ними обоими... то, что называют  
прошедшим, настоящим и будущим, —  
это вплетено в пространство.*

**Брихадараньяка Упанишада**

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## Один плюс один плюс один...

### Глава первая

*Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо.*

К. Прутков-инженер.

Советы начинающему спортсмену

— Ну а мы-то здесь при чем? — спросил в трубку начальник следственного отдела Андрей Аполлонович Мельник, худощавый блондин с мускулистым лицом и пронзительно-веселым взглядом, от которого привлекаемым становилось не по себе. — Нет-нет, я понимаю, очень жаль, выдающийся человек помер... и прочее. Но имеется ли в этом печальном событии криминал? Все ведь, между прочим, помрем — одни раньше, другие позже, так, значит, это самое!

На другом конце провода горячо заговорили. Мельник кивал, досадливо играл мускулами щек и рта, поглядывал на сотрудников, мирно работавших за столами. Дело происходило в ясное апрельское утро в южном городе Д.

— Может, отравление? — подал реплику Андрей Аполлонович. — Нет признаков отравления?.. Удушье? Тоже нет! Так что же, собственно, есть, товарищ Штерн? Простите, я буду ставить вопрос грубо: вы официально заявляете? Ах нет — просто полагаете, что дело здесь нечисто, так, значит! Умер он не просто так, поскольку просто взять и умереть у него не было достаточных оснований... (Следователь Нестор Кандыба негромко фыркнул в бумаги; Мельник погрозил ему взглядом.) Вот видите... а от нас желаете серьезных действий, так, значит, это самое! Ладно. Пришлем, ждите.

Он положил трубку, обвел взглядом подчиненных. Все сотрудники следственного отдела горпрокуратуры: старший следователь Канцеляров, через год уходящий на пенсию, инспектор ОБХСС Бакань, Нестор Кандыба и даже Стасик Коломиец, принятый полгода назад младшим следователем и сидевший у самой двери, — тотчас изобразили на лицах занятость и индифферентность.

Стасик Коломиец (двадцати семи лет, окончил юрфак ХГУ, холост, плечистый спортсмен среднего роста, имеет разряды по стрельбе и боксу, лицо свежее и широкоскулое, курнос; стрижется коротко... читатель, полагаю, догадался, что он будет играть главную роль в нашем повествовании), не поднимая головы, почуял, что пронзительный взгляд Мельника устремлен именно на него. «Меня пошлет, чтоб ему... — уныло подумал он. — В каждую дырку я ему затычка».

— Пан Стась, — не замедлил подтвердить его гипотезу Мельник, — это дело как раз для вас. Езжайте, пане, в Кипень. Меня известили, что скончался академик Тураев, директор Института теоретических проблем. Сегодня ночью. При неясных вроде бы обстоятельствах.

— А... в чем их неясность, обстоятельств-то? — отозвался Коломиец.

— Вот это ты на месте и посмотришь. Звонил личный врач академика Исаак Израилевич Штерн — тот самый, к

которому на прием не попасть. Он ничего внятного не сказал... Боюсь, что там ничего такого и нет, просто разыграло у врача профессиональное самолюбие, так, значит! Не по правилам умер пациент... Вот он и решил пожаловаться в прокуратуру. Нет-нет-нет! — Поднятием руки Андрей Аполлонович сдержал протестующую реплику, которая готова была сорваться с уст Коломийца. — Надо, пан Стась, надо. Директор, академик, лауреат... так, значит. В подобных случаях полагается проявлять... принимать... выяснять... чтобы потом, в случае чего... Тем более был сигнал. Словом, давай. Прокатишься в дачную местность, для такого случая дадим оперативную машину. Только сирену не включай, так, значит!

— Медэксперта брать? — хмуро спросил Коломиец, выбираясь из-за стола.

— М-м... решишь по обстановке. Понадобится, вызовешь. Дуй!

Только сидя в машине, Стасик вспомнил, что так и не выразил протест, что его вечно направляют на самые пустые и мелкие дела. Да и вообще... эта кличка «пан Стась», которую он мог принимать только как насмешку: внешность его была гораздо более рязанской, чем польской. Расстроившись, Коломиец сунул руку в карман за сигаретой; не найдя сигарет, огорчился еще более — и тут вспомнил, что вчера вечером он снова твердо решил бросить курить. Он вздохнул: раз решил, надо терпеть.

До Кипени — дачного поселка, раскинувшегося по берегам одноименной живописной реки, — было минут сорок езды: сначала по юго-западному шоссе о двух асфальтовых полотнах, разделенных газоном, затем повернуть направо на малоизношенную брусчатку, повилять среди сосен, старых бревенчатых и новых кирпичных дач, песчаных бугров, мимо начинающих цвести садов, мимо веревочек с сушащимся бельем и сатанеющих от лая цепных собак — и все. Двухэтажный коттедж Тураева стоял на краю

поселка, далее шел каскад рыбообразных прудов и хвойный лес.

На звонок открыла дверь грузная старуха, седые жидкие волосы ее были собраны на макушке в кукиш. Коломиец назвался, старуха недобро глянула на него распухшими красными глазами, повернулась и пошла по скрипучей деревянной лестнице вверх. Пока они поднимались, она раз пять шумно вздохнула и трижды высморкалась в передник.

— ...Извините меня, Евгений Петрович, — услышал Стась высокий нервный голос, вступая в комнату, — но в моей практике и, насколько мне известно, вообще в медпрактике любые кончины относят к одной из трех категорий: естественная смерть — от болезней и очевидных несчастий, от старости... и я знаю, от чего еще! — насильственная смерть типа «убийство» и насильственная же смерть типа «самоубийство». Иных не бывает. Поскольку признаков, подводящих данный случай под первую категорию, нет, я и взял на себя смелость...

Все это говорил, энергично подергивая лысой, обрамленной по периферии черными волосами головой, маленький полный мужчина, обращаясь к высокому худощавому и стоявшей рядом с ним женщине в халате с зелеными, синими, желтыми и красными полосами. Услышав шаги, он замолк. Все обернулись.

— А, вы, наверное, из милиции... простите, из прокуратуры? — произнес лысый коротыш. — Вот и хорошо, если вообще в данной ситуации возможно хорошее! Будем разбираться вместе. Позвольте представиться: Штерн, кандидат медицинских наук, врач академика Тураева. Это — Халила Курбановна... — он запнулся на секунду, — жена покойного. (На уме у него явно было слово «вдова», но не так-то легко произнести его первым.)

Женщина в халате грустно взглянула на Коломийца; у нее были тонкие восточные черты удлиненного лица, почти сросшиеся над переносицей черные брови, темные глаза.



«Таджичка? — подумал Стась. — Нет, скорее туркменка, таджички круглолицы».

— А это... — Штерн несколько театральным жестом показал на высокого мужчину.

— Загурский. — Тот корректно склонил красивую седую голову.

— Евгений Петрович, заместитель Александра Александровича, член-корреспондент Академии наук и профессор, — все-таки дополнил Штерн. Он явно вносил в обстановку неподобающую случаю суетность.

Третий мужчина, которого Штерн не представил Коломийцу, лежал у стены на диване из черной кожи, словно прилег отдохнуть.

Он был в белой нейлоновой рубашке с завернутыми рукавами, серых легких брюках и шлепанцах. Вьющиеся темные волосы с сильной проседью на висках, длинное худое лицо, подтянутые щеки, тонкие иронические губы. Выражение лица усопшего тоже было спокойно-ироническим, с легким оттенком недоумения.

Стасик, в свою очередь, отрекомендовался и приступил к делу. Собственно, он не совсем ясно представлял, что ему делать и как себя вести: с первого взгляда ему стало понятно, что ничегошеньки здесь, кроме обычной смерти, не произошло; стало быть, его прислали для соблюдения формы, чтобы удовлетворить чьи-то сановные амбиции. «Ладно, пожалуйста, удовлетворю!» Он решил отделаться самым минимумом: осмотр, показания присутствующих, кого подозревают (если они кого-то подозревают!) — и все. И без протокола с понятыми, незачем, раз не было официально заявления.

Осмотр трупа не дал ничего. На теле академика Тураева признаков насилия не оказалось. Наличествовало лишь трупное окоченение: оно уже слегка подогнуло ноги в коленях и руки в локтях. Штерн подтвердил предположение Коломийца, что смерть наступила около пяти часов утра, то есть

шесть часов назад. Одежда на покойнике также была в полном порядке, разрывы и разрезы тканей, равно как и пятна крови (да и вообще какие-либо пятна) на ней отсутствовали.

Стасик сфотографировал труп.

Осмотр комнаты, к которому он затем приступил (предварительно удостоверившись, что все здесь с момента обнаружения трупа оставалось без изменений), ничего к картине происшедшего не прибавил. В комнате находились два мягких поролоновых кресла с сизой обивкой, упомянутый уже диван, на котором лежал покойник, большой письменный стол (на нем — журналы, книги, четвертушки бумаги с записями и без таковых, стаканы с остатками чая и кусочками лимона, шариковая ручка), стеллажи с книгами вдоль боковой стены. («Как для академика, то книг не так и много, — отметил про себя Стась, — наверное, бо́льшая часть на городской квартире»); угол у окна занимал фикус в дощатом ящике. С потолка из лепной розетки свисала люстра на четыре светильника — три по краям, один в центре. Пол был паркетный, чистый; стены покрывала приятная для глаза светло-бежевая краска. Но главное, что на всем этом не имелось следов ни борьбы, ни чьего-то незаконного вторжения; напротив, все было ухожено, протерто от пыли.

Коломиец открыл окно, за которым был красивый пейзаж с прудом и лесом; посмеиваясь в душе над собой, исследовал шпингалеты — исправные, стекла — целые, внешнюю поверхность стены — ровную, без царапин. «На кой черт меня сюда прислали?!» — от раздражения ему снова захотелось курить.

Опрос присутствующих тоже ничего не дал. Вдова «потерпевшего» с экзотическим именем Халила Курбановна (отзывавшаяся, как заметил Стась, и на имя Лиля) показала, что когда ее муж работал, а работал он почти всегда, то и ночевать он оставался в этой комнате; поскольку он засиживался до глубокой ночи, то и спал затем обычно до поздне-

го утра. Поэтому сегодня утром она сначала ничего такого и не подумала, встревожилась только в одиннадцатом часу: завтрак готов, он просил вчера к этому времени, а самого все нет. И не слышно, чтобы ходил, — а работая, он всегда ходит взад-вперед; значит, еще не вставал... Говорила вдова почти без акцента, только в интонациях иногда прорывалась некоторая гортанность.

Она сначала позвала его, затем поднялась в мезонин, чтобы разбудить, и... Тут сдержанность оставила Халилу Курбановну: голос прервался, в глазах появились слезы. Шурик был мертв, был уже холодный. Она вызвала по телефону Евгения Петровича и Исаака Израилевича. На вопрос следователя, поддерживает ли она мнение гражданина Штерна, что кончина ее мужа содержит в себе состав преступления, женщина, поведя худыми плечами, сказала устало: «Я... не знаю. Не все ли это теперь равно?» А уязвленный Штерн не замедлился с репликой: «Так ведь это вам самому и надо бы установить, молодой человек!» Стасик смолчал, но озлился еще более. «Ладно, будем устанавливать!» Где в эту ночь спала жена потерпевшего? Внизу, ответила Халила Курбановна, в спальне.

«Вот, пожалуйста, можно проверять: действительно ли она ночевала дома. Установили бы, конечно, что так и было, но нервы бы потрепал, осрамил женщину. Пожилой человек, — Колөмиец скосил глаза на Штерна, — лысый, а не понимает!» Когда она последний раз видела своего мужа живым? В половине одиннадцатого вечера, ответила вдова, Шурик крикнул сверху, чтобы она приготовила им чай, она приготовила и принесла.

— Кому это им? — сразу ухватился следователь. — С кем он был?

— С Евгением Петровичем, они вчера вместе работали.

«Так!..» Стасик мысленно потер руки, его начало забавлять, как выработанная веками процедура следствия сама, помимо воли ее участников, придавала происшедшему криминальный смысл. В воздухе явственно начало пахнуть

неразрешенными сомнениями, а возможно, и умыслом. Он устремил взгляд на Загурского и почувствовал, как тот, огорченный до сих пор только смертью друга и начальника, теперь стал испытывать более личные чувства. «Еще бы напарника сюда для перекрестного допроса — чтобы спрашиваемого бросало то в жар, то в холод, особенно если он ни в чем не замешан...»

По какой причине товарищ Загурский находился вчера в столь позднее время у академика Тураева? Работали вместе над новой теорией, ответил тот: он и Александр Александрович в течение многих лет сотрудничали и соавторствовали в статьях, монографиях, даже учебниках физики. Это было сказано с полным самообладанием и некоторым даже упреком — будто сотрудник прокуратуры обязан знать авторов и соавторов, подвигающихся в теоретической физике! В котором часу он ушел? В одиннадцать, полчаса спустя после того, как Халила Курбановна угостила их чаем. Он, Загурский, иной раз и ночевать оставался здесь — когда они с Тураевым, бывало, увлекутся и заработаются. Но на сей раз дело не клеилось, оба сочли за лучшее расстаться на пару деньков, обдумать все независимо, чтобы затем встретиться и обсудить. К тому же у него, Загурского, накопились дела по институту: организация симпозиума, всякая текучка...

— Выходит, товарищ Тураев последние дни в институте не был?

— Совершенно верно.

— Он что же, хворал?

— Нет, просто работал дома.

Молча обмененный со Штерном и вдовой взгляд: экий несведущий молодой человек — полагает, что академик ходит на работу, как простой служащий.

— Так... — Стась закусил нижнюю губу. — Значит, вы были последним из видевших Тураева живым?

— Выходит, да.

— Как он выглядел?

— Да как обычно. Был, правда, расстроен, что идея не вытанцовывается. Он всегда бывал этим расстроен — пока не находил решения. — Загурский вздохнул и добавил: — Решение он тоже всегда находил.

— Он собирался лечь спать?

— Нет. Проводил меня до машины, полюбовался звездами, сказал, что еще поразмышляет часок-другой. Мы простились, я уехал.

— Машина была ваша или служебная?

— Служебная.

— С шофером?

— Нет. То есть штатный водитель имеется, но... кто же станет задерживать человека до полуночи! Я сам вожу.

Коломиец повернулся к вдове.

— Вы подтверждаете?

— Что именно?

— Что товарищ Загурский уехал от вас в одиннадцать вечера, а ваш муж вернулся домой?

— Да. Я легла, но еще не спала — слышала, как они выходили и разговаривали... как отъехала машина Евгения Петровича. Слышала, как Шурик поднимался по лестнице.

«Шурик... Для кого академик Тураев, столп науки, товарищ директор, для кого потерпевший, а для кого Шурик. Много названий у человека!»

— Потом он ходил по комнате из угла в угол... спальня как раз под этим кабинетом, — продолжала вдова. — Около получаса. Может, и дольше ходил, но я уснула.

— Ночью ничего не слышали?

— Нет... хотя сплю чутко.

— Кто еще, кроме вас двоих, был в доме?

— Никого. Мария Самойловна, — она оглянулась в сторону двери, — это наша домработница... она приезжает утренней электричкой, прибирает, готовит обед, а вечером возвращается в нашу городскую квартиру.

«Ясно, стережет». Коломиец тоже оглянулся на старуху, которая все стояла у косяка, скорбно поджав губы и вперив тяжелый взгляд в мертвого. «Бабусю в случае необходимости вызову».

Наступила очередь Штерна. Болел ли покойный? В общем, нет, ответил врач; бывали, разумеется, недомогания: отклонения давления крови от нормы, головные боли, утренняя неврастения... но все они из тех, какие замечает врач, а не сам пациент. Да и эти колебания здоровья возникали у Александра Александровича после напряженной работы — особенно ночами. В целом же он для своего возраста и загруженности был на редкость здоровяком — среди людей умственного труда, во всяком случае. Он с Халилой Курбановной и друзьями хаживал в туристские походы, имел значок «Турист СССР» — верно, Лиля? Та кивком подтвердила.

— В последние дни он ни на что не жаловался?

— Нет. Последний профилактический осмотр был неделю назад. Такие осмотры я как личный врач Александра Александровича делал ежемесячно, хотя для него это всегда было предметом шуток. Так вот: сердце, легкие, нервы, желудок, внутренняя секреция... все было в хорошем состоянии. Просто в превосходном! Вот поэтому я и...

— Да-да. Что вы установили при внешнем осмотре трупа?

Врач замешкался с ответом, пожал плечами, сказал с легким недоумением:

— Ничего, собственно, не установил! Такое впечатление, что у Александра Александровича просто остановилось сердце.

— Так просто взяло и остановилось? — недоверчиво переспросил Коломиец.

— Именно так просто, молодой человек, можете себе представить! В этом вся и странность. Подобное бывает только от крайнего истощения, от угасания всех жизненных сил в глубокой старости да еще от переохлаждения. В данном

случае ни один из названных факторов не имел места. Поэтому я и взял на себя смелость пригласить...

Коломиец сосредоточенно размышлял. Да, это действительно странно — как странно и то, что покойник оказался сравнительно молодым человеком, сорока с небольшим лет. Стась, когда ехал сюда, настроился увидеть изможденного седого старца, иссохшего и угасшего в служении науке, — и в круглой черной шапочке, какие представлялись ему столь же неотъемлемыми от академиков, как серые фуражки с малиновым околышем от милиционеров. «Эх, надо было мед-эксперта сразу брать с собой, они со Штерном нашли бы общий язык. А так что я могу ему возразить! Вызвать сейчас?.. Э нет. Отсутствие признаков — не улика. А здесь во всем так, не о чем даже протокол писать: все «не» да «не»... Надо закругляться».

— Вы уверены, что все обстоит так, как вы говорите? — в упор спросил он врача.

Тот смешался.

— Н-ну... окончательное суждение в таких случаях возможно лишь после патанатомического исследования.

— Вот именно, — согласился Стась, — пусть вскрытие и вскрыет, так сказать, суть дела. Надеюсь, вы согласитесь участвовать в экспертизе?

Штерн сказал, что да, сочтет своим долгом.

Втроем они снесли труп академика вниз и поместили в черный «ЗиЛ» — Загурский сам предложил его следовательно, благо на сей раз был и шофер; уложили Тураева на откинутых сиденьях. Штерн сел рядом, придерживая негнущиеся ноги покойного. Машина медленно укатила прочь. Загурский увел в дом вдову, бережно обняв ее за вздрагивающие плечи.

Стасик задержался во дворе — и на него вдруг сразу со всех сторон навалилась весна. Навалилась той влажной, размаривающей апрельской жарой, когда чувствуешь себя не самостоятельным существом, а частью пробуждающейся,

набирающей жизненную силу природы. Становится понятным и дуновение ветра, и движение рыхлых облаков в белесом небе, и истошно-томное карканье ворон на зеленеющем тополе: «Карр! Слава весне, карр! Слава жизни!..» Даже стоющие хоры лягушек в прудах, пробующих голоса после зимней спячки, были сейчас вняты Коломийцу: «Уу-у! Ууу... слава весне! У-уу... слава жизни!»

## Глава вторая

*Если бы не было иностранных языков, как бы ты отличил профессора от преподавателя?*

К. Прутков-инженер. Мысль № 202

Дело, собственно, было закончено. Но Стасик для очистки совести решил пройтись по соседям. Соседи — как справа, так и слева — тоже ничего не слышали, не знали, только ахали, узнав о смерти Тураева, сожалели. «Что еще? — сообщал Коломиец, возвращаясь на дачу. — Да, стоит забрать стаканы с опивками чая. Сдам на анализ — насчет отпечатков пальцев, да нет ли следов отравы... — Ему стало смешно. — Нашел на ком отыгаться Андрей Аполлонович, на безответном молодом специалисте. Вот мог бы со зла взять и раздуть «дело об убиении», чтоб и прокуратуру, и угрозыск трясло!»

Сердито топоча, он поднялся в кабинет Тураева. Старуха домработница занавешивала окна темной тканью; увидев следователя, что-то проворчала себе под нос. Загурский сидел в кресле возле стола, перебирал листки с записями. Стаканов на столе не было.

— А где стаканы? — спросил Стась у старухи.

— Каки еще стаканы? — неприветливо отозвалась та.



— Да здесь стояли.

— Вымыла и убрала, чего им стоять!..

«Вот тебе на! А впрочем, ладно. Меньше мороки».

— Э-э... — поднял на следователя глаза Загурский, — простите, не осведомился раньше о вашем имени-отчестве?

— Станислав Федорович.

— Станислав Федорович, могу я взять эти заметки? Все-таки последние записи Александра Александровича. Его научное наследие должно быть сохранено до последнего листика. Да и, возможно, я сумею использовать эти мысли для завершения нашей последней работы. Хотя... — Загурский расстроено вздохнул, — вряд ли. Трудно будет. Не тот соавтор умер. Так могу?

— Одну минутку. — Коломиец взял четыре листка бумаги, на которые показывал Загурский, бегло просмотрел. Он чувствовал неловкость от того, что, будучи уверен в своей бесполезности в этой истории, все-таки продолжает ломать комедию следствия, — и читал не слишком внимательно; да и почерк академика — небрежный и резкий — был труден для непривычного к нему человека. Все же Стась уяснил, что в заметках шла речь о пространстве-времени, координатах, траекториях и прочих теоретических вещах. Он протянул листки Загурскому. — Да, пожалуйста.

— Благодарю. — Тот уложил листки в красивую папку из желтой кожи, с монограммой в углу, завязал ее, встал. — И еще одна просьба, не считите за навязчивость: моя машина ушла, так не подбросите ли вы меня в город?

— Конечно, о чем разговор!

Несколько минут спустя серо-синяя «Волга» уже катила обратно по брусчатке среди сосен, дач, песчаных бугров и столбов со знаками ГАИ. Стась и Загурский расположились на заднем сиденье.

— Напрасно это затеял Исаак Израилевич с вашим вызовом, — сказал Загурский. — Я его как раз перед вашим при-

ездом упрекнул. Только бедной Лиле лишняя трепка нервов, а ей и без того сейчас тяжело. Такой удар!..

— Значит, вы не поддерживаете мнение Штерна? Но все-таки его доводы, что не бывает смертей ни с того ни с сего... имеют смысл.

— Э! — Евгений Петрович поморщился. — Что знает медицина о человеке вообще и о таких людях, как Тураев, в особенности!.. Человек индивидуален, талантливый — тем более. А медицинские оценки всегда подразумевают некий стандарт, иначе бы и не было медицины как науки. Смерть человека является, если хотите, завершением его индивидуальности. Что могла сказать медицина о кончинах Маяковского, Роберта Бернса, Есенина, Галуа? Болезнь Бернса не сумели определить все врачи того времени, Галуа убили на вздорной дуэли... Но ведь это только поверхность событий. И пусть не удивляет вас, Станислав Федорович, что я равняю своего покойного шефа и товарища с такими людьми: речь идет о явлении того же порядка в теоретической физике. Не я первый назвал Тураева-младшего Моцартом теорфизики. — Он помолчал. — Вот Моцарт... тоже, кстати, непонятная смерть. «Кого боги любят, умирает молодым».

— Но все-таки, — Стасик решил не упускать случая что-то выяснить, — были же у Тураева недоброжелатели, враги, люди, заинтересованные в его смерти?

— Конечно, были, у каждого значительного человека таких хватает. Но, понимаете ли, в науке — не поручусь за все, но, во всяком случае, в нашей — недоброжелательство и вражда могут выразиться интригой, подкопом, ну, самое большее, доносом во влиятельные инстанции — но уж никак не смертоубийством.

— А если не в науке, в личной жизни?

— Да у него, дорогой Станислав Федорович, почитай что и не было жизни помимо науки: все отнимал «демон проблем»... Ну, жена — славная, преданная женщина. Туркменка, он ее встретил, когда ездил на полевые испытания в

Среднюю Азию в 50-х годах. Идеальная, повторяю, жена, такие бывают только на Востоке, но и она любила его не понимая, скорее как мужа, а не как человека. Круг знакомых — весьма и весьма ограниченный. Друзья? Лышу себе, что я был ему другом. И если бы у него имелись смертные враги, я бы их знал... Нет! Нет и нет, не стоит искать здесь криминал, Станислав Федорович. Просто внезапная смерть. Она всегда ужасна — грубое напоминание природы о нашей бренности. Она выбивает из колеи всех, кто близок к покойному. Словом, я полагаю, что Штерн привлек вас, поддавшись чувству профессиональной оскорбленности.

«Вот-вот, Мельник как в воду глядел!»

Несколько минут они ехали молча.

— Вот я морочу вам голову своими суждениями, — заговорил снова Загурский: в нем чувствовалась потребность выговориться, — а сам не разобрался еще в переживаниях, которые вызвала у меня эта смерть. Горе... ну, это само собой. Может быть, даже сильнее, чем у Лили, — она женщина молодая, привлекательная, утешится. Утешители найдутся. А мне эту потерю заменить нечем... Ах, Шур Шурыч, Шур Шурыч!

Коломиец заинтересованно взглянул на него.

— Это мы так его в университете звали, — пояснил Евгений Петрович, — в отличие от отца, тоже Александра Александровича. Не знаю, слышали ли вы о нем: выдающийся экспериментатор в области атомного ядра, ну и разработчик, понятно, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат... и прочая, и прочая, из тех, кого рассекречивают посмертно. Могучий был старик, он у нас на факультете читал технику физического эксперимента. Вот в отличие от него, от Сан Саныча, мы и именовали Тураева-младшего Шур Шурычем. Потом он стал просто Тураевым, даже Тураевым Тем Самым, ведущим теоретиком физики... Теории его действительно вели, эксперимент покорно их подтверждал. И вот...

Загурский замолк, закурил сигарету. А Стась с удовольствием отметил, что ему почти не хочется курить и тело налито бодростью.

— И вот... — повторил Загурский, пустив дым. — И поэтому у меня, кроме горя, еще и чувство досады. Какой-то детской, если угодно, досады: будто читал интересную книгу — и отняли. На самом увлекательном месте отняли!

— Почему именно на самом увлекательном? — скорее из вежливости, чем из любопытства спросил Коломиец.

— А вот в этом-то все и дело, — оживленно, будто только и ждал этого вопроса, повернулся к нему Евгений Петрович. — Полгода назад Александр Александрович выдвинул идею, самую могучую из всех, хотя и прежние весили немало. Идею о том, что в физических теориях следует заменить два отдельных представления: о «пространстве» и о «времени» — единым представлением четырехмерного геометрического пространства. *Геометрического* — вот в чем вся соль! Вы человек далекий от наших исканий, но тем не менее берусь объяснить эту идею и вам. Дело вот в чем: из всех физических теорий наиболее разработана и подтверждена практикой теория о пространстве — знакомая вам геометрия. Ее уже и к физике-то не относят, считают областью математики, хотя любая практическая геометрия глубоко физична и основана на реальных свойствах пространства. Мы знаем геометрию поверхностей — планиметрию, знаем трехмерную, объемную — стереометрию. Прибавление еще одного измерения в принципе никого не может смутить. А математический аппарат для этого давно готов...

Надо сказать, что, как только Загурский перешел к изложению этой научной идеи, в голове Стасика сработало... ну, вот есть в человеческом мозгу какое-то перегрузочное реле, которое само отключает поток утомительной, малоинтересной или просто непонятной информации; а может, и не отключает, переводит этот поток в какой-то сквозной канал — в тот самый, про который говорят: в

одно ухо влетело, из другого вылетело. Правда, у одних это реле срабатывает при больших потоках трудной информации, у других — уже при малых. У Коломийца оно как раз было слаботочным, и сейчас, слушая вполуха, он рассматривал увлеченного собеседника — тренировал наблюдательность. Благородные седины Евгения Петровича уже изрядно отросли, густо курчавились на шее («Стричься бы ему пора», — отметил Стась); движения кистей и рук были умеренны и изящны, но манжеты белой рубашки несколько засалились, потемнели. «Никто не смотрит за ним, что ли?» Лицо Загурского было красиво и правильно, но красноватый оттенок его и дряблая припухлость внушали сомнение. «Закладывает, не иначе», — решил Стась.

— Но чтобы этот неформальный переход реализовать, — говорил между тем Загурский, — нам надо то четвертое измерение, которое мы понимаем и чувствуем как нечто непространственное, как «время», тоже свести к геометрическим категориям длин и расстояний. Над этой проблемой геометризации времени мы с ним более всего и бились. Многие трудности уже одолели, одолели бы, я уверен, и все остальные. И тогда... о, это был бы гигантский шаг в понимании мира — и для естествознания, и даже для философии. Понять время... как это много и важно! И вот — не вышло, смерть оборвала и жизнь, и идею.

Загурский опустил боковое стекло до отказа, выставил голову под ветер, потом повернулся к Коломийцу:

— Вы спросите: а что же я сам, разве не смогу? Ведь соавтор. Знаете, может, это от расстройства, но сейчас мне кажется: не осилю. Не того я полета птица... Шур Шурычу было хорошо со мной работать: я умел конкретизировать, воплощать в текст и уравнения его идеи, подчас очень смутные и странные, был честным и дельным оппонентом при обсуждении этих идей. Но сами идеи-то все-таки были его...

Они уже въехали в город, машина, сдерживаемая светочерами, шла медленно и неровно.

— И при всем том я испытываю сейчас одно чувство, вовсе уж странное, — задумчиво, обращаясь будто и не к Коломийцу, молвил Евгений Петрович. — Смирение, что ли? Неспроста мне на ум приходят ранние кончины людей гениальных, от Моцарта до Галуа. Ведь дело, в конце концов, не в том, что кто-то из них был музыкант, другой поэт, а третий и вовсе математик, — это на поверхности, частности. Суть их в том, что каждый из них приблизился, на свой манер, к глубокому пониманию мира и себя. Куда более глубокому, чем прочие люди. К настолько, может быть, глубокому, что это за пределами возможностей человека... Вот и с Александром Александровичем мне почему-то представляется, будто это закономерно, что он умер внезапно именно сейчас, когда подбирался к самой сокровенной тайне материи... что так и должно быть. Странная мысль, а?

— Да, действительно, — озадаченно сказал Стась.

— Но ведь... понимаете ли, исследуя природу, мы обычно разумеем под ней всякие там тела, частицы, звезды, кристаллы — объекты вне нас. Объективизируем природу, как говорят философы. Но ведь материя — это и мы сами. Мы тоже существуем во времени, но не знаем, в чем существуем, как... не понимаем времени ни умом, ни чувствами. Так, может быть, здесь какой-то предел познания мира и себя, который не дано превзойти? Или иначе: дано, но, превзойдя его, нельзя жить?.. Уфф! — Загурский поднял руки, будто сдаваясь, засмеялся. — Наговорил я вам, у самого голова кругом пошла. Не принимайте все это всерьез, Станислав Федорович, это от расстроенных чувств.

Он наклонился к водителю:

— Сверните, пожалуйста, на Пролетарскую. Дом пятнадцать, здесь близко.

У дома довоенной архитектуры, балконы которого почти сплошь заросли диким виноградом, Загурский распрощался, поблагодарил, вышел из машины и скрылся в подъезде.

«Хороший дядька какой, — тепло подумал о нем Коломиец, когда машина отъехала. — Простой, и не подумаешь, что член-корреспондент, научное светило, теперь почти директор института. А я еще со зла хотел его перекрестным допросом помытарить...»

## Глава третья

— *Вы меня сначала обилетьте,  
а потом оскорбляйте!*  
— *А раз вы не обилечены,  
то платите штраф!*

Транспортный разговор

На следующее утро Мельник, выслушав отчет младшего следователя Коломийца, неожиданно учинил ему оглушительный разнос.

— Значит, так просто взял и отдал эти бумаги? — начал он спокойно, только брови Андрея Аполлоновича зловеще изогнулись, делая его похожим на белобрысого Мефистофеля. — Ничтоже сумняшеся, так, значит? Ну, пан Стась, не жда-ал! Ты хоть сам их прочитал?

— Просмотрел. Вроде ничего там нет...

— Нет, вы слышите? — Мельник драматически повернулся к сотрудникам, и те разом осуждающе посмотрели на Стася. — Пришел, увидел, победил... Кай Юлий Коломиец, так, значит, это самое!

— Да не было там ничего, научные записи! — защищался Кай Юлий.

— Ну да, конечно: и в бумагах ничего не было, и в стаканах... Это ж надо — так прозевать стаканы! Сразу следовало изъять их, это же азбука следствия, так, значит! Научные

записи... это Загурский тебе сказал, что научные, заинтересованное лицо, — а сам ты этого не знаешь. Нет, я на вас удивляюсь, Станислав Федорович товарищ Коломиец, я очень удивляюсь: чему вас в институте учили? Ведь читали же вам в курсе криминалистики, что все, что произошло в моменты, непосредственно предшествовавшие преступлению, равно как и объекты, находящиеся в непосредственной близости от места преступления... так, значит, это самое! — Голос Андрея Аполлоновича нарастал крещендо, — ...а особенно предметы, хранящие следы личности потерпевшего или преступника, — все это имеет особый вес для раскрытия такового. Все — в том числе и бумаги с последними заметками покойного. Там одна какая-то строчка может пролить свет!

— Да какового такового?! — чуть не взвыл Стасик. — Нету там никакого преступления! Вы же сами вчера говорили...

— Что я говорил?! Кто из нас выезжал на место происшествия: вы или я?.. И что это за манера прятаться за мнение начальства, что за стремление к угодничеству! От вас, как и от каждого представителя закона, требуются принципиальность, твердость и самостоятельность — так, значит, это самое!.. (И казалось уже, что Андрей Аполлонович не сидит за своим столом, а высится на трибуне в ночной заснеженной степи, а вокруг свишут пули басмачей и рецидивистов.) Станные у нынешнего молодого поколения взгляды: от других требуют принципиальности, а сами... так, значит!

Он помолчал, чтобы успокоиться, затем продолжал:

— Нет, я не утверждаю, что совершено преступление, что смерть была насильственной, так, значит! Но ведь неясно пока, что и как там получилось. Странно все-таки, помер академик в полном расцвете сил... А если собирать улики так, как вы, товарищ Коломиец, собирали там бумаги и стаканы, — так, значит, это самое! — то улик никогда и не будет. Вот вы говорили, что Загурский назвал покойного Тураева «Моцартом теорфизики», так, значит? А в таком случае сам-то Загурский — не Сальери ли?..



Андрей Аполлонович значительно поглядел на Кандыбу и Канцелярова. Те, в свою очередь, со значением переглянулись: «Наш-то Мельник-то — ого-го!..»

— Вскрытие уже было? Где акт?

— Не было еще вскрытия, — угрюмо ответил Стась. — Главный медэксперт вызван в район, вернется во второй половине дня. Без него просил не вскрывать.

— Правильно, чувствует ответственность Евдоким Николаевич. А ты не прочувствовал, не проникся — так, значит! (То, что Мельник снова перешел на ты, свидетельствовало, что гроза миновала.) И схалтурил... Ну ладно: со стаканами ничего не исправишь — а бумаги, пан Стась, до тринадцати ноль-ноль должны быть здесь. Найди пана Загурского, извинись и отними. Ознакомимся, снимем и вернем, пусть хоть в рамочки вставляет, так, значит! Усвоили, младший следователь Коломиец?

— Да.

— Исполняйте. Ух, молодежь нынче пошла. Р-разгильдяи!

У Стасика после этого разговора горело лицо и дрожали пальцы; курить хотелось просто невыносимо. «Затянуться дымком... Думать ни о чем не могу. Главное, за что? Вчера он же сам послал меня просто так, для соблюдения приличий».

...И не понимал он, что в наше время, когда быстрый обмен информацией прищипоривает развитие событий, так же стремительно могут меняться и их оценки. Когда сегодня утром, идя на службу, Мельник увидел в газетах — да не только в местных, но и в центральных — некролог А.А. Тураева (с портретом), да еще увидел, какие подписи стоят под этим некрологом, он крепко призадумался. Ой, не следовало ему вчера высказываться Штерну в том духе, что-де все умрем и нечего из-за смерти академика тревожить прокуратуру! Ой, не следовало ему так легкомысленно напутствовать Коломийца!.. И Андрей Аполлонович решил на-верстывать улущенное.

Стась позвонил в Институт теорпроблем. Ответили, что Евгений Петрович еще не пришел, ждут. Он просил домашний телефон Загурского, позвонил — трубку никто не взял. «Наверное, в пути?» Подождав минут двадцать, снова позвонил в институт. Та же секретарша сказала, что Загурского все еще нет.

— Может, он в другое место направился?

— Нет, Евгений Петрович в таких случаях предупреждает. Видимо, задержался дома.

Коломиец снова позвонил на квартиру — с тем же результатом. «Телефон у него неисправен, что ли? Надо ехать». Начальственный втык всегда предрасполагает человека к двигательным действиям.

На этот раз он добрался до четырехэтажного старого дома на Пролетарской троллейбусом. В подъезде, в который вчера вошел Загурский, Стась нашел в списке жильцов номер его квартиры, поднялся на второй этаж. Там перед обитой черным дерматином дверью с никелированной табличкой «Д-р ф.-м. н. профессор Е.П. Загурский» стоял, задумчиво нажимая кнопку звонка, рослый полнеющий брюнет в парусиновом костюме. Коломиец остановился позади него, залюбовался великолепной, какой-то картинной шевелюрой незнакомца. Просигналив еще пару раз, тот обернулся к Стасю, показав сначала профиль (чуть покатый лоб, нос с умеренной горбинкой, четкий подбородок), а затем и фас. Если бы не мелкое, отражающее сиюминутные заботы выражение лица, голова незнакомца была бы похожа на голову Иоанна Крестителя с известной картины Иванова.

— Вы тоже к Евгению Петровичу? — спросил брюнет интимно, как бы приглашая сознаться в невинном грешке.

— Да.

— Значит, нам обоим не повезло. Что за чудеса, куда он мог деться? Я уже везде обзвонил... — Он снова надолго нажал кнопку; за обитой дверью приглушенно прозвенело — и снова тишина.

— Он что, один живет? — поинтересовался Стась.

— Сейчас да, увы. — Брюнет понизил голос: — Уже три месяца, как жена покинула...

(Коломийцу вспомнились вчерашние слова Загурского о Халиле Курбановне: «преданная женщина... такие бывают только на Востоке» — в них прозвучала непонятая им тогда горечь.)

— Ну все ясно, пошли, — сказал незнакомец. Внезапно он смерил Стасика оценивающим взглядом. — Простите, а ваш визит к Евгению Петровичу не связан с кончиной академика Тураева?

— Связан. Я из городской прокуратуры.

— Даже?! А... Впрочем, полагаю, что в таких случаях излишнее любопытство... э-э... излишне. Я же, позвольте представиться, ученый секретарь Института теоретических проблем Хвощ Степан Степанович. Из института к нему прикатил, к Евгению-то Петровичу. Вы не представляете, что у нас сейчас делается: сплошное уныние и никакой работы. Обращаются ко мне, а я ничего толком не знаю... Ну, будем надеяться, что мы разминулись и он уже на месте.

Они вышли на улицу. Хвощ оглянулся на дом.

— И окна открытые остались, и даже балкон... что значит, мужчина остался без хозяйки! Если дождь с ветром, то воды полная квартира.

Коломиец остановился, почуяв недоброе.

— А где его окна? Вот эти, над подъездом?

— Да. Тут и воров забраться — раз плюнуть.

Сквозь виноградные лианы, покрытые мелкой молодой листвой, блестела стеклами открытая балконная дверь. Залезть действительно было просто: балкон соседствовал с бетонным навесом над подъездом, а забраться на него можно было, встав на фундаментный выступ и подтянувшись на руках. Стасик (радуясь в душе, что наконец-то его спортивные данныегодились на практике) так и сделал на глазах удивленных прохожих. С плиты навеса он прыгнул на край балкона, перемахнул через перила, раскрыл шире дверь, заглянул в квартиру — и сердце сбилось с такта.

Загурский был здесь. Он лежал на тахте у глухой стены — и, как ни малоопытен был следователь Коломиец, но по дорожной неподвижности его позы он понял, что Евгений Петрович не спит, а мертв.

Стась обернулся к ученому секретарю, который стоял на тротуаре, задрав голову.

— Поднимитесь сюда... нет-нет, по лестнице! — И осторожно, стараясь ничего не задеть, прошел через комнаты в коридор открыть дверь Хвошу.

Вместе они вернулись в спальню. Степан Степанович сразу понял, что случилось нечто из ряда вон выходящее, ничего не спросил у Коломийца и только, войдя и увидев своего начальника, молвил севшим голосом:

— Да как же это?..

На сей раз Стась действовал оперативно и по всем правилам, понимая, что дело нешуточное: вызвал по телефону судебно-медицинского эксперта, доложил Мельнику (который от растерянности сказал довольно глупо: «Ну вот видите!..» — как будто случившееся подтверждало его правоту), разыскал дворника и употребил его в качестве понятого; вторым понятым согласился быть ученый секретарь. Протокол осмотра он тоже составлял по всем правилам, описывая казенными словами и периодами и несколько пыльный беспорядок в комнатах, свойственный одиноко живущему занятому человеку (тем более что пыль могла бы облегчить обнаружение следов незаконного вторжения или чьего-то постороннего присутствия, хотя их и не оказалось); и что хрустальная пепельница, стоявшая на придвинутом вплотную к тахте темно-полированном журнальном столике, доверху полна сигаретными окурками с желтыми фильтрами — и на всех окурках наличествовал одинаковый прикус; и что рядом стояла початая бутылка минеральной воды (ее Стась тотчас изъясил для анализа) и лежали *те самые* листки с заметками Тураева, за которыми он приехал; и даже что на стуле возле тахты сложены стопкой две простыни, одеяло жесткошерстяное малиновое и небольшая подушка.

Но на душе у Стасика было тоскливо, слякотно. Вот человек — не абстрактный объект следствия, а знакомый и так ему вчера понравившийся человек: он был огорчен смертью своего блистательного друга и соавтора, озабочен будущими делами и какой-то научной проблемой... о чем бишь? да, о геометризации времени — явно собирался долго жить. И на тебе, лежит в голубой пижаме, закинув на валик тахты красивую седую голову с остекленелыми глазами — и ноги и руки его уже сковывает-подтягивает трупное окоченение. Особенно расстроила Коломийца эта стопка приготовленного постельного белья: Евгений Петрович уснул, так и не постелив себе. И навеки.

Вскорости прибыл медэксперт. Они вдвоем раздели труп, осматривали, фотографировали. Следов насилия на теле Загурского не оказалось; не нашел медэксперт и симптомов отравления.

— Ох как это все!.. — вздыхал и качал пышной иоанно-крестителевской шевелюрой Степан Хвощ, подписываясь под протоколами. — Один за другим!.. Что теперь в институте будет? И мне-то что делать, скажите на милость, я ведь теперь за старшего оказываюсь!..

## Глава четвертая

*ВОПРОС: Если Солнце  
существует для освещения планет,  
то зачем оно освещает и пустоту?*

*ОТВЕТ: На всякий случай.*

К. Прутков-инженер. Рассуждения о Натуре, т. III

Судебно-медицинское вскрытие тел Тураева и Загурского произвели во второй половине дня; в экспертной комиссии участвовал и Исаак Израилевич Штерн. Заключение в

обоих случаях получились почти одинаковыми и подтвердили то, что Штерн с самого начала и предполагал: оба умерли от остановки сердца — причем не внезапной, не паралитической, а просто остановилось сердце, и все. Ни тот, ни другой на сердце никогда не жаловались — и верно, патологических изменений в этих органах не нашли. Загурский умер между четырьмя и пятью часами ночи, пережив своего великого друга и соавтора ровно на сутки. Еще у Евгения Петровича обнаружили легкий цирроз печени; Штерн, пользовавший и его, объяснил, что ранее Загурский пил, иной раз неумеренно (косвенно по этой причине его и оставила супруга), но в последнее время по настоянию Александра Александровича и по его, Штерна, советам бросил.

Анализ окурков и минеральной воды, равно как и все другие предметные исследования на месте кончины Загурского, не дали решительно ничего. Таким образом, ни криминальный, ни анатомический сыск не обнаружил улики, которые позволили бы заподозрить в смерти Тураева и его заместителя убийство, самоубийство или хотя бы несчастный случай. Тем не менее было понятно, что дело нечисто: слишком уж подобными по характеру и обстоятельствам оказались эти две смерти.

— Ну, пан Стась, влез ты в трясину обеими ногами, — сказал Коломийцу Нестор Кандыба, покидая в конце дня комнату. — Теперь думайте, пане. — И добавил голосом Мельника: — Так, значит, это самое!

Стасик сидел над протоколами осмотра, над актами медэкспертизы, над скудными показаниями свидетелей — думал. Каждый умирает в одиночку; как говорил вчера Загурский: «Смерть человека есть завершение его жизненной индивидуальности» — вроде так?.. А вот в данном случае вышло иначе: индивидуальности разные — смерти одинаковые. И не только в сходстве клинической картины дело, а в... в чем? В том, что между этими двумя событиями есть несом-

ненная связь. Какая?.. Ну, были между покойными прочные служебные и житейские отношения: знали друг друга более двух десятилетий, с первого курса МГУ, у них были общие научные интересы, творческое сотрудничество, деловая дружба... Однако из этого вовсе не следует, что если помер один, то непременно должен тотчас умереть и другой. У лебедей так бывает, у брачных пар. Да и то у них вторая смерть имеет характер самоубийства — а здесь явно *естественная* смерть. Словом, это не то. Смертоубийственная связь должна быть более явной, вещественной.

Есть ниточка и вещественной связи: при кончине и Тураева, и Загурского присутствовал один и тот же предмет; не так чтобы уж совсем предмет, но все-таки — бумаги с заметками Тураева. «В чутье Мельнику все-таки не откажешь...» И тем не менее не прав был Андрей Аполлонович, напрасно он распек Коломийца из-за этих листков. При осмотре квартиры Загурского Стасик обнаружил и другие записи на ту же тему, о которой так увлеченно толковал ему Евгений Петрович в машине по пути из Кипени. Это были, вероятно, тезисы научного доклада — отпечатанные на машинке, с пометками, сделанными рукой Загурского. Эти записи, ясное дело, предшествовали предсмертным заметкам Тураева: в них сухо, но достаточно внятно излагалась «проблема времени» в интерпретации покойных соавторов.

Для уяснения задачи геометризации времени, писали они, надо прежде всего четко зафиксировать различия между временем и пространством, или — более строго — между нашими *восприятиями* этих двух наиболее общих категорий действительности:

1) в геометрическом пространстве мы можем перемещаться в любую сторону от начального местонахождения, можем возвращаться в прежние точки; во времени мы перемеща-

емя только в одном направлении, от прошлого к будущему. Можно сказать, что «время несет нас вперед»;

2) пространственные ориентации «вверх-вниз», «вправо-влево», «вперед-назад» индивидуальны для каждого наблюдателя (что верх для нас, то низ для южноамериканцев); понятия же временной ориентации «прошлое», «настоящее» и «будущее» — общие для всех. Это позволяет считать, что все мы увлекаемы куда-то *общим* потоком времени;

3) в наблюдаемом пространстве образы материального мира чередуются весьма разнообразно, по какому направлению ни взглянуть: здания, луг, река, лес, воздух, облака, косметический вакуум, астероиды, снова вакуум, планета... и т.д., и т.п. — то есть по пространственным направлениям концентрация и образы ощущаемой нами материи меняются резкими скачками.

По направлению же времени мы наблюдаем, как правило, достаточно долгое, устойчивое существование объектов и плавное, медленное изменение их свойств (собираются или рассеиваются облака, исчезает снеговой покров, зеленеют деревья, повышается или понижается уровень воды в реке...). То есть если рассматривать материальные образы как *конечные события* в пространстве-времени (что на самом деле и есть), то окажется, что все предметы-события сильно вытянуты по направлению времени; это позволяет рассматривать их как некие «струи» в потоке времени. В субъективном же плане время оказывается просто *направлением* нашего (и всех окрестных тел) *существования*;

4) нашему сознанию трудно свести категории «пространства» и «времени» к чему-то единому из-за чисто наблюдательной специфики: в пространстве мы *видим, слышим, обоняем, осязаем* — во времени же мы этого не можем, а можем *вспоминать* прошлое и *вообразить* (вариантно представить) будущее. То есть дело сводится к тому, что мы воспринимаем время иными «органами чувств», нежели пространство: памятью и воображением. Эти органы *разумного* восприятия



мира (у людей они развиты явно сильнее, чем у животных) никак не менее важны, чем глаза, уши и нос: без памяти невозможно наблюдение, сопоставление, обобщение, без воображения — предвидение и творчество.

Кроме того, им, как и пространственным органам чувств, свойственны искажения и ошибки (ложное предсказание, например, уместно сравнить со зрительным миражем). В силу этих сопоставлений нам следует рассматривать память и воображение как органы чувств, *необходимые* — наравне со слухом, зрением и т. п. — для ориентации в пространстве-времени, а по информационной природе как *родственные* им: отличие «зрения» от «памяти» или «слуха» от «воображения» не больше, чем различия между «зрением» и «слухом».

Таким образом, заключали Тураев и Загурский, вскрывая различия между пространством и временем и между нашим восприятием их, мы неожиданно обнаруживаем глубинное родство этих категорий. Если бы мы, как наблюдатели, располагали некими обобщенными, безличными к координатной ориентации органами восприятия, сочетающими свойства зрения-слуха и памяти-воображения, то посредством их мы явно воспринимали бы не отдельно трехмерное пространство и отличное от него существование-течение во времени, а *четырёхмерное*, в простом геометрическом смысле, материальное пространство. Математическое описание всех явлений при этом бы сильно упростилось, а понимание природы вещей в такой же степени возросло.

Станным было первое впечатление Коломийца от этих тезисов, неуютное какое-то: холодный ледяной блеск академической мысли, беспощадной в своем поиске истины. А впрочем; конечно, занятно, прочти Стась такое где-нибудь в «Знании — сила» или в «Клубе любознательных» «Комсомолки», то непременно бы молвил, покрутив головой: «Н-да... во дают все-таки наши ученые! Это ж надо додуматься!» Но сейчас направление его мыслей было иным: эти

тезисы позволяли лучше вникнуть в последние записи Тураева. Коломиец еще раз перечел их. Нет, как ни смотри, это чисто научные заметки в развитие той же идеи геометризации понятия «время» — и не более. Ну, правда, написаны как бы для себя — отрывочно, местами смутно, с лирическими отступлениями, даже с местоимением «я» вместо общепринятого в научных статьях «мы» — с человечинкой: индивидуальность писавшего чувствовалась отчетливо. Но, главное, ни в одной из предсмертных записей академика не было даже и косвенных намеков на какие-то личные передряги, сложные взаимоотношения, потаенные заботы — мысли и только мысли. О времени, пространстве, материи, жизни мира, о восприятии этого человеком, лично автором записей. И все. «Нет, не прав был Мельник, зря наорал на меня... Э, что я все на это сворачиваю: кто прав, кто не прав! Обида заела? Сейчас не до нее. Пока неясна картина, все не правы». И все-таки линия связи двух кончин, Стась это чувствовал, проходила через проблему, которую они оба, Тураев и Загурский, пытались решить; в частности, через эти бумаги. Какое-то тревожное впечатление оставляли заметки Тураева. Какое?.. Словами Коломиец это выразить не мог. Прозвенел телефон на столе Мельника.

Стасик подошел, взял трубку:

— Горпрокуратура, следователь Коломиец слушает.

— О, славно, что я вас застал! Это Хвощ беспокоит. Я вот о чем: когда мы сможем забрать тела Александра Александровича и Евгения Петровича? Их ведь обрядить надо... Меня, понимаете ли, председателем комиссии по похоронам назначили.

— Уже можно забирать, родных и организацию должны были об этом известить.

— Не известили меня. Значит, можно? Ясно. Ну а... — ученый секретарь замялся на секунду, — обнаружили уже что-нибудь?

— Нет, ничего, — сухо ответил Коломиец.

— Я ведь, поймите, не по-обывательски интересуюсь. Здесь у нас такие разговоры, слухи... Надо бы общественность проинформировать, успокоить.

— Проинформируйте, что нет оснований кого-то в чем-либо подозревать, — это вернее всего... — Тут Стася осенила мысль. — Вы из дому звоните, Степан Степанович?

— Нет, я еще в институте.

Институт теоретических проблем — серо-голубой бетонный параллелепипед, разлинованный полосами стекла и ребрами алюминия и позолоченный слева лучами заходящего солнца — украшал площадь Героев Космоса в центре города. В вестибюле Стась увидел два траурных плаката с портретами Тураева (покрупнее) и Загурского (поменьше). Хвоща он нашел на втором этаже в кабинете с табличкой — серебром на малиновом фоне — «Ученый секретарь». По сравнению с утренним своим видом Степан Степанович сейчас выглядел похудевшим и озабоченным. Левый рукав того же полотняного костюма украшала траурная повязка. На столе перед ним стояла пишущая машинка, и он бойко выстукивал на ней текст.

— Некролог на Евгения Петровича, — прояснил Хвощ. — Еще визировать надо, он ведь тоже в центральные газеты пойдет. Садитесь. — Он указал на стул, отодвинул машинку. — Вы не представляете, что у нас сегодня творилось, сплошная драма. Восемь сотрудников отправили домой из-за сердечных приступов, инфарктную «неотложку» загоняли. Из этих восьми у пятерых раньше сердце никогда не шалило... так подействовало. Женщины плачут, вокруг уныние, растерянность. Директор и его первый зам один за другим, это ж надо!.. Простите, я отвлекся: о чем вы хотели поговорить?

— Да все о них же. Прежде всего нельзя ли познакомиться с личными делами Тураева и Загурского?

— Можно, конечно, только сейчас в отделе кадров уже никого нет. Завтра подъедете или пришлете кого-нибудь.

— Так... А кто еще, кроме них, был причастен к разработке проблемы времени?

— Проблемы времени?.. — Степан Степанович потрогал пальцем щеку, задумчиво возвел и опустил очи. — Если иметь в виду тот аспект, что придал ей Александр Александрович: сведение пространства и времени в единый четырехмерный континуум... вы это имеете в виду? — Стась кивнул. — ...то только они двое и занимались. Первая стадия самого что ни есть глубинного поиска, техническим исполнителям в ней делать нечего. Если говорить еще точнее, то занимался этим, вел тему сам Тураев. Мыслью никто за покойным Александром Александровичем угнаться не мог, это все мы сознаем и об этом ныне скорбим. Без академика Тураева-младшего наш институт превращается в заурядное академическое заведение и, боюсь, ему грозит скорый закат... — Он вздохнул. — Люди теперь начнут уходить, вот увидите.

— А если бы был жив Загурский, институту не грозил бы закат? — поинтересовался Стась: его задело, что Хвощ молчаливо отодвигает симпатичного ему Евгения Петровича на задний план.

Ученый секретарь поиграл бровями, дернул правым, затем левым углом рта — и ничего не ответил.

— Нет, а все-таки, — настаивал Коломиец. — Ведь насколько я понимаю, они были равноправными соавторами, один без другого не обходился.

— «Насколько вы понимаете!» — ядовито произнес Хвощ. — «Равноправными соавторами»!.. Равноправными — да, но не равновозможными. Между тем не права, а именно возможности человека к творчеству определяют его *реальную* роль в науке и реальный вклад! — Степана Степановича прорвало. — Александр Александрович был талант, может быть, даже гений... хотя о таких уровнях интеллекта я судить не берусь. Ученые старшего поколения, сотрудничавшие с

ним, называли его знаете как? — одаренный лентяй. Он таким и был, сам говорил, что предпочитает выдумывать свои теории, а не изучать чужие, — пусть его учат. И учили! И долго еще будут. А Загурский... что Загурский! Неспроста ведь в нашем институте — да не только в нем, вообще в физических кругах — гуляет афоризм: «Не у всякого Загурского есть свой Тураев, но у каждого Тураева есть свой Загурский». И если смотреть прямо, то исключительная позиция, которую занимал Евгений Петрович в работе с Тураевым, во многом получалась не из-за его талантов, а благодаря умению корректно, но старательно оттеснять других от творческого общения с Александром Александровичем. Не хуже его!.. — Хвощ покосился на недопечатанный некролог, помолчал, потом сказал спокойным голосом: — Оно, может, и неуместно сейчас так говорить — ну, да ведь вам нужны не успокоительные религии, а знать все как есть.

«Все как есть... вот и знаю обойденного Загурским соперника. Ну и что? Загурский оттер Хвоща, да, видимо, не только его. Обойденные недоброжелательствовали, интриговали... но ведь не до покушения же на жизнь, в самом-то деле! Нет, не то».

— А за границей занимаются этой проблемой? — сменил Стась направление беседы. — Где, кто именно?

— Конечно. Но «где, кто именно» — определить трудно. Понимаете, вопрос: что есть время, какой объективный смысл имеет наше существование во времени? — он вечен, как... как само время. Был такой Августин, раннехристианский философ, канонизированный потом в святые... («Как меняется человек!» — поразился в душе Коломиец. Придя сюда, он застал захлопотавшегося администратора, потом наблюдал околонаучного делягу, брызжущего желчью на покойного конкурента, а сейчас перед ним сидел четко мыслящий и уверенный в своих знаниях ученый.) Так он писал: «Пока меня не спрашивают о времени, я знаю, что это такое. Но когда мне надо объяснить, то я не знаю,

что такое время!» И, знаете, за тысячу с лишком лет с той поры, как это сказано, дело мало продвинулось: чувствами понимаем, словами выразить не можем. А для науки надо бы не только словами, но и еще покрепче — логикой, уравнениями. И... в общем, сейчас проблемой времени занимаются так или иначе все теоретики, включая сюда и философов, и даже теологов. Есть много направлений: одни ищут кванты времени, другие пытаются объяснить его свойства через энтропию и ее возрастание в нашем мире, третьи усматривают во времени вселенскую энергию особого вида... Направление, по которому пошел Александр Александрович: объяснить свойства времени через свойства пространства — оригинальное и, по-моему, наиболее перспективное. Отсюда близко и до общей теории материи.

— А что дало бы разрешение этой проблемы в плане практическом? Для военного применения, например?

— А, вон вы к чему! — Степан Степанович опять коротко дернул сначала правым, затем левым углом рта. — Понимаете, это будет зависеть от того, какой она окажется, природа времени, найдут ли доступные воздействию его свойства. Вряд ли, я думаю, удастся здесь что-то использовать: время — категория всеобщая. Не уран и не тритий. Да и само установление природы его — дело неопределенно далекое... Так что, — Хвощ тонко улыбнулся, — вряд ли стоит предполагать в этих печальных событиях диверсию.

— Да я и не предполагаю, — покривил душой Стась, ибо он это предполагал и теперь был разочарован. «Ну никакого тебе просвета, никакой щелочки! Что ж, надо говорить напрямую». — Степан Степанович, а вы сами знакомы с проблемой, над которой работали Тураев и Загурский, с их идеями?

— Да, в той мере, в какой они не делали из этого тайны, выступали на ученом совете с предварительными сообщениями. У меня даже возникли свои соображения на этот счет — но поделиться ими, увы, теперь не с кем.

— Буду говорить откровенно, меня к вам привели вот эти заметки Загурского и Тураева. — Коломиец раскрыл портфель, выложил тезисы и листки. — Я, понятно, не берусь утверждать, что эти бумаги причастны, скорее всего дело объясняется простыми причинами, но... во всяком случае, это единственная информационно-вещественная, что ли, ниточка между двумя событиями-кончинами... странными и в то же время похожими... — Стась чувствовал, что говорит ужасно неубедительно, закончил он совсем беспомощно: — Понимаете, я просто не имею права не проверить... эту ниточку, есть ли связь.

— Какая связь, в чем она? — Хвощ бегло просматривал листки.

— Не знаю, может, я ошибаюсь, домысливаю... здесь у меня, как у того же Августина... Вот и выскажите, пожалуйста, свое мнение о содержании этих заметок. Надо же нам как-то закруглиться с этим делом... («И зачем мы только в него влезли!» — чуть не добавил Стась в порыве досады.)

— Что ж, можно. Это можно... — рассеянно проговорил ученый секретарь и, долистав, отложил в сторону тезисы, найденные у Загурского. — С этим я знаком, в прошлую пятницу Евгений Петрович излагал все на расширенном ученом совете. Их заберите, пожалуйста. А вот последние записи Александра Александровича... — он быстро и жадно забегал глазами по строчкам, — они... гм, черт! Вот это копнул!.. Так-так... — Хвощ встал, наклонился над листками, расставив ноги, погрузился в чтение, приборматовал только время от времени: — Да-да... ух! Это же совсем новый поворот. Ну уж... а впрочем... это проливает свет!

— На что проливает? — напомнил о себе Стасик.

— А?... — Степан Степанович поднял на него глаза — в них была отрешенность и блеск одержимости; Коломийцу стало не по себе: перед ним опять был новый человек. — Так вы хотите получить заключение? Я берусь. Завтра вас устроит?

— Вполне.

— Итак, завтра в конце дня позвоните. И большое спасибо, что принесли мне это. Огромное спасибо!

Коломиец простился, не совсем понимая, за что его так благодарят, и вышел. И пока он шагал по сизо-сумеречной площади к остановке троллейбуса, его постепенно охватывало сомнение, тревожное сознание допущенной ошибки («В чем?!» — недоумевал Стась), а за ними и тоскливое предчувствие беды. В троллейбусе оно обострилось так, что в пору была завывать, как собаке о покойнике. «Да что такое? Не следовало давать эти бумаги Хвощу? Почему?! Вернуться, забрать?.. Э, вздор, нельзя так поддаваться настроению».

Ночь Коломиец проспал беспокойно, а утром по дороге на работу, не утерпев, позвонил из автомата на квартиру Хвоща. Выслушав, что ему сказали, он повесил трубку мимо рычажка, вышел из будки и двинулся, бессмысленно глядя перед собой. Окрестный пейзаж вдруг предстал перед ним негативом: черное небо, на фоне которого белесо выступали расплывчатые тени домов, деревьев и прохожих. Степан Степанович Хвощ скончался этой ночью в три часа. Врачи установили инсульт, кровоизлияние в мозг.

Стасик чувствовал себя убийцей.



# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## Кто четвертый?

### Глава первая

*Надо быть объективным, надо быть терпимым. В конце концов, с точки зрения вирусов гриппозный больной — идеальная среда обитания.*

К. Прутков-инженер. Мысль № 90

В двенадцать часов в следственном отделе собралось спешное совещание. Председательствовал Мельник. Когда Коломиец доложил ему о последней кончине, Андрей Аполлонович схватился левой рукой за сердце, правой за голову и потребовал докладную по всей форме. Сейчас он, не слишком отклоняясь от текста представленной Стасиком записки, изложил сотрудникам все дело, начиная от звонка из Кипени.

— Вот так, значит, это самое! — закончил он информативную часть своего выступления. — Три покойника за трое суток. И какие люди: академик с мировым именем, член-корреспондент и доцент, ученый секретарь — головка института. Нет, я, конечно, далек от мысли, что все так получилось в результате небрежности и упущений в работе младшего следователя Коломийца... хотя и без таковых не обошлось. Кто знает, если бы вы, Станислав Федорович.

провели сразу на месте тщательное расследование, собрали факты — так, значит! — то дальнейшее развитие событий было бы не столь трагичным...

Стасик смотрел на шефа в упор укоризненно-тяжелым взглядом. Мельник не выдержал, опустил глаза.

— Ну-ну... в какой-то степени и я здесь виноват: не дал пану Стасю четких указаний, когда направлял его в Кипень, понадеялся на его самостоятельность. Но если, отдав предсмертные записи Тураева покойному Загурскому, Коломиец и отступил от правил... так, значит! — то в случае с Хвощом он поступил в соответствии с законной практикой расследований. Я бы и сам порекомендовал ему дать заметки на заключение ученым. Однако после прочтения их Хвощом Хвоща не стало...

— После этого еще не значит «вследствие этого», — заметил Кандыба. — Да и вообще у Хвоща иная картина смерти, чем у тех двоих, кровоизлияние в мозг.

— А по свидетельству того же Штерна, лечащего врача, у него не было предрасположений к инсульту, даже повышенного давления не имел — так, значит! — парировал Мельник. — Да и кровоизлияния в мозг так просто не случаются. Это первое. Теперь второе. Я не хочу углубляться в теорию причинности — так, значит! — но когда имеешь дело с малоисследованными фактами, то четко разделить, где два факта связаны причинно, а где просто совпали, невозможно. Это каждый опытный юрист должен понимать. Взаимосвязь в таких случаях вскрывается при многократном повторении, статистикой — так, значит! Лично я не прочь бы проверить интересное предположение, которое Станислав Федорович высказывает в своей докладной, на большом числе фактов, скажем, на сотне-другой... если бы речь шла о мошках, а не о людях. Тем более о таких людях — так, значит, это самое! А посему никуда не денешься: как рабочую версию приходится допустить, что кончины Загурского и Хвоща — а возможно, и самого Тураева — имеют своей при-

чиной эти вот записи академика! — Он потряс листками. — Я понимаю, насколько это дико звучит, но иных связующих фактов в деле нет.

— Ну знаете! — развел руками Кандыба.

Инспектор ОБХСС Бакань опасливо взял листик:

— Это что же, прочтет человек — и с копыт?

— Да нет, читайте на здоровье, Алексей Игнатьевич, не опасайтесь! Я сам прочел, вот товарищ Коломиец тоже...

— Два раза, — вставил Стасик.

— Вот, пан Стась дважды даже, так, значит... и ничего. Оба живы-здоровы, даже не пошатнулись в рассудке. А все почему? Мы не специалисты, восприятие не то. Вот я читал, что чувствовал? Ну, интересно, как это академики теории создают... я думал, сразу формулы пишут, уравнения... так, значит! — а у него там одни фразы. Интересные вроде бы мысли. А насколько они верны, насколько нет, да и что там к чему — в это мне проникнуть трудно, да, по правде сказать, не очень-то и надо. Что мне Гекуба, так, значит!.. А когда читает соответствующий специалист, он... ну, вживается в образ мышления писавшего, что ли? Не знаю... — Андрей Аполлонович обвел глазами собравшихся. — Чувствуете, какой заколдованный круг получается? Чтобы понять, почему и как эти записи Тураева послужили причиной смерти его коллег, надо дать их на экспертизу ученым, исследующим пространство-время — так, значит? А дать им эти бумаги — значит подвергнуть их, как это четко показал случай с Хвощом, смертельной опасности. А оставить дело без расследования нельзя: серия смертей со столь странной взаимосвязью требует как объяснения, так и принятия мер пресечения. Вот... Кто имеет конструктивные мнения, прошу высказываться.

Сотрудники молчали — молчали с явным намерением отсидеться и разойтись, вернуться к своим делам. Это были опытные, искушенные работники сыска, и они понимали, что случилось редкостное по своей исключительной безнадёжности дело. Какие тут могли быть конструктивные идеи!

Только одна: ждать. Ждать, пока что-то еще обнаружится, а если не обнаружится, то ждать дальше, пока эта история скроется с глаз под грудой новых дел, забудется и уйдет в архив. Собирай иль не собирай для порядка совещания, это ничего не даст.

Бакань дочитал листки, молвил: «Да, действительно...» — и положил. Старик Канцеляров, всегда старавшийся выручить начальство и к тому же сильно уважавший науку, взял один листик, повертел в руках, взглянул на просвет — и спросил Мельника:

— Может... на спектральный анализ их дать, а?

— Та-ак, один высказался, — грустно комментировал тот. — Кто следующий?

— Может, там шифровка какая-то? — столь же наобум брякнул Кандыба. — Коды?

— Именно что шифровка, Нестор Семенович, — подхватил Мельник. — Только не в тривиальном детективном смысле, а в ином: идеи и знания, воспринимаемые людьми, в этом вопросе достаточно компетентными, и не воспринимаемые, или, скажем иначе, безразличные всем иным. Так, значит? Вот эти идеи и воздействовали на потерпевших, а возможно, и на автора их — как... — Андрей Аполлонович замолк, в затруднении повертел пальцами. — Действительно — как?

— Как психический яд, — сказал вдруг Стась.

— Возможно. Это уже нечто, так, значит! — Мельник одобрительно кивнул Коломийцу, затем устремил свой пронзительный взгляд в дальний угол комнаты, где поодаль от всех сидел худощавый мужчина с нервным надменным лицом — судпсихиатр Никонов. — А почему безмолвствует наш выдающийся специалист по судебной психиатрии? Кирилл Романович, это ведь по вашей части: существуют психические яды?

Теперь все смотрели на Никонова. Тот опустил глаза, поднял кустистые брови, лоб его наморщился.

— И да и нет, — ответил он. — Как образное понятие. И то скорее в беллетристике, чем в психиатрии. Например, массовая реклама. Или поп-музыка. И тому подобное. Их именуют «психическими ядами», оболванивающими массы потребителей. Но... но! — от этого еще никто не умер. Реальные же яды, которые расстраивают здоровье и психику, медикаментозны. А не информационны.

— Понятно, — сказал Мельник. — А какое ваше мнение по существу данного дела? Уж вам-то грех отмалчиваться, Кирилл Романович, я на вас сильно рассчитываю.

Никонов, не поднимая глаз, чтобы не видеть немилых его сердцу сотрудников следственного отдела (они его вышучивали), потянулся через стол, придвинул папки с личными делами Тураева, Загурского и Хвоща, раскрыл, стал сравнивать фотографии. Воцарилась тишина.

— Ага... Вот у этого есть, — пробормотал судебный психиатр. — И у этого. Правда, не столь выражена.

— Что — есть? — нетерпеливо подался к нему Мельник.

— Складки Верагута. На обоих, между прочим, глазах.

— Где? Где? — оживились сотрудники, сгрудились около Никонова, рассматривали фотографии. Действительно, верхние веки и у Тураева, и у Загурского имели характерные для людей с психически восприимчивой, ранимой натурой складки, скошенные вниз и к вискам.

— Верно. Смотри-ка, а мы и не заметили, — сказал Кандыба.

— А вот у Хвоща нет, — сказал Стась.

— Так ведь Хвощ умер от инсульта, а они — так, — сказал Бакань.

— А на паспортной так вроде и у Хвоща есть, — сказал Канцеляров. — Или это ячмень, а, Кирилл Романович? Не разберу.

Никонов молчал, только зыркал на всех исподлобья затравленно. Он знал эту игру коллег: делать из психиатра психа.

— Пойдите, пойдите, — сказал Мельник. — Ну, складка Верагута... и что?

— Штрих, — сказал Никонов. — Натуры.

Нестор Кандыба первый с улыбкой заплодировал. К нему присоединились и другие.

— Ну чего вы, чего! — огрызнулся судпсихиатр. — Что я такого сказал?..

— Та-ак! — Андрей Аполлонович яростно хлопнул по столу; все притихли, разошлись по местам. — Все ясно, рады случаю развлечься и отвлечься от этой задачи — так, значит! Ни черта вы в ней не можете сообразить, потому что это вам не магазинные хищения, не насилия и не прочая уголовщина. Не доросли вы, граждане, до интеллектуальной криминалистики — так, значит, это самое! Впрочем, не стану скрывать: и я тоже... — Он помолчал, вздохнул, повернулся к Коломийцу. — Что ж, пан Стась, сочувствую, сожалею, переживаю, но помочь не в силах. Дело остается на тебе. Хоть сам изучи все теории о пространстве-времени — так, значит! — но выясни, в чем убийственная сила этих бумаг. И покойников, само собой, больше быть не должно. Все!

После перерыва Коломиец ушел в парк имени Тактакишвили, ушел от сочувственных взглядов одних сотрудников и иронических — других, бежал от тягостного сознания своей беспомощности. Справа от его скамьи был пейзаж с киоском и двумя только зазеленевшими акациями, слева — пейзаж с чертовым колесом и каруселью, позади несла воды, катера, пятна нефти и окурки река Катагань.

«Уволюсь, брошу все, не по мне это занятие! Я плохой следователь, факт. Первое серьезное дело, и уже два покойника на мне. На мне, на мне — потому что не сообразил, не раскрыл... То ли ума недостает, то ли характера? И того и другого, видимо... Ну а теперь-то что делать? Все верно, иные варианты, кроме как с «психическим ядом», отпадают. Но в чем он, этот яд?»

Стась раскрыл портфель, достал листки с записями Тураева — четыре четвертушки с красным обрезом, исписанные нервным, бегущим почерком. Теперь от них на него пахло могильным холодом. «Ну, попробуем еще».

...Искушенный читатель мог заметить, что автор упустил уже по крайней мере три удобных места в своем повествовании, где можно было бы изложить тураевские заметки. По правде сказать, он охотно упустил бы и все остальные — но нельзя, не получается. Тем не менее, поскольку автор ничуть не заинтересован в уменьшении читательского поголовья, он от души рекомендует читать приводимые ниже записи — во всяком случае, по первому разу — бегло, не углубляясь в их суть. («Читай ты эти клятые бумаги, только не вникай!» — как советовал своему приятелю один чеховский персонаж.) А то, не ровен час, и в самом деле не удастся иному читателю благополучно дойти до конца этой истории. А уж коль скоро удастся, то можно будет и перечесть — с чувством, с толком, проникая в самые глубины мысли и духа покойного академика.

«Постигнуть можно мир, постигнуть можно жизнь — но как постигнуть то, чем постигаешь?..» — записал Тураевверху первого листа. И Коломиец представил, как он ходил по кабинету в дачном мезонине — от дивана к фикусу мимо стола и книжных стеллажей, потом обратно от фикуса к дивану, курил, морщил от дыма и размышлений тонкое бледное лицо; потом останавливался у стола, записывал одну-две фразы, снова ходил или стоял у окна, смотрел на темный лес за белесо-туманными прудами — и думал, думал, думал...

«Попробуем с самого начала. Мир существует в пространстве (это три измерения) и во времени (еще одно). Всего четыре измерения, что бы под ними ни понимать. Начало

координат в пространстве — это «я», Начало координаты во времени — настоящее; следовательно, ориентация и отсчет в четырехмерном мире идет от «я сейчас» моего состояния в настоящий момент.

Утрамбовано.

Мы часто пишем, говорим: представим себе то-то... Это не означает, что мы всегда можем все представить, чаще это означает, что мы можем произнести такие слова. Например: «Представим себе четырехмерное пространство...» — и не выйдет. Двухмерное, поверхность — пожалуйста; трехмерное — труднее, но можно. А дальше никак. А надо бы.

Можно вот так: отбросить одно из пространственных измерений и представлять себе «трехмерное пространство-время». В принципе это ничего не меняет. Только себя тогда надо представлять двухмерным, обитающим в плоскости.

Вот за моим окном и за забором — удобный объект для такого рассмотрения: засохшее дерево. Сейчас и не угадаешь, что это было: липа, ветла или, может быть, вяз? Оно давно такое, еще как мы сюда приехали, и я не первый день к нему присматриваюсь, даже хотел обратить внимание Е.П., но как-то все к слову не пришлось. Так сказать, дерево в общем виде: ствол, от него отходят крупные ветви, а от них оттопыриваются средние и мелкие — и все они более или менее прямые, все устремляются вверх, хотя уже лишены побегов, почек и листьев. Сейчас его освещают уличные фонари и свет из окна.

Итак, пусть я двухмерный: моя «пространственная» плоскость горизонтальна и пересекает ветви дерева, а «время» мое ориентировано по его стволу, по вертикали — «прошрое» выше, «будущее» ниже. Что я буду воспринимать-наблюдать и какие сделаю выводы?





Места пересечения моей плоскости (моего «настоящего») с ветками я буду воспринимать как двухмерные *тела* — крупные и мелкие, круглого или эллиптического сечения — в пустом пространстве. Далее понаблюдав, я установлю, что эти «тела» *движутся* как относительно меня, так и друг относительно друга в самых разных направлениях: одни (сечения тех веток, что круто отходят от ствола) с большей скоростью, другие — с меньшей. И в общем-то — это первое обобщение — соблюдается Галилеев принцип: «тела», будучи предоставлены сами себе, движутся прямолинейно и равномерно.

Но... понаблюдав еще (моя плоскость все перемещается вниз, в «будущее»), я замечу, во-первых, что общий характер движения тел таков, что они *сближаются* и даже *сталкиваются*, при этом получаются сплошь «неупругие соударения» (с соответствующей картиной деформации «тел» — их сечения в месте слияния веток), заканчивающиеся слипанием двух тел в одно, а во-вторых, скорости и траектории «тел» в таких сближениях соответствующим образом *меняются*; особенно это заметно у крупных «тел» — толстых ветвей, которые, перед тем как сойтись в одну, изгибаются... и явно же по параболам! Все это можно обобщить только так, что здесь существует *поле тяготения*... к стволу. (Пардон, к большому круглому «телу».)

...Мне что-то не по себе уже от этих соответствий. Тем более что причинная-то картина совсем другая, дерево растет и ветвится *снизу вверх*.

Впрочем, великая наука Механика с причинностью вообще не в ладах — настолько не в ладах, что школьный парадокс: почему, если действие равно противодействию, лошадь тянет телегу, а не телега — лошадь? — она не объясняется. Кормят хорошо, вот и тянет... Эта «беспричинность» механики и позволяет считать ее частью геометрии.



Но вернемся в двухмерность, ведь открытия еще не все. Понаблюдав за этими «неупругими соударениями тел», нетрудно открыть еще два закона. Во-первых, закон сохранения масс: масса — площадь сечения ветви — после соударения-слияния двух «тел» равна (ну, с какой-то погрешностью измерений...) массам-сечениям соударившихся тел. Во-вторых, что еще серьезнее, закон сохранения *количества движения*! Он ведь просто бросается в глаза: когда тоненькая ветка (малая масса) сходится с толстой, то направление результирующей почти такое, как и было у толстой, — а две примерно одинаковые ветви сливаются в такую, что идет по равнодействующей, направление которой зависит и от сечений — «масс» ветвей.

Итак, принцип Галилея и законы Ньютона... неплохой улов. (Постой, здесь можно замахнуться и на Эйнштейна: ведь сечение — «масса» увеличивается, чем круче отходит ветвь от ствола, то есть с чем большей скоростью движется двухмерное «тело»; это же его закон об увеличении массы тела с приближением его скорости к световой!..)

Но пока оставим это. Дело не в том.

А в чем?

...Движение реальных тел в нашем мире не только поступательное, оно богаче. Здесь и вращения — особенно больших и «круглых», кои преобладают в мироздании — вокруг себя и вокруг других тел (но в растительном мире есть лианы или всякие там «крученые панычи» — они выются по спиралям около стволов и ветвей... в двухмере это и выглядит вращением), и колебания, пульсации, вихрения. И соударения их не только неупругие, но бывают и упругие с обменом импульсами и последующим расхождением в пространстве (касающиеся ветви разных деревьев?..), а если

и неупругие, но необязательно такие, что завершаются слипанием — чаще наоборот, с разлетающимися осколками... но ведь это получается *тоже ветвление* в пространстве-времени? Гляди-ка, не могу уйти от этой аналогии!

Да и то сказать: ведь все крупные тела во Вселенной образовались от схождения и слипания мелких, кои передавали и все свои импульсы, тем создавая вращательно-поступательные движения планет, их спутников, звезд.

А в конце времен «дерево траекторий» снова заветвится, растопырится... Так что от этой аналогии не уйдешь. От нее и не нужно уходить. Она — еще одно подтверждение геометричности механики, а тем самым и времени. Дело не в том...

А дело вот в чем. Наблюдая «тела» — сечения ветвей — и их «движения», я-двухмерный вырабатываю подходящие к картине понятия (скорости, массы, траектории, силы, импульса...), прихожу к их обобщению — не обязательно в словах и формулах — и заключаю все идеей *о возможности воздействовать* на ситуацию. На движение тел. Можно-де к вот этому, проносящемуся близко, приложить свою силу или подставить какое-то тело — и тогда оно изменит траекторию и не встретится с тем крупным кругляшом, с которым сейчас, без моего воздействия, может столкнуться.

*Но дерево-то уже выросло, есть!..* Будущее уже существует.

То, что я-двухмерный воспринимаю как динамику, на самом деле статика.

А я-трехмерный? А мы-трехмерные?..

«Движения нет», — сказал мудрец упрямо.  
Другой смолчал и стал пред ним ходить.  
Сильнее бы не смог он возразить...

Первый мудрец — это Зенон, который в развитие идей своего учителя Парменида ловко доказывал, что быстроногий Ахиллес не догонит черепаху.

Нет, что вы, конечно же, догонит и перегонит, мы же это видим!.. Ах, милое относительное движение, которое мы *видим*! Мы, например, видим, мчась в поезде, как пейзажи по обе стороны колес как бы поворачиваются, далекие предметы обгоняют близкие; но ведь ничего там не поворачивается и не обгоняет — земная поверхность цельна и тверда. А летящий в небе самолет из поезда может казаться неподвижным. Вот тебе и «смолчал и стал пред ним ходить»!

Два с половиной тысячелетия наука обходит стороной эти непровергнутые Зеноновы парадоксы. Обтекает, делает вид, что их нет. Создает механику, паровые, электрические, ракетные двигатели, объясняет перемещения небесных тел... хотя сам факт движения теоретически сомнителен.

Но слабина рано или поздно обнаруживается. Вот и выходит, что чувствуемое нами движение — самообман. В четырехмерном пространстве-времени, обозримом мыслью, движения нет.

Что же есть? Иллюзия материальной суеты?..

Мир существует во времени точно так же, как существует и в пространстве: весь сразу. Как цельный образ. Что же тогда есть наше течение жизни?.. Четвертое измерение — время — обозримо мной (как и всеми) только в одну сторону от «я-сейчас», в прошлое. Будущее нам неизвестно и в туманной размытости своей представляется многовариантным: могу поступить так — могу иначе, то-то может случиться — а может, и нет?.. Но любое будущее приближается, становится настоящим, а затем и прошлым. Притом из всех возможных вариантов реализуется один, остальные отпада-

ют: все события жизни выстраиваются в однозначную последовательность.

...Нить жизни только протягивается через игольное ушко настоящего — но она такая же впереди, как и позади его.

Постой, а этот бедняга, я-двухмерный, который самонадеянно пытается сместить «тело» (не зная, что это лишь ветка уже выросшего дерева) и тем изменить мир, — он-то что такое?

А все то же, ветвь от такого же (может быть, даже от того самого) дерева. И все его усилия-действия суть оттопырившиеся от него веточки и побеги в пространстве-времени. Он только не знает, что они уже выросли.

...Постой, но ведь получается, перемещаем тела! *Что* получается?

Иллюзия деятельности, возникшая из иллюзии динамичного мира — из незнания будущего. А чувства все наши, связанные с этим, наполняющие нашу душу и нашу жизнь, — они что?! Они — чувства, вот и все. Материя дана нам в ощущениях (не в действиях!), но никто еще не доказал, что она нам *правильно* дана.

Но... стоп! Ведь это явно противоречит сознаваемой мною (как и каждым) возможности выбора: я могу нарисовать загогулину под этой записью (ниже действительно было нарисовано шариковой ручкой нечто вроде скрипичного ключа), могу лечь на диван... могу выпрыгнуть в окно, наконец. От каждой точки «я-сейчас» идет много путей — выбирай любой!

Выбираю я или мне это кажется? Это надо знать достоверно, ведь в выборах и во всем, с ними связанном, — в

прикидках, колебаниях, мечтах, азарте надежд и ожиданий...  
вся жизнь!

*Моя это жизнь? Или...*

Переход тел от одного состояния к другому — в том числе и в пространстве-времени — определяет «принцип наименьшего действия». Образом его может быть текущая по неровной поверхности вода: от каждого данного места найдется по какому-то направлению наибольший уклон — пусть малый, но чуть покруче всех соседних. По нему-то и направится поток. Воде может показаться, что она «выбрала» это направление и «отвергла» другие. А все задано местностью. Так и мы, струи во времени, осуществляем свой *гомеостазис*. Слово мудреное, а суть та же: непрерывные переходы к равновесию по «принципу наименьшего действия». Чем меньше, тем лучше. В идеале — нуль.

...Нет противоречия между осознанием возможностей и реальной однозначностью существования. Ведь и осознание это, и «колебания-выборы» — последовательны во времени. *Сначала* я представляю один возможный вариант, обдумываю его, отбрасываю, *потом* принимаюсь за другой, *затем* за третий... а в пространстве-времени знай себе выписывается хоть и виляющая, но единственная ветка-траектория, однозначная последовательность того, что мы называем «колебаниями», «обдумыванием», «выбором»...

Мир существует в пространстве и времени — какой зловещий смысл приобретают теперь эти слова.

Выбора нет и не было. Напрасно я думал, что могу пойти в летнюю школу, а не на физфак МГУ, напрасно сердился на отца, когда он этому воспрепятствовал. Все было решено в будущем.



Напрасно я колебался, ехать или нет сюда из Дубны: «я-будущий» уже «решил» и прибыл. Просто два моих состояния: первое — заведование теоретическим отделом в ОИЯИ — и второе, директорство здесь, — соединяет не прямая, а очень волнистая линия.

...Вот, значит, ты какое, дерево познания: четырехмерная древовидно-сетевая структура, в которую включены существования всех «тел» — от начала и до конца, от фотонов и до звезд! И нет в этом познании ни добра, ни зла. Ничего нет.

Боже мой! И все, что было со мной, что есть и что будет: хорошее и плохое, слава, к которой стремился, и неприятности, которых избегал, путешествия и встречи, новые знания, радующие ум мысли, награды, достижения, потери... даже смерть моя — все это не «было» и не «будет», а просто *есть*. И смысл совсем иной имеет — такой, где я ни при чем, не из-за чего переживать.

Приговор вынесен — я только не знаю его. Или — уже знаю?..

...и то, что я сейчас лягу на диван с сигаретой в руке, и каждая струйка дыма от нее, каждый его синий завиток — все уже записано в четырехмерном мире, в мире без иллюзий... и без жизни? А если не закурю, не лягу?.. Да все равно: значит, записано, что, придя к этой мысли, буду сопротивляться ей. Однозначная последовательность, включающая *все*.

Ловушка, из которой не вырваться.

...выходит, записано, что «я» — клочок материи под таким-то названием в таком-то месте, в такое-то время — приду к этой идее, к саморазрушительному Знанию Без Иллюзий?

\* \* \*

Пришел. Что дальше? Все?

Какая злая шутка!..»

«Куда уж злее!..» Стасик сложил листки, спрятал в портфель. Он помнил то дерево на подъезде к даче Тураева — сухое, даже без коры. «И никто не спилил, — раздраженно подумал он. — Все газифицировались, дрова не нужны. Может, и жил бы еще академик».

Общее впечатление от прочитанного было и похоже, и непохоже на то, что оставили в его душе тезисы Тураева — Загурского. Сходство было в ледяном блеске мысли, заоблачной вершиной возвышающейся над обыденностью, над частными проблемами; а отличие в том, что в тезисах все выходило гладко, складно, непротиворечиво, вроде как в учебнике... а здесь у академика обнажилось противоречие. Противоречие трудное, страшное, логически неразрешенное им: он карабкался-карабкался на эту проблему-Эверест — и сорвался?..

Коломиец попытался собраться с мыслями. Ну ладно, драматический поиск истины («Это драма, драма идей» — как же, слышали мы это высказывание Эйнштейна; и про Зенона читали...); ну, похоже, что идея о геометрическом четырехмерном мире, в котором якобы мы обитаем, загнала почтенного ученого в тупик, в угол... так что же, он от огорчения и сомнений наложил на себя руки?! Так ведь нет, не наложил: не застрелился, не удавился, не отравился даже... просто умер. От размышлений на эту тему?! И те двое — Загурский и Хвощ — тоже?!

«Гордая честность мышления — вроде той, что привела Джордано Бруно на костер, а Галилея в застенки. Будь благословенна, истина, к чему бы ты ни вела! Только... истина ли? Или уверенность в своей правоте, возникшая от того, что не ошибался прежде в решении теоретических проблем,



что вознесен, авторитетен и знает силу своего таланта? А у тех двоих — уверенность в правоте Тураева?.. Хм... оно верно, наука нынче для многих, как религия. Но не для таких же, как Загурский и Хвощ. Они не темные «верующие», люди с головой! И выходит... пришли к тому же? К чему?!»

Мимо по аллее воспитательница вела стайку дошколят, остановила их у акации.

— Какой лист у акации, дети: простой или сложный?

— Сло-ожный, — пропели малявки старательным хором.

«Смотри, чему в детсадице учат! — поразился Стасик. — Так бы умер и не знал... — Он проводил детишек взглядом. — И эти вникают в строение деревьев. Смотрите, детки, а то один вон вникал-вникал... да уже и не один! — Он вздохнул. — Что же, дать на заключение еще одному специалисту?..»

Страшная картина представилась воображению Коломийца: он пересылает бумаги Тураева на отзыв одному видному специалисту в области физических теорий, другому, третьему, четвертому... и везде результатом оказывается смерть эксперта. Не инсульт, так инфаркт, не инфаркт, так просто остановка сердца. Горы трупов, газеты пестрят некрологами. Интеллектуальный мор среди научной элиты, паника и всеобщие стенания!.. А кто-нибудь узнает (ведь узнают же!) об удивительном свойстве этих бумаг, переснимет тайком и начнет с корыстными целями подсовывать своим ученым коллегам — на предмет занятия освободившейся вакансии. «Действительно, влез в трясину». Стасик вытер вспотевший лоб, посмотрел на зеленеющие окрест деревья.

«Нет, не в сухом том дереве сила — спилили бы его, академик все равно пришел бы к тем же выводам иным путем. Там логика, охват темы. Ведь не с Тураева оно началось, представление о предопределенности. Взять это — очень известное, раз и до меня дошло — утверждение Лапласа, что, если знать начальные координаты и скорости всех материальных частиц во Вселенной, то можно по законам механики предсказать все последующие их положения, а тем самым и все события будущего. Или методы

кибернетического прогнозирования, которые исходят из того, что будущее уже определено прошедшим и настоящим, мы только его не знаем. Или тезис философии: «Все взаимосвязано и взаимообусловлено...» Тураев, собственно, только довел эти представления до последней крайности».

Коломиец поднялся, медленно зашагал вдоль набережной в глубь парка. «Так что же — прав он и «примкнувшие к нему» Загурский и Хвош: жизни нет, одна видимость, наперед заданная в четырехмерном пространстве геометрическая мертвечина? Да пошли они в таком разе со своей наукой!.. В конце концов, я и сам представитель науки — хоть и не столь шикарной, как физика или математика, но и без нее люди не обходятся: юриспруденция. Хм... так, может, потому я, юрист, и не приемлю выводы Тураева, что моя наука основана на понятии *ответственности* людей за свои поступки, а тем самым и свободы воли? Не все предопределено, человек выбирает варианты своего поведения — и ежели выберет не тот, что надо, может и срок получить... — Стась невесело усмехнулся. — Вот-вот, у юристов пунктик «право и ответственность», у физиков «логическая непротиворечивость» или там «экспериментальное подтверждение», у третьих что-то еще свое — и все говорим будто на разных языках, не можем проникнуть в единую суть всякого знания. Черт бы взял эту цивилизацию, цивилизацию-специализацию, где каждый знает и делает что-то свое — и никто толком не поймет другого!»

Содержимое портфеля омрачало рассудок, сам портфель отягощал руку — Коломиец едва сдерживал великолепный порыв души: зашвырнуть его подальше в реку. «И делу конец, и покойников больше не будет. А иначе что я могу!.. Ну разве что поступить на вечерний физфак университета: изучу все теории, проникнусь их духом — и лет через шесть доследую это дело. Или, проникнув в суть, и сам отдам концы?..»

## Глава вторая

*Говорят: «Не будьте таким умным!» Это не знаю, но не будьте таким хорошим. Чрезмерная положительность жизни ведет к инфаркту.*

К. Прутков-инженер. Мысль № 10

— Нет, все-таки чувствуется в твоей походке неверие! — произнес позади сочный, хорошо поставленный голос. И ранее, чем Стасик обернулся, ему уже стало хорошо: Борька Чекан!

Борька Чекан, приятель и сосед по парте с шестого по десятый класс в 4-й переяславской школе... После окончания школы их пути разошлись: Борис поступил в Московский физико-технический, Стасик провалился на вступительных экзаменах в ХГУ, отслужил в армии, потом все-таки поступил и окончил. Они не переписывались, потеряли друг друга из виду, потом судьба и комиссии по распределению свели их снова в этом городе. И здесь они не искали встреч, представляя это случаю, который вот и столкнул их в парке, — но от мысли, что и Борька ходит по этим тротуарам, Коломийцу становилось как-то теплей. Удивительная штука школьная дружба!

Сейчас аспирант последнего года обучения Б. Чекан, склонив к правому плечу кудлатую голову и морща в улыбке живое и с правильными чертами, но, к сожалению, густо веснушчатое лицо, рассматривал младшего следователя горпрокуратуры С. Коломийца, который, в свою очередь, умильно щурил глаза, разглядывая его.

— Что, хреновая у нас с тобой жизнь? — спросил Чекан.

— А... как ты догадался? — спросил Коломиец.

— О себе знаю и так, на тебе это написано крупными буквами. Самое время раздавить бутылочку сухого, а?

— Пошли, — сказал Стась.

Несколько минут спустя они сидели в летнем павильоне «Волна» и, закусывая, выясняли, кто кого из земляков видел да что о них знает. Борис вспомнил, как минувшим летом он отдыхал в родимом Переяславле и убедился, что все их знакомые девочки уже не девочки, а дамы и мамы, полнеют и стареют, к лучшему изменилась только Люська Носатик — да и та благодаря пластической операции. Эта тема скоро исчерпалась, и они, выпив по второй, принялись изливать друг другу души. Изливал, собственно, Чекан.

— Понимаешь, заели богопоклонники! Ну какие, какие!.. Те, что истово верят в физического бога, установившего законы природы. Нет, конечно, официально они не богопоклонники — материалисты и вполне на платформе. Недаром же во введении или в первой главе монографий и учебников они ведут пышные речи об объективной реальности, о первичности материи, вторичности сознания... и прочая, и прочая. Как говорил Полесов из «Двенадцати стульев», глядя в глаза Остапу Бендеру: «Всегда!» И поскольку присяга произнесена и принята, считают не столь важным, что пишется в остальных главах, — а там-то самая соль!.. Ты человек отдаленный, тебе физика кажется отлично слаженной наукой, а вблизи, куда ни копни, мистика. Бог. Вот тебе простой пример: в ускорителях разгоняют элементарные частицы, ударяют их о мишень или друг о друга — и так получают новые искусственные частицы. Всякие: мезоны, антипротоны, альфа-лямбда-сигмаминус-гипероны... За некоторые даже Государственные премии дали, а уж статей, докладов, монографий о них — уйма. И как по-твоему, на сколько частиц разбогател наш мир в результате этой бурной и дорогостоящей деятельности? — Борис вперил взгляд в Стасика.

— На сколько? — спросил тот.

— Ни на одну. Ни одной не прибавилось. Все искусственно полученные частицы распадаются или аннигилируют... А

чего бы, казалось, какого черта! Природа решительно не против, что растет число всяких предметов, созданных людьми, что растет число и самих людей... хотя человека создать куда легче, чем антипротон! — а громаднейшее, десять в сорок какой-то там степени число элементарных «кирпичиков» оказывается заданным с точностью до одного. Мистика! И что отвечает на это строгая наука? — Борис откинулся на стуле, прикрыл глаза, продекламировал: — «После рассмотрения этих вещей мне кажется вероятным, что Бог вначале сформировал Материю в виде цельных, массивных, твердых, непроницаемых Частиц, — артикуляцией он выделял априорные, с большой буквы, понятия, — с такими Свойствами и Пропорциями в отношении к Пространству, которые более всего подходили бы к той цели, для которой Он создал Их... Нет обыденных Сил, способных разрушить то, что сам Бог создал при Первом Творении... Из факта существования Мира следует поэтому, что изменения материальных вещей могут быть приписаны единственно Расщеплению и установлению новых Связей и Движений этих Вечных Частиц». Уфф!.. — Борис отхлебнул из бокала. — Ты думаешь, это Библия? Нет, дорогой, «Оптика» Исаака Ньютона, она и дает единственное — до сих пор! — объяснение казуса.

— Ну силен! — восхитился Стась.

— Кто, Ньютон?

— Нет, Борь, в данном случае ты. Наизусть шпаришь.

— Ну, дорогой, ты ведь тоже назубок знаешь Уголовный Кодекс или там процессуальный. А у нас это тот же кодекс, тот же талмуд... Да не только с частицами так — возьми любой фундаментальный физический факт или закон: почему он такой? Почему существуют все эти экспоненты, параболы, константы — чтоб нами интересней было экзамены сдавать, что ли?.. Ты не поверишь, но чем дальше я вникаю в свою родимую науку, тем более она кажется мне похожей... ну, на этакий Пантеон физических верований, что ли, на

полную коллекцию религий. Неспроста ведь слово «теория» у древних греков означало не только исследование, но и мистическое видение. Вот смотри: механика — это вроде христианства с богом Ньютоном и его первым пророком, заместителем по большим скоростям Эйнштейном. Электродинамика — это, так сказать, полевой ислам, возглавляемый аллахом Максвеллом. Квантовая физика уже больше смахивает на индуизм с многими богами, где каждый перед другими шапку не ломает: уравнение Шредингера — бог, принцип Паули — бог, соотношение Гейзенберга — бог, постулаты Бора — все боги... дельта-функция Дирака — ну, это вообще символ веры вроде троеперстного креста! А ядерная физика и физика элементарных частиц — это совсем темное дикарское язычество, где каждое свойство новой или даже старой частицы, каждый опытный факт — божок, дьявол, дух, леший в подполье и прочие домовые. Все это не выводится из первичных идей, а просто сваливается на голову неизвестно откуда. Вот ты смеешься...

— Не смеюсь я, — сказал Стась. Он не все понимал в гневной филиппике Бориса, но видел, что тот бодр, бурлит мыслями и чувствами, заряжен жизненными силами — здоров, ничего плохого с ним не делается и не сделается. Это было приятно, и Коломиец улыбался.

— Вот ты смеешься, — продолжал Чекан, долив в бокалы себе и приятелю, — а не понимаешь, что все это очень серьезно. Ведь главное не то, что много непонятного, без этого наука не обходится, а то, что непонятное возводится в ранг Объективной Реальности, которую понять нам не дано. Так, мол, есть — и все. Это-де фундаментальные законы, фундаментальные факты, фундаментальные константы, а под фундамент копать нельзя, иначе здание физики обрушится. Весь Пантеон... Достаточно-де того, что мы можем описать эти явления математически, уравнениями. Но ведь уравнения, если они сами не выведены, а угаданы... это нынче такая мода в физике: угадать математический закон для но-

вого явления, «Угадайка, Угадайка, интересная игра!» — они и сами физические «боги»! Вот ты думаешь: нашел из-за чего нервничать!..

— Да не думаю я!

— Думаешь, думаешь, я лучше знаю! Но понимаешь ли, вопрос признания или непризнания бога — он не только физический и академический, он касается смысла человеческого существования. Мы от него уходим в текучку, в исследование частных, в выгодные применения своих познаний... а надо все же договориться до полной ясности. Если мы признаем априорность, несводимость к чему-то более простому и общему «фундаментальных» фактов и законов природы, то тем мы явно или неявно, не в первой, так во второй или третьей главе, признаем существование бога. Не на облаке и с бородой, какого в храмах малюют, но все равно — некое высшее существо, ньютоновского бога-мастера. Он-де создал для своих целей... пардон, Целей! — строго отмеренное количество Частиц, собрал из них приборчики-атомы и молекулы, а из них тела... и *наши* тела, заметь! — распределил все это по своему вкусу в пространстве и времени, запрограммировал своими «мировыми законами» все сцепления-расцепления — и делает то, что ему надо, что ему интересно! — Чекан раскраснелся и жестикулировал в опасной близости от бокала. Стасик отодвинул его. — А что не надо, не делает — и нам не дает. И все мы при таком взгляде получаемся марионетками, никакого смысла в нашей созидательной и познавательной деятельности нет... все не мы делаем, а с нами делается, вот ведь как!

«Ты смотри, — подумал Коломиец, уловивший в последних фразах приятеля что-то близкое к мыслям Тураева, — к тому же подошел, хоть и с другого конца. Действительно, выходит, злая проблема».

Официантка принесла им два борща и тем прервала беседу. Но ненадолго.

— И чего это я вздумал плакаться тебе в жилетку о таких делах! — удивился, отодвигая пустую тарелку, Борис. — Оно тебе надо!.. («Может, и надо», — подумал Стасик.) Воистину, у кого что болит, тот о том и говорит. Изложил я, знаешь, эти соображения своему шефу — профессору Парфентию Петровичу Ворвуле, завкафедрой квантовой механики, заслуженному деятелю науки и техники, прошу любить и жаловать! — предложил вместе написать статью. Шумная была бы статья — с последующим спором, треском... да где там! Милейший Парфентий Петрович ручками замахал: что вы, Борис Викентьич, это спорно, рискованно, неразумно вам накануне подготовки своей диссертации к защите возбуждать вокруг себя научные страсти. Вот защититесь, тогда... словом, не умничай, будь пинькой — и в награду тебя признают ученым. А мне после этого и диссертацию-то расхотелось доводить. Признать-то меня признают, только буду я не ученым, а узким... таким, знаешь, узким-узким, как лоб кретина — специалистиком по той же КМ. Э!..

Чекан пригорюнился, разлил по бокалам остатки вина. Допили.

— Слушай, Борь, — жалостливо глядя на него, спросил Коломиец, — а зачем ты вообще делаешь эту диссертацию?

— Ну? — Тот поднял голову.

— Что — ну?

— Ну дальше, гони соль! Ты же рассказываешь анекдот?

— Нет, какой анекдот! Я всерьез спрашиваю: зачем ты в это дело влез?

— Ха, привет! А что я, хуже других?! — Борис замолчал, покрутил головой и расхохотался. — А вообще действительно... со стороны должно выглядеть диковато: здоровый мужик, пахать мог бы, лес валить — а черт-те из-за чего переживает, занимается сомнительной, с точки зрения общественной пользы, деятельностью, хочет снискать... Бросил бы! Не брошу, что ты, не смогу. И не из-за надбавки и прав. Из-за идеи, из-за истины... Я брошу, а какой-то там Власюк или Ромода-



нов — слабаки, достоверно знаю, я их на семинарах долбал! — выйдут в большие? Нет уж, простите.

Он подумал о чем-то, улыбнулся.

— И вот, знаешь, все мы так: толчемся на пяточке своего знания и своих проблем, тесним друг друга, даже злобствуем, каждую малость принимаем близко к сердцу, а обойтись друг без друга не можем, бросить — тем более. Так что, дорогой Стась, это только со стороны наука кажется храмом, в коем все чинно и благолепно, а копни поглубже, обнаружишь такое кипение страстей, что ой-ой!.. Вот, скажем, эти мои соображения о «божественном» в физике — можно ведь спокойно отставить: разберутся-де и без меня, жизнь принудит. И сейчас уже многие думают, спорят. Но как это, простите, без меня?! Я, знаешь, даже к академику Тураеву намеревался с этим идти. Он мужчина был масштабный, крупных противоречий в знаниях не путался... Если бы поддержал — бросил бы я и диссертацию, и милейшего Парфентия со всеми его званиями и аксельбантами, ушел бы к нему в институт. Как вдруг — бац! — «с прискорбием сообщают...» Нет Тураева.

— Ты его хорошо знал? — оживился Коломиец.

— По работам — да. Лично — почти нет, лекции его слушал да некоторые доклады. Вопросы задавал.

— И что, по-твоему, он собой представлял — как человек и как ученый?

— Как тебе сказать... Он, конечно, тоже был из богопоклонников, верящих в разумное и простое для описания устройства мира. У старшего поколения физиков это, видимо, в крови. Но — я же говорю, он был человек с размахом, искал общее. Грубо говоря, его физический бог не мельтешил, не разменивался на частные закончики — тяготения, электромагнитной индукции, термодинамики, — а установил какой-то один, крупный, всеобъемлющий, который мы и не знаем. Его он и искал, во всяком случае, его последняя идея о геометризации времени к тому и вела... Слушай! — спохватился

Борис, остро взглянул на Стасика. — А почему это тебя вдруг заинтересовало? Постой-постой, может, ты объяснишь эту чертовщину: вчера некролог о Тураеве, сегодня «с прискорбием извещают» о Загурском... Хороший, кстати, был человек, студенты особенно будут горевать; у него был лозунг: «Загурский на стипендию не влияет». Так в чем дело?

— Завтра еще один некролог будет, — меланхолично заметил Коломиец, — о Степане Степановиче Хвоще, ученом секретаре института.

— Фью-у! — присвистнул Чекан. — Руководство Института теорпроблем — все подряд! То-то всякие сплетни гуляют: что покушение, диверсия, что прокуратура ничего найти не может... А секретарь нашей кафедры Галина Сергеевна, напротив, уверяет, что всех уже арестовали.

— Какое покушение, кого арестовали! — досадливо скривился Стась.

— Погодь, а почему ты в курсе? Тебе что, поручили расследовать?

— Угу... — Коломиец решил не уточнять, как вышло, что ему «поручили».

— Иди ты!.. — умилился Борис. — Ну, молоток, поздравляю, такое дело доверили! Далеко пойдешь.

— Может быть, даже слишком далеко, — вздохнул Стасик. — Как говорится, на легком катере к такой-то матери.

— Ого, а что это ты так? То-то я заметил, что походка у тебя не наша.

Мимо проходила официантка. Коломиец тронул ее за рукав: «Еще бутылочку, пожалуйста» — и за второй бутылкой, как на духу, рассказал все приятелю.

— Ну, дела-а... — протянул Чекан. — Такого еще не бывало. Верно я тебе говорил про подспудное кипение страстей в науке — за внешним-то бесстрастием. Не совсем он психически устойчив, научный мир. Узкая специализация! Вообще любая ограниченная цель — будь то даже научное творчество, поиск истины — деформирует психику. Но не

до такой, простите меня, все же степени! Бзик — это понятно, это бывает. Но чтобы наповал... Стась, может, здесь что-то не так, а?

— Что не так?

— Не знаю... Слушай! — У Чекана зеленовато блеснули глаза. — Дай-ка мне эти тураевские бумаги, а?

— Что?! Иди-иди... — Коломиец даже переложил портфель с соседнего стула себе на колени. — Не хватало еще, чтобы ты на этом деле гробанулся. Что я твоим родителям скажу!

Но Борис уже воодушевился и теперь всю свою эмоциональную мощь, которую перед этим расходовал вхолостую, на абстрактную — без фамилий и юридических фактов — критику положения в своей науке, он направил на ясную и близкую цель: заполучить заметки. В паре Борька — Стаська в школьные времена он был заводилой, товарищ ему во всем уступал, и сейчас он тоже рассчитывал на успех.

— Да бро-ось ты, в самом деле, внушили вы там себе бог знает что! — начал он. — Ну посуди трезво, если способен: вот я сижу перед тобой — молодой, красивый, красномордый... и от того, что прочту какие-то бумажки, вдруг околею?! Анекдот!

— Те были не менее красивы, чем ты. А Хвощ так даже и красномордый.

— Ну хорошо, — зашел Борис с другого конца. — Ты-то сам прочитал эти бумаги.

— Конечно, и не раз.

— Ну и жив-здоров? Температура, давление, пульс — все в порядке?

— Э, так ведь я другое дело. Я не физик.

— Нет, дубы вы все-таки там, в прокуратуре, извини, конечно, — сил нет! Что твой шеф, что ты. Для вас все физики на одну колодку — вот и поделили мир на две неравные части: одни, физики, прочтя заметки Тураева, все понимают и умирают, а другие, нефизики, ничего не понимают и

остаются живы. Боже, как примитивно! Ведь в физике столько разделов, направлений...

Коломиец, хотя сердце его по-мальчишески таяло, когда Борька устремлял на него просящие зеленые глаза, решил быть твердым как скала.

— Между прочим, пока так и было, физики, прочтя, умерли, нефизики остались. И не заговаривай мне зубы, Борь, ничего не выйдет. Для тебя — именно для тебя, с твоим богатым воображением — эти записи губительны.

Чекан даже изменился в лице.

— Ы-ы-ы!.. — сказал он, выпячивая челюсть. — Вспомнил, нашел что, тоже мне!

...Десять лет минуло, но и до сих пор Борис менялся в лице при упоминании о его «богатом воображении». Дело было так: девятиклассники Чекан и Коломиец, отправляясь на первوماйский школьный бал, выпили — и по неопытности перебрали. На балу они вели себя шумно, скандально, были с позором выдворены, а день спустя их отчитывал директор Александр Павлович (в кулуарах — Аляксандра Шастой Беспощаднай). «Сколько вы пропили-то?» — поинтересовался он напоследок. «Три пятьдесят», — ответил Стась. «Вот видите, — Аляксандра Шастой поднял палец, — на эти деньги вы могли съесть килограмм сливочного масла!» И как только он это сказал, серо-зеленый от похмельных переживаний Борис шумно стравил на ковер в директорском кабинете... Потом он оправдывался, что виной всему было его богатое воображение: как представил, что ест этот килограмм сливочного масла, да еще без хлеба, так и не сдержался. Отсюда и пошло.

— Вспомнил, нашел довод... — укорял он теперь Стасика. — С тех пор мы, я полагаю, повзрослели, поумнели, научились владеть собой. Я так точно. И сейчас, Стась, говорю тебе без дураков, перед тобой сидит диалектический оптимум.

— Это ты, что ли?

— Именно я. Я — физик-квантовик, с теориями пространства-времени знаком постольку-поскольку, для обще-

го развития... хотя и лучше тебя, разумеется. То есть в достаточной степени лучше, чтобы понять суть заметок Тураева, но явно недостаточно, чтобы, даже если следовать твоей с Мельником кошмарной теории, от этого прыгнуть в ящик и захлопнуть над собой крышку. Усвоил?

— Ага. Вообще в твоих доводах что-то есть, — сказал Коломиец. — Мы действительно упростили деление до физиков и нефизиков, это примитивно, ты прав. Вот и надо будет найти кого-то с таким диалектическим оптимумом и дать ему на заключение.

— Так ты уже нашел, чудило! Давай... — Борис протянул руку к портфелю.

— Э нет, Борь, только не тебе! Физиков много, а ты для меня один.

— То есть... ты нахально заимствуешь подсказанную тебе идею, а меня побоку! Не уважаешь... не желаешь уважить меня как специалиста? — Чекан потемнел.

— Да уважаю, не сердись ты! Рискованно же очень.

— Понимаю: заботаешься о моей жизни, а заодно и о своем прокурорском будущем. Ну так считай, что лично для тебя я уже покойник. Меня не было и нет. Девушка, получите!

Ну, если Борька потребовал счет, это серьезно. Коломиец заколебался:

— Да погоди ты, погоди... Ладно, — он раскрыл портфель, — с собой я тебе их не дам, а здесь прочти. Ты сейчас пьян, многого не усвоишь.

И он начал по листику выдавать Чекану конспект Загурского, а затем и заметки Тураева; прочитанное тотчас забирал назад. Правда, когда дошло до губительных тураевских листков, Стасик заколебался; но от выпитого в душе распространилась томность и беспечность, недавние сомнения показались ему самому блажью: что от такого может случиться! Недаром же говорят в народе: от слова не станется. К концу чтения Борис несколько раз поворачивал голову к деревьям за барьером па-

вильона: клену и липе в молодых листиках, смотрел на них с каким-то новым выражением лица.

— Да-а... — протянул он, возвращая Стасю последний лист. — Действительно, копнул под самые корни. Есть над чем поломать голову. Совершенно новый поворот темы!

— А конкретней? — придвинулся к нему Коломиец.

— Что — конкретней? Вот теперь возьму и умру, ага!

— Ты так не шути, пока что счет 3:0 не в нашу пользу. По существу можешь что-то сказать?

— Понимаешь... — Борис в затруднении поскреб плохо выбритый подбородок. — Так сразу и не выразить. Ну, первую часть этой идеи, что в конспекте Загурского, я и раньше знал. Вся физическая общественность нашего города о ней знает, споров и разговоров было немало. Но ведь это только присказка, вернее сказать, интродукция — а самая-то сказка в последних записях Тураева. Шур Шурыча. Верно, есть там нечто такое... с жутинкой. Да еще и впечатление от его смерти ее усиливает. — Чекан задумался, встряхнул кудлатой головой. — Поэт все-таки был Александр Александрович, именно физик-поэт, физик-лирик, хотя журналисты по скудости ума и противопоставляют одно другому. Он умел глубоко почувствовать физическую мысль, дать зримый и чувственный образ проблемы. И там есть... особенно дерево это. Я вот теперь смотрю, — он снова оглянулся на деревья, — ведь действительно все ветки сходятся с соблюдением законов сохранения «масс» и «импульсов». И где были мои глаза раньше! Вот голова была у человека, а?

— Так ну?.. — вел свое Стась. — Отчего он помер-то?

— Я ж говорю, он был физик-лирик, да еще с креном в гениальность... возможно, от этого, — рассеянно сказал Борис. — Вот как по-твоему, чем был бы Тураев, если отнять от него, от его богатой личности, все привнесенное физикой: знания, идеи, труды... ну, само собой, приобретенные благодаря знаниям-идеям-трудам степени, должности, награды, славу... даже круг друзей и знакомых? Чем? И не тот молодой Саша Тураев, который хотел в летчики пойти, да

папа не пустил... интересная, кстати, подробность! — а нынешний, вернее сказать, недавний. А?

— У него был значок «Турист СССР», — подумав, сказал Стась.

— Вот видишь! Теперь понимаешь?

— М-м... нет.

— Вот поэтому ты до сих пор и жив! — Чекан поднялся. — Ну, мир праху физиков-лириков! — Он подал руку Стасику. — За меня можешь не волноваться, лично я физик-циник и ничего на веру не принимаю. Пока!

И удалился задумчивой походкой в сторону проспекта Дуни Тонкопряховой, предоставив Коломийцу расплачиваться за обед; последнее было справедливо, поскольку Стась получал рублей на тридцать больше.

Следователь Коломиец с беспокойством смотрел ему вслед. «Ну, если и с Борькой что-то случится — сожгу бумаги. Сожгу и все, к чертям такое научное наследие!»

## Глава третья

*Согласно медицине йогов для исцеления какого-то органа надо сосредоточиться на нем и думать: я есть этот орган. Некто пытался таким способом подлечить сердце, сосредоточился... и ошибочно подумал: «Я есть инфаркт».*

*Хоронили с музыкой.*

К. Прутков-инженер.

Из цикла «Басни без морали»

Как мы чувствуем мысль?

Мысль материальна. Не вещественна, но материальна; может быть, это какое-то поле, поле информации. Этого, од-

нако, мало: далеко не все материальное мы чувствуем. Не чувствуем, например, вакуум, физическое пространство — необъятный океан материи, в котором подобно льдинкам (или пене?) плавают вещественные тела. Мысль мы тем не менее чувствуем, хоть и непонятно: как и чем? Вот свет мы отличаем от тьмы и один цвет от другого всякими там колбочками-палочками, крестиками-ноликами в сетчатке глаз; звуки от безмолвия — тремя парами ушей: внешними, средними и внутренними. А мысли от бессмыслицы мы отличаем... шут его знает, каким-то волнением души, что ли? Хотя опять же — что есть «душа»? Это термин не для строгих рассуждений. Для научных исследований в ходу термин «психика»; это, правда, та же самая «душа», но по-древнегречески. Древним грекам дано... И все-таки мысль материальна — настолько материальна, что тем же диковинным прибором, волнением души, мы можем измерить *количество мысли* (аналог количества информации): серьезная, глубокая мысль вызывает изрядное волнение в душе (в психике? в подкорке?..). Мелкая же, пустяковая мыслишка такого волнения не вызывает.

Или, может быть, мера мысли — это мера ее новизны?.. Туманно все это, крайне туманно. Но туманно по той причине, что мы не знаем самих себя.

Борис Чекан лежал на тахте в своей комнатке на первом этаже аспирантского общежития — лежал, уставя взгляд в сумеречный потолок, по которому время от времени проходили световые полосы от проезжавших по улице автомобилей, и тоскливо думал, что эту ночь ему вряд ли удастся пережить.

...Конечно же, он сразу, как сухой песок влагу, впитал все новое из заметок Тураева; расчет Стася, что спяну он не вникнет, был наивным. В памяти запечатлелось все, хоть цитируй. Но тогда, по первому впечатлению, он воспринял преимущественно образную сторону идеи покойного академика и понял его чувства. Поэтому и высказал Стасику, что



Тураев-де был физик-лирик, увлекаемый в неведомое своим чувственным поэтическим воображением, — а его-де, Б.В. Чекана, физика-циника, ниспровергателя основ и авторитетов, этим не проймешь. Знаем мы эти академические штучки!

И проняло. Да и не могло, собственно, не пронять, по той простой причине, что понятия «пространства», «времени», «тел», «энергий», «полей» были для него — с тех пор, как всерьез занялся физикой, — далеко не академическими. Он чувствовал все это, специально тренировал себя, чтобы объять мыслью и воображением физическое пространство вокруг себя — с телами, искривляющим метрику полем тяготения и электромагнитной рябью от радиопередач; логическое, рассудочное восприятие мира для него, как и для Тураева, давно сомкнулось с чувственным. И сейчас молодой и красивый физик-циник, не верящий в божественную природу законов мира (наука, она ничего на веру не принимает!), был далеко не краснолиц и вообще чувствовал себя худо. Он с нарастающим отчаянием понимал, что идею Тураева, его образ холодного математического четырехмерного пространства, в котором все уже произошло, движения и существования всех тел сложились в ветвистые «древа», местами проникающие друг в друга и переплетающиеся сетями взаимодействий, — этот образ вовсе и не требуется принимать на веру. К нему ведут не навеянные минорным тоном заметок (и даже не фактом смерти академика) чувства, а логика.

«Тоже мне, логическое «древо смерти» имени академика Тураева! — сопротивлялся Чекан, мобилизуя весь свой сарказм и иронию. — «Анчар» в новой редакции! «К нему и птица не летит, и зверь нейдет...» Так ведь потому и не летит, выходит, птичка, что она уже пролетела. Мимо. И зверь тудыть... и вихорь черный... все. Нет, но постой: мир существует в пространстве и во времени — общепризнанный факт. Стало быть, мир четырехмерен. Однозначность моего суще-

ствования (равно как и каждой клетки моего тела, как и всего на свете!) в пространстве в каждый момент времени — тоже факт, доказанный и опытом прошлого, да и всей совокупностью знаний о мире (без него вообще не было бы *определенных* знаний). То есть этот факт включает в себя все. А однозначность сия и есть ветка, или побег, или спиральный вьюнок — на «древе Тураева». Но... а что «но»? Нет никаких «но», все логично и ясно. Эмоции излишни.

Борис вдруг почувствовал, что логически он уже мертв. Да что там мертв — и не существовал никогда. Все, что он считал *своей* жизнью, своим прошлым и настоящим, достигнутым, — задано заранее, как и «будущее». Только и того, что будущего он не знает, хотя... догадывается. «Повесился бы ты лучше на своем «древе логического познания» около дачи, Шур Шурьч, — со злостью подумал он, — чем такие вещи писать! Раз все одно помер. Двоих утянул за собой. А теперь вот и меня...»

Мысли запаниковали, шарили по закоулкам мозга в поисках хоть какого-то опровергающего довода — страх, прикидывающийся мыслями. И не находили ничего. Он, Борис Чекан, аспирант двадцати семи лет, нарисован в четырехмерном пространстве вместе со всеми своими предками — от обезьян и палеозавров — этакой вихляющей (от опасных взаимодействий), меняющей объем и форму-гиперсечение вещественной кишкой, которая то соединяется, то ответвляется от других подобных кишок-траекторий-веток и от которой, в свою очередь, ответвляются (точнее, ответвлялись у предков, поскольку он сам-то еще холост) побег-отпрыски. Эта траектория его существования петляет по пространственной поверхности гиперсечением-планетой, которая, в свою очередь, вьется вокруг еще более толстой пылающей гипертрубы Солнца. И все это течет в четырехмерном океане материи неизвестно куда.

«Не течет, в том-то и дело, что не течет! Так-то бы еще ничего, у каждой струйки-существа была бы возможность

как-нибудь подгрести в свою пользу, вильнуть и увильнуть... Все уже состоялось, в этом проклятие тураевской идеи. От палеозавра с веснушками вдоль ушей и копыт — что было, то было — через питекантропа и нынешнего почти кандидата наук — и далее до конца времен. Тело-Я считает, что выбирает свой жизненный путь среди других существ, кои так же о себе мнят... а все это понарошку, иллюзии. Путь уже выполнен. Не эскиз, не набросок-план на бумаге, а *сам* жизненный путь — от начала и до конца! «Твой путь окончен. Спи, бедняга, любимый всеми Ф. Берлага!» Это уже не Пушкин, Ильф и Петров. Шутка. Какая злая шутка!..»

Борис вспомнил, что именно такой была последняя запись Тураева, и у него похолодело внутри. Сейчас он был Тураевым, который три ночи назад искал и не нашел выхода из тупика, в который сам себя загнал мыслью... *покойным* Тураевым. Он сейчас был и Загурским, и Хвощом, которым вот так же, ночью, после прочтения заметок академика и логичных размышлений открылась леденящая душу истина, что их жизни — это не их жизни, их как личностей с интересами, стремлениями, делами, чувствами, жаждой счастья, со всем, что составляет жизнь, — нет и не было. Тоже *покойные* Е.П. Загурский и С.С. Хвощ. «Твой путь окончен...»

«Погоди, но почему же из всей этой тягомотины, из безличия так отчетливо выделяется миг Настоящего? В нем сосредоточены почти все наши переживания... Этого Тураев своим «древом» не объясняет. Недоработочка. Здесь... ага, здесь вот такая модель подошла бы: жизнь — магнитофонная лента, на которой всё уже записано. Когда ее прокручивают, она «живет» — живет *сейчас*, именно в том месте, которое проходит мимо магнитной головки. Это ее «настоящее», то, что перематалось на левую бобину, «прошлое», а на правой — «будущее». Лента тоже может считать себя самостоятельным существом (или головка?..), которое «выбирает» и «решает», что дальше прозвучит из динамиков: слова или музыка, даже какая именно... она может даже считать в самообольщении,

что мелодии и их красивое звучание — это она сама «делает», а шумы, хрипы, искажения — это от стихии или даже от чьих-то интриг. А все записано на ней. Вот так и в нас, в нашей жизни? Боже мой!..»

Чекан сел, провел рукой по лицу. Он внес и свою лепту в идею Тураева, надо же, хотя стремился опровергнуть. Вот это да! «Не оставить ли и мне заметки?..» Он попытался рассмеяться, но тотчас оборвал дико прозвучавший в темной комнате неуместный смех. Если он подумывает о предсмертных записях на манер тураевских, это не смешно. Это значит, что он в душе уже смирился с неизбежной кончиной.

И показалось вдруг Борису, что окружающая тьма, подсаказав ему последний вывод, теперь терпеливо и холодно ждет его конца.

«Да нет, постойте! Я вам не Загурский и Хвощ, пиететствовавшие перед великим авторитетом! Какого дьявола я должен соглашаться с этим идеальным геометрическим миром, в котором мы записаны линиями-траекториями в застывшей материи?.. Ах эта вера в формулы, это поклонение числам, циркулю и линейке! (В самой сварливости, с которой Чекан оспаривал идею, содержался немалый истерический испуг.) По этим идеалам получается, что из меня незримо торчит сейчас еж координатных осей: влево-вправо, вверх-вниз, вперед-назад и в прошлое-будущее. А что, если в будущее ось не торчит? Если вся материя, все бытие наращивается со мной в будущее? Очень просто!.. Постой: наращивается. Значит, есть куда наращиваться. Значит, будущее уже есть — материальное будущее, ибо иных не бывает. М-да...»

Он снова лег, закинул руки за голову.

«Ну а если мир не четырехмерен? Это ведь только мы сами замечаем четыре измерения, да и то четвертое для нас как в тумане... Пятимерен! Тогда то, что застыло по нашим четырем, может свободно изменяться-развиваться по пятому. Эге, в этом что-то есть!.. — Борис оживленно приподнялся на локте, но тут же и опал. — Ничего в этом нет. Все

рассуждения для пяти,-шести- и вообще N-мерного мира точно таковы, как и для четырехмерного. И даже для трех- и двухмерного. Мир существует в таком-то количестве измерений — значит, все в нем уже есть. Свершилось. Мир существует, этим все сказано».

И чем глубже проникал Чекан в тураевскую идею (а чтобы оспорить, надо сначала понять), тем основательней увязал в ней мыслями, чувствами и воображением. Как муха в липучке. Как лось в болоте, от каждого рывка погружающийся все глубже. Скоро он совсем обессилел, не мог более мыслить крупно, вселенскими категориями; в голове возникал то образ черного, сухого, многоветвистого древа в серой пустоте, то образ сетей из магнитных лент — каждая пробегает мимо своей магнитной головки Настоящего. «И зачем только я окликнул сегодня Стаську? — подумал Борис в вялой тоске. — Э, чушь: окликнул Стаську!.. Все записано: материальная ветвь-траектория моего наименования пересечется сегодня с траекторией, помеченной индексами «Коломиец С.Ф.», обменяется с ней некой информацией, а потом начнется необратимый процесс ее усвоения: воспоминания, обдумывания, оспаривания, дополнения... Пытаясь опровергнуть, только обогатил и развил эту мысль — на свою погибель. Чего ж тебе еще?..»

Он лежал, чувствуя, как расслабившееся тело холодеет, деревенеет. Сердце билось все медленней. Дыхание слабело. Мыслей больше не было; чувство жалости к себе пробудилось на миг, но и его тотчас вытеснило: «И эта жалость записана...» На потолке желтым мечом прокрутился отсвет автомобильных фар, за окном проурчал мотор. «И это записано: и сама машина, и мои наблюдения отсвета ее фар. И то, что я об этом думаю... и даже то, что думаю, что я об этом думаю, — и так далее, по кругу. Выхода нет. Действительно, какая злая бессмысленная шутка — самообман жизни. Околевать, однако, пора...» Эта последняя мысль была спокойной, простой, очевидной. «Твой путь окончен. Спи,

бедняга, любимый всеми... На надгробии, впрочем, напишут не «Ф. Берлага» с рифмой «бедняга», а «Б.В. Чекан» с годами рождения и смерти — но это тоже все равно». В этой мысли не было юмора. Ничего не было.

Сейчас Борис находился в том, переходном от бодрствования ко сну, состоянии дремотного полубытья, когда наша активная «дневная личность» постепенно сникает, а «ночная» — личность спящего живого существа, проявляющая себя во снах, — еще не оформилась. Это состояние безличия, как известно, наиболее близко к смерти.

Стасик Коломиец бежал через ночной город, путаясь в полах незастегнутого плаща, искал огонек такси. Шел третий час ночи, машин не было, трамваев и троллейбусов и подавно, и он то бегом, то скорым шагом одолевал квартал за кварталом по направлению к университетскому городку.

...Вернувшись домой после встречи с приятелем, он уже собрался было лечь спать, но, волнуемый нераскрытым делом, полистал учебник криминалистики. И набрел в нем на раздел «Психический травматизм», набранный мелким шрифтом, каким набирают места, необязательные для изучения. В вузе и потом Коломиец не раз собирался прочесть его, но все оказывалось недосуг. А теперь заинтересовался.

Авторы раздела анализировали случаи обмороков, истерических припадков и даже помешательств от внезапных сообщений о несчастьях, якобы приключившихся с близкими или с имуществом потерпевших; они рассматривали и еще более интересные случаи травм или болезней, образованных внушением: дотронутся, например, до кожи впечатлительного человека кончиком карандаша, а скажут, что горящей сигаретой, — и пожалуйста, у него на этом месте возникает ожог. Не обходили они молчанием и те — редкие, к счастью — случаи, когда эффект внушения или самовнушения приводил к смерти. («Не переживайте, мамаша, — сказал молодой врач пожилой мнительной женщине, которая подозревала у себя все сердечно-сосудистые недуги, — мы с вами умрем в

один день». И случилось такое, что именно у него был скрытый порок сердца — и от внезапного приступа он умер во время приема. Женщина в этот день как раз пришла закрывать бюллетень, но как только узнала о смерти врача, тут же скончалась сама.) Исследуя эти факты, авторы обращали внимание на то, что во всех случаях серьезные биологические изменения происходили в организме от *информации*, то есть от чего-то совсем неведущего и не несущего энергии; при этом главным оказывалась уверенность потерпевших в *истинности* сообщения.

«Елки-палки, а ведь это, кажись, то! — воспрянул духом Коломиец. — Психические травмы, психические яды — лишь другое название таких явлений: болезненное воздействие информации на организм человека. Суть в том, что человек глубоко убежден в истинности этой информации, *верит* в нее. И если она серьезна... а уж куда серьезней, общие представления о пространстве и времени, о жизни нашей как части жизни Вселенной! Идея Тураева обнимает все это, логически объединяет — и все равно ложна, ошибочна. Да, так. Не знаю, как с точки зрения логики, но, если глядеть прямо, — не могут от правильной идеи о жизни, о мире люди, понявшие ее, отдавать концы. Ну не могут, и все! . Наука вещь правильная — может быть, даже слишком правильная, чрезмерно правильная... правильное самой жизни: и тело в ней, в науке, материальная точка — хотя оно вовсе не точка! — и формы строго математические, и траектории... а они на самом-то деле не совсем такие, а бывает, что и «совсем не». Где-то я читал, что ошибочен чрезмерный объективизм, чрезмерный рассудочный рационализм. Наверное, так и есть: ведь наука, научное познание — это часть жизни; а не жизнь — часть науки!.. Идея Тураева охватывает *все* — но есть что-то мертвящее в ее чрезмерной правильности, в безукоризненной логичности. И этим она, видимо, настолько противоречит самой сути жизни, что... совместить одно и другое организм не может? Не у меня, правда, не у таких,

как я. Мой организм смог, вынес, потому что мне эта теория, по правде сказать, до лампочки: я без нее обходился и далее проживу. А вот для *них*...

Да у него, почитай что, и не было жизни, помимо науки: все отнимал «демон проблем», — сказал ему тогда о Тураеве Евгений Петрович. И Борис толковал, что если отделить физику, то от личности А. А. Тураева мало что останется. И сам Загурский был таков же, и Хвощ — проблемы и идеи физики были их *личными* проблемами, наполняли жизнь. Вот для таких, вкладывавших в это душу и сердце, идея Тураева и обладала, наверное, убийственной силой. Вот они и... постой, а Борька?!»

И здесь Стасиком вдруг овладело то самое предчувствие, что и вчера, когда он, отдав бумаги Хвощу, покидал Институт теорпроблем. Оно-то и швырнуло его в ночь, на пустые улицы.

«Ой-ой-ой-ой!.. — мысленно причитал он, пересекая Катагань по пешеходному мосту. — И как это меня с пьяных глаз угораздило! Поддался его напору. Физик-циник, как же! Бахвал он, мне ли это не знать? «Хорошо, когда в желтую кофту душа от осмотров укутана...» — и тому подобное. Ранимый, впечатлительный — мне ли не помнить, как он переживал скверные оценки, подначки ребят! И воображение у него действительно плохо управляемое, ай-ай-ай!.. А главное, он из того же куста, из теоретиков, которые постоянно такими вещами заняты... и пытаются во все проникнуть путем логических построений, моделей и математики. По разговору сегодняшнему видно было, что Борька всю душу вкладывает в поиск физических истин, ой-ой-ой! Как же это я?..»

Стась и сам не знал толком, зачем бежит и как сможет помочь Чекану. Просто хотелось быть рядом, убедиться, что он по-прежнему жив-здоров, или хоть растормошить, отвлечь, потрясти за плечи: брось, мол, сушить голову над этим!

В университетский городок он прибежал в начале четвертого. Все окна пятиэтажного корпуса аспирантского обще-



жития, включая и окно Бориса на первом этаже, были темны; входные двери заперты. Стасик, подходя к окну Чекана, на минуту заколебался: «Ох и обложит он меня сейчас крутым матом. Ну да ладно...» Он постоял под открытой форточкой, стараясь уловить храп или хоть дыхание спящего. Ничего не уловил. «Тихо дышит? Или укрылся с головой?..»

Коломиец негромко постучал костяшкой пальца по стеклу: «та! та! та-та-та!» — это был старый, школьных времен условный стук их компании: два отдельных, три слитных. Прислушался — в комнате по-прежнему было тихо. Сердце Стасика заколотилось так, что теперь он едва ли слышал бы и свое дыхание. Та! Та! Та-та-та!!! — громче, резче. И снова ничего.

Тогда он забарабанил по раме кулаком, уже не по-условному.

— Борька! Борис! — Голос Коломийца сделался плачущим, паническим. — Открой, Борь!..

В комнате этажом выше зажегся свет, кто-то высунулся в окно, рывкнул сонно и хрипло:

— Чего шумишь? Пьяный?

— Чекан здесь живет, не переселили?

— Здесь. Но раз он не отзывается на твой грохот, значит, его нет. Зачем всех будить! — Окно захлопнулось.

Стасик в растерянности стоял под окном. Все внимание его сейчас сосредоточилось на окурке, лежавшем у водосточной трубы. Окурок был соблазнительно солидный, свежий. Он поднял его, достал из кармана плаща спички, закурил, затаился со всхлипом. «...Значит, его нет, — вертелось в голове. — В каком только смысле — нет?»

Докурив, стал ногой на фундаментный выступ, ухватился за раму и, вспомнив мимолетно, что недавно в сходных обстоятельствах ему доводилось уже так делать, взобрался на окно. Просунул в форточку голову, зажег спичку. Трепетный желтый огонек осветил приемник, полки с книгами, стол, два стула, неубранную измятую постель. В комнате никого не было.

Пахло серой.

...Автор сожалеет, что приходится описывать всю историю сразу, а не по частям, обрывая повествование на самых интересных местах. Не те времена: выкладывай до конца, иначе никто не примет написанное всерьез, не выручат ни образы, ни мысли... То ли дело было в прошлом веке! Вот, скажем, история Татьяны Лариной и Евг. Онегина — ну, помните, она написала ему письмо, а он приехал в их усадьбу в гости, а она испугалась и убежала в сад, а он тоже вышел в сад прогуляться. И...

...прямо перед ней,  
Блестящая взорами, Евгений  
Стоит подобно грозной тени.  
И, как огнем обожжена,  
Остановилась она.

А далее читателю, нетерпеливо предвкушающему сцену объяснения, автор преподносит:

Но следствия неожиданной встречи  
Сегодня, милые друзья,  
Пересказать не в силах я;  
Мне должно после долгой речи  
И погулять, и отдохнуть;  
Докончу после как-нибудь.

И это «после как-нибудь» растягивалось — и в силу творческой несуетности автора, и из-за слабого развития в те времена полиграфической промышленности — на добрый год.

Или вот еще — это когда уже Евгений принялся ухаживать за замужней Татьяной, прикатил, улучив момент, к ней домой выяснить отношения:

...Но шпор внезапный звон раздался,  
И муж Татьянин показался.  
И здесь героя моего

В минуту злую для него,  
Читатель, мы теперь оставим  
Надолго... навсегда.

Вообще вклад А.С. Пушкина в развитие детективного жанра не оценен еще по достоинству, как-то прошло это мимо критиков и литературоведов. Неплохо бы, конечно, по примеру классика поманежить читателя годик-другой, придерживав окончание этой истории, — да где там! Забудут, в кино пойдут. Так что ничего не поделаешь: сейчас будет хватаящая за душу развязка с участием доблестных работников милиции.

## Глава четвертая

*«Карась любит, чтобы его жарили в сметане». Это знают все — кроме карасей. Их даже и не спрашивали — не только насчет сметаны, но и любят ли они поджариваться вообще. Такова сила общего мнения.*

К. Прутков-инженер.

Мысль № 12

Борис Чекан в это время находился неподалеку, на бульваре Двухсотпятидесятилетия Академии наук. Сидел на скамье среди молодых, высаженных два года назад кленов, липок, ив, тополей — и боролся за свою жизнь.

...Тогда в комнате он засыпал с чувством обреченности, понимая, что не проснется, — угасал. Но, когда сердце замедлило ритм и стало сбиваться на обморочные провалы, непонятно откуда всплыла ехидная мысль: «Вот помру... а потом выяснится, что все не так: есть и жизнь, и смысл ее. А?» Вероятно, это чувство юмора, стоящее над логикой и

над серьезностью, и выручило его. Он собрал волю, поднялся с тахты: не спать! Сопротивляться!

Ночной воздух освежил голову, взбудрил. Но все равно было худо. «И это запрограммировано в моем течении времени: что буду стараться не уснуть, выйду из дома? Предопределенность охватывает все... Но зачем так сложно, если приговор ясен!»

Неподалеку от общежития был киоск, студенты и аспиранты покупали в нем сигареты и спиртное. Борис подошел, остановился: полки продавец, уходя, прикрыл оберточной бумагой, чтобы не смущать ночных гуляк, — но он-то знал, что там стоит. На стеклах киоска были датчики сигнализации от воров. «Так что? — обдумывал Чекан. — Разбить кирпичом стекло, быстро выкушать бутылку вина и бутылку водки — и ко времени появления милиции я уже буду готов. Ночь в вытрезвителе или в каталажке, свежие отвлекающие впечатления... а там, глядишь, просплюсь и отойду. И от физики отойду? Ведь из аспирантуры меня, понятное дело, выпрут. Что ж, не до жиру, быть бы живу!»

Под стеной соседнего корпуса он увидел в свете фонарей обломок кирпича подходящих размеров, двинулся было к нему, но его вдруг передернуло от отвращения: «Неужели *это* выход? В ответ на доводы высочайшей мысли превратиться в хулигана, в пьяного скота — и никаких проблем. Чем это лучше смерти? Нет, погодите».

Так он дошел до конца бульвара, сел на скамью, закурил. Предопределенно, по Тураеву, вился дымок сигареты в неярком свете газосветных трубок. Предопределенно шелестели листвой деревья вокруг, обдуваемые застывшим по четвертому измерению ветерком. Предопределенно мерцали звезды.

«Логически ясная и непротиворечивая идея: мир существует в пространстве и во времени. Даже короче: мир существует... ведь одно из двух: либо он есть, либо его нет — третьего не дано. Но ведь он же есть?.. — Борис огляделся: пятиэтажные и девятиэтажные дома, асфальт улицы и до-

рожек на бульваре, газоны, деревья, фонарные столбы, звезды — все было на месте, наличествовало. Желтый апельсин луны медленно выкатывался из-за зимнего бассейна. — Следовательно, раз мир существует как цельность, то он есть. И то, что было, есть. И то, что наличествует, есть. И то, что будет, есть. И то, что нам ведомо в нем, и то, что неведомо. Цельность есть цельность, здесь нечего вертеть вола... Все?»

Мысль опять холодела и сникала. Тело сделалось вялым. «Не уснуть, не уснуть, — вертелось в голове. — Но рано или поздно усну — с мыслью об этом. Белка в колесе рано или поздно выбьется из сил. Психологический трюк Ходжи Насреддина, который велел горбуну, если он желает исцелиться, ни в коем случае не думать об обезьяне с голым красным задом. И тот изо всех сил старался не думать, не представлять ее... Вот так же, наверное, сопротивлялся, силился преодолеть эту мысль Степан Хвощ, пока от перенапряжения не лопнули сосуды мозга».

Бориса снова пропитал холодный логический ужас. Снова, как давеча в комнате, почудилось, будто кто-то доступный лишь мысли, незримый, окружил со всех сторон, навис и спокойно ждет конца.

Вдали показался прыгающий огонек фары. «Мотоцикл. Динамика, которая на самом деле четырехмерная статика. «Движенья нет», — сказал мудрец упрямо... Мотоциклисту хорошо, он не знает, что движения нет. Тураев прав: чего стоит наша наука, если парадокс Зенона до сих пор не опровергнут! Мотоциклы придумали, самолеты, ракеты... «Мы же видим, как они движутся, воспринимаем, чувствуем!» Но если глаза воспринимают одно, а мысль и воображение совсем иное — что верно? Глазами, ушами и прочими отверстиями мы воспринимаем частности. Мыслью — общее. Общее суть сложение частных, усреднение. То есть получается, что даже и признание факта движения ничего не меняет: все движения и действия, вся суета жизни усредняются в нуль, в ничто. По большому счету — движения нет...»

Чекан откинулся к спинке скамьи, чувствуя холодный пот на лбу. Выхода не было. Мотоцикл проехал мимо, развернулся на перекрестке, въехал на бульвар и теперь приближался к Борису, в упор светя фарой. «Милицейский патруль, — понял тот. — Вот это да!..»

Нервы его напряглись: в воздухе снова явственно повеяло тураевской предопределенностью — и не в идеях, а в плане практическом; Чекан вспомнил даже его образ «принципа наименьшего действия» — движения потока по руслу на уготованной для него местности. Ведь и часа не минуло, как он примеривался взломать киоск, напиться и быть забранным в милицию; если бы он это сделал, то по времени как раз сейчас и должен был по сигналу датчика прикатить за ним патруль. Но он этого не сделал... а патруль вот он! «Ну что ж, можно и без киоска, — соображал Борис. — Сейчас я с ними заведусь, они меня в коляску, в отделение. Там выяснение личности, протокол, ночь в каталажке в изысканном обществе... Отвлекусь, забуду об этой проблеме, и минет меня чаша сия. Важно одолеть первое впечатление. Похоже, что действительно такое мое «русло» — хоть с киоском, хоть без, — что судьба сама открывает мне спасительную лазейку».

Посланцев судьбы в серой форме было двое. Они заглушили мотор, спешились, подошли. Разговор начали по-простому:

— Ты чего здесь сидишь?

Чекан отворил было рот, чтобы ответить в том же тоне: «А ваше какое дело? Езжайте дальше!» — и затем все пошло бы как по маслу. Но остановило презрение к себе: «Значит, трусишь? Готов юркнуть в любую лазейку от опасных мыслей?.. Может, это и записано на моей магнитной «ленте жизни»: всегда увиливать, петлять в насекомом страхе противоречий и больших истин? Тогда лучше сразу!..» Борис задумчиво смотрел на рослого сержанта. Вид у того был недовольный: полночи мотаются по городу — и ничего серьезного. Ясно чувствовалось намерение: хоть этого заберем...

«Нет, спасибо, ребята, но с вашей помощью мне эту задачу не решить. Мысли может противостоять только мысль!»

И он повел себя очень корректно. Объяснил, что аспирант, живет в общежитии, что не спится, вышел поразмышлять на свежем воздухе. Показал удостоверение. Когда сержант потребовал дохнуть, дохнул с благоговением. Милиционеры завели свой К-750 и укатили.

Борис глядел им вслед, чувствуя, что победил что-то в себе, да и не только в себе. Ведь он должен был сейчас трястись третьим в коляске К-750. В двух вариантах. Туда вело «русло» по принципу наименьшего действия, туда тянулась лента его жизни, туда — все к тому шло. А он — вот он, здесь! Превозмог. Выбрал. *Сам* так решил. И к чертям предопределенность!

Он вскочил, пробежался в спринтерском темпе по бульвару, вернулся к той же скамье, чувствуя прилив энергии мыслей. «Да-да, конечно, логика, обобщения, третьего не дано... а почему, собственно, не дано? И почему, если уж на то пошло, обобщение всегда для нас более истинно, чем пестрый набор частных восприятий, из которых оно и составляется?

Мы — существа, конечные в пространстве и времени. И не такие уж крупные. Ограниченные и смертные, это уж точно. Струйки материи метрового сечения в гигантском временном потоке имени Тураева и Загурского, мир с ними обоими! Вокруг бесконечно сложный, разнообразный мир, который непрерывно накачивает нас впечатлениями. А мы их воспринимаем, запоминаем, сравниваем и *обобщаем*. Вот в этом все дело: почему обобщаем, зачем это надо? Почему, почему, почему?.. Да потому что часть меньше целого. Целое — весь воспринимаемый мир, малая часть его — мы сами от рождения и до смерти. А то, чем я воспринимаю, обдумываю и запоминаю, малая часть моего существа: другими частями-органами я передвигаюсь, хватаю предметы, перевариваю... работы хватает. Стало быть, природа обобщения — самого

главного в разумной деятельности — в конечности нашей. Наш рассудок — продукт нашей ограниченности и малости!»

Борис расхохотался, закинув голову к звездам. Приятно было чувствовать освобождение. Он снова думал напряженно, до стука в висках и пота на лбу — но не было больше паники в мыслях, страха. Он просто не хотел утратить мысль. «Вот так и получается. Мы *вынуждены* обобщать, сиречь усреднять, сводить сложное к простому, разнообразнейшую реальность к упрощенной модели. Иначе запутаемся. И кто ловчее это сумеет, кто больший участок мира охватит мыслью, выделит общее, тот и умнее. Такой и авторитетней, он и жить лучше будет... Но сакраментально, что на этом мы и запутались: стали принимать стремление нашего ограниченного ума обобщить-упростить впечатления от мира — за *объективную* простоту мира. Даже самые сильные умы человечества могли — особенно в эпоху до появления ЭВМ — оперировать только с чем-то достаточно простым и определенным. Вот и хочется нам, ужасно хочется, чтобы все было определенным и простым, чтобы по Аристотелевой логике, где третьего не дано... хотя по опыту знаем, что бывает дано и третье, и седьмое, и ...надцатое. Желание простоты мы принимаем за действительную простоту мира; ну, если не в восприимчивых проявлениях, так хоть в основах своих он должен быть прост. Он обязан быть таким!

А между тем мир нам решительно ничем не обязан. Какой есть, такой и ладно, и на том скажите спасибо. Это мы ему всем обязаны. Нет оснований считать, что он устроен просто и разумно, что он вообще «устроен». Больше того, нельзя даже утверждать категорически, что он существует. Да, как это ни неприятно для нашего ограниченного рассудка, но третье дано: мир и существует, и не существует. Он непрерывно возникает в настоящем, исчезает в прошлом, вновь возникает — когда таким же, когда слегка измененным... а бывает, что и вовсе набекрень. Ведь понятие «существования» (а оно, как и все определенные глаголы: есть,



наличествует, имеется, — продукт нашего мелкого опыта и ограниченного мышления) строго применимо только к застывшему, неизменному — ибо всякое изменение есть крен в сторону исчезновения того, что было, и возникновения иного... Бытие — это Становление».

Тело затекло от долгого сидения. Борис встал, потянулся, огляделся — и вдруг заметил, почувствовал непонятно как, что вокруг него и идет это самое становление, непрерывное сотворение мира жизнью. Действительно, шла к утру живая весенняя ночь. Деревья только прикидывались спящими, а на самом деле пробудились после зимы и сейчас гнали вверх под корой, по всем ветвям и побегам соки — чтобы распуститься, расцвести, дать семена, вырасти выше... *жить*. «Вот ведь оно — настоящее-то древо познания, — подумал Чекан, — а не сухая коряга. Оно меняется». И легкий ветерок, понял он, лишь для порядка прикидывается движением воздуха от разности температур, а на самом деле он тоже живой, ласково гладит кожу, ершит волосы и юную листву. Жизнь — логически необъясненная и не нуждающаяся в обоснованиях — была во всем: и в ветерке, и в движениях соков в деревьях и крови по жилам Чекана, и в полете планет и звезд.

«Что и говорить, он не очень-то приятен для теоретического мышления, этот мир, который существует-не-существует, в котором ничто строго не задано ни предыдущим, ни последующим и нельзя сбросить со счетов ни случай, ни волю и решение человека, в котором не всегда уместны «потому что» и логические правила игры, в котором противоречия всегда в борьбе и редко в единстве... словом, такой диалектический мир, что хоть ложись и помирай!

И они померли, эти трое. И меня едва за собой не потянули, потому что пока я отражал логику тураевской идеи логическим же оружием, я был кандидат в покойники. Померли, потому что верили в свой теоретически безупречный, но все-таки искусственный — а поэтому и мертвый —

мир, больше, чем в реальность. Они были разные люди: физик-поэт Тураев, утонченно наслаждавшийся мыслью и загипнотизировавший себя ею; друг-почитатель Загурский, оформитель и популяризатор его идей, Степан Степанович Хвощ, обойденный в своем стремлении сотрудничать и почитать (и только в последний день своей жизни дорвавшийся до «первоисточника»). Но общим было то, что все трое воспринимали или отвергали новые идеи не только рассудком, но и чувствами, сердцем. Такова специфика работы ученого: долго размышляя над какой-то проблемой, пропитываешься ею. В психологии это явление называют «возникновением доминанты»...

Сейчас Борис, сам того не замечая, размашисто шел посередине пустого шоссе в сторону Катагани.

«Нет, конечно, были и привходящие моменты. Для Тураева — то, что он автор новой теории, автора свое произведение всегда пленяет. Был и момент, воспитавший в нем веру в предопределенность: то, что он Тураев II, Тураев-младший. Он не хотел быть вторым, искал свой путь в жизни, хотел в летнюю школу... но батя воспрепятствовал, и он стал наследным принцем в физике. У Загурского — вера в провидческую правоту шефа да плюс впечатление от его смерти: он ведь быстро понял, отчего умер Тураев, не мог не понять. Для Хвоща к пиетету прибавилось впечатление от двух смертей... Мне, бедному аспиранту, в этом смысле вообще полагалось не трепыхаться, сразу заказывать гроб! Но главное, идею, что материальный мир весь сразу записан в геометрическом четырехмерном пространстве, они не могли не принять. Мир должен быть прост — и чем проще идея его устройства, тем она гениальнее. И они сразу впитали в себя некритично образ математического мира, в котором все произошло, книга Бытия написана, прочитана и захлопнута.

Ну а дальше пошла борьба двух доминант: объемлющей мир, отвечающей на все вопросы, пропитавшей психику идеи Тураева (будь она частной, все, пожалуй, обошлось

бы) — и столь же всеобъемлющего, извечно пропитавшего нас чувства жизни. Темного, безрассудного — поскольку оно свойственно и червю, и букашке — чувства, но бесконечно более мудрого, чем любая логика. Эти доминанты начисто отрицали друг друга. С ощущением предопределенности жить нельзя: либо ты уничтожишь в себе это чувство-мысль, либо она придавит и прикончит тебя... Загурский и Хвощ, наверное, тоже сопротивлялись, оспаривали, действуя обычным оружием ученого, — но от этого идея только сильнее укреплялась в них: до той стадии, когда они каждое свое движение, каждый вздох и удар сердца стали понимать как нечто заданное извне, не свое, мертвое. И это был конец».

Чекан вспомнил, как и сам он несколько часов назад лежал в комнате, постепенно слабея умом и телом, как леденящая логика идеи Тураева вытесняла жизнь из его мозга, — вздрогнул, зябко повел плечами. Он уже вышел к реке и сейчас с высокого берега видел, как начинается утро: побагровело, накалилось небо на юго-востоке, алые с сизым облака в том месте, где вот-вот должно появиться солнце, встали торчком, будто их расшвырял огненный взрыв. Звезды растворились в голубеющем небе, только Венера блистала правее алых облаков, сопротивляясь рассвету. Город на том берегу, в низине, был залит туманом; из него выступали верхние этажи зданий, заводские трубы да еще всплывали на улицах покатые, как у китов, крыши троллейбусов.

«И ведь как странно выходит, — думал Чекан, наблюдая поднимающееся за домами солнце, — начинает человек подвергать жизнь умозрительному анализу, и все у него не слава богу: то юдоль слез и печали, то «пустая и глупая шутка», а то и вовсе не жизнь, а мертвечина о четырех измерениях, сухое дерево. Да ведь вот она, жизнь. Несовершенная, далекая от умозрительных идеалов... так ведь все равно: это же все, что у нас есть! Привет, несовершенное Солнце в лохматых протуберанцах! Здравствуй, пыль, попираемая ногами! Привет и вам, розовые волнишки на реке! Здравствуй, Жизнь — волна ста-

новления, здравствуй, мир существующий-несуществующий! Меняйся дальше, ничего, мы уже привыкаем. Ты не познаваем до конца — тоже ничего, значит, будет еще много «кризисов физики» и иных наук; так даже интересней, многосерийней. Окостенелое застывшее знание опаснее всех кризисов... Привет, ветер, листья на деревьях, привет, река! Нет никого, кто намертво предписал, как вам дуть, шелестеть, течь... как шагать мне. Потому что в свободе воли Жизнь, в стремлении и движении вечном. И да будет так!»

Через мост полз на эту сторону первый погромыхающий трамвай. Поднявшееся солнышко пригревало. Борис разморенно потянулся, зевнул и зашагал к трамвайной остановке. Ему необыкновенно захотелось спать, а бояться теперь было нечего.

— Как — все? — разочарованно воскликнет иной читатель, измерив взглядом остаток текста. — А где еще один труп? Было обещано четыре. Деньги обратно!

...Нет, но окроважидали ныне читатели (они же зрители) до последней крайности. Ведь каких людей положил — и без единого выстрела, и не ради каких-то там банкнот или бриллиантов, а во имя идеи... и все мало? А мысли, а коллизии, а пейзажи, а восход солнца, а... нет, им подавай труп.

Ну ладно. Сорок три года спустя доктор физико-математических наук, профессор в отставке Борис Викентьевич Чекан, простудившись зимой на рыбалке, умер от коклюша.

Как говорил самый проницательный персонаж данной истории Андрей Аполлонович Мельник: «Все, между прочим, умрем — так, значит, это самое!»

# ИСПЫТАНИЕ ИСТИНОЙ

Повесть-исследование



# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## К истории тобольского антиметеорита

*На Ваш номер такой-то  
дробь саякой-то от такого-то  
числа отвечаем: идите Вы  
к такой-то бабушке.*

Из сборника «Делопроизводство  
в допетровской Руси»

## Считать мертвым...

### Определение

18 февраля 19... года коллегия областного суда по гражданским делам в городе Новодвинске, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Института теоретической физики (в лице юрисконсульта Белогрива А.А.) об объявлении мертвым бывшего сотрудника Института гр-на КАЛУЖНИКОВА Дмитрия Андреевича, установила:

1) что подозреваемый в смерти Калужников Д. А. тридцати шести лет работал в Институте-истце в должности старшего научного сотрудника отдела теоретических основ фокусировки и начиная с марта прошлого года перестал являться на работу, не известив администрацию ни о болезни, ни об иных причинах прогула;

2) что начиная с того же времени он не находился по месту постоянного жительства в гор. Новодвинске по ул. Коперника, 17, кв. 45 и не оплачивал в домоуправлении счета за квартиру;

3) что в середине мая того же года он объявился в станице Усть-Елецкой Курганской области, где проживал у гр-на Алютина Трофима Никифоровича, кузнеца колхоза «Красный казак», по 21 июля, после чего, как следует из заявления домохозяина Алютина, исчез;

4) что упомянутый Алютин видел последний раз подозреваемого в смерти 21 июля на левом берегу реки Тобол в восьми километрах от Усть-Елецкой (в районе бывшего озера Убиенного), где свидетель со своим сыном и подозреваемый были на рыбалке; к ночи свидетель с сыном отправились в станицу, а Калужников остался у реки;

5) что в ночь с 21 на 22 июля в 1 час 15 минут по местному времени вблизи места, где последний раз видели подозреваемого в смерти, а именно: на левом берегу р. Тобол в районе озера Убиенного — произошла вспышка с выделением большого количества тепла, света и проникающего излучения; эпицентр вспышки, по заключению расследовавших ее ученых, пришелся с точностью до десятков метров на место упомянутой рыбалки; о силе вспышки можно судить по тому, что озеро Убиенное размерами 1,5 километра на 0,3 километра и глубиной три метра полностью испарилось; причиной этой вспышки явилось, по мнению ученых, падение на землю крупного антиметеорита;

6) что начиная с этого момента и по сей день ни указанный свидетель, ни другие лица не видели Калужникова Д. А. и сведений о его местопребывании не имеется;

7) что медицинские эксперты, основываясь на упомянутом «Заключении», подтвердили, что вспышка такой мощности могла привести как к смерти человека, находившегося не далее чем в 30—40 метрах от ее центра, так и к полному уничтожению его останков.

На основании вышеизложенного и учитывая доказанность обстоятельства, угрожавшего смертью, руководствуясь статьей 21 Гражданского Кодекса, судебная коллегия определила:



гр-на Калужникова Дмитрия Андреевича считать мертвым. Датой его смерти считать 22 июля 19... года.

Настоящее решение может быть пересмотрено в случае объявления Д.А. Калужникова или поступления иных сведений о его кончине.

Судья (подпись)

Нарзаседатели (подписи)

### **Из архива следствия**

Дело это вел младший следователь облпрокуратуры Сергей Яковлевич Нестеренко — уравновешенный молодой человек, светловолосый, низкорослый и носатый; он как раз к этому времени начал отпускать обрамляющую челюсть (так называемую «викинговскую») бородку. Сергей Яковлевич, безусловно, понимал, что ему попался уникальный случай: криминалистика не зафиксировала еще ни одного исчезновения человека от падения метеорита, — но понимал он и то, что эта уникальность пройдет мимо него. Задача следствия была узкой и простой: установить, есть ли достаточные основания полагать Калужникова погибшим, чтобы не получился огорчительный для правосудия финт — объявили человека покойником, а ему только того и надо.

Соответственно и Тобольская вспышка проходила в деле лишь как обстоятельство, угрожающее смертью; без таких обстоятельств суд не вправе объявить человека, который исчез, умершим ранее чем через три года. Вспышка делала картину определенной, и «Заключение» о ее характере и природе неспроста дважды упоминалось в решении областного суда — этот документ был гвоздем дела.

Дадим мы его тем не менее в кратком пересказе — уж слишком он пространен, обстоятелен, научен. Эксперты —

видные физики и астрономы из столичных институтов — прибыли на место происшествия на следующий день после вспышки, работали две недели и после многих измерений, съемок местности, опросов жителей и продолжительных обсуждений сошлись на том, что:

вспышка случилась в час 15 минут ночи 22 июля. Время было засечено учителем естествознания Усть-Елецкой школы М. И. Костиным с точностью  $\pm 5$  минут по наручным часам;

яркое бело-голубое зарево — с переходом в желтое и розово-красное в стадии угасания — было видно в радиусе 30—35 километров. Источник сведений — сообщения жителей Усть-Елецкой, деревень Ковалевка и Машевка, а также аула Кочердык по ту сторону Тобола на территории Казахской ССР. Фотографии зарева никто не сделал;

грибообразного облака пыли и раскаленных газов над местом вспышки никто не наблюдал (что, отметим, не мешало распространению слуха, будто упала атомная бомба);

причиной этого, по мнению экспертов, могло быть как отсутствие облака, так и наличие густого тумана от испарившегося в результате вспышки озера. Равным образом никто из зрителей не ощутил ударной или звуковой волны после вспышки;

возникший от вспышки пожар травы и приречного кустарника быстро прекратился из-за того, что испарившиеся воды озера Убиенное и примыкающей части реки Тобол сконденсировались в тучи и выпали горячим дождем. В последующие дни до конца июля в районе вспышки стояла непролазная грязь, что затруднило работу экспертов;

радиометрическое исследование почвы, воды и воздуха показало, что в зоне вспышки возник значительный радиоактивный фон; он содержал свободный набор типов радиоактивного распада самых различных элементов и явно представлял собою вторичную (наведенную) радиоактивность.

Анализ спектров радиации склонял к тому, что первичное выделение энергии во вспышке носило скорее характер жесткого фотонного излучения, нежели реакций цепного деления или синтеза ядер. Эксперты сошлись и в том, что интенсивность радиации и полная по всей зоне мощность ее значительно меньше, чем это бывает при самых малых ядерных взрывах.

Как картина ожога местности, так и пространственное распределение радиоактивности в почве показали, что вспышка локализовалась в зоне размерами в десятки метров между Тоболом и озером — в том именно месте, где расстояние между берегами этих водных объектов минимально, порядка двадцати метров (точное расстояние между рекой и озером измерить не удалось ввиду отсутствия последнего); почва в этом месте выжжена и оплавлена до стекловидного состояния.

Особый интерес исследователей вызвало то, что в эпицентре вспышки обнаружилась выемка-«борозда», оплавленная до стекловидности; она начиналась на уровне в два метра выше поверхности воды в Тоболе и шла к озеру, прямо пересекая перемычку между ним и рекой; длина «борозды» была 18 метров, ширина от 0,8 метра внизу до 1,2 метра вверх, наибольшая глубина 2,3 метра. По свидетельству опрошенных жителей, подтвержденному и справкой Усть-Елецкого отдела землеустройства, раньше выемки здесь не было.

Здесь нелишне упомянуть, что незадолго до происшедшего известный астрофизик академик К.Б. Нецкий выдвинул гипотезу о том, что метеоры, огненный след которых мы иногда замечаем в ночном небе, в равной мере могут состоять как из вещества, так и из антивещества; то, что наша планета и ее соседи образовались из обычного вещества, ничего не значит для иных тел Вселенной. Поскольку подавляющая часть метеоров сгорает бесследно при падении на землю, гипотезу эту так же трудно было опровергнуть, как и подтвердить: и от трения о воздух тело может

сгореть, и от аннигиляции тоже. Но, как и любая обобщающая наши представления мысль, гипотеза Нецкого овладела умами; ученые искали случая проверить ее.

И теперь такой случай представился: набор данных о Тобольской вспышке настолько роскошно укладывался в версию о метеорите из антивещества, что, не будь гипотезы Нецкого, ученым экспертам ничего не оставалось бы, как самим выдвинуть ее. Действительно: во-первых, ни с того ни с сего была мощная вспышка; во-вторых, появилась остаточная радиоактивность — от аннигиляции; в-третьих, отсутствовало метеорное тело и даже осколки — аннигилировало тело; в-четвертых (хотя по значимости этот довод был первым), появилась выемка-«борозда», которая показывала, где и как закончилась траектория метеорита, и объясняла, почему испарилось озеро.

Правда, для полного соответствия гипотезе недурно было бы иметь фотографии или хоть визуальные наблюдения светящегося следа от полета метеора; такой след из-за эффекта аннигиляции и в силу почти касательной к земной поверхности траектории должен был быть ярким, длинным и весьма заметным. Но нехватку нужных наблюдений можно было объяснить малой плотностью населения в этой местности, а также тем, что население это спало, а если и не спало, то не смотрело на небо, а если и смотрело, то не в ту сторону, а если и в ту, то, видимо, этих людей пока не нашли; возможно, они объявятся потом.

И наконец, неконструктивным, но, по сути, решающим доводом в пользу гипотезы было: если Тобольская вспышка не от падения антиметеорита, то от чего же?

Ничего иного здесь не придумаешь.

Под «Заключением» стояла дюжина подписей с устрашающе великолепными титулами. Бумага была что надо.

Но Сергей Нестеренко, хоть и был по молодости лет преисполнен уважения к науке (это было его небольшое хобби: следить по популярным изданиям за движением научной мыс-

ли в мире), не принял все-таки этот документ бездумно, как директивную истину. Это и понятно: «Заключение» ничего не говорило о том, что его непосредственно интересовало, — о судьбе Дмитрия Калужникова.

Теперь трудно установить, знали ли ученые эксперты, что в ночь на 22 июля на месте происшествия оставался человек. Очень возможно, что нет. Во всяком случае — и следователя это сразу насторожило, — в «Заключении», где перечислялись имена, фамилии и места проживания всех опрошенных комиссией очевидцев, домохозяин Алютин упомянут не был. Заявление же его об исчезновении постояльца (поданное, кстати, с изрядной задержкой) шло по иным каналам.

Вполне возможно, что работники Усть-Елецкой милиции уведомили понаехавших экспертов о факте: мол, там человек находился и, вероятно, сгорел; может быть, даже познакомили с заявлением Алютина — хотя его неизысканный слог и маловразумительность вряд ли к тому располагали. Но если и так, что это могло изменить в выводах комиссии? Решительно ничего. Иное дело, если бы к.ф.-м.н. и научный сотрудник Калужников погиб в процессе исследования Тобольской вспышки; тогда он заслуживал бы непременно упоминания в «Заключении» — и не только. А так... факт явно относился к компетенции милиции и судебных органов. Печально, разумеется, что погиб человек, но научного значения это не имело.

### **Первая беседа Нестеренко и Кузина**

Более всего Сергея Яковлевича смущало поведение подозреваемого в смерти перед печальным событием: без уважительных причин бросил работу, три месяца пропадал неизвестно где, потом оказался аж за Уральским хребтом — и проживал там не у родственников, не у знакомых даже, а так как-то... И почему именно там?

Не было ли у него действительно намерений инсценировать по каким-то мотивам свою гибель и тем замести следы?

Для изучения этой стороны дела Сергей Яковлевич провел беседу с Виталием Семеновичем Кузиным — доктором наук, заведовавшим тем самым отделом ТОФ, в котором работал пропавший. Они встретились в комнате младших следователей на втором этаже областной прокуратуры. Перед Нестеренко сидел умеренно полный (скорее от сидячего образа жизни, чем от излишнего питания) моложавый мужчина: у него были темные, красиво поседевшие на висках волосы, круглое лицо с незначительными морщинами. Уши были слегка оттопырены, маленький рот с несколько выпяченными губами создавал впечатление серьезного и доброжелательного внимания; это впечатление подкрепляли и ясные карие глаза. В целом это была внешность положительного мальчика, который рано сделал правильный, соответствующий своим интересам и возможностям выбор и шел по жизни прямым путем: оконченная с медалью школа, университет и диплом с отличием, аспирантура, кандидатская диссертация, докторантура, докторская диссертация, заведование отделом... Речь и жесты Виталия Семеновича несли оттенок продуманности и неторопливости.

...Позванивали спаренные телефоны, коллега Сергея Яковлевича лейтенант Никодимов допрашивал доставленного из камеры предварительного заключения скупщика краденого, который темпераментно клялся своими детьми, мамой и свободой. Такое соседство, понятно, не могло не омрачить настроение Кузина — но виду он не подавал.

У Нестеренко не было тогда ни версии, ни даже смутной идеи версии. Он спрашивал обо всем понемногу — авось что-нибудь всплывет.

— Виталий Семенович, — поинтересовался он прежде всего, пощипывая бородку, — по какой все-таки причине Калужников в марте бросил институт? И так странно: не уволился, не перевелся — исчез.

— Это для всех нас загадка, — ответил Кузин.

— Может быть, какие-то внутренние отношения обострились? Или с работой не ладилось?

— И отношения были на уровне, и с работой ладилось. Еще как ладилось-то! Достаточно сказать, что тема, в которой участвовал и Дмитрий Андреевич, выдвинута на соискание Государственной премии. И если бы он не исчез, то непременно был бы включен в список. Это в самом деле непостижимо: самоустраниться в такой горячий момент!

— Что же, из-за того, что исчез, его и не включили?.. — прицельно заинтересовался следователь: нет ли здесь чего-то такого?

— Именно.

— Значит, он чего-то не сделал и тем подвел всех?

— Гм... нет. — Виталий Семенович улыбнулся. — Все он сделал, никого не подвел. На соискание, товарищ следователь, выдвигают завершённые работы; и эта тема была закончена, даже внедрена ко времени ухода Дмитрия Андреевича. Протонный сверхускоритель на встречных пучках, о нем и в газетах писали.

— М-м... а, припоминаю! Так почему же?..

— ...уход Калужникова отрицательно сказался на его включении в список соискателей? — Кузин поднял и опустил брови. — Понимаете, коллективное выдвижение на Государственную премию дело сложное, многоступенчатое. Здесь мало внести вклад, иметь труды, даже авторство — надо не плошать, действовать.

— А... как? Простите, я, может быть, наивно: как действовать? Ходить и говорить, мол, выдвиньте меня?

— Ну, не так прямолинейно, но — напоминать о себе. И отсекал лишних претендентов, коих всегда ой как много... Словом, не исчезни Дмитрий Андреевич, быть бы ему сейчас лауреатом. Впрочем, что теперь об этом толковать... — Виталий Семенович вздохнул.

— Да не брал я, не знаю... шоб я своих детей не увидел, гражданин следователь! — донеслось от соседнего стола. — Вы мне не верите?! Я ж вам забожился на своих детей!

— Но как же все-таки объяснить: работал-работал человек, потом раз — и ушел. Пропал в нетях! Может, он переутомлял себя и того... повредился на той почве? — спросил Нестеренко.

— Кто, Дмитрий Андреевич?! — Кузин с юмором взглянул на следователя. — Не знали вы его! Он работал без нату-ги, не переутомляясь — брал способностями. Бывали, конечно, и трудности и неудачи — в творческой работе у кого их не бывает! Но ведь эти штуки у нас, теоретиков, бывают преимущественно не от внешних, а от внутренних причин: заведет мысль не туда — и заблудился. Месяцы, а то и годы работы пропали... Бывали и у Калужникова заскоки в идеях, завихрения... — Виталий Семенович запнулся, в задумчивости поднял брови. — Может быть, в самом деле это его последнее увлечение повлияло? Э нет. Нет, нет и нет! — Он покачал головой. — Не то все это, товарищ следователь. Вот вы ищите причину во взаимоотношениях, в усталости, надрыве, неудачах в работе — будто это могло так повлиять на Дмитрия Андреевича, что он бросил все и ушел. Я исключаю это категорически: не такой он был человек. Другого довести до нервного состояния — это он мог. Но чтобы сам... нет.

Однако Нестеренко насторожился:

— А что за заскок у него был, вот вы сейчас упомянули?

— Ах это! Было у Дмитрия Андреевича одно теоретическое завихрение. Что было, то было. Весьма оригинальная, чтобы не сказать шальная, идея о строении материи. Вы, возможно, слышали, что сейчас ищут «сумасшедшую» идею? Это нынче модно.

— А... Читал кое-что в популярных журналах.

— Так у Калужникова была именно сумасшедшая. Но... — Виталий Андреевич поднял палец. — Но!.. Одно дело сумас-



шедшая идея, а иное — чтобы он сам из-за нее, как вы говорите, повредился. Он ведь был теоретик. Это значит, что к любым идеям: безумным и тривиальным, своим и чужим — у него выработалось спокойное, профессиональное отношение, своего рода иммунитет. Будь он непрофессионалом, скажем, школьным учителем, то, верно, мог от такой идеи свихнуться и даже чудить. С любителями такое бывает.

— Он рассказывал вам об этой идее? — Нестеренко, как упоминалось, был если и не любитель научных новинок, то любопытствующий и, конечно, не хотел упустить живую возможность пополнить свой кругозор. — Нельзя ли вкратце?..

— Рассказывал, но боюсь, что вкратце нельзя. Она слишком глубоко проникает в теорию квантов, в волновую механику, в механику упругих сред... Это нужно целый курс лекций вам прочесть.

— Но... как на ваш взгляд: это была правильная идея? — не отставал настырный следователь. — Это существенно: ведь не от хорошей жизни ищут именно «безумные». Простите уж, что я испытываю ваше терпение.

Лицо Кузина выразило снисходительную покорность.

— Ничего, пожалуйста. Видите ли, критерием правильности идеи является не мнение того или иного специалиста, а практика. В крайнем случае, эксперимент. Ни до опытов, ни тем более до практики Дмитрий Андреевич свою идею не довел. По тому, что он мне сообщал, судить твердо не берусь. Были в ней интересные моменты, но и блажь тоже. Причем последней, боюсь, гораздо больше.

— Гражданин следователь, клянусь! Вот гнить мне век! Шоб я свободы не видал!..

Эти возгласы рецидивиста вернули собеседников к практической жизни.

— Хорошо, оставим это. — Нестеренко взглянул на листок с вопросами. — Вот Калужников исчез. Что вы принимали? Искали его?

— Предпринимали, искали. Я тогда договорился с дирекцией, что если Калужников вернется в пределах двух месяцев, то отлучку ему засчитали бы как отпуск и ограничились бы выговором. Товарищи из отдела писали общим знакомым, родичам его. Даже его бывшую жену запрашивали.

Теперь Нестеренко вцепился в эту тему:

— Кстати, о бывшей жене. Вы не в курсе, Виталий Семенович, что и как там у них получилось? Как Калужников переживал разрыв?

— ...на предмет душевных потрясений и вытекающих отсюда поступков? — Кузин не смог удержать улыбки.

— Да ведь должно же что-то быть! — развел руками Нестеренко.

— Боюсь, что придется вас разочаровать. Полагаю, что если потрясения на этой почве и были, то скорее всего у бывшей супруги Калужникова. Хотите, я вам перескажу одно его суждение на сей счет. «Странно, — сказал он мне как-то, — что есть только дворцы бракосочетаний, но нет дворцов разводов. Вокруг сочетаний атмосфера праздника, а около разводов — погребального скандала. Между тем спокойно и вовремя расстаться без лишних обид, когда совместная жизнь не удалась, — тоже приятное событие. И музыку можно подобрать подходящую». Вот и судите, какие у него могли быть потрясения на этой почве.

— Хм... странно.

Сергей Яковлевич сам был семейным человеком, вот уже второй год, дочка родилась. Ему подобные мысли в голову еще не приходили.

— Понимаете, товарищ следователь, вам это кажется странным лишь потому, что вы не знали Дмитрия Андреевича... — Кузин замолк, взглянул на Нестеренко, как бы оценивая, стоит с ним говорить начистоту или нет. — Скажу вам прямо: мы предпринимали все действия по его розысканию скорее для очистки совести, для соблюдения, что ли, житейских приличий, чем от сознания необходимости.

— Вот как! Что же, он был неприятной личностью, от которой хотелось избавиться?

— Не-ет! — Виталий Семенович даже поморщился: экий примитивный, чисто милицкий подход! — Я же вам толковал, что это за человек: не истерик, не глупец, не больной. Сильный. Он всегда знал, что делал. И если он исчез так и не просил нас вмешиваться, значит, и нам следовало вести себя спокойно. Понимаете, он был не из тех, с кем случаются передраги.

— Однако случилась!

— Простите, но на месте падения этого антиметеорита точно так же могла оказаться корова. От таких случаев никто не застрахован. Судьба!

На том они расстались. Результаты беседы оказались явно непропорциональны потраченному на нее времени. Всего и усвоил Сергей Яковлевич, что у Калужникова не было служебных причин исчезать и замечать следы и что он «знал, что делал».

### **Показания Алютина**

Еще до этой беседы Нестеренко направил в Усть-Елецкий райотдел милиции просьбу, во-первых, допросить кузнеца Алютина и, во-вторых, прислать личные вещи пропавшего. Это было сделано. Две недели спустя в Новодвинскую прокуратуру пришли пакет и посылка.

Пакет содержал листы обстоятельного допроса гражданина Алютина Т.Н. Из них следователь, увы, ничего существенного для дела не извлек. Вел себя Калужников как в последние дни, так и все время пребывания в Усть-Елецкой обыкновенно: отдыхающий от нервной сутолоки горожанин, «дикарь». Человек он был неприхотливый, спал у кузнеца на сеновале, о внешности заботился мало. («Парень он был видный, наши девки и так на него смотрели», — уточнял Алю-

тин.) Пропадал днями, а иногда и ночами на реке или в степи. Знакомств вроде ни с кем не заводил. И все.

В Усть-Елецкой милиции тоже работали дотошные — особенно с учетом происшедших событий и нагрянувшей комиссии — люди. Мимо них не прошло, что Алютин заявил о пропаже постояльца только 28 июля, через неделю после Тобольской вспышки на месте их рыбалки. Почему? Кузнец объяснил, что был совершенно уверен, что Калужников не остался на ночь в этом месте. «Ночью-то разве клев? Да и одежины у него не было — у реки спать...» Алютин и порешил, что Митрий (так он звал постояльца) завел себе на стороне зазнобу — появится через несколько дней. «Чего раньше времени шум поднимать!...»

...Но уже на следующем листе протокола кузнец покаялся, что не спешил заявлять о пропаже постояльца, так как ранее не заявил о его проживании, не оформил временную прописку согласно закону. Ну и, кроме того, был напуган и сбит с толку этой атомной (по слухам) вспышкой, понаехавшим «начальством» с приборами. Вот и отмалчивался, ждал: может, объявится Калужников, избавит от хлопот и возможных неприятностей.

Все это было понятно Сергею Яковлевичу; он вполне допускал, что дядя Трофим и вовсе сначала решил держать язык за зубами и домочадцам наказал, да потом сообразил, что так можно домолчаться, пока об исчезновении жильца не сообщат в милицию соседи. Понятно было, что кузнец и близко не был около расследовавших вспышку экспертов, ибо ничего хорошего для себя от этой истории не ждал: пожар в степи, озеро испарилось — еще отвечать придется...

При всем том в показаниях Алютина мелькнула серьезная поправка на заключение экспертов о Тобольской вспышке, на тот именно пункт «Заключения», который трактовал о выемке-«борозде», якобы оставленной антиметеоритом на месте падения, и окончательной аннигиляции. По Алютину

выходило, что эта выемка к небесным делам отношения не имеет: просто Калужникову в одну их совместную рыбалку пришло в голову, что неплохо бы, учтя более высокий уровень воды в озере, прорыть в узком месте перемычки канал в Тобол и поставить в нем вершу. «В Убиенном рыбы после половодья много, — показывал кузнец, — а на удочку не берет, сытая. Вот мы и копали три дня, как каторжные. Да только мелко вышло, ничего мы там не добыли...»

В протоколе допроса этот факт именно мелькнул и, понятно, никак не связывался с тобольским антиметеоритом. Милиция выясняла, что делал в последние дни подозреваемый в смерти, и, пожалуйста, выяснила: копал с кузнецом канаву. У Сергея Яковлевича эта всплывшая в показаниях канавка тоже внимания не возбудила: в его расследовании этот факт ничего не прояснял.

К протоколу была приложена — на всякий случай — и характеристика усть-елецких властей на гр-на Алютину Т.Н., пятидесяти двух лет, женатого, беспартийного. Из нее явствовало, что он рядовой колхозник, участник финской и Великой Отечественной войн, хороший специалист своего кузнечного дела; под судом и следствием не состоял и вообще ни в чем предосудительном не замечен — за исключением склонности к выпивке.

Последнее сведение характеризовало, собственно, не столько Трофима Никифоровича, сколько усердное отношение к запросу из Новодвинска местной милиции; ибо где же это бывало, чтобы сельский кузнец да к тому еще и потомственный казак — да не выпивал?

В присланной из Усть-Елецкой посылке наиболее информативными для уяснения личности погибшего оказались не вещи его (плащ, немного белья, электробритва, мыльница, зубная щетка, т.п.), а четыре блокнота. Три из них — откидные, с гладкой мелованной бумагой — были исписаны целиком, четвертый (в коричневом коленкоре и с клетчатой бумагой) только начат. Сергей Яковлевич в меру своих зна-

ний и смекалки изучил заметки для себя, сильно — особенно в первых двух блокнотах — разбавленные записями телефонов, фамилий, имен (чаще женских, чем мужских), адресов, времен отправления поездов и самолетов и прочим деловым хламом.

Заметки, как правило, касались физических проблем и собственных идей Калужникова о разрешении их. В них Нестеренко понял далеко не все — да, по правде говоря, не сильно и старался. Однако он все-таки уяснил, что Калужников чем далее, тем сильнее был увлечен своей «шальной» идеей о строении материи, о которой упоминал Кузин; похоже, что из Института теоретической физики Калужников ушел именно в связи с этой идеей, так что в данном пункте Виталий Семенович оказался не прав. Но для Сергея Яковлевича этот вывод был совершенно неглавным. Главным и окончательным выводом явилось то, что Калужников не скрывался, и не петлял, и в Усть-Елецкую попал без особых намерений. По всем записям чувствовалось, что он не из тех, кто огорчает правосудие ложными действиями; да и не тем была занята его голова. Видно, в самом деле случилось фатальное совпадение, и погиб Калужников там, на берегу Тобола, основательно, без дураков.

«Такой не подведет», — решил Нестеренко и передал дело в суд.

## Ошибка

Минуло полгода. Весенний разлив Тобола наполнил водой ложбинку на левом берегу, озеро Убиенное восстановилось. Радиоактивный фон в зоне Тобольской вспышки уменьшился до безопасных пределов, и ограждение вокруг этого места сняли. В Новодвинске жизнь тоже шла обычным порядком. У следователя Нестеренко на работе шли заурядные дела: о торговых хищениях и спекуляциях, об украден-

ных автомобилях и мотоциклах, о пьяных хулиганствах с увечьями, о взломе сараев и кладовых, — тот криминалистический планктон, в коем не развернуть интеллект, логическую цепкость и эрудицию.

Тягу к интеллектуальному Сергей Яковлевич — человек, как отмечалось, молодой и увлекающийся — удовлетворял чтением научно-популярных журналов. И вот в июльском номере широко известного издания Академии наук он нашел подборку статей под общей на двойную страницу шапкой «ТОБОЛЬСКИЙ АНТИМЕТЕОРИТ». Дело было в теплый августовский вечер, во вторник. Нестеренко еще за обедом, придя с работы, перелистал свежий журнал, но не стал читать наспех, жуя, а отложил на потом. Есть особое удовольствие в чтении того, о чем знаешь помимо публикации, и Сергей Яковлевич предвкушал такое удовольствие. Все-таки он одним боком причастен к данному научному событию, а другие читатели нет, ага!

Интересно сопоставить то, что он знает, с тем, что здесь пишут... Отобедав, Нестеренко устроился в кресле на балконе, раскрыл журнал.

Две самые большие статьи излагали материалы двух конференций, собранных по проблеме Тобольской вспышки, — общесоюзной и международной. Основное внимание и там и там привлекли доклад члена-корреспондента Академии наук П.П. Файлова, который был председателем экспертной комиссии, и дискуссия по нему.

Докладчик обстоятельно показывал, что гипотеза академика Нецкого о метеоритах из антивещества всеми фактами, собранными на месте вспышки, блестяще подтверждена. Дискутанты оспаривали частности, а в целом были с этим согласны.

Но Нестеренко больше заинтересовало не это научное согласие, а фотографии и рисунки остеклованной «борозды» в различных ракурсах: расположение ее на местности, вид сверху, вид вдоль горизонтальной оси и даже разрез, в

котором она напоминала полуобвалившийся окоп полного профиля. Вникнув в статьи, он понял, что «борозда» фигурирует всюду не между прочим, а как решающий довод в пользу того, что на берегу Тобола упал антиметеорит. Файлов в своем докладе по расположению «борозды» указывал, откуда прилетел на землю антиметеорит: из созвездия Дракона. А видный английский астрофизик, член Королевского общества Кент Табб по геометрии «борозды» вычислил даже массу тобольского антиметеорита, вероятную плотность вещества в нем и скорость соприкосновения с почвой. По Таббу получалось, что метеорит весил около килограмма и состоял из окислов антижелеза и антикремния; скорость его была порядка 40 километров в секунду.

— Елки-палки, — сказал Сергей Яковлевич, чувствуя, что лицу стало жарко, а сердце бьется тяжело и гулко. — Да ведь это же...

Как уже говорилось, мелькнувший в показаниях Алютина факт о прорытой между озером и Тоболом канаве для ловли рыбы вершей не занял внимания следователя — как не занимают нас вещи, малоотносящиеся к нашим прямым целям. И только теперь, глядя на снимки аннигиляционной «борозды», он отчетливо понял, что она и есть тот самый прорытый Алютиным и Калужниковым канал. Действительно: он находился в самом узком месте перешейка между рекой и озером, вел к реке по кратчайшему расстоянию... да и вообще иных канав между Тоболом и озером на снимках местности не было! «Да-а... — Нестеренко потер лоб ладонью. — Вот так финт! Всем финтам финт. Выходит, не разобрались ученые?... — Он облокотился на журнал, уставился на шумевшую под балконом улицу. — Ну конечно: кузнец тайлся, помалкивал — как бы за озеро отвечать не пришлось. Калужников погиб. Потом эксперты составили «Заключение», собрали материалы, вернулись в свои институты — и пошла писать губерния! И я сглупил, надо было сразу переслать им копию показаний Алютина. И в голову не пришло! Да и то сказать:



ведь это они выезжали на место происшествия, не я. Что же мне их из Новодвинска поправлять? Сами должны были разобраться. А где ж им вникать во всякую прозу? Они — ученые, люди возвышенного образа мыслей... Скандал!»

Сергей Яковлевич еще раз перечитал статьи. Да, выходило, что наиважнейший довод в пользу того, что Тобольская вспышка произошла от падения антиметеорита, а не от иных причин, — «аннигиляционная борозда». Канал имени Калужникова и Алютина. «Да как у них все гладко выходит: и вес, и плотность, и скорость, с которой метеорит прилетел из созвездия Дракона! (А ведь и у меня все гладко вышло, никаких вопросов со стороны суда. И я не лучше сработал?!) Постой, но если «борозда» ни при чем, то что же там было? Да, да, юридически все правильно: были угрожающие жизни обстоятельства — вспышка. Но отчего вспышка? Отчего погиб Калужников?»

На следующее утро, придя в прокуратуру, Нестеренко затребовал из архива дело Калужникова. И теперь чем более он вникал, тем яснее ему открывались не то чтобы несообразности, а невероятности в истории с его исчезновением.

Так он добрался до блокнотов, перечел их. Тогда, в январе, следователь при оценке заметок погибшего исходил из деликатно, но определенно высказанного доктором Кузиным мнения, что они — блажь. Самое большее, что выжал из них при таком подходе Нестеренко, — это то, что Калужников, увлекшись своими идеями, бросил институт и изменил привычный образ жизни; в конце концов, это было его личным делом. «Ну а если они — не блажь? — думал теперь Сергей Яковлевич, разбирая торопливые фиолетовые каракули и отчеркивая интересные места. — Если Калужников был прав в своей «шалльной» идее?»

И к концу обеденного перерыва (его Нестеренко и не заметил) в душе следователя стала пробуждаться догадка. Догадка логичная и в то же время настолько дикая, настолько — под стать идее Калужникова — сумасшедшая, что Сергей Яковле-

вич даже в уме убоился выразить ее словами. Он чуял, что это возможно — да что там возможно! — что факты дела именно в этом связываются в непротиворечивую версию; но ум его, воспитанный на обычных знаниях и представлениях, выталкивал из себя такую догадку, как вода каплю масла. «Что же делать? — растерянно думал Нестеренко, складывая блокноты в папку. — В конце концов, это не по моей части... Но и оставить без последствий все после того, что я теперь знаю и понял, нельзя. Посоветоваться с начальством? А что здесь почувствует начальство? Оно посоветует обратиться к ученым. Так это я сделаю и сам!»

Нестеренко позвонил в Институт теорфизики Кузину, услышал от него радушное: «Ну что ж, приезжайте, пожалуйста!» — и с папкой под мышкой, обдумывая на ходу, что и как говорить, поспешил к автобусной остановке.

## **Вторая беседа Нестеренко и Кузина**

Институт теоретической физики находился на окраине города, возле Демиевского лесопарка. Это старое помпезное здание имело четыре этажа в центре и по три на крыльях. Высокие и узкие арочные окна, лепные звериные хари над ними, четыре колонны, подпирающие треугольную крышу над главным входом, полуторазтажные дубовые двери с фигурной резьбой, голубоватая штукатурка — словом, XVIII век, смесь рококо и коммерческого ампира.

Нестеренко быстрым шагом прошел вестибюль, поднялся по лестнице с полустертыми ступенями на третий этаж и двинулся по экономно освещенному коридору, читая таблички на дверях.

Кабинет Кузина оказался в конце коридора, у торцевого окна, выходившего на Демиевский лес. Виталий Семенович умеренно изумился появлению следователя. Он поднялся из-за письменного стола (старого, громоздкого, с резными узо-

рами, под стать зданию), душевно поздоровался и сел напротив Нестеренко за приставной столик, тем как бы отстраняясь от своего начальственного положения.

Кабинет по обстановке мало отличался от комнаты, где работал следователь: стол, стулья, шкаф с книгами, сейф, блеклые портьеры на окнах. Налет интеллектуальности создавала небольшая линолеумная доска в простенке да портреты Нильса Бора и Эрнста Резерфорда — двух стариков с насупленными лохматыми бровями и одухотворенными взглядами.

Секунду Кузин и Нестеренко выжидающе смотрели друг на друга.

— Так что у вас ко мне... простите, не запомнил вашего имени-отчества? — первым мягко нарушил молчание Виталий Семенович.

— Сергей Яковлевич я, и у меня вот что. — Нестеренко решил сразу брать инициативу в свои руки. — В одном важном пункте вы оказались не правы, Виталий Семенович: Калужников покинул институт и Новодвинск именно в связи со своей «сумасшедшей» идеей. Это определенно следует из записей в его блокнотах, которые мне переслали из Усть-Елецкой. — И он, развязав папку, выложил на столик блокноты.

— Вот как! Что ж, возможно и такое. Хотя странно... — Кузин покосился на блокноты. — А чем, простите, этот пункт важен? Оживить Дмитрия Андреевича все равно, к сожалению, нельзя.

— Это очень важно, Виталий Семенович! — Нестеренко раскрыл прихваченный из дому журнал. — Вы читали эти статьи?

— О Тобольском метеорите? Читал — и не только их.

— Отлично. А теперь прочтите, пожалуйста, это. — Следователь положил перед Кузиным показания Алютина.

Виталий Семенович надел очки. Сначала он читал безразлично. Потом хмыкнул, остро глянул на Нестеренко,

дочитал листы до конца, закурил сигарету и принялся читать сначала.

...В науке бывают свершения, идеи, теории, открытия. Но самое захватывающее из всего, что в ней происходит, что будоражит умы, обостряет чувства и отношения, — это, безусловно, скандал. Любой, даже самый пошлый.

...Автор поныне помнит, какое потрясение умов и чувств произошло в институте, где он тогда, в начале 60-х, работал, — в импозантном институте с модной тематикой, блестящими учеными, масштабными темами и разработками, — когда обнаружилось, что заведующий сектором Д. устроил из девушек-операторов при ЭВМ нечто вроде гарема. Куда было до этого животрепетного факта всем высоким идеям! Какие розовые, блаженные, умиротворенные лица были у сотрудников, когда они обсуждали всплывшие на партбюро подробности: что этот пожилой селадон Д. обещал каждой девушке жениться, как только его дочь достигнет совершеннолетия и он сможет развестись со своей старой супругой; и что по его мужским возможностям ему вовсе не требовалось столько любовниц, и одной-то было многовато; и как жена его, Марфа Варфоломеевна... Словом, какая была упоительная давка у замочной скважины! Все мы произошли от обезьян, и ученые тоже.

Здесь не нужно поджимать губы и качать головами. Идеи, исследования, даже открытия составляют быт науки; для погруженных в него это серые будни, обыденщина. А скандал... ну, о чем говорить: скандал — это скандал. Это праздник.

А уж если это Научный Скандал, так и вовсе Первомая не надо.

И сейчас от четвертушек бумаги со скачущими серыми литерами разбитой пишмашинки усть-елецкой милиции на Виталия Семеновича повеял в августовской скуке освежающий душу ветер раскрываемого скандала. Да какого!.. И в голове замельтешили возгласы «Ну и ну!», «Ой-ой!», «Вот это да!», и по животу разлились приятные токи нервного

возбуждения, и даже румянец выступил на бледных, слегка одутловатых щеках.

Доктору наук Кузину не требовалось растолковывать, что значат для истории с Тобольским антиметеоритом бесхитростные показания кузнеца Алютина, какой оглушительный приговор они выносят гипотезам, экспертизам и прочему.

— Н-да! — высоким голосом произнес он, положил листки, встал и прошелся по кабинету, потирая руки и плотоядно улыбаясь. — Вы не будете возражать, Сергей Яковлевич, если я приглашу сюда некоторых наших товарищей? Надо бы и их ознакомить.

— О нет, Виталий Семенович, ради бога! — Нестеренко взмахнул руками. — Давайте сначала обсудим, разберемся сами, что к чему.

— В чем именно?

— В деле. Понимаете, этот факт о канаве — особенно в сопоставлении с записями в блокнотах — проливает иной свет на историю Калужникова, да и на саму Тобольскую вспышку.

— Ах да... блокноты! Что же в них?

— Позвольте, я сначала изложу проблему, которая привела меня к вам. Вспомним официальную версию дела. В марте прошлого года физик-теоретик Калужников покидает свой институт и город. Через три месяца он — опять же без внешних мотивов — оказывается в Усть-Елецкой, где у него нет ни дела, ни друзей, ни родных. Там он — снова чисто случайно — попадает на то место, где происходит Тобольская вспышка, далее истолковываемая экспертами как факт падения антиметеорита. Останков Калужникова не находят, останков метеорита, естественно, тоже, но обнаруживают следы пожара, радиацию и «аннигиляционную борозду»...

— Она же — прорытая лопатами канава, — с удовольствием вставил Кузин.

— Да — и согласовать это с официальной версией можно единственным способом: что траектория антиметеорита на

излете случайно — опять случайность! — совпала с канавой. И точно совпала, прямо в яблочко... И еще: светящегося следа метеорита никто не заметил...

— Случайно, конечно, — с улыбкой кивнул Виталий Семенович.

— Вот-вот, я вижу, вы улавливаете. Каждое из этих событий принципе возможно, хотя вероятность его и очень мала. Ну действительно: много ли вы знаете случаев, чтобы человек — к тому же ученый — бросил интересную работу, квартиру, даже перспективу получить союзную премию... и подался в бродяги?

— Да только один этот случай и знаю.

— И я тоже. Первое маловероятное событие. Второе: Калужников блуждал по стране без определенной цели, как савраска без узды. Ему все равно было, куда ехать, где находиться, это следует из его блокнотов. А оказался в Усть-Елецкой, а в ночь на 22 июля — именно на месте Тобольской вспышки. И не в десятках метров от эпицентра, как считали, а точно в нем — ведь рыбачили у самой канавы. Угодил прямо под метеорит!

— Третья малая вероятность, — согласно кивнул Кузин.

— Четвертая: никто не видел следа метеорита в воздухе. И, наконец, пятая, которая совсем уж не лезет ни в какие ворота: антиметеорит точно прошел по канаве... И все это — независимые случайные события! Каждое в отдельности имеет, если выражаться математически, вероятность, отличную от нуля, хотя и не слишком отличную. Надо же метеориту где-то упасть, и Калужников должен был где-то находиться, могли полет метеора не углядеть, и так далее. Но чтоб все так совпало!..

— Вероятность официальной версии происшедшего, хотите вы сказать, оказывается произведением пяти исключительно малых вероятностей — то есть практически равна нулю?

— Именно! — кивнул Нестеренко и перевел дух. Он по роду службы больше привык слушать, чем говорить, и длинная речь его утомила.

— Вы, я чувствую, увлекаетесь теорией вероятностей? — Кузин с симпатией смотрел на разгоряченного молодого человека.

— Есть такой грех.

— Стало быть, ученые ошиблись и суд — тоже?

— Выходит, так.

— Да... действительно, трудно поверить, чтобы все так совпало. Особенно эта канава! Но, Сергей Яковлевич, вспышка-то была. Ее видели, остался ожог местности, радиация. И озеро испарилось.

— Тоже правильно.

— Так как же?

Нестеренко развел руками, пожал плечами. Минуту оба молчали.

— Вот такой вопрос, Сергей Яковлевич: у вас возникли сомнения, находился ли Дмитрий Андреевич Калужников на том месте и погиб ли он?

— На этот счет, к сожалению, сомнений нет. Так оно, похоже, и вышло, что он там сгорел. И решение суда объявить его мертвым вполне обоснованно. Да посудите сами: полтора года минуло с тех пор, а где Калужников? Человек не иголка.

— Тогда почему вы решили вернуться к этому делу? Хотите подправить ученых, уличить их в ошибке? Ну отправьте эти показания им, да, может быть, еще в тот же журнал — и дело с концом.

Нестеренко грустно усмехнулся.

— У вас не совсем верные представления о нашей работе, Виталий Семенович: уличить, накрыть с поличным, вывести на чистую воду...

— Ну зачем так! — Кузин протестующе возвел руки.

— Да нет, суть вашего вопроса именно такая. Понимаете, приводить всякие происшествия в соответствие со статьями

закона — это внешняя сторона нашей работы. А по внутреннему содержанию она (возможно, такое мое суждение покажется вам самонадеянным) близка к работе исследователей. Главное: разобраться, установить, как оно было на самом деле. Не бывает, мне кажется, специализированных истин: одни для юристов, другие для физиков, третьи для театральных администраторов... а бывает просто истина. Ее-то я в данном деле не понял, не установил, и стало быть, если не юридически, то нравственно не прав и совершил ошибку.

Нестеренко замолчал, чувствуя, что сердится: не думал он, что здесь ему придется объяснять такие вещи!.. А Виталию Семеновичу было сейчас неловко. «Отшлепал меня мальчик, — думал он, искоса поглядывая на отчужденное лицо следователя. — Культурно отшлепал. Не мне бы такое спрашивать, не ему отвечать. Я увидел здесь скандал, а он — то, что следовало увидеть мне: проблему».

— Как это было на самом деле! — с выражением повторил он. — Это вы совершенно правильно подходите, Сергей Яковлевич. Так что простите мне мой... м-м... такой приземленный вопрос. Мне, право, неловко перед вами — получилось, будто я какой-то такой деляга! (Нестеренко отрицательно качнул головой: мол, нет, он так не считает.) Именно так и надо подходить к истине — как к самостоятельной ценности, независимо от того, чью правоту она подтверждает или опровергает. Это житейская рутина нас заедает так, что стремимся мы, как правило, к пользе. Даже истину норовим оценить через ее полезность, хотя «польза» — ценность низшего порядка в сравнении с ней, да к тому же относительная, спорная. Истина же ценность абсолютная, независимо от того, пользу или вред она принесет...

Тема возбудила Виталия Семеновича настолько, что он поднялся, прошелся по кабинету, раскрыл окно. Повернулся к Нестеренко. Сейчас доверительным тоном своей речи Кузин показывал, что воспринимает его не как официальное лицо, а как приятного ему человека, равноправного со-



беседника, с которым он хочет прийти к полному взаимопониманию.

— Знаете, Сергей Яковлевич, для нас это очень актуально. Нас, академических исследователей, пионеров глубинного поиска, то и дело клюют — особенно если поиск влетает в копеечку. «А что даст ваша работа для?.. Докажите немедленную пользу!» Вот мы, к примеру, теоретически проектируем сверхускорители. Вы, наверное, слышали о них, об этом часто пишут? — Нестеренко покивал. — И о «кризисе физики», полагаю, слышали?.. (Тот снова кивнул.) Так вот они и нужны позарез для исследования природы атомов, элементарных частиц, глубинного устройства материи и мира... для понимания его. Но стоят дорого, чертовски дорого. И плановые, финансовые и прочие органы насаждают: а что это даст для?.. Какой будет выход в промышленность, в хозяйство, в оборону?.. Ну и, выражаясь по-нынешнему, пудрим мозги, как можем: ссылаемся и на то, что от открытия радиоактивности тоже никто не ждал атомной бомбы... а вышла; и что в Европе и США сверхускорители строят — а не такие там дураки, деньги на ветер швырять... Пускаемся во все тяжкие, лишь бы сломить сопротивление и добыть средства. Но самым тошно. Ведь не в немедленной пользе суть наших усилий. Кризис физики — это кризис всего естествознания, то есть всего познания. Мир может оказаться совсем не таким. И разбираясь в строении материи, мы разбираемся в самих себе: что мы, какое наше место в природе, что есть жизнь наша?..

Виталий Семенович перевел дух.

— Ведь не знаем, в чем смысл жизни вообще и человеческой в особенности, — а ведем себя так, будто знаем и осталось только накапливать пользу. А может, узнав все истины, поймем, что делать надо не то или не так?.. Простите, а почему вы улыбаетесь?

Сергей Яковлевич вправду улыбался — широко и добродушно.

— Да так... вспомнил высказывание моего начальника, что по отношению к истине всегда отличишь интеллигентного человека от неинтеллигента. От жлоба, как он говорит. Причем под интеллигентностью он понимает не непременно образованность, дипломы, звания — а именно интеллект. Башковитость, по его словам.

— А как он это установил, ваш начальник?

— Чисто практически, у него большой опыт. Это, если угодно, общий факт в нашей работе: интеллигентного человека гораздо легче, как говорится, расколоть. На первый взгляд это даже парадоксально: у такого человека гораздо больше и знаний, и красноречия — возможностей забить следователю голову. Строить правдоподобные версии, использовать процессуальные тонкости... словом, выкручиваться. А между тем они выкручиваются, упорствуют в даче ложных показаний, как правило, меньше. Здесь явно сказывается врожденное — или воспитанное, не знаю — уважение к истине. Пусть даже она ему во вред, грозит наказанием и сроком.

— Любопытно, очень любопытно! — Виталий Семенович склонил голову к плечу. — Следование истине даже против инстинкта самосохранения. Наверное, в этом вообще отличие человека от животного... А вообще в плане практическом я это буду иметь в виду, спасибо, что сказали. Не ровен час попадусь!..

Они посмеялись.

Эта часть разговора, хоть и мало относилась к делу, которое привело Нестеренко в Институт теорфизики, благотворно повлияла на их отношения. Оба почувствовали некое душевное сродство, взаимное доверие, близость — ибо откровенность всегда сближает.

Кузин вернулся к столу, сел.

— Но что же там действительно было, со вспышкой этой, с Дмитрием Андреевичем? У вас есть конструктивная версия, Сергей Яковлевич? Ведь если, к примеру, просто так оспорить официально признанную версию тобольского антиметеорита,

то даже если удастся доказать про канаву-«борозду», сразу поставят вопрос: а что же там еще могло быть? И действительно, вроде ничего иного предположить нельзя, а?

— Можно, Виталий Семенович, — твердо сказал Нестеренко. — Я перечитал блокноты Калужникова — и забрезжило что-то такое... Но, — он нерешительно посмотрел на Кузина, — понимаете, эта версия выходит и логичной, в ней все события не случайны, а взаимосвязаны, — и в то же время настолько дикой, что я... я просто не решаюсь вам ее высказать. Подумаете еще, не в своем уме я. Да и не смогу выразить, подготовочка не та...

Виталий Семенович глядел на него с большим интересом.

— Поэтому я и принес блокноты вам, бывшему начальнику и товарищу покойного Калужникова, — продолжал Нестеренко. — Прочтите их, пожалуйста. Если и вы придете к подобному предположению, будем думать, что делать дальше. Если нет, то... кто знает, может, у меня вправду буйное, недисциплинированное воображение! Я ведь не ученый. Одно мне представляется совершенно определенным, Виталий Семенович: ни метеорит, ни антиметеорит там не падал.

— Любопытно, — сказал Кузин. — Вы меня сильно заинтриговали. Что ж, оставляйте блокноты, прочту. Сегодня среда? Приходите утром в пятницу, к этому времени я управлюсь. Итак, до встречи — и да здравствует истина, какая бы она ни была!

Они распрощались.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## Путь по мысли

*Ложные знания хуже откровенного незнания,  
ибо в последнем случае хоть понимаешь свое  
положение. Не потому ли нас так  
раздражают наводящие вопросы детей?*

К. Прутков-инженер. Мысль № 55

## Блокноты Дмитрия Калужникова

### Блокнот 1-й. Интродукция

Проводив следователя, Виталий Семенович вернулся к отдельским делам: согласовывал с ученым секретарем тем-план на будущий год, слушал на семинаре обзорный доклад ведущего инженера Гены Георгиевского — но мысли его возвращались к потрепанной папке мышинного цвета — с блокнотами Калужникова. Перед собой Кузину не имело смысла таиться, что отношения, которые связывали его с покойным, были непростыми; да и вообще любопытно было взглянуть на этого человека как бы изнутри.

Поэтому после окончания рабочего дня Виталий Семенович не остался, как обычно, на пару часов в своем кабинете: поразмышлять, потворить, когда никто не отвлекает, — а по-

шел сразу домой. Жил он неподалеку, в девятиэтажном доме сотрудников республиканской Академии на аллее Коперника в Демиевском лесу; в том же доме тремя этажами выше обитал ранее и Калужников. За блокноты эти Виталий Семенович принялся вечером дома. На внутренней стороне обложки каждого блокнота было написано, когда он начат.

Первый блокнот Калужников пометил январем 19... года. Виталий Семенович хорошо помнил то время: как раз завершили проект электромагнитной фокусировки частиц для сверхускорителя — он-то и был потом представлен на лауреатство.

«Новый год, порядки новые, — гласила первая запись. — Этот год могу заниматься свободным поиском. Нешто построить докторскую на фокусировке? Тема проходная.

Что-то душа не лежит. И что ей надо, моей душе!..

Вахтер института тетя Киля, заступая на дежурство по утрам, по обыкновению молится. Истоно смотрит в угол вестибюля, пониже электрочасов, повыше пожарного щита с баграми, кладет торопливые кресты на грудь, что-то шепчет.

Интересно, о чем она молится? Чтобы сотрудники не нарушали правил выноса материальных ценностей? О даровании долгих лет и здоровья руководящему составу? Или чтобы мы, физики-теоретики, вскрыли наконец природу физических законов и тем доказали, что бога нет?..

Итак, что меня отвращает от проходной хлебной темы по фокусировке встречных пучков? Пожалуй, неверие в перспективы. Не верю я, что сверхускорители и опыты по бомбардировке в них частицами мишеней из частиц («бомбардировка неизвестно чего неизвестно чем», как шутит наш академик) продвинут нас далее в понимании материи. Мы не поняли элементарные частицы, когда соударяли их с энергиями в миллионы электрон-вольт, не поняли и на энергиях в миллиарды электрон-вольт. Где гарантия, что поймем на десятках милли-

ардов? Так можно наращивать энергию до бесконечности; а чем далее, тем это сложнее. Получается отрасль науки, работающая на себя, и только.

Не верю я в это дело — как те павловские собаки не верили в теорию условных рефлексов.

Но вот что: верить, не верить — занятие не для ученого. Надо вникать. Это и будет моей работой в текущем году: проникновение в «теорию элементарных частиц», в теорию, у которой есть пока только название да набор смутных противоречивых идей.

Помолись и за меня, тетя Киля! Я погружаюсь...

Что есть «вещественные тела»? Скопление «элементарных частиц». А что есть «частицы»? Мельчайшие частицы «вещества». А что есть «вещества»? Замкнутый круг, из которого следует, что мы не только не знаем, что такое частицы, но не знаем и что такое «тела».

Да-да, у микрочастиц есть «массы», «магнитные моменты», бывают «заряды». Но достаточно ли этих признаков (природа которых сама, кстати, неясна), чтобы считать их вещественными предметами? Возьмешь в руку, маешь вещь, как говорят на Украине.

Но если «частицы» не предметы, то что?

Есть универсальный, избавляющий от терзаний ответ: такова объективная реальность. Постоянен элементарный заряд? Такова объективная реальность. Электрон-отрицон в 1837 раз легче протона-положона? Такова о. р. Сила тяготения обратно пропорциональна квадрату расстояния? Она же. Скорость света постоянна во всех системах отсчета? Т. О. Р.

Да, но почему реальность такова, а не?..

Прикладникам можно удовлетвориться констатацией «реальности». Была бы сила тяготения пропорциональна кубу расстояния, была бы скорость света непостоянна, была бы масса электрона не в 1837, а в десять тысяч раз меньше, чем у протона, — они все равно исхитрились бы сделать электромотор и транзистор, построить мост и запустить ракету.

Прикладникам можно, ибо смысл прикладных наук — дополнять природу в интересах людей. А смысл работы теоретиков — понять природу.

Сегодня мне исполнилось тридцать пять. Не отмечал — что праздновать-то.

Молодость прошла — молодость, когда все впервой: любовь женщины и оригинальная идея, хороший заработок и первая публикация, разработка и путешествие... А потом все тускнеет.

На что уходят лучшие годы? На зарабатывание денег и приобретение «благ»? На выполнение работ, в нужность которых я не верю и увлечусь которыми не способен? На призрачное утверждение своего «я» мелкими идейками? На связи с женщинами, которых я не могу (или не хочу?) полюбить? На преферанс с выпивкой?.. Кажется, что все это так, не жизнь, а предисловие к жизни, что лучшее и интересное — впереди. А годы идут, и впереди все то же...

Не на что тратить силы, не во что вкладывать душу! Но если так — зачем она мне, душа?»

Виталий Семенович отложил блокнот, задумался. Сейчас, прочтя эту запись, он по-настоящему вспомнил Калужникова. Не только внешность, которую помнил хорошо: рослый плечистый мужчина, темно-рыжие волосы с проседью, удлиненное лицо с красноватой, будто обветренной кожей, крупный нос с высокой горбинкой, широкий лоб и широко посаженные серые глаза, хорошо развитый кадык на мускулистой шее, ровные крупные зубы, обнажаемые в неторопливой усмешке, — не внешность эту, приятную, хоть и обыкновенную, а представил и вспомнил Дмитрия Андреевича как человека.

Бывают люди, не созданные для обычной жизни. Негде им в ней развернуть избыток сил и возможностей. В неспокойные для общества времена из таких получаются герои, водители масс — но бывает, что и бандиты. В спокойное же время они живут как-то вполсилы, спустя рукава. То, что

для других составляет самую соль существования, им мало интересно. Живут — будто ждут чего-то: то ли событий, то ли необыкновенной любви, то ли захватывающей идеи или замысла, но всегда чего-то своего, отвечающего именно их натуре.

И когда приходит это, Великое Свое, тут уж — гуляй, душа! И пусть со стороны действия такого человека покажутся странными, даже предосудительными, пусть решат, что ими он только поломал себе жизнь да и ничего общепризнанно ценного не достиг, — в этой яркой, выразительной отдаче себя и есть счастье такого человека. Многие, впрочем, доживают до конца дней, так ничего и не отдав.

Вот и в Калужникове, вспомнил Кузин, чувствовалась какая-то иная шкала ценностей. Кроме тех, на завоевание которых направлены помыслы и усилия большинства людей, он предвидел и другие, ради которых готов был все бросить и уйти не оглянувшись. Так он в конечном счете и сделал.

«Таганрог, — читал далее Виталий Семенович, — Таганрог, продутый насквозь февральскими ледяными ветрами. Азовское море с кромкой грязноватого льда вдоль глинистого берега. Зал с театральными люстрами, лепными излишествами и скверной акустикой. Искаженные динамиком фразы «на фундаментальной основе глубокой теории...», «композиция микрочастиц и микросостояний», «ансамбль электронов», «дискуссионная донуклонность кварков...» — словом, конференция по физике элементарных частиц. Я в секции физики высоких энергий, ауд. 202, начало заседаний в 10.30.

Ю. Стрифонов, «Некоторые волгосы энеггетики упругих и неупругих соудагений гелятивистских пгтонов». Докладчик продемонстрировал (пгодemonстгиговал) французский прононс и умение сморкаться в платок среди фразы. Простыл, бедняга, на азовских сквозняках...

С. Приверзев. «Как известно, в слабых взаимодействиях, обуславливающих распад частиц, закон сохранения четнос-



ти нарушается... Однако ориентация спинора Дирака в шестимерном импульсно-потенциальном пространстве...»

Спинор Дирака, динор Спирака, черт бы побрал их обоих!

Считается, что физика сейчас проникает в основы строения материи, в элементарное — то есть в самое простое, проще арифметики, такое, что каждому объяснить можно. Но где оно, это простое?! Во всех докладах головоломнейшая галиматья терминов, частных посылок, случайных опытных фактов, хитроумной математики, призванной подтвердить правоту докладчика... Мы выработали международную терминологию, математизованный язык — и успешно понимаем друг друга в том даже, о чем умалчиваем. Но значит ли это, что мы понимаем природу?

— Запутались мы, — вздохнул мой сосед по секции и по номеру в гостинице сибиряк Коля, когда я поделился с ним недоумениями. — И не признаемся в этом ни себе, ни другим.

Да, похоже, что сейчас самое время не выступать на конференциях, громоздя одна на другую скоропалительные идеи и догадки, не раздувать всемерно и всемирно на предмет обильных ассигнований важность нашего занятия, а думать. Думать несуетно, честно, беспощадно: там ли шли, где свернули с пути в лабиринте поиска? Думать с целью понять.

А вот к этому мы не приучены.

Так называемое познание нами мира держится на трех китах: а) в детстве — на доверии к старшим и боязни их; б) в специальной учебе — на том, что надо знать то и именно то, что позволит получить хорошие оценки, стипендию, заработок, премию, степень и т.п.; в) в работе — на том, что от применения наших знаний получается польза, выгода: облегчающие труд машины, обилие энергии и товаров, безопасность и прочее. То есть наше познание целиком подчинено инстинкту самосохранения — ведь производными от него и являются «выгода», «страх», «благополучие».

Да, практика — высший критерий истинности теории. Но разве практика и польза — одно и то же?

Где вы, алхимики, смешивающие вещества ради жгучего детского любопытства: а что из этой смеси будет? Где вы, древние анатомы, выкапывающие трупы на кладбище — ночью тайком, чтобы понять: как все-таки устроен человек? Где вы, биологи, испытывавшие болезни и сомнительные лекарства от них на самих себе?..

Степи, лесополосы, терриконы — все бело. Снег, снег, снег от моря и до моря. Поезд №27 везет меня домой... Напрасно я съездил? Пожалуй, нет. Конструктивных идей я на конференции не услышал, но хоть понял масштабы недоумения, которое сейчас царит в физике элементарных частиц. Я, грешным делом, думал, что только я ничего не понимаю... Что же они такое — частицы, «кирпичики мироздания», которые, похоже, не кирпичики, и не шарики, и вовсе не вещественные предметы?

Из чего же мы, братцы, состоим?!

Ночь. Шутейная идея под стук колес: элементарные частицы — вовсе не частицы, не постоянные какие-то образования материи. Это переменные процессы, объемные колебания самого пространства! Хо!

Нет, правда: примем всерьез то, что пространство — не пустота. Физический вакуум — материальная среда и, может быть, даже довольно плотная. И вот в каких-то местах ее — объемная зыбь: уплотнение, разрежение, снова уплотнение. В среднем здесь такая же плотность материи, как и всюду, но здесь нечто — пульсирующая неоднородность. Однородное же неразлично, оно все равно что ничто.

А если каждое новое колебание плотности повторяется не в том же месте, а рядом, то вот вам и движение «частиц». Умора!

Это еще не все: уплотнения и разрежения можно отождествить с зарядами частиц. Ну по максвелловской жидкостной модели электромагнетизма: уплотнение — источник силового поля (оно ведь растекается и давит на окрестную материю), положительный заряд; разрежение — отрица-

тельный. А при переходе от одного состояния к другому происходит завихрение материи и магнитное поле. Тоже по Максвеллу.

О, это уже серьезно! Так можно объяснить, откуда берется магнитный момент частиц, магнетон — штука необъяснимая, пока мы считаем частицы постоянными образованиями. Ведь магнитное поле, по Максвеллу, возникает от изменения электрического во времени. Если считать, что заряд частиц постоянен, то непонятно, откуда у них магнитные моменты. Приходится придумывать, что в микрочастицах есть обмотки с токами, соленоиды, электромагниты... штуки, неестественные, невозможные в элементарных образованиях материи. А если заряд частиц переменный, то все сходится...

Постой, что сходится?! Ведь заряд-то у протонов и электронов постоянный! Это же измерено, факт. И магнитные моменты у них постоянны. А от переменного электрического поля должно получаться переменное и магнитное... Занесло меня. А жаль, складно получалось.

...Идиот, болван, гений, тупица! Все правильно!

Результаты ИЗМЕРЕНИЙ свидетельствуют, что заряды и магнитные поля частиц постоянны. Верно. Но, милостивые государи, посредством чего мы измеряем это постоянство? Посредством приборов из вещества, то есть в конечном счете из тех же колеблющихся (да, колеблющихся!) от разрежения к уплотнению «частиц» — неоднородностей. И синхронно, в такт колеблющихся, иначе скопление таких пульсаций, тело, не будет устойчиво. Это же факт из теории колебаний: в общей энергосистеме могут работать только те генераторы, частоты и фазы которых совпадают. Иначе система самоуничтожается.

Тогда ясно, почему нам кажется, что у частиц постоянные заряды и моменты. Есть такой стробоскопический эффект: скажем, если шпиндель станка, вращающийся со скоростью 100 об/мин, осветить газоразрядной лампой, в которой вспышки света следуют с той же частотой, то он

покажется наблюдателю неподвижным. Но ежели наблюдатель этот сдуру возьмется за шпиндель, ему оторвет пальцы... Так и с частицами-колебаниями: два переменных «протона», когда они, уплотнения, отталкиваются; через полтакта, когда они становятся разрежениями, — тоже отталкиваются. Что мы и истолковываем так: заряды одного знака отталкиваются.

Важно, что одного, не важно — какого.

Переменный «протон» и переменный «электрон» — два колебания в противофазе; они притягиваются и могут устойчиво держаться вместе, что мы и наблюдаем... И магнитные моменты у микрочастиц-колебаний — переменны, согласованны по частотам и фазам, а поэтому и взаимодействуют между собой как постоянные магнетики... Нет, как нам здесь природа натянула нос!

Ах, поцелуй же ты меня, тетя Киля!.. То есть я хотел сказать: помолись ты за меня, тетя Киля! Я что-то нашел.

Мир наш зыбок. Он мерцает. Он то есть, то нет — со страшной частотой. Бж-ж-жжж... кошмарное дело.

...Но, кроме шуток, ведь волновые свойства микрочастиц легко согласуются с этой идеей. Если частица — объемный всплеск в среде, нечто вроде капли дождя, упавшей в лужу, то, естественно, и вокруг себя она возбуждает концентрическое волнение. И не вероятностное, а самое обычное, материальное, от которого и происходит дифракция электронов.

Вернувшись, написал статью о переменности микрочастиц: двенадцать страниц на машинке через два интервала, латинские символы подчеркнуты синим, греческие — красным... Все честь честью. В любой журнал возьмут. Две недели трудился. Прочел — и порвал.

Я только прикоснулся к самому краешку большой идеи. Идеи, кажется, не только физической, а обо всем. Я пока понял самую малость — и туда же, спешу торгануть этими крохами, частностями. Поскорей застолбить участок. Или хоть просто

блеснуть интеллектом, остроумием догадки. Не важно даже, истинна догадка или только прикидывается такой — важно блеснуть. Приходи, кума, мной любоваться!..

А это очень важно, если она — истинна. Мир — волнение среды?

Материя едина. Она существует в пространстве и времени, но сами пространство и время есть категории материи; они материальны. В материи все взаимосвязано. В ней все течет, все меняется. Это мы проходили на философских семинарах, лихо спихивали на зачетах, но воспринимали (если воспринимали!) лишь умом: очень уж идея о единстве материального мира трудно согласуется с наблюдаемым — отрывочным и пестрым — разнообразием природы: тут тела, там воздух, там пустота, там холодно, там жарко, там зелено, там сыро.

А воспринимать надо просто и прямо: есть вязкая (взаимосвязанность!) материальная среда, которая включает в себя и пространство, и время, и нас самих со всеми чувствами и мыслями. Посторонний — не от мира сего — наблюдатель увидел бы всю среду, как мы видим воду. Наш мир выглядел бы для него серым четырехмерным волнением — со смутными сгустками-телами, со струями, вихрями... и не знаю, с чем еще. И не различил бы он в нем ни звезд, ни планет, ни лесов, ни закатов, ни лиц человеческих... Мы различаем, потому что мы от мира сего. Для нас наблюдать — значит взаимодействовать. Потому-то так глубоко и запрятан от нас факт единства материи, что все воспринимаемое на меня, волну материи влияет: на длительность существования, на форму, на содержание, на размеры... Все влияет — и все по-разному.

Это похоже на музыку: звуковые колебания, нарастая, усугубляясь на уровне, затем слабея, образуют ноту, элементарную цельность, «атом музыки». Ноты слагаются в цельности-аккорды, в цельности-мелодии; это «кристаллы»,

«комья», «волока» музыки. И все они складываются в нечто еще более цельное — в симфонию или в песню.

Это похоже на волнение моря: мелкие волнишки, накладываясь, образуют крупную, а из тех выстраиваются валы. Серия валов — с «девятым», максимальным, посредине — тоже волна. Да и весь шторм — волна-событие, ибо он не всюду, он начался и кончится.

...Это ни на что не похоже, потому что вселенское волнение материи — с возникновением, развитием и распадом галактических вихрей и звездно-планетных всплесков — четырехмерно. Все, что мы видим, слышим, чувствуем, лишь частные проявления его. Вот его и надо понять. А частицы... что частицы!

И снова утро, и снова крестится на электрочасы тетя Киля.

...А я тоже знаю молитву. Ей меня выучила бабушка Дарья в селе, в войну — когда пришла «похоронка» на отца. Для панихиды. «Сам един еси бессмертный, сотворивый и создавый человека, земний убо от земли создахомся и в землю туюжде пойдем, яко повелел еси, сотворивый мя и рекый мя, яко земля еси и в землю отыдеши...»

«Земля еси и в землю отыдеши...» Обобщим: среда еси — и в среду отыдеши. Ничто не ново в мире. Кто-то умный давно понял этот великий, поистине библейской простоты и беспощадности закон единства материального волнения. А потом кто-то глупый дал ему имя «бог». Навешивать ярлыки во все времена было занятием для дураков.

Занятно: о чем ни возьмусь думать, все ведет меня к той же идее. И частицы, и музыка, и старая молитва... Оно и естественно: правильная идея о мире должна обнимать все.

Сегодня после обеда поймал Кузина в кабинете, загнал за стол и, блестя глазами, изложил свои идеи и размышления. Он вежливо выслушал, а потом — не то чтобы разгромил (Виталий Семенович никого не громит, это не в его характере), а, как говорится, облил меня холодной водой скепсиса.

— Дмитрий Андреевич, — сказал он, — я в принципе допускаю, что на базе ваших смелых идей (в частности, идея переменности микрочастиц мне представляется весьма многообещающей) возможно построить интересную теорию. Даже общую теорию. Но, Дмитрий Андреевич, — он поднял палец, — но!.. Именно в общности ее и будет главный изъян. Не надо забывать, что мы живем во время пышного расцвета специальных наук. Они дают наибольший выход и в плане прикладном, и в плане эксперимента. Я не берусь определить, что причина, а что следствие: то ли расцвет узких теорий произошел от ограниченности исследователей, от их неспособности объять, так сказать, необъятное, то ли успех одних узких теорий повлек за собой развитие других... но факт налицо. И поэтому общая теория, постройте ли ее вы или кто-то иной, ныне обречена.

— Почему?! — возопил я.

— Да очень просто: 99 процентов такой теории окажутся не нужны — да и непонятны — любому узкому специалисту. Любому! А по единственному понятному проценту ни один ученый не станет судить о правильности теории в целом. Это значит, что такая теория обречена на непонимание и забвение.

Дмитрий Андреевич, — душевно продолжал он. — Мне хотелось бы коснуться и ваших... э-э... глобальных суждений. Не стану оспаривать ваше подозрение, что физика последние десятилетия шла, как вы говорите, «не туда». Это возможно. Во всяком случае, пиковое положение в области элементарных частиц, которому мы свидетели, к такому взгляду склоняет. Но, Дмитрий Андреевич, но!.. Не надо забывать, что в этом направлении, то есть, по-вашему, «не туда», все разделы физики шли вместе, в ногу, максимально принаравливаясь друг к другу в идеях, осмыслении результатов и создании общих понятий. Сейчас наша наука, независимо от того, куда она идет и к чему придет, является мощной и весьма устойчивой системой, пошатнуть которую очень не просто. Физикой сейчас профессионально

занимаются сотни тысяч, если не миллионы людей. Их труд и творчество, их жизненные интересы накрепко связаны с теми идеями, что есть сейчас, — а не с теми, что у вас или иного новатора на уме.

Понимаете, Дмитрий Андреевич, — лирически вел он еще дальше, — сейчас, в последней трети XX века, создать ситуацию, подобную кризису физики конца XIX века, крайне затруднительно. Ведь в отличие от того времени ныне есть электроника, вычислительные машины, лазеры, ядерная энергетика — и прочее, и прочее. Все это возникло из физических идей. И работает, Дмитрий Андреевич, работает! Взгляды на мир, которые вы намереваетесь оспорить, проникли в сознание каждого грамотного человека, в преподавание, проектирование... даже в философию и в политику в известной мере. А развитие иных идей — пусть более верных, но иных — приведет к такой ревизии, такой ломке и растерянности, которые сейчас вряд ли допустимы.

— Вот тебе на! — подал голос я. — А как же призывы Нильса Бора и других корифеев к радикальному пересмотру, к «безумным» идеям? Ведь все их приветствуют.

— Ах, Дмитрий Андреевич! — Виталик даже покивал с улыбкой от полноты чувств. — Неужели вы, ученый с десятилетним стажем, не понимаете, что приветствуют-то, имея в виду уютное, карманное академическое «безумие» — чтобы без потрясения основ, без сокрушения авторитетов? Да и приветствуют-то высказывания корифеев, а не наши с вами. Таким образом, Дмитрий Андреевич, — он встал, давая понять, что беседа близится к концу, — я все-таки порекомендовал бы вам не замахиваться на всю физику, а продвигаться обычным апробированным путем частных теорий.

...Словом, «и по камешку, по кирпичику», не покушаясь и не обобщая».

Виталий Семенович очень придирчиво прочел эту запись. Речь шла о нем самом, да и следовательно оставил пометки красным карандашом. Все было правильно, хотя Калужни-



ков и утрировал его манеру речи. Он и сейчас сказал бы ему то же самое.

«Командировка в Сухуми. Лечу над морем. Самолет идет низко, и из моего иллюминатора видна динамичная картина шторма: валы мерно набегают на берег, бьют в него, разваливаются в брызгах и пене, откатывают, снова набегают... Но вот самолет взял курс в открытое море, берег ушел из поля зрения, и — о чудо! — штормовое волнение застыло. Есть и валы, и впадины между ними, но все это выглядит убедительно неподвижным. Будто это вовсе и не вода.

Только если долго смотреть, можно заметить медленное — куда более медленное, чем общий бег волн к берегу! — перемещение валов относительно друг друга: их гребни то слегка сближаются, то отдаляются. Чуть меняются и высоты валов, появляются или исчезают пенистые барашки на них...

Командировка в Сухуми по частной проблеме, но думаю я все о том же, об общем. Вот она, разгадка устойчивости мира, в котором живем! Это меня озадачивало: как так, мир есть волнение материи — а формы тел и их расположение долго сохраняются? Да ведь потому и сохраняются, что мы — всплески материи: и волна-солнце, и волны-планеты, и волнишки-горы на них, и даже волна-самолет, и я в нем... все мчим в основном в одном направлении, в направлении существования (по времени?), с огромной скоростью (не со скоростью ли света? Именно она должна быть скоростью распространения возмущений в среде; да и энергия покоя тел  $E = Mc^2$ ... хорош «покой!»). Этот бег волн можно заметить только с неподвижного «берега»; но его нет во Вселенной, а если и был бы, мы-то не на «берегу»! А так мы можем заметить только изменения в картине взаимного расположения тел-волн вокруг, то есть относительное движение.

Итак, устойчивость в малом — синхронность колебаний; устойчивость в крупном — движение — существование в общем потоке материи.

...Какое у меня сейчас великолепное ощущение ценности своей жизни: когда боишься умереть только потому, что не все понял, не закончил исследование!

И все это не то, и все это не так! Я могу написать немало соединенных в интересные предложения слов, могу сдобрить их уравнениями и формулами, — чтоб посредством всего этого объяснить свою идею другим... А вот насколько я понимаю ее сам? Ведь предмет ее не где-то в космосе и не под микроскопом, не в колбе; этот «предмет» — все вокруг меня, во мне, в других. Просто все. Истина выражена самим фактом существования мира.

Осталось только «прочесть» то, что выражено. Воспринять, почувствовать. Произнося слова, можно только ходить вокруг да около, а то и удалиться от истины.

Полжизни за миг понимания! Полжизни — и не останусь в накладе. Иначе ухлопаю всю жизнь — и не пойму, не почувствую».

#### **Блокнот 4-й. Последняя идея**

«Сегодня, 25 декабря, я, кажется, воспринял вселенское волнение. Или оно мне пригрезилось?.. Я и сейчас еще прихожу в себя. Впечатление было сильное, не так просто его описать. Час назад, в одиннадцать, я лег спать. Сразу, как водится, не уснул: лежал, думая все о том же. Расслабил тело, сосредоточился мыслью: вот она, среда, всюду — и возле моей кожи, и во мне! Пришло полузабытье, в котором мысли переходят в зыбкие образы, а те расплываются в причудливые ощущения. Вот тогда и произошло что-то, отчего я вскочил вдруг — весь в поту и с колотящимся сердцем. Что же было? Сначала сникли словесные, понятийные мысли. Взамен появились какие-то призрачно зримые (хотя глаза, понятно, были закрыты) блики, колеблющиеся струи — почему-то золотисто-желтые. Они мельтешили, сплетались

в вихри, снова растекались. Потом волнение стало... каким-то более общим, что ли? (До чего же здесь бессильны слова!) Оно распространилось по телу чередованиями тепла и холода, упругости и расслабленности, становилось плавнее и мощнее.

Убедительней как-то. И я понимал, как становилось: мелкие частные пульсации во мне сливались, складывались в более крупные, а те складывались с внешним ритмом. (Каким, откуда?..) Вот биения сердца совпали с ним. Меня — и по мышечным, и по тепловым ощущениям — будто стало колыхать от правого бока к левому. Потом пошли волны и вдоль тела. Они не только колыхали, но и слегка то расширяли, то сжимали меня. Я вроде как начал пульсировать.

Но я еще чувствовал себя отдельным телом, только погруженным во что-то объемно колеблющееся. Потом — видно, внешние ритмы целиком подчинили внутреннее волнение — перестал это чувствовать! Откуда-то извне приходило тепло — мягкое; будто живое; оно превращалось в жар. Я понял, что будто растекаюсь, плавлюсь... и тут импульс животного ужаса напряг тело! Я вскочил.

Что же это было? Температура 36,7°, идеальная норма.

Этот толчок внутреннего ужаса... Сейчас такое чувство, будто спасаю: летел в пропасть, но успел ухватиться за камень. Боюсь снова лечь. И никогда я не был психом... Во внешнем растворялось мое «я»? Это и было то самое понимание, которого я столь декларативно желал и ждал? Гм...

Скорее даже не оно, только подступ к нему.

Брось ты это дело, Калуга! Брось, пропадешь! Займись обычной наукой, делай докторскую. Или снова женись — будешь заботиться, ссориться, растить детей: все отвлечешься... А то пропадешь ни за понюх табаку. Ну их, эти страсти!

А ведь не брошу...»

Эта запись была отчеркнута красным карандашом следователя. «Да, действительно», — качнул головой Кузин.

«Человеческая жизнь есть ценность — недоказуемый, но общепризнанный постулат. В чем она, ценность жизни? В длительности ее, в продолжении рода, то есть в той же длительности, только генетической? Чем дольше, тем лучше, и чем больше, тем лучше, — простой азиатский принцип.

Но существование не может быть целью существования. Ведь в этом случае идеал, которому следует подражать, — тупое существование камня. Он «живет», не прилагая усилий, миллионы лет — прочный и равнодушный. Правда, мы, белковые твари, менее прочны. Нам для длительного существования надо обмениваться веществами и информацией со средой, лавировать в пространстве, предвидеть во времени, сопротивляться, ладить, объединяться для совместных дел, специализироваться... словом, ловчить. Кончается это занятие все-таки несуществованием, смертью.

Тогда в чем же цель разумного существования? Пожалуй, в познании истины. Всей истины. Абсолютной истины. Она, говорят, недостижима. Но говорят-то это люди, которые ее не достигли, — стоит ли полагаться на их авторитет?..

С чем я могу согласиться, так это с тем, что истина недостижима на уровне слов, формул, графиков... на уровне тех средств информации, с помощью которых мы объясняем другим то, чего сами толком не понимаем. А вот на уровне чувств, своих ощущений? Кажется, да.

Даю — под впечатлением той ночи — Энергетическую Теорию Интуиции. Или Теорию Интуитивного Резонанса, как угодно.

1. Что такое интуиция, никто не знает. Знают лишь, что она есть и что ею можно руководствоваться в оценке сообщений и в предвидении дальнейшего не хуже, чем логикой (кстати, что такое логика, тоже толком не ясно). И тем, и другим путем мы пытаемся составить верное представление о действительности, понять истину.

Можно определить так: интуиция — понимание конкретной истины не путем рассуждений, а по какому-то внутреннему сигналу в нашей психике.

Сигнал этот, хоть и относится к «тонким движениям души», несомненно, материален. Какова же его природа?

2. Каждый, кому приходилось понимать или создавать новое: изобретать, открывать, решать сложную жизненную задачу (это важно, что жизненную!), знает, что в момент понимания или правильного решения исчезает усталость, даже если бился над проблемой днями и ночами. Человек чувствует прилив сил, бодрость, хорошее настроение, желание работать еще и еще — и нетрудно ему, даже тянет.

Так было и у меня, когда пришел к «шутейной» идее о переменных микрочастицах, так было и в других догадках о свойствах волнующейся материи. Так бывало и раньше, когда в работе или в жизни приходил к истинному решению. Поднимается тонус, хочется счастливо смеяться, неизвестно откуда берутся силы... Такое состояние — по сути, единственный факт о природе человеческого творчества. Его именуют «озарением», «вдохновением», «наитием», но все это словеса. Строгая его суть в том, что в человеке возникает прилив энергии.

И наоборот: когда от внешних причин или по легкомыслию сбился с пути к пониманию — чувствуешь тупой упадок сил, руки опускаются. Что же это за энергия понимания истины, откуда она берется в человеке? И ведь внезапно, явно не от еды и питья.

3. Вникнем в механизм познания человеком действительности. Из среды в меня проникают сигналы. Ассортимент их огромен: мы обычно выделяем те, которые можно отнести к органам чувств (обоняние, зрение, слух, осязание, вкус, равновесие), — но это далеко не все. Есть и чувства симпатии или неприязни, тревоги заботы, юмора, уверенности, любопытства... все не перечесать. Они наличествуют, хотя специальные органы для них установить затруднительно.

Все сигналы, объединяясь, создают во мне (в мозгу? — наверное, не только...) некий чувственный образ — модель

среды. Когда ощущения неполны или искажены, модель неправильно отражает внешний мир; когда же они достаточно полны и не искажены, она близка к реальности. Ясно, что сигнал интуиции — это ощущение близости модели во мне к изучаемой действительности. Почему есть такое ощущение и почему оно выражается приливом энергии?

4. Пока мы считаем, что реальность — это пестрое нагромождение статичных тел и независимых явлений, понять это невозможно. Иное дело, если полагать, что реальность — сложное, но единое пространственно-временное волнение материи.

Тогда отражающая эту реальность модель — тоже четырехмерное волнение во мне, в субъекте. И когда волнение-реальность и волнение-модель похожи — возникает резонанс...»

«Ого! — Виталий Семенович, который уже несколько устал от чтения блокнотов и подумывал лечь спать, вдруг и сам почувствовал бодрость, живой интерес и прилив энергии. — Интересно! Этого мне Дмитрий Андреевич не рассказывал...»

«...А резонансные колебания, милостивые государи, тем и отличаются от нерезонансных, что, где бы они ни возникли: в камертоне, в мостах, в радиоконтуре, в нервной системе (то есть во мне), — они почти не требуют подпитки энергией. Значит, на поддержание в себе любой модели мира, кроме истинной (а ведь даже отсутствие у человека определенных представлений о мире, незнание есть ложная модель!), человек затрачивает изрядную энергию. Когда же он приходит к истине, эта энергия высвобождается.

Поехали дальше (рука сама пишет — вот оно, интуитивное подтверждение, что иду верно!). Но реальность — не простенькие синусоиды, как для радиоконтур или камертона; это сложнейшее объемное волнение со множеством гармоник. Нас же обычно занимает какая-то частность: отдельное явление, свойство, факт или взаимосвязь немногих

фактов, то есть одна или несколько гармоник из вселенского волнения материи. До остального нам дела нет: ведь именно куцые отрывочные истины легко реализовать на рынке житейских отношений — для заработка или самоутверждения... Я это вот к чему: если, нащупав истинную модель малой частности (иначе говоря, войдя в интуитивный резонанс с одной или немногими гармониками волнения), человек испытывает заметный прилив энергии, — то какое же огромное количество энергии высвободится в нем, если он вдруг поймет все?

Не словами, не уравнениями — а почувствует всю истину о мире и себе!

...И это будет самая умная энергия из всех, какими владеет человек. Да и владеет ли он ими? Основная беда нынешнего мира в том, что люди не по уму могущественны. Оттого и боимся атомных бомб, которые сами выдумали, сильнее стихийных бедствий.

А здесь — без кнопок, которые любой кретин нажать может, иначе: понимаешь глубоко действительность — приобретаешь дополнительный запас энергии. Не понимаешь — не обессудь.

Энергия колебаний пропорциональна частоте колебаний. Это значит, что наибольший запас энергии во мне — на уровне частиц и атомов: их частоты порядка  $10^{23}$  —  $10^{21}$  герца. Потом идут молекулярные колебания с частотами от  $10^{20}$  в легких молекулах до  $10^{12}$  —  $10^9$  в тяжелых белковых. Потом идет диапазон «живых колебаний» во мне: вибрации мышечных клеток и волокон, пульсации в нервных тканях, упруго-звуковые колебания в костях, сухожилиях, в разных перепонках — и так до циркуляции крови, биений сердца, дыхания, обмена веществ.

Резонанс на атомно-молекулярном уровне даст почти неисчерпаемый поток энергии, не меньше, чем при термоядерном синтезе. Но добраться до него не просто: надо сначала войти в резонанс на уровне дыхания и сердцебие-

ний, потом на уровне нервных, клеточных и упругих колебаний. А там — видно будет.

...Ни черта там не будет видно, любезный Калуга, и ничего ты так не достигнешь! Уже все разложил по полочкам, замелькали числа и термины: «резонанс», «частоты», «энергия»... Ведь это же энергия понимания — энергия мысли твоей, чувств твоих, жизни твоей! Не поможет здесь математическая теория, невозможны здесь опыты с приборами, ничего не дадут и обсуждения с коллегами. Только напряжением всех жизненных сил и всех помыслов ты сможешь достичь резонанса — понимания.

Жизнь — опыт? Методика — изменение образа жизни. Ну что же отложил ручку? Делай окончательный вывод. Трудно...

Вон, выходит, что! Оказывается, во мне сильно это инстинктивное представление о счастье как о сытости-безопасности-уюте, обладании вещами, женщинами, властью — и так далее, и тому подобное — весь набор. Если его нет, то какие бы тебя ни осеяли идеи и откровения («Знаем мы эти песни!..»), считается, что тебе в жизни не повезло. А если есть блага, то держись их, как вошь полушубка, и не умствуй. А ведь мне уже четвертый десяток. И имею блага, и можно добыть еще. Был бы я двадцатилетним мальчишкой...

Но я не пришел бы к этой идее двадцатилетним мальчишкой.

...В эксперимент этот нельзя входить с мыслью, что мне «не повезло». Ни в малой степени — ибо отсюда возникнет желание достичь, превзойти, доказать всем эффектными результатами. Это испортит все. Что — не готов?

Трудно...

Мне не повезло? Мне неслыханно, дико, фантастически повезло: меня, обыкновенного человека, посетила идея небывалой ценности; которая... нет, не перевернет и не потрясет мир, хватит его трясти и переворачивать! — но которая позволит людям понять, кто они и что, зачем живут, что должны и чего не должны делать, чтобы жилось хорошо.



Идея, которая может сообщить людям спокойную ясность и по-настоящему разумное могущество.

...И не в противопоставление людям я обрекаю себя на иную жизнь, нет. Каждый человек стремится к истине и — пусть криво, с попятными ходами, не всегда сознательно — идет к ней; иначе и культуры не было бы, и цивилизации. (Кстати, и нынешняя энергетическая мощь человечества — результат познания, а не чего-то иного.) Но если видишь прямой путь к истине, не виляй, иди прямо.

Я вижу. У меня есть шансы глубоко почувствовать Истину, овладеть энергией интуиции. Для этого необходимо перво-наперво отрешиться от привычной, затягивающей в суету и погоню за благами жизни. А если понадобится, то и от своего «я». Потом, если удастся, передам свое понимание другим.

Пусть влечет меня поток жизни куда угодно и как угодно, я не буду отныне выгадывать в нем струю получше, — только наблюдать, вникать, познавать. Ходить — и думать, лежать — и думать, смотреть — и думать. Об одном. Нет больше кандидата наук и интересного мужчины Калужникова — есть только познающий орган того же названия.

16 марта. Чемоданчик сложен. Сейчас ухожу. Прощай, моя квартира, место удобной жизни, утех и размышлений! Прощай, Институт! Прощевайте, бука Адольф Карлович, душевный Виталик и вы, ребята! Не надо слов, не надо слез. Поклон академику! Ах, помолись ты за меня, тетя Киля!..»

В этом блокноте оставалось еще много чистых страниц.

### **Третья беседа Нестеренко и Кузина**

Кончилось время изучать, наступило время решать. Никогда до сей поры Виталий Семенович не переживал и не передумывал столько за короткое время, как в ночь после почтения калужниковских блокнотов; не будет с ним этого и потом. Он разделся и лег, намереваясь спать, но сон не

шел. Какой тут сон, когда голова до предела возбуждена узнанным, предположениями, догадками и — главное — вопросом: как дальше быть с этим знанием?

«С каким знанием? — Кузин поймал себя на том, что бродит мыслью вокруг до около, не решаясь подступить к самому важному. — Что там получилось, как? Не было Тобольского антиметеорита? «След» его — прорытая лопатами канава. Тогда что же было? Был Дмитрий Андреевич Калужников, человек, который вбил себе в голову, что мир — зыбкое волнение и что посредством чувственного понимания его, «интуитивного резонанса», можно черпать из него или из себя?! — энергию.

Выходит, он понимал-понимал — и...»

Виталий Семенович сел на кровати. Сон пропал окончательно. «Но ведь он только вбил это себе в голову, ничего более! Ни ясного обоснования, ни опытов. Не считать же «опытом» то, что ему грезилось в полусне: «контакт с волнением!»

Допустим, что его начальная идея о частицах-микроколебаниях — не безрассудна. Но разве таким бывает путь от начальной гипотезы, от начального хилого ростка знания до торжества идеи? Верно, от жалких искорок радиации, от засвеченной солью урана фотопластинки пришли к ядерной энергии. Так ведь как пришли! Через десятилетия, через годы теоретических трудностей и сложнейших проектов, через массу многократно повторенных опытов. И сколько людей работало, и каких людей! А здесь... нет, нет!»

Он снова лег, укрывшись одеялом. Небо за окном серело, дело шло к рассвету. Виталий Семенович закрыл глаза, вспоминая записи Калужникова, и снова почувствовал почти паническое волнение. «А может, действительно его путь — прямой? И все факты... ведь в этом все сходится! Следовательно прав. (Хитрец мальчишка, как поддел: не высказал догадку, а дал возможность самому дозреть до нее — чтобы казалась своей, родной, чтобы не отвертеться... черт бы его

взял!) Но тогда... страшная ломка, переоценка всех ценностей — и духовных, и интеллектуальных, и житейских. Иной путь развития человечества».

Кузин попытался представить себя научающим человечество — и ему стало как-то по-грустному смешно. Он показался себе такой мошкой... «Хорошо. Допустим, я поддерживаю версию, что не было антиметеорита, а Тобольская вспышка произошла от... от идей Дмитрия Андреевича, иначе не скажешь! И что? Выступать с этим против решения установившегося мнения мировой науки? С чем, с показаниями кузнеца и четырьмя блокнотами? Анекдот!»

Он представил, как в компании со следователем прокуратуры дает ход делу: пишет докладные в Президиум АН, статьи, письма, выступает перед журналистами, объясняется в институте... Даже в воображении это выглядело скандально и ни с чем несообразно.

Мучительно засосало в подреберье. Виталий Семенович, морщась, помассировал это место ладонью. «Желчный пузырь, будь он неладен. Нарушение режима. Ночью все-таки надо спать... Вот так вот, работаешь, всего отдашь себя, а тут еще это!...»

Вспомнилось вдруг, как смотрел на него в последнюю встречу следователь Нестеренко: с уважительным доверием и в то же время требовательно. «Как будто что-то лучше меня понимает и больше прав. А что вы понимаете, уважаемый Сергей Яковлевич, в ваши розовые двадцать восемь лет! О, эта кажущаяся правота молодости, когда все кажется легким — потому что сам еще и не пробовал понять!.. Ничего, молодой человек, у вас все впереди».

Боль в подреберье не утихала и грозила перекинуться в желудок.

«Да и что это за истина такая, которую можно только почувствовать, а выразить нельзя? Научные истины должны быть признаны. А чтобы их признали, их надо именно выразить — словами или графиками, уравнениями или неравен-

ствами... иначе никак. Нет. Нет, нет и нет! С переменностью частиц могу согласиться, даже с общей идеей волнения материи могу, а с этим... с «пониманием» — никак. Не стоит и принуждать себя».

Виталий Семенович еще раз перебрал в уме записи Калужникова — и не увидел логики в его поступках. Вот он, Кузин, человек не глупее, не хуже Калужникова — разве бросил бы из-за осенившей его идеи (какая бы она ни была!) институт, товарищей по работе и творчеству, презрел бы жизнь цивилизованного человека, подался бы бродяжничать... чтобы «проникнуться»? Что бы он этим доказал? Что этим можно доказать?! Нет в этом правоты.

В четверг у Виталия Семеновича было достаточно времени, чтобы сформулировать и отшлифовать свое мнение. И когда в пятницу утром явился следователь, то Кузин, твердо и ясно глядя в его глаза, сказал, что изучил блокноты и понимает, к какой необычной версии склоняется уважаемый Сергей Яковлевич; эта версия делает честь его воображению. Но поддержать его не может: последние идеи покойного Калужникова — очевидный для любого физика бред... *Idee fixe*. Как ни жаль, но надо все-таки допустить, что Дмитрий Андреевич именно свихнулся на них. Отсюда и поступки.

Нестеренко был ошеломлен, огорчен и даже пытался спорить:

— Ну как же, Виталий Семенович!.. Ведь была вспышка. И произошла она именно там, где находился Калужников. А антиметеорит-то не падал, это же мы с вами в прошлый раз ясно установили!..

— Да почему же ясно, Сергей Яковлевич? Мне вот как раз это не совсем ясно, не убежден я, что метеорит не падал... Ну, с аннигиляционной «бороздой» эксперты дали маху, согласен. Плохо опросили жителей. Однако уточнение, что «борозда» — вырытая людьми канава, не перечеркивает вер-

сию метеорита, Сергей Яковлевич, нет! Он ведь мог и не долететь до земли, а сгореть на определенной высоте над этим местом. Картина при этом останется той же: тепло — световая вспышка, остеклованность почв, радиация... Ведь и в «Заключении» речь идет не о центре, а об эпицентре вспышки, если помните. Это разные вещи. Так что здесь возможны варианты толкований.

Нестеренко глядел на Кузина во все глаза: «Ну и ну!»

— А как насчет веса, состава и скорости метеорита? Их ведь вычислили по «параметрам» канавы! — Он не хотел сдаваться без боя. — И точку неба, откуда метеор якобы прилетел, по ним же.

— Н-ну... по-видимому, и в этом вопросе несколько оплошали — правда, не наши эксперты, а сэр Кент с сотрудниками. Хотя в принципе нельзя оспорить, что антиметеорит был и массивным, и довольно плотным: с одной стороны, целое озеро испарилось, а с другой — почва оплавлена локально. — Кузин сам почувствовал шаткость своих доводов и поспешил заключить: — Это все уже второстепенные детали, они сами ничего не доказывают и не отменяют.

Минута прошла в неловком молчании.

— Ну а блокноты и показания Алютина я им все-таки перешлю, — сказал следователь. Он взял папку, встал.

— Конечно, перешлите. Ваш долг, так сказать... Но... хотите знать мое мнение? Ничего не будет.

— Почему? — угрюмо спросил Нестеренко, поглядывая на дверь: ему, по правде говоря, вовсе не хотелось знать мнение Кузина, а хотелось только скорее уйти.

— Понимаете, если бы это попало к экспертам в самом начале, когда они расследовали Тобольскую вспышку, то сведения оказались бы кстати. Показания насчет канавы даже несомненно повлияли бы на выводы комиссии. А теперь — нет. Упущен момент, Сергей Яковлевич, еще как упущен-то! Уже сложились определенные мнения, по этим мнениям предприняты важные действия: конференции, доклады,

книги... Даже показания о том, что «аннигиляционная борозда» суть прорытая лопатами канава, пожалуй, замнут.

Виталий Семенович видел, что Нестеренко разочарован и огорчен беседой, — и то, что он нехотя расстроил этого симпатичного парня, было ему неприятно. Он старался скрасить впечатление чем мог.

— Нет, пошлите, конечно. — Он тоже поднялся из-за стола. — Ну-с, Сергей Яковлевич, пожелаю вам всяческих успехов, приятно было с вами познакомиться. Если еще будут ко мне какие-либо дела, я всегда к вашим услугам.

Последнее было сказано совершенно не к месту. Виталий Семенович почувствовал это и сконфузился. Они распростились.

...Настоящий, стопроцентный трус — он потому и трус, что ему никогда не хватает духу признаться себе в своей трусости. Он придумывает объяснения.

Три месяца спустя, когда в семье следователя Нестеренко возник вопрос о предстоящем заклеивании на зиму окон и жена сказала, что для этого надо где-то добыть плотную бумагу, Сергей Яковлевич ответил:

— Что ее добывать, вот, пожалуйста, — и положил на кухонный стол три годовые подшивки своего любимого научно-популярного журнала.

— Сереж, ты ли это? — изумленно расширила глаза жена. — То готов был глаза выцарапать, если я на журнал кастрюлю поставлю, а сейчас пожалуйста!

— А!.. — сказал Нестеренко — и это был самый короткий некролог из тех, что произносят над былым увлечением.

## ЭПИЛОГ

### Некоторые предположения о гибели Калужникова

*Ужаснись, небо, и вострепещи,  
земле, преславную тайну видя!..*

Протопоп Аввакум. «Послание святым отцам»

Теплый ветер колыхал траву. Калужников шагал по степи в сторону Тобола, рассеянно смотрел по сторонам. Зеленая, с седыми пятнами ковыля волнистая поверхность бесконечно распространялась на восток, на север и на юг; с запада ее ограничивали невысокие, полого сходящие на нет отроги Уральского хребта.

...Ему уже не требовались ни карандаш, ни бумага. Ему уже не требовалось думать. Просто — впитывать через глаза, уши, нос, кожу, через сокращение мышц, прикосновения ветра к щеке и волосам все, что существовало и делалось вокруг. И разница между «существовало» и «делалось» стерлась для него: покой материи был проявлением согласованного движения ее — и сам он был в этом движении. И стекающие в степь Уральские горы, и белое облаковерху, похожее на пуделя, и колыхание ковыля, и неровности почвы, осязаемые босыми ступнями, — все имело свои ритмы, все раскладывалось на гармоник ряда Фурье... хотя он позабыл и думать о ряде Фурье и иных математических построениях. Все было проще: запомнить, впитать в себя все так, как оно есть, не истолковывая и не приписывая ничему скрытые смыслы. И потом ночью, на

сеновале или в степи под звездами, все наблюденное и впитанное само складывалось в свободную — сложную и гармоническую — картину волнения.

В том и штука, что мир оказывался устроенным сразу и гениально просто, и дурацки просто! И даже никак не устроенным.

Впрочем, возникавшие ночью, в дремотном полузабытии образы чувственного волнения оставались почти гармоничными. Почти — в этом все дело. Словами и математикой, если бы вздумалось вернуться к академическим исследованиям, он теперь мог объяснить многое: от превращений веществ до влечения или неприязни людей друг к другу, даже до социальных процессов. Но понимание мира оказывалось куда глубже и тоньше понятия о нем; оно еще маячило вдали.

...Когда в марте покинул Новодвинск, его влекло с места на место. Он ехал поездами, автобусами, летел самолетами, плыл на теплоходах — и все это было не то, не то... На второй месяц блужданий он сообразил, что никак не выберется из города, из Города Без Названия, оплетшего землю паутинной сетью коммуникаций.

В этом Городе тысячи километров одолевались за часы, новости из всех мест узнавались тотчас всеми; сама планета крутилась пинг-понговым шариком на телеэкранах — казалась пустячком.

Тогда он спрыгнул с поезда на полустанке, пошел пешком — сначала по тропке обходчика вдоль колеи, затем через поле люцерны, по пойме извилистой речушки... И все стало на место: мир был огромен, а человек в нем — мал. Именно с этого, с осознания реальных масштабов, начинался путь к истинному величию.

Так он добрался сюда. И отсюда его уже никуда не тянет: будто искал что-то и нашел. Хотя что он мог здесь найти? Разве что невиданный ранее простор, вольный, не запутавшийся в строениях и в лесах ветер да немудрящую простоту жизни.

Те моменты интуитивного сближения со средой, которые начались в Новодвинске, теперь повторялись чаще; и не обя-



зательно в сонной расслабленности. Он научился чувствовать мир. Достаточно было уединиться, отключиться от забот и отношений (а их почти не было), от мыслей о себе — и начиналось... В них, в этих моментах, не стало прежнего привкуса страха и азарта; они были, как музыка, как чувствуемое звучание оркестра природы, в котором все: степь, небо, травы, блеск солнца на ряби воды, трепет ветра, суесящиеся у речного обрыва стрижи — и инструменты, и ритмы, и согласованные в симфонию мелодии, да в котором он и сам не слушатель, а участник. В мыслях-ощущениях нарастала прозрачная пульсирующая ясность; казалось, будто внешние волны подхватывают его: еще немного, чуть-чуть, и он по тому, что чувствует здесь и сейчас, угадает все, что есть в мире, что было и что будет, сольется с движением-волнением среды — и полетит... Каждый раз он, торопя предчувствие слияния и взлета, напрягался, делал усилия, чтобы закрепить это, — и срывался.

Но что-то оставалось. Следующий раз интуитивно проныкал еще глубже и сознавал радостно, что складывающаяся в нем модель Вселенной становится все ближе к действительной.

...Раньше, чем Калужников услышал крик, он почувствовал, что кто-то смотрит на него и рад видеть.

— Дядь Дима-а-а! — донес ветер тонкий голос.

Он оглянулся. На пологом пригорке, зелень которого пересекала пыльная лента дороги, стоял Витька. Правой рукой он придерживал дышло двухколесной тачки, левой махал Калужникову. Тот вышел к дороге. Витька, поднимая тачкой и босыми ногами пыль, примчал к нему.

— А я вас еще вон откуда увидел, от бахчи, — сообщил он.

— Угу... Тачку-то зачем волокешь?

— А тятенька велели — рыбу везти. Так-то ведь не унесем, она повалит теперь — успевай вершу очищать. Уже кончили канал-то?

— Да, пожалуй. Там твой батя остался, должен кончить.

— Ой, дядь Дима, пошли скорейча!

— Во-первых, никуда без тебя твоя рыба не денется. А во-вторых... Ну ладно, садись на свою телегу.

Витька с радостным сопением взобрался на тачку. Калужников ухватил дышло и — держись! — помчал, благо дорога шла под гору.

...Идею насчет канала он предложил несколько дней назад, когда помогал Трофиму Никифоровичу на бахче; под вечер они пришли к Тоболу закинуть удочки. Клевало лениво. Дмитрий воткнул удилище в берег, взобрался на бугор, разделявший реку и продолговатое, как селедка, серое в вечернем свете озеро Убиенное. Раньше здесь пролегалла граница земель казахов и уральских казаков. Отсюда и название: сюда, не поделив необъятную степь, сходились на смертные драки те и другие.

— Дядя Трофим, поди-ка сюда!

Трофим Никифорович неторопливо подошел — жилистый и сутулый пятидесятилетний мужчина с красным лицом; его правую щеку украшал ветвистый синий шрам, похожий на Волгу с притоками: след того, как когда-то он и станичный бугай Хмурый, которому клепали кольцо в носу, крупно не поняли друг друга.

— Ну, чо?

— Смотри-ка. — Калужников показал на озеро. Там играла рыба. На оловянной воде то и дело возникали и расходились круги, слышались всплески.

— Э, видит око!.. — Кузнец махнул черной рукой. — Сытая она там — травы много, жучков. А рыбин до черта, точно. Озеро усыхает.

— Вот прокопать бы канаву, поставить вершу — она и пойдет. А?

Алютин молча промерял перемычку. Вышло двадцать шесть шагов.

— А чо, а ить верно! — загорелся он. — Огрузимся рыбой! Голова у тебя варит, Митрий. Столько лет стоит озеро, никто не додумался. Недаром ученый!

...Три дня Витька таскал им харчи за восемь километров из станицы: Калужников и дядя Трофим копали с утра до ночи. У кузнеца, солдата двух войн, получалось лучше: канал выходил ровный, как окоп, с прямыми черными стенками. «Огрузимся рыбой», — бормотал Алютин, кидая землю. Рядом наготове лежала тальниковая верша.

Калужников в первый же день накопался до крепатуры во всех мышцах. Вчера он ещё ковырял кое-как, а сегодня и вовсе предоставил кузнецу доканчивать дело, сам ушел бродить по степи.

...Пробежав с тачкой полкилометра, он запыхался. Витька слез и рыцарски предложил:

— А теперь давайте я вас.

— Ладно уж, воробей! Дойдем и так, близко.

Вдали виднелась кайма тальника на берегу Тобола. Вскоре вышли к озеру. Трофим Никифорович стоял на бугре и курил; у ног валялась лопата. Он поглядел на подходивших Калужникова и Витьку, на тачку — и сердито отвернулся.

В вершу, установленную на выходе канала, била струя — прозрачная и тонкая, как из кружки.

Сквозь канал просматривался камыш на берегу озера Убинного и игра света на воде. Поток шел глубиной едва ли с мизинец. Калужников осмотрел сооружение.

— Перемычку надо было оставить, дядя Трофим, да копать глубже. Какая же серьезная рыба в такую воду пойдет!

— А где ты раньше был со своими советами — перемычку? — закричал кузнец. — Надо самому доводить, раз уж взялся! Много вас теперь, таких советчиков... Перемычку!..

— Ну, ничего, может, размост. А не размост, так засыпем и прокопаем глубже.

— Размост... жди теперь, пока размост! Здесь грунт плотный. А засыпать — тоже жди, пока высохнет. В грязи не очень-то поковыряешься, у меня и без того ревматизм.

В вершу за час понабивались ерши. Некоторые были настолько мелкие, что проскальзывали сквозь прутья и уплы-

вали по ручейку в Тобол. А те, что покрупнее, просовывали между прутьями головы и пучили на людей мутные глазки. Кузнец нагнулся, вытащил одного.

— Сплошные сопли, мат-тери их черт! — Отшвырнул, вытер пальцы о штаны.

— А маменька тесто поставили, — расстроенно сказал Витька. — Для рыбного пирога.

Алютин докурил папиросу, бросил, растоптал и выругался так крепко, что лягушки зелеными снарядами попрыгали в Тобол.

Калужников морщился-морщился, не выдержал и расхохотался, да так, что сел. Глядя на него, запрыскал в ладошку и Витька. За ним рассмеялся и кузнец.

— Ох, Димка, Димка, и где только была твоя голова с этой перемышкой! Я ж не понимаю, рабочая сила... Э, ну тебя! Не там где-то твои мысли, не отдыхать ты сюда приехал — все про науку свою думаешь. Разматывай удочки, Витька, надо хоть так наловить — иначе нам лучше и домой не возвращаться!

На их счастье, на сей раз ловилась рыбка — и больша, и маленька. Дядя Трофим подобрел, а после ужина, в меню которого была печеная картошка с печеными же в костре окунями, выпив оставленную на открытие канала четвертинку, и вовсе захорошел.

— Димка-а... — тянул он дурашливо.

— А? — Тот лежал, подперев голову руками, смотрел на воду, на другой обрывистый берег Тобола, на тающие к вечеру облака.

— Хрен на!

— Возьми два, — рефлексивно ответил Калужников. — Одним закуси, другой жинке на борщ отнеси.

— Во дает! — умилился кузнец. — Что значит наука, ученый человек. Уважаю я вас, тилигентов, за умственность.

Остатки облаков расположились параллельными бело-розовыми полосами. Они чередовались с просветами быстро

синеющего неба. «Вот и в воздухе обнаружили ритмы, волны. С чего бы, казалось? Ветер дул по-всякому, влага тоже испарялась где так, где иначе... а все сложилось в волны». Калужников чуял приближение знакомого и желанного состояния ясности.

— ...Оставался бы у нас, был бы первый парень в крепости, — толковал дядя Трофим. — Вон Кланька-то на тебя как глядит, Димакова-то: хошь женись, хошь так... А ты все думаешь, думаешь! И глаза у тебя от мыслей какие-то мертвые. Нет уж, лучше я буду каждый день станичному бугаю кольцо в нос ковать, чем этой вашей наукой заниматься... Эх, где мои тридцать лет! Вот я казаковал...

Калужников слушал и не слушал. «Плывут облака, течет вода в Тоболе, качаются ветви тальника, играют стрижи у обрыва, дядя Трофим плетет чушь — все это делается просто так. Потому что должно же что-то делаться в природе!»

За отрогами дотлевал закат. Волны-облака стали сизо-багровыми. Звенел ручеек из канала. Ныли комары. В озере Убиенном, провожая день, играла рыба.

Трофим Никифорович погрузил на тачку вершу, лопаты, удочки, растолкал клевавшего носом сына, крикнул Калужникову:

— Ну чо, пошли?

— Идите, я еще побуду.

— Смотри: отставать да догонять... Или ты не домой пойдешь?

— Может быть. («Идите, идите. Уходи скорее, докучный день! Приди ко мне, ночь. Приди, природа, чувственно и жарко, как женщина в мои объятья...» — это были получувства-полумысли.)

Скрип колес тачки, бормотанье Трофима Никифоровича, шаги — все удалилось. Темнело. Сник ветер. Успокоился плеск рыб в озере и реке. Постепенно установилась тишина — тот всеобъемлющий и торжественный покой, когда неловко даже сильно вздохнуть.

Дмитрий Андреевич осторожно, чтобы не нарушить незначай тишину, перевернулся на спину, закинул руки за голову. В темно-синем небе загорались первые звезды. Раньше у него была привычка узнавать созвездия, вспоминать названия приметных звезд. Теперь же он просто смотрел.

«Природа и я... Мы разделяем: есть «я» и есть природа, которая все, что не-я. Но есть только природа, среда. А «я» — от замкнутости... от замкнутости того, что делается в том кусочке среды, где есть объемный всплеск ее же, именующий себя «я». Я, Калужников... Но не такая это и замкнутость, если я ощущаю и понимаю окрестное. Ограниченно ощущаю и понимаю неполно — вот от чего замкнутость. А когда полно, то не станет отдельно «природы», отдельно ее модели во «мне» — все сольется в Единое Волнение. Слиться — вот главное...»

Он перестал замечать, как течет время, только чувствовал, что материальный поток, чуть вибрируя упруго — в ровном дыхании, в ударах сердца, — несет его вместе с теплой степью, рекой, озером, тихим небом в бесконечность. «Будто Волга», — подумалось ему. Он вспомнил, как купался в Волге ниже Горького и его несло ровное, но быстрое течение, какое нельзя было предположить по виду величественной реки. «И поток времени — галактическая Волга».

Другая картина сменила эту в памяти Калужникова, картина шторма на море. Он часами стоял на берегу, цепenea перед простой, как музыка, и сложной, как музыка, правдой волнения.

...Белые от ярости волны поднимаются в атаку, налетают на берег — и откатываются, скрежеща галькой.

— Вода еси — и в воду отыдеши!

Вот взбился над камнем белый букет пены и брызг — и опал за полсекунды. А в масштабах ядерного времени он существовал почти вечно: сотни миллионов наносекунд.

Стало совсем темно, нельзя было различить, где кончается степь и начинается небо, — разве только по обильным немерцающим звездам, которые смотрели на него сквозь очистившийся от облаков воздух. И он смотрел на звезды. «Природа...

великая и ясная мудрость бесконечного мира, где все, что может быть, уже есть. А чего не может быть, того и не будет во веки веков... Прими меня, природа! Прими меня, звездная ночь!» В нем нарастало отрешение от себя — мощный всплеск интуитивного слияния.

— Среда еси, — накатывало волной, — и в среду отыдеши!

Это был главный ритм. Совпало с волнением среды дыхание. Сердце стало биться в такт чему-то властному, теплomu, понятному. Складывались в единый трепет тела пульсации мышц, нервов, крови — и светлый жар нарастал в нем.

Уже не было мыслей, не было слов и образов. Инстинкт самосохранения — последний сторож личности — на миг напомнил о себе судорогой нервного холода, распространившегося от солнечного сплетения. Калужников подавил ее, приподнялся на локтях:

— Ну?! Не боюсь. Ну!..

Сейчас его переполняло чувство любви ко всему — той чистой жертвенной любви, которую он так и не испытал ни к одной из женщин. «Отдать себя, чтобы понять — это не смерть. Это не исчезнуть, а превратиться в иное... Потому что вечна Жизнь во Вселенной!» И не было страха ни перед чем.

И бесконечность пространства открылась ему, открылась в понимании! Вместо плоской картины «неба» и «созвездий» он вдруг увидел, что одни звезды — преимущественно яркие — гораздо ближе к нему, те, что послабей, — далеко за ними, а россыпи самых тусклых и вовсе далеко-далеко и сходятся в немыслимо огромный, но теперь обозримый им галактический клин. Он видел сейчас это так же просто, как видел бы деревья, за ними — разделенные полями рощи, а за ними лес на горизонте... И все звезды были центрами всплесков во вселенском море материи, и за ними было еще пространство, и еще, и еще! И там пылали — и он легко различал эти светлячковые вихрики — иные галактики, иные звездные небеса.

И бесконечность времени открылась ему. Сейчас он прозревал начала и концы.

...Волна материи — метagalaktika — собралась в четырехмерном пространстве, взбухла за сотни миллиардов лет, закрутилась необозримым вихрем. Струи этого вихря изрыбили волны и течения помельче — из них свились спирали галактик, а те раздробились на еще меньшие — звездные — струи и круговороты. И мчатся, выются во времени эти вязкие сгустки: звезды, планеты, тела; а на краях их, рыхлящихся от перехода в спокойную среду, в пространство, снуют, суетятся, петляют друг около друга самые гибкие и верткие струи-сгустки — активные, запоминающие. Они и есть жизнь — рыхлая и гибкая плесень на поверхности всплесков-миров.

...Опадет метagalaktическая волна, разобьются на многие рукава галактические потоки материи, растекутся ручьями вещественные вихри звезд и планет — «мертвое вещество», пенясь и растекаясь, станет переходить в живые тела-струи. Они будут не такими, как раньше, и разными в разных местах, но они — будут. Потому что вечна жизнь во Вселенной, никогда она не произошла и никогда не кончится. Будет она переходить от эпохи к эпохе во времени, от миров к мирам в пространстве, изменяясь, но не исчезая — ибо жизнь и есть извечное волнение материи.

Ясность нарастала чудесной, никогда не слышанной музыкой, переливами тепла в теле, приступом восторга и грозного веселья, ощущением, что сейчас он полетит.

Какая-то легкая сила поднимала его. Он увидел, как осветилась трепетным светом трава вокруг, край канавы, затем кустарник у реки, гладкая вода, обрыв на том берегу — и все дальше и ярче, ярче, ярче! — и уже не удивился тому, что это его свет озаряет все и проникает все.

Вспышка, слепящая бело-голубая вспышка взметнулась над бугром! Она осветила и заггла тихую степь, пробудила собак в окрестных селениях, испарила озеро, оплавila землю.

Среда приняла Первооткрывателя в себя.



# ВСТРЕЧНИКИ

Повесть

*Не желающий делать ищет причину,  
желающий сделать — средство.*

Арабская пословица

*Описанные здесь несчастные,  
аварийные, катастрофические случаи  
были в действительности.*

Автор

## **I. СУЕТА ВОКРУГ БАЛЛОНА**

— ...Все блокировано. Лаборатория опечатана, уцелевшие спят. Труп Мискина в холодильнике. Близкие еще ничего не знают. Хорошо, что дело случилось вечером, после рабочего дня, — иначе изолировать происшествие было бы гораздо труднее.

— Плохо, что это вообще случилось, — внушительно заметил крепкий голос на другом конце провода.

— Это само собой. Но я с точки зрения практической.

— Доложите план.

— Забросим кого-то на полсутки назад — Возницына или Рындичевича. За секунду до взрыва Емельян Иванович будет отвлечен... окликом, телефонным звонком, просто возгласом — так, чтобы он повернул голову в сторону. И взрыв его не заденет. Самое большее снимет скальп. Потеря небольшая, там у него и снимать-то нечего. Впредь будет наука — не пренебрегать техникой безопасности.

— Э нет! — возразил крепкий голос. — Это не план. Никаких взрывов больше. Вы что — такой взрыв в лаборатории!

— Извините, Глеб Александрович, но иначе невозможно. Иначе никак! Вы же знаете методику: реальность исправляется по минимуму. Это и согласно науке, да и практически полезно: несчастный случай сохраняется в памяти его по-

тенциальных жертв как осознанная *возможность* — чтобы дальше глядели в оба, не допускали...

— Артур Викторович! Я это знаю, понимаю и целиком «за» — во всех случаях, кроме данного. Академик Мискин должен быть возвращен к жизни целым и невредимым. То есть ни он, ни другие участники опыта не должны подвергнуться опасности, которая неизбежна при новом взрыве. Следовательно?..

— Да... черт побери! — Гладкое лицо Артура Викторовича, моего шефа, багровеет.

Я кладу параллельный наушник (параллельное слушание и даже запись на пленку всех переговоров по телефону или по рации у нас в порядке вещей — необходимо для экономии времени) и машу на Багрия газетой: остыньте, мол. Он сверкает на меня глазами...

Слишком высокое начальство Глеб Александрович товарищ Воротилин, чтобы на него повышать голос; да к тому же еще наш куратор и перед всеми заступник. Артур Викторович прав, но и тот прав: все-таки академик Мискин — не утопший мальчишка и не замерзший на дороге пьяница.

...Вчера вечером в одной из лабораторий Института нейрологии ставили опыт на собаке. Какие-то зондовые проникновения в ганглии, в нервные узлы — смесь акупунктуры и вивисекции; я в таких вещах, по правде сказать, не очень, мне оно ни к чему. Опыт ставил сам Мискин, директор института, великий нейрохирург и лютый экспериментатор. Как нейрохирург он в самом деле величина мирового класса — из тех, чьи операции над нервными центрами близки к божественному вмешательству: и слепые прозревали, и паралитики отбрасывали костыли. Если мы не поправим дело, завтра что-то подобное напишут в некрологе о нем.

Опыт вели микроманипуляторами в камере под высоким давлением инертно-стимулирующей смеси; собака была предварительно вскрыта и укреплена там. Баллон, в котором была эта смесь, и рванул, когда Мискин слишком нетерпеливо-

резко крутнул его вентиль. Предельно заряженные баллоны, как и незаряженные ружья, стреляют раз в год. Емельяну Ивановичу снесло полчерепа; собака в камере погибла от удушья. Остальные двое: лаборантка и инженер-бионик, ассистент Мискина, — отделались ушибами.

С недавних пор любая подобного рода информация о несчастьях в нашей зоне передается прежде всего (милицией, «скорой помощью» — всеми) именно Глебу А. Воротилину — негласно и лично. Он наделен (тоже негласно — это первая специфика наших работ) правом либо предоставить делу идти обычным порядком, либо, взвесив шансы, передать его нам. Больших дел у нас на счету... раз — и обчелся; пока отличались всё больше на утопленниках, подтверждали принцип, отработывали методику. Вот узнав этой ночью о несчастье с Мискиным, Глеб А. рассудил, что «скорая помощь» там уже не поможет, милиция вполне потерпит, — и дал знать нам.

— Случай, Глеб Александрович, — раскаленно произносит между тем в трубку Артурыч, — есть, как известно, проявление скрытой закономерности. И нет более яркой иллюстрации к этому положению, чем данный факт. Вы бы поглядели акты о нарушении ТБ в институте, чего тут только нет! — Багрий потрясает кипой бумаг на столе, как будто Воротилин может их видеть. — И рентгеновские облучения сверх норм, и пренебрежение правилами работы со ртутью, незаэкранированные ВЧ-установки, работы в лабораториях ночами поодиночке. А помните тот случай три года назад, когда сгорела в кислородной камере женщина-врач!..

(Да, было и такое — в подобном опыте, только оперировать нужно было вручную. Заискрился регулирующий давление контактор в камере — а много ли надо чистому кислороду для пожара! Не успели и камеру разгерметизировать... Громкое и печальное было дело, весь город жалел об этой 28-летней симпатичной женщине. Инженер, собиравший установку, получил три года за то, что не додумался поставить электронное реле.)

Все это произошло давно и уже необратимо.

— И за всем этим неявным образом одна и та же фигура — Мискин! — продолжает Багрий. — Его напор, экспериментаторский азарт и ажиотаж, картинная жертвенность... сам рискует и людей без нужды под удар подставляет. Вот и напоролся — и напоролся, многоуважаемый Глеб Александрович, именно потому, что ему всегда сходило с рук. Так что я не для своего удовольствия хочу с него скальп снять — для его же пользы. Это оптимальная вариация! А вы и теперь, в *таком* деле требуете для него поблажек!..

— Разделяю ваше беспокойство, Артур Викторович. Если вы вернете Мискина к жизни, ему будет строго указано. И стружку снимем, а может быть, и скальп. И тем не менее с вашим планом я не согласен. — Голос Воротилина, не утратив ровности, стал более крепким. — Никаких взрывов, травм, контузий! Поищите возможность более круто обогнуть реальность. Это вполне в ваших силах. И не теряйте времени. Все!

Багрий-Багреев (такова полная фамилия нашего шефа; а мы, бывает, добавляем еще «Задунайский-Дьяволов»; ему с нами хорошо) тоже бросает трубку и облегчает душу в выражениях отнюдь не академических.

— Ай-ай, — раздается от двери, — а еще человек из будущего!

Оборачиваемся: в дверях стоит худощавый, но плечистый мужчина с тонким носом и волевой челюстью на удлинённом лице; он улыбается, обнажая крупные зубы. Те же и Рындичевич Святослав Иванович — он же Рындя, он же Славик, он же «поилец-кормилец».

Он сразу включается в дела: перематывает и тотчас прослушивает на двойной скорости запись разговора с Воротилиным, одновременно просматривает бумаги об Институте нейрологии, о Мискине... Багрий тем временем меряет комнату короткими шажками, изливает душу в пространство:

— И сюда проник протекционизм! Как же — Мискин, светило и бог, ни один волосок не должен более упасть с его лысины! Но это же не Мискин — это Пугачев Емельян Иванович, Стенька Разин, Чингисхан нейрологии. В белом халате на белом коне — вперед, во славу науки!..

Я слушаю не без удовольствия: Артурыч в возбуждении умеет говорить красиво.

— А что, можно и без взрыва... — Рындичевич выключает магнитофон, снимает наушники.

— Можно-то можно, да какой толк! Та же закономерность проявит себя в следующих опытах — снова что-то случится, да не только с ним.

— Ну, восстановим еще раз и еще... — невозмутимо ведет Рындя. — Будем отрабатывать методику на Мискине с сотрудниками — не все же на утопленниках. Начальство требует. Наше дело петушиное: прокукарекал, а там хоть не рассветаи.

Багрий останавливается, смотрит на него — и переключает свой гнев:

— Циник вы, Святослав Иванович! И кстати об утопленниках: грубо работаете, опять жалоба на вас. От дамочки, мамыши того мальчишки, коего вы изволили ремнем выпороть на прошлой неделе. Я, мол, его в жизни пальцем не тронула, а тут посторонний ремнем, душевная травма. Хорошо, конечно, что с фарватера их прогнал, но зачем бить! Мой Юрик зимой бассейн посещал, уплыл бы вовремя и сам... Вот так!

— Дура... — Славик темнеет лицом. — Уплыл бы! Всплыл бы — верней, половинки бы его всплыли. Это ж нашли место для игры — фарватер, где то «ракета», то «комета»! Меня не за такое пороли!

— И вырос человек! — поддаю я. Рындя косит глаза в мою сторону, но пренебрегает.

...Трое ребятишек купались в сумерках в уединенном месте; да еще в «квача» затеяли — нырять и ловить друг друга.

Прошла «комета» — одного не стало. Эта махина и не почувствовала на 70-километровой скорости, как ее подводное крыло, заостренное спереди на нож, рассекло мальчика. Двое других встревожились, побежали на спасательную станцию. Оттуда дело перешло к нам... Случай простой, Рындичевич сместился на 6 часов — и появился на берегу за четверть часа до «кометы»; разделся, заплыл, выгнал мальчишек из воды, а потенциального покойника отпорол брючным ремнем. Но ведь в окончательной-то реальности ничего и не произошло. Мамаша права.

— На меня пеняете, а сами? — Рындя переходит в наступление. — Ваши-то намерения насчет скальпа академика чем лучше?

— М-м... — Артур Викторович не находится с ответом. — Так, кстати, о нем — какие предложения?

— Облить Емельяна Ивановича перед опытом эмалевой краской, — предлагаю я невинным голосом.

Рындичевич наконец поворачивает ко мне свое волевое лицо.

— Ты, я гляжу, сегодня в хорошем настроении. Даже слишком. Я несколько конфужусь. Он прав: человек погиб, да какой — надо спасать. Выработался у меня за недолгое время «милицейский профессионализм», надо же. С одной стороны, спокойное отношение к несчастьям, которыми мы занимаемся, необходимо для успеха дела, для устранения их; а с другой — это ведь все-таки несчастья. Зубы скалить ни к чему.

А настроение (тоже прав Рындя) в самом деле хорошее. И потому, что сейчас майское раннее утро, розовый восход, предвещающий хороший день. (Это по случаю неприятности с Мискиным мы собрались здесь так рано.) И вообще мне 25 лет, я здоров и крепок телом, в личной жизни несчастий пока не было, занимаюсь интересным делом — чего унывать-то! Но и резвиться не следует, верно.

Однако Багрий уже услышал про краску:



— Вот и с краской этой, Святослав Иванович... грубо, грубо! Нет, вам серьезно надо думать над такими вещами, над стилем. Неартистично все как-то у вас получается. Работать над собой надо.

— Как работать-то? Скажите — буду.

— Ну... классическую литературу читать — ту самую, что в школе проходили, да все мимо. Серьезную музыку слушать: Бетховена, Чайковского, Грига... Живописью интересоваться.

Славик молчит, но смотрит на шефа такими глазами, что все ясно и без слов: ну какое отношение могут иметь к работе классические романы и всякие там Бетховены-Чайковские!..

## II. ТЕОРИЯ ИЗ БУДУЩЕГО

Со стороны, наверное, не понять, что Рындичевич сейчас получит выволочку (и не первую!) не за провал и даже не за промах, а за самое значительное свое — да и вообще наше — дело, после которого он получил благодарность высокого начальства, а от меня лично титул «поильца-кормильца». Он исправил неудачную стыковку, с которой, увы, началось исполнение теперь широкоизвестного проекта сборки на околоземной орбите «Ангар-1»: стартовой, перевалочной и ремонтной базы для полета к Луне, к иным планетам — космического Байконура.

Первой выводили на орбиту двигательльно-энергетическую станцию — по частям в силу ее громадности; да и части были такие, что запаса массы для космонавтов в кабине не оставалось, то есть стыковали их автоматически, с Земли. И — осечка, да такая, что ставила под угрозу проект: на стыковочных маневрах стравили весь запас сжатого воздуха, силой которого совершались взаимные перемещения частей

на орбите. И части станции, не соединившись, расходились, уплывали друг от друга — во Вселенную, в космос, в вечность...

Получилось это по вине руководителя стыковки в Центре управления, человека, в чьем опыте и квалификации никто — и он сам — не сомневался: доктора технических наук А. Б. Булыгина, 45-летнего здоровяка с удлиненной головой, резкими чертами лица, ухоженной шевелюрой и красивыми усами под крупным носом (фотографии обслуженных остаются в нашем архиве). Объекты такой массы в космос еще не выводили — поэтому он решил для опыта «накачать» их на орбите, проверить маневренность; на это ушла половина запаса воздуха. Потом повел стыковку, с первого раза не попал — занервничал, повысил голос на одного оператора. Тот развел части чрезмерно резко... а на это и на последующее гашение их скорости еще порасходовали воздух. И... оставшегося запаса на новое сближение и стыковку просто не хватило.

Булыгина, когда выяснилась неудача, «скорая помощь» увезла в предынфарктном состоянии.

Нам помогло то, что не спешат у нас прежде дела объявлять о своих намерениях в космосе, а о неудачах в их исполнении тем более. Если бы все узнали — пиши пропало: психическое поле коллективной убежденности, что все обстоит именно так, делает реальность необратимой. А так даже в Центре далеко не все в первый день знали о неудаче. Багрий с Рындичевичем вылетели в городок. Славик был заброшен на сутки назад с заданием: минимальное воздействие на Булыгина, чтобы он не появлялся в Центре.

...Потом Артур Викторович предложил десяток вариантов минимального воздействия — вполне пристойных. Но это потом. А там, на месте, может, из-за спешки, может, из-за наклонностей натуры Рындя не придумал ничего лучшего детской шкоды с ведерком эмалевой краски. Он построил его над дверями квартиры Булыгина так, что, когда

тот утром вышел, чтобы отправиться в Центр, оно на него опрокинулось. И текла по доктору наук голубая эмаль качественного сцепления — и за шиворот, и по шевелюре, и по усам... только в рот не попала. Два дня потом отчищали. И этот случай тоже вызвал у Булыгина сердечный приступ.

Но в Центре управления за командный пульт стал дублер, заместитель Булыгина, — и исполнил все превосходно. «Ангар-1» сейчас сооружается полным ходом.

Глеб А. Воротилин, помимо благодарности Рынде, добился, чтобы 10 процентов «экономии» (стоимости неудачного запуска и стыковки) перечислили нам. Так Рындя стал «поильцем-кормильцем», и теперь можно разворачивать дело шире; не только в смысле закупок и заказов, но и, главное, ездить всюду, искать подходящих ребят, тренировать их. Пока что ведь нас — трое. А если учесть, что Багрий по многим (и не совсем мне ясным) причинам в нашей команде больше тренер, чем игрок, то и вовсе двое: я да Рындя.

Рындичевич — он, что называется, из простых. Был трактористом у себя в белорусском селе, потом строителем, электро-монтажником, слесарем, токарем — на все руки. Инженером стал заочно, сам к своему диплому с юмором относится. Культуры у него, в самом деле, от сих до сих, в самый обрез, чтобы понимать, что показывают по телевизору. Да к тому еще и самолюбив, мнителен, упрям до поперечности... не подарочек.

О себе я не буду, но думаю, что и многие мои качества Артура Викторовича отнюдь не радуют. И если он нас двоих выбрал из многих тысяч, то не за душевные добродетели и не за красивые глаза (это у меня красивые глаза: голубые с синим ободком; по ним да по светлым волосам меня принимают за уроженца Севера — хотя на самом деле я из Бердянска на Азовском море) — а за *абсолютную память*, главное качество в нашем деле. У Рындичевича она проявилась в том, что он с первого показа осваивал все операции со всеми тонкостями — тем изумляя наставников; у меня — в том,

что я в своем Институте микроэлектроники за первый же год прославился как ходячий справочник, реферативный журнал и энциклопедия (хотя я, поступая туда, надеялся прославиться другим). По нашей славе Артуруч нас и отыскал.

Абсолютная память — способность запоминать все до мельчайших подробностей и вспоминать это легко и в любой последовательности — не только техническое, что ли, наше свойство; она, по объяснениям Багрия-Багреева, есть вторая (а может, и первая) форма нашего существования.

Мы — Встречники, люди, умеющие двигаться навстречу потоку времени.

Энергетически двигаться против потока времени: нажал кнопку или переключил рубильник и попер — невозможно. Время само по себе — страшная энергия, энергия потока материи, порождающего и несущего миры. Маяковский мечтал: «Впрямь бы это время в приводной бы ремень: сдвинул с холостого — и чеши, и сыпь. Чтобы не часы показывали время, а чтоб время честно двигало часы». На самом деле так оно и есть: время движет и часы, и меня, заводящего их, и круговороты веществ и энергии в природных процессах, питающих, «заводящих» меня, и планеты, и солнца — все. «Энергия покоя» тел  $E = Mc^2$  — это и есть энергия движения-существования тел во времени. Попробуй останови: аннигиляция.

...В фантастике мне приходилось читать: заплатит чувак миллион — и отправляется с подругой поглядеть на казни первых христиан или на Варфоломеевскую ночь в натуре. Для пищеварения. Так сказать, возлежа и отрыгивая. Нет, граждане, время — это вам не пространство, башли здесь решают так же мало, как и энергия. Артур Викторович шел по другому пути, не от энергии, не от техники — от человека. Метод — информационный и уже этим, при всей своей теоретической строгости, ближе к искусству, чем к технике.

Исходная идея его была та, что человек, как все сущее, *четырёхмерен*. Мало того, он имеет два различных «размера по времени». Первый — биологический: полусекундный примерно интервал одновременности, под который подогнаны наши движения, слова, удары сердца. Благодаря этому интервалу мы и воспринимаем наш мир именно таким: если бы, скажем, он составлял тысячную долю секунды, то вместо низких тонов мы воспринимали бы серии щелчков, треск... и прощай, музыка! Перед забросом мы принимаем препарат петойля, который растягивает интервал одновременности до нескольких секунд, и это страшное дело, насколько меняется окружающий мир!

Но кроме биологического интервала, одинакового для всех высших животных, есть и другой, в котором люди прочих тварей заметно превосходят: психический. Память. И вот в этом не только люди от зверей, но и один человек от другого сильно отличается.

Память... На первый взгляд кажется, что ее можно уподобить видению в пространстве: как в пространстве — чем дальше предмет, тем труднее его рассмотреть, так и во времени — чем удаленнее событие, тем труднее его вспомнить. Но почему, скажите, отменно четко далекое прошлое вспоминается в местах, где оно происходило, — ведь во времени эти места переместились наравне с другими? Почему люди в старости лучше всего помнят события молодости и детства? Почему вообще можно вспомнить давние и самые мелкие факты с подробностями, даже зримо? А сны, в которых мы видим давно умерших или давно исчезнувших из нашей жизни людей?... Здесь много «почему».

И ответ на все один: потому что *это с нами было*. Все пережитое, когда бы оно ни случилось, хранится в памяти целиком. Все хранится: ушибы, наслаждение едой или любовью, встречи, сны... и даже, когда спал крепко, то память о том, что ничего не снилось. Потому что другое название

для времени — *существование*. И подлинное четырехмерное существо Человек — а не его мгновенный снимок, меняющийся образ — это длиннющая, вьющаяся вместе с Землей и по ее поверхности в четырехмерном континууме лента-река его жизни; исток ее — рождение, устье... тоже понятно что: впадение туда, где «несть ни болезни, ни печали, ни воздыхания».

И, главное, обширность его сознательного существования зависит от интервала и информационной полноты памяти — именно управляемой ее части, подчиненной воле и рассудку.

Это я пересказываю то, что излагал нам на лекциях и тренировках Артурыч. Излагал он много, многому нас научил — и все это было настолько необычно, оторвано как-то от того, что пишут о времени и памяти в современных журналах и книгах (я ведь слежу), что мне в голову закралась одна интересная мысль. Я ее обдумывал так и этак, примерял к ней все свои наблюдения за Багрием — и все получалось, что называется, в масть:

— и эти необычные знания...

— и сама личность Артура Викторовича: его неустрашимость перед любым начальством, полная поглощенность делом, бескорыстность и безразличие, что от данного результата перепадет лично ему; да к тому же и разностороннейшая эрудиция — от физики до йоги, от актерского искусства до электронных схем, какая-то избыточность во всем: на нескольких бы хватило его сил, знаний и способностей...

— и главное, одна особенность в действиях: он никогда не ходил в забросы для изменения реальности; в тренировочные со мной или Славиком сколько угодно (без этого мы бы их и не освоили); надо знать поэзию заброса — те чувства, что переживаешь во время его и после, когда изменил реальность, чувства владычества над временем, отрешенного понимания всего, — чтобы понять странность поведения человека, который обучил такому других, а сам не делает.

— А знаешь почему? — сказал я Рындичевичу, изложив эти мысли. — Он уже в забросе. В очень далеком забросе, понял? И менять реальность сверх этого ему нельзя.

— Из будущего, думаешь?.. — Славик в сомнении pokrutil головой. — Хм... ругаться он больно здоров. В будущем таких слов, наверное, и не знают.

— Так это для маскировки, — меня распалило его сомнение, — слова-то трудно ли выучить.

В общем, Рындя согласился с моими доводами, и мы решили поговорить с Артуром Викторовичем начистоту. Пусть не темнит. Шеф, сидя за этим столом, выслушал нас (меня, собственно) с большим вниманием — и бровью не повел.

— Превосходно, — сказал он. — Потрясающе. Дедуктивный метод... А неандертальцы пользовались беспроводным телеграфом.

— При чем здесь неандертальцы? — спросил я.

— При том. Проволоки-то в их пещерах не нашли. Чем этот довод хуже того, что, раз я в забросы не хожу, значит, человек из будущего? Прибыл в командировку научить Рындичевича и Возницына технике движения во времени — двух избранных. А вам не кажется, избранные, что вера в пришельцев из будущего — такой же дурной тон и нищета духа, как и вера в космических пришельцев, коя, в свою очередь, лежит рядом с верой в бога! «Вот приедет барин, барин нас научит...» Лишь бы не самим. Вынужден вас огорчить: никакого будущего еще нет. Прошлое есть, настоящее есть — передний фронт взрывной волны времени. А будущее — целиком в категории возможности.

— Ну, здарсьте! — сказал я. — Когда я отправляюсь на сутки хотя бы назад, оно для меня — полная реальность.

— Ты не отправляешься назад, в прошлое, друг мой Саша, — шеф поглядел на меня с сочувствием, — ты остаешься в настоящем и действуешь во имя настоящего. Значит, вы еще недопоняли... Все наши действия суть воспоминания. Полные, глубокие, большой силы — соотносящиеся с обыч-

ными воспоминаниями, скажем, как термоядерный взрыв с фугасным, но только воспоминания. Действия в памяти...

— ...такие, что могут изменить реальность! — уточнил я.

— А что здесь особенного, мало ли как бывает! Если очевидец вспомнит, как выглядел преступник, того поймут; не вспомнит — могут и не поймать. Он может вспомнить, может не вспомнить, может сказать, может умолчать — интервал свободы воли. У нас все так же: воспоминания плюс свободные действия в пределах возможного. Только, так сказать, труба повыше да дым погуще. Никакой «теории из будущего» здесь не нужно.

И смотрит на нас невинными глазами да еще улыбается.

— Нет, ну, может, нам нельзя?.. — молвил Рындичевич. — Мы тоже свою работу знаем, Артур Викторович: в забросе лишнюю информацию распространять не положено. Тем более такую! Но — мы же свои. И никогда никому... Вы хоть скажите: третья мировая была или нет?

— Конечно, нет, раз засылают оттуда, о чем ты спрашиваешь! — вмешался я. — До того ли бы им было? Вы лучше скажите, Артурыч, вы из коммунистического или ближе?

— Да... черт побери! — Багрий хряпнул по столу обоими кулаками. — Говорят вам, нет еще будущего, нету!.. Ох, это ж невозможное дело, с какими поперечными олухами мне приходится работать!

И начал употреблять те слова, какие, по мнению Рынди, в будущем станут неизвестны. Кто знает, кто знает!

### III. СИГНАЛ БЕДСТВИЯ

— Так! — Багрий смотрит на нас. — Не слышу предложений по Мискину. А время идет, в девять часов в институте начнется рабочий день.



Я молчу. Честно говоря, мне не нравится вариант, который навязывает нам Глеб А.; багриевский явно надежней. Какие же у меня могут быть идеи! А с другой стороны, надо поднатужиться: в заброс идет тот, чей план принят.

— Инспекция, — говорит Рындичевич. — Инспектор по технике безопасности и охране труда от... от горкома профсоюза. По жалобам трудящихся.

— Не было жалоб, — говорю я. — Не жалуются сотрудники на Емельяна Ивановича. Они за него хоть в огонь.

— Вот именно! — вздыхает шеф.

— Ну тогда — из-за нарушений, вон их сколько! — Славик указывает на бумаги. — Явиться в лабораторию за час до происшествия, обнаружить упущение, потребовать немедленно исправить. Там ведь всего и надо этот баллон вынести в коридор, защитить в углу решеткой или досками. А без этого инспектор запрещает работать.

— Это академику Мискину безвестный инспектор по ТБ запретит работать?! — иронически щурится Артурыч. — Ну, дядя...

— Да хоть кому. Имеет право.

Багрий хочет еще что-то возразить, но мешает звонок. Он берет трубку (сразу начинают вращаться бобины магнитофона), слушает — лицо его бледнеет, даже сереет.

— Какой ужас!..

Мы с Рындичевичем хватаем параллельные наушники.

— ...набирал высоту. Последнее сообщение с двух тысяч метров. И больше ничего, связь оборвалась. Упал в районе Гавронцев... — Это говорил Воротилин, в голосе которого не было обычной силы и уверенности. — Рейс утренний, билеты были проданы все...

— Карту! — кидает мне шеф. Приношу и разворачиваю перед ним карту зоны, снова беру наушник. Багрий водит пальцем, находит хутор Гавронцы, неподалеку от которого делает красивую излучинку река Оскол, левый приток нашей судоходной. — Где именно у Гавронцев, точнее?

— Десять километров на юго-восток, в долине Оскола.  
— В долине — это хорошо, она заливная, не заселена...  
— Опять ты свое «хорошо», — горестно сказали на другом конце провода. — Ну что в этом деле может быть хорошего!

— Да иди ты, Глеб, знаешь куда!.. — вскипел Багрий. — Не понимаешь, в каком смысле я примериваю, что хорошо, что плохо?

— Ага... значит, берешься?

— Успех гарантировать не могу — но и не попытаться нельзя. Главное, причину бы найти, причину!.. Теперь слушай. Сначала блокировка. Карта перед тобой?

— Да.

Никогда прежде эти двое — немолодые интеллигентные люди разных положений и занятий — не называли друг друга запросто по имени и на ты; не будет этого с ними и после. Но беда всех равняет, сейчас не до субординации и пиетета.

— Проведи вокруг Гавронцев круг радиусом 15 километров. Здесь должно быть охранение — и чтоб ни одна живая душа ни наружу, ни внутрь. Охраняющие тоже не должны знать, что произошло. Ничего еще не произошло!

— Сделаю.

— Телефонная связь с Гавронцами должна быть сразу обрвана. Дальше: на аэродроме известие о падении БК-22...

(«БК-22, вот оно что! Ой-ой...» Я чувствую, как у меня внутри все холодеет. БК-22 — стосорокаместный двухтурбинный и четырехвинтовой красавец, последнее слово турбовинтовой авиации. Рейсы его через наш город начались этой зимой, я видел телерепортаж открытия трассы. И вот...)

— ...распространиться не должно. Всех знающих от работы на эти несколько часов отстранить, изолировать. Я сообщу по радию с места, когда их усыпить.

— Ох! Это ведь придется закрыть аэропорт.

— Значит, надо закрыть. Только сначала пусть пришлют сюда два вертолета: грузовой и пассажирский.

— Ясно. Кто тебе нужен на месте?

— Представители КБ и завода, группа оперативного расследования. Но — чем меньше людей, тем лучше, скажем, так: по два представителя и группа из трех-четырех, самых толковых.

— Уже сообщено. Будут через полтора часа. Бекасов, может быть, через два, он в Крыму. Но... для такого случая полагается еще санитарная команда: вытаскивать и опознавать трупы, все такое.

— Нет! Никаких таких команд, пока мы там. Предупреди всех о безоговорочном подчинении мне.

— Конечно. Теперь слушай: один представитель бекасовского КБ, хоть и неофициальный, прибудет к тебе сейчас на вертолете. Это Петр Денисович Лемех, бывший летчик-испытатель, ныне списанный на землю. Облетывал «БК двадцать вторые», летал и на серийных.

— Отлично, спасибо.

— И еще. Поступила первая информация о БК-22. Была аналогичная катастрофа с его грузовым вариантом — год с месяцами назад, на юге Сибири. Тоже при наборе высоты сорвался, нагруженный. Там причину не узнали — но это уже намек, что она одна и может быть найдена. Так что настраивайтесь на это.

— А на что же еще нам настраиваться? — усмехнулся Багрий. — На реквием? Это успеется.

— Кто летит?

— Я и Возницын. Рындичевич займется Институтом нейрологии.

На том конце провода помолчали. Я ждал с замиранием сердца, что ответит Глеб А.; в Славика он верит, конечно, больше, чем в меня.

— Смотри, тебе видней. («Уфф!..») Ну, все? Напутственных слов говорить не надо? Я все время здесь.

— Не надо. Дальнейшая связь — по рации.

Багрий-Багреев кладет трубку, поворачивается к нам:

— Все слышали? Вот так, не было ни гроша, да вдруг алтын. Святослав Иванович, ваш план принимаю, хоть и не в восторге от него. Но время не терпит. Заброс короткий, справитесь сами. Постарайтесь там... — он движением пальцев выразил то, в чем Рындя должен расстараться, — быть тоньше, осмотрительней. Зацепку на минувший день имеете?

(«Зацепка» — это точка финиша в забросе: запомнившееся приятное событие, к которому тянет вернуться, пережить его еще раз.)

— Имею.

— Какую, если не секрет?

— А пиво вчера в забегаловке возле дома пил — свежее, прохладное. И мужик один тараней поделился, пол-леща отломил, представляете?

Артура Викторовича даже передергивает. Рындичевич смотрит на него в упор и с затаенной усмешкой: вот, мол, такой я есть — с тем и возьмите.

— Эхе-хе!.. — вздыхает, поднимаясь из-за стола, шеф. — Поперечный мы, Встречники, народ. Что ж, наши недостатки — продолжения наших достоинств. Ладно, с вами все. А ты, друг мой Александр Романович (это я — и друг, и Романович), настраивай себя на далекий заброс. Может, на год, а то и дальше.

И он убегает командовать техникам общий сбор, следить за погрузкой. Мы с Рындей остаемся одни. Мне немного неловко перед ним.

— Аджедан и анемс, — говорит он обратной речью, — тсодрог и асарк. («Смена и надежда, гордость и краса...»)

— Слушай, не я же решал!

— Еонишутеп олед ешан, — продолжает он перевертышами, — онченек. (Наше дело петушиное, конечно.) Ичаду! (Удачи!)

— Онмиазв. (Взаимно). — Я тоже перехожу на обратную речь.

— Ондиваз ежад, йе-йе. (Ей-ей, даже завидно.)

— Онтсеч? Нечо ен ебес кат я. (Честно? Я так себе, не очень).

— Ясьшиварпс. Модаз мылог с енязьebo бо йамуд ен, еон-валг.

Мы говорим перевертышами — и говорим чисто. Если записать фразы на пленку, а потом прокрутить обратно, никто ничего и не заподозрит. Ничего, впрочем, особенно-го в обратной речи и нет: по звучанию похожа на тюркскую, прилагательные оказываются за существительными, как во французской, а произношение не страшнее, чем в английской.

Кроме того, мы умеем отлично ходить вперед спиной, совершать в обратном порядке сложные несимметричные во времени действия — так, что при обратном прокручивании пленки видеоманитофона, на которую это снято, не отличишь. В тренинг-камере, на стенах и потолке которой развиваются в обратном течении реальные или выдуманные Багрий-Багреевым события и сцены (и часто в ускоренном против обычного темпе!), мы учились ориентироваться в них, понимать, предвидеть дальнейшее прошлое, даже вмешиваться репликами или нажатием тестовых кнопок.

Все это нужно нам для правильного старта и финиша при забросах, а еще больше — для углубленного восприятия мира, для отрешения от качеств. Обнажается то, что смысл многих, очень многих сообщений и действий симметричен — что от начала к концу, что от конца к началу. А у событий, где это не так, остается только самый общий, внекачественный их смысл — образ гонимых ветром-временем волн материи: передний фронт крутой, задний пологий.

В том и дело, потому я и подозреваю в Артурыче человека не от мира сегодняшнего, что его внеэнергетический метод есть прикладная философия, идея-действие...

Мы с Рындичевичем говорим обратной речью — и мы знаем, что говорим.

«Главное, не думай об обезьяне с голым задом», — посоветовал он. Верно, главное не думать ни о ней, ни о белом медведе: о том, что сейчас лежит в пойме Оскола за Гавронцами, что осталось от 140-местного турбовинтового шедевра. И прочь этот холодок под сердцем. Ничего еще не осталось. Правильно хлопочет Багрий об охране и блокировке: нельзя дать распространиться психическому пожару. Пока случившееся — только возможность; укрепившись в умах, она сделается необратимой реальностью.

И я буду о другом: что в умах многих он еще летит, этот самолет, живы сидящие в креслах люди. Их едут встречать в аэропорт — некоторых, наверное, с цветами, а иных так даже и с детьми. С сиротами, собственно... Нет, черт, нет! — вот как подвигивается мысль. Не с сиротами! Он еще летит, этот самолет, набирает высоту.

— Ну, вернись, — Рындя протягивает руку, — вернись таким же. Заброс, похоже, у тебя будет... ой-ой. Вернись, очень тебя прошу.

— Постараюсь.

Все понимает, смотри-ка, хоть и из простых. Заброс с изменением реальности — покушение на естественный порядок вещей, на незыблемый мир причин и следствий. Изменение предстоит сильное — и не без того, что оно по закону отдачи заденет и меня. Как? Каким я буду? Может статься, что уже и не Встречником.

Мы со Славиком сейчас очень понимаем друг друга, даже без слов — и прямых, и перевернутых. Эти минуты перед забросом — наши; бывают и другие такие, сразу после возвращения. Мы разные люди с Рындичевичем — разного душевного склада, знаний, интересов. Для меня не тайна, что занимается он нашей работой из самых простых побуждений: достигать результатов, быть на виду, продвигаться, получать премии — как в любом деле. Потому и огорчился,

позавидовал мне сейчас; а при случае, я знаю, он ради этих ясных целей спокойноенько отодвинет меня с дороги... И все равно в такие минуты у нас возникает какое-то иррациональное родство душ: ближе Рынди для меня нет человека на свете, и он — я уверен! — чувствует то же.

Наверное, это потому, что мы Встречники. В забросах нам приоткрывается иной смысл вещей; тот именно смысл, в котором житейская дребедень и коллизии — ничто.

#### IV. РАССЛЕДОВАНИЕ

Грузовой вертолет с нашим оборудованием и техниками отправили вперед. Затем пассажирским Ми-4 летим в сторону Гавронцев и мы с Багрием. Третьим с нами летит Петр Денисович Лемех — плотный 40-летний дядя, длиннорукий и несколько коротконогий, с простым лицом, на котором наиболее примечательны ясные серо-зеленые глаза и ноздреватый нос картошкой; он в потертой кожаной куртке, хотя по погоде она явно ни к чему, — память прежних дней. До места полчаса лету — и за эти полчаса мы немало узнаем о «БК двадцать вторых»: как от Петра Денисовича, так и по рации.

— Не самолет, а лялечка, — говорит Лемех хрипловатым протяжным голосом. — Я не буду говорить о том, что вы и без меня знаете, в газетах писалось: короткий пробег и разбег, терпимость к покрытию взлетной полосы — хоть на грунтовую, ему все равно, экономичность... Но вот как летчик: слушался отлично, тяга хорошая — крутизна набора высоты почти как у реактивных! А почему? От применения Иваном Владимировичем сдвоенных встречно вращающихся на общей оси винтов да мощных турбин к ним — от этого и устойчивость, и тяга. Нет, за конструкцию я голову на отсечение кладу — в порядке! Да и так подумать: если бы изъяны в ней

были, то испытательные машины гробились бы — а то ж серийные...

Сведения по рации от Воротилина: самолет выпущен с завода в июне прошлого года, налетал тысячу сто часов, перевез более 20 тысяч пассажиров. Все регламентные работы проводились в срок и без отклонений; акты последних техосмотров не отмечают недостатков в работе узлов и блоков машины.

— Вот-вот... — выслушав, кивает Лемех, — и у того, что в Томской области загрел в позапрошлом апреле, тоже было чин чинарем. Полторы тысячи часов налетал — и все с грузом. Эх, какие люди с ним погибли: Николай Алексеевич Серпухин, заслуженный пилот... он уже свое вылетал, мог на пенсию уходить, да не хотел. Дима Якушев, штурман, только после училища...

— А почему там не обнаружили причину? — перебивает шеф.

— Он в болото упал. А болота там знаете какие — с герцогство Люксембургское. Да конец апреля, самый разлив... Место падения и то едва в две недели нашли. Это ж Сибирь, не что-нибудь. Над ней летишь ночью на семи тысячах метров — и ни одного огонька от горизонта до горизонта, представляете?

— Ну, нашли место — а там что? — направлял разговор Артур Викторович.

— А там... — Лемех поглядел на него светлыми глазками, — хвостовое оперение из трясины торчит. Да полкрыла левого отдельно, в другом месте. Ни вертолету сесть, ни человеку спуститься некуда. С тем и улетели... Нет, но здесь на сухом упал — должны найти.

— Грузовые и пассажирские БК разные заводы выпускают? — спрашиваю я.

— Один. Пока только один завод и есть для них. Отличия-то пассажирского варианта небольшие: кресла да окна, буфет, туалет...



Мы немало еще узнаем от Петра Денисовича: и что чаще всего аварии бывают при посадке — да и к тому же больше у реактивных самолетов, чем у винтовых, из-за их высокой посадочной скорости, затем в статистике следуют разные аэродромные аварии (обходящиеся, к счастью, обычно без жертв), за ними взлетные — и только после этих совсем редкие аварии при наборе высоты или горизонтальном полете.

Мы подлетаем. В каком красивом месте упал самолет! Оскол — неширокая, но чистая и тихая река — здесь отдалается от высокого правого берега, образуя вольную многокилометровую петлю в долине. Вот внутри этой петли среди свежей майской зелени луга с редкими деревьями — безобразное темное пятно с бело-серым бесформенным чем-то в середине; столбы коптящего пламени, ближние деревья тоже догорают, но дымят синим, по-дровяному.

А дальше, за рекой, луга и рощи в утреннем туманном мареве; высокий берег переходит в столообразную равнину в квадратах угодий; за ними — домики и сады Гавронцев. И над всем этим в сине-голубом небе сверкает, поднимаясь, солнце.

Я люблю реки. Они для меня будто живые существа. Как только подвернутся два-три свободных дня да погода позволяет, я рюкзак на плечи — и па-ашел по какой-нибудь, где потише, побезлюдней. Палатки, спальные мешки — этого я не признаю: я не улитка — таскать на себе комфорт; всегда найдется стог или копна, а то и в траве можно выпасться, укрываясь звездами.

И по Осколу я ходил, знаю эту излучину. Вон там, выше, где река возвращается к высокому берегу, есть родничок с хорошей водой; я делал привал возле него... Но сейчас здесь все не так. В том месте, где высокий берег выступает над излучиной мыском, стоит среди некошенной травы наш грузовой вертолет, а вокруг деловая суета: разбивают две большие палатки — одну для моей камеры, другую для гостей,

выгружают и расставляют наше имущество. Мы приземляемся.

— Слышал? — говорит мне Артурыч, выскакивая вслед за мной на траву. — Самолет выпустили одиннадцать месяцев назад. Вот на такой срок, то есть примерно на годовой заброс и настраивайся. Выбирай зацепку — хорошую, крепкую, не пиво с таранькой! — и *просвет*. Дня в три-четыре должен быть просвет. Туда, — он указывает в сторону излучины, — тебе ходить не надо, запрещаю. От суеты здесь тоже держись на дистанции... Общность, глубина и общность — вот что должно тебя пропитывать. Годовой заброс — помни это!

Да, в такой заброс я еще не ходил. И Рындичевич тоже.

Вскоре прибывают еще два вертолета. Из первого по лесенке опускаются трое. Переднего — невысокого, с фигурой спортсмена, седой шевелюрой и темными бровями, по которым только и можно угадать, какие раньше у него были волосы, — я узнаю сразу, видел снимки в журналах. Это Иван Владимирович Бекасов, генеральный конструктор, Герой Социалистического Труда и прочая, и прочая. Ему лет за пятьдесят, но энергичные движения, с какими он, подойдя, знакомится с нами, живая речь и живые темные глаза молодят его; лицо, руки покрыты шершавым крымским загаром — наверное, выдернули прямо с пляжа где-нибудь в Форосе.

Он представляет нам (Багрию, собственно; по мне Бекасов скользнул взглядом — и я перестал для него существовать) и двух других. Высокий, худой и сутулый Николай Данилович (фамилию не расслышал) — главный инженер авиазавода; у него озабоченное лицо и усталый глуховатый голос. Второй — мужчина «кровь с молоком», белокожее лицо с румянцем, широкие темные брови под небольшим лбом, красивый нос и подбородок — Феликс Юрьевич, начальник цеха винтов на этом же заводе; вид у него угрюмо-оскорбленный — похоже, факт, что именно его выдернули на место катастрофы, его угнетает.

Подходит Лемех. Бекасов его тепло приветствует, а о том и говорить нечего: глаза только что не светятся от счастья встречи с бывшим шефом.

— Какие предполагаете причины аварии? — спрашивает Багрий.

— Поскольку при наборе высоты, то наиболее вероятны отказы двигателей и поломка винтов, — отвечает Бекасов. — Такова мировая статистика.

— Ну, сразу и на винты! — запальчиво вступает начцеха. — Да не может с ними ничего быть, Иван Владимирович, вы же знаете, как мы их делаем. Пылинке не даем упасть.

— Нет, проверить, конечно, нужно все, — уступает тот.

— Не нужно все, сосредоточьтесь на самом вероятном, — говорит Багрий. — Время не ждет. Вот если эти предположения не подтвердятся, тогда будете проверять все.

— Хорошо, — внимательно взглянув на него, соглашается генеральный конструктор и после паузы добавляет: — Мы предупреждены о безусловном повиновении вам, Артур... э-э... Викторович. Но не могли бы вы объяснить свои намерения, цели и так далее? Так сказать, каждый солдат должен понимать свой маневр.

Чувствуется, что ему немалых усилий стоит низведение себя в «солдаты»; слово-то какое выбрал — «повиновение».

Под этот разговор приземлился второй вертолет, из него появляются четверо в серых комбинезонах; они сразу начинают выгружать свое оборудование. Одни приборы (среди которых я узнаю и средних размеров металлографический микроскоп) уносят в шатер, другие складывают на землю: портативный передатчик, домкрат, какие-то диски на шестах, похожие на армейские миноискатели, саперные лопаты, огнетушитель... С этим они пойдут вниз. Это поисковики.

— Могу и даже считаю необходимым, — говорит Багрий. — Прошу всех в палатку.

В шатре в дополнение к свету, сочащемуся сквозь пластиковые окошки, горит электричество; на столе у стенки микроскоп, рядом толщиномер; распаковывают и устанавливают еще какие-то приборы.

По приглашению Бекасова все собираются около нас. Стульев нет, стоят. Стулья — не в стиле шефа: пока дело не кончится, сам не присядет и никому не даст. Артур Викторович сейчас хорош, смотрится: подтянут, широкогруд, стремителен, вдохновенное лицо, гневно-веселые глаза. Да, у глаз есть цвет (карие), у лица очертания (довольно приятные и правильные), а кроме того, есть еще и темные вьющиеся волосы с седыми прядями над широким лбом, щеголеватая одежда... но замечается в нем прежде всего не это, не внешнее, а то, что поглубже: стремительность, вдохновение, веселье мощного духа. Этим он и меня смущает.

— Случившееся настраивает вас на заупокойный лад, — начинает он. — Прошу, настаиваю, требую: выбросьте мрачные мысли из головы, не спешите хоронить *непогибших*. Да, так: ничто еще не утрачено. Для того мы и здесь. Случай трудный — но опыт у нас есть, мы немало ликвидировали случившихся несчастий. Совладаем и с этим. Главное — найти причину...

— Как — совладаете? — неверяще спросил Лемех. — Обрызгаете там все живой водой, самолет соберется и с живыми пассажирами полетит дальше?

Вокруг сдержанно заулыбались.

— Нет, не как в сказке, — взглянул на него Багрий. — Как в жизни. Мы живем в мире реализуемых возможностей, реализуемых нашим трудом, усилиями мысли, волей; эти реализации меняют мир на глазах. Почему бы, черт побери, не быть и противоположному: чтобы нежелательные, губительные реализации возвращались обратно в категорию возможного!.. Я не могу вдаваться в подробности, не имею права рассказать о ликвидированных нами несчастях — ибо и это

входит в наш метод. Когда мы устраним эту катастрофу, у вас в памяти останется не она, не увиденное здесь — только осознание ее возможности.

Артур Викторович помолчал, поглядел на лица стоявших перед ним: не было на них должного отзвука его словам, должного доверия.

— Я вам приведу такой пример, — продолжал он. — До последней войны прекращение дыхания и остановка сердца у человека считались, как вы знаете, несомненными признаками его смерти — окончательной и необратимой. И вы так же хорошо знаете, что теперь это рассматривается как *клиническая* смерть, из которой тысячи людей вернулись в жизнь. Мы делаем следующий шаг. Так что и катастрофу эту рассматривайте пока что как «клиническую»... Вы — люди деятельные, с жизненным опытом и сами знаете о ситуациях, когда кажется, что все потеряно, планы рухнули, цель недостижима; но если напрячь волю, собраться умом и духом, то удастся ее достичь. Вот мы и работаем на этом «если».

— Но как? — вырвалось у кого-то. — Как вы это сделаете?

— Мы работаем с категориями, к которым вопрос «как?» уже, строго говоря, неприменим: реальность — возможность, причины — следствия... Вот вы и найдите причину, а остальное мы берем на себя.

— Так, может, и тот самолет соберется... ну, который в Сибири-то? — с недоверием и в то же время с надеждой спросил Лемех.

— Нет. Тот не «соберется»... — Артур Викторович улыбнулся ему грустно одними глазами. — Тот факт укрепился в умах многих и основательно, над таким массивом психик мы не властны. А здесь все по свежему... Так, теперь по делу. В расследовании никаких съемок, записей, протоколов — только поиск причины. И идут лишь те, кто там действительно необходим. Это уж командуйте вы, Иван Владимирович.

Тот кивнул, повернулся к четырем поисковикам:

— Все слышали? За дело!

Я тоже берусь за дело: достаю из вертолета портативный видеомэг и, подойдя к обрыву, снимаю тех четверых, удаляющихся по зеленому склону к месту катастрофы. При обратном прокручивании они очень выразительно попятятся вверх. Мне надо наснимать несколько таких моментов — для старта.

Потом, озабоченный тем же, я подхожу к Багрию и говорю, что хорошо бы заполучить с аэродрома запись радиопереговора с этим самолетом до момента падения.

— Прекрасная мысль! — хвалит он меня. — Но уже исполнена и даже сверх того. Не суетись, не толкись здесь — отрешайся, обобщайся. Зацепку нашел, продумал? Просвет?.. Ну, так удались вон туда, — он указывает на дальний край обрыва, — спокойно продумай, потом доложишь. Брысь!

И сам убегает по другим делам. Он прав; это обстановка на меня действует, атмосфера несчастья, — угнетает и будоражит, понукает что-то предпринимать.

Я ухожу далеко от палаток и вертолетов, ложусь в траве на самом краю обрыва, ладони под подбородок — смотрю вниз и вдаль. Солнце поднялось, припекает спину. В зеркальной воде Оскола отражаются белые облака. Чуточный ветерок с запахами теплой травы, земли, цветов... А внизу впереди — пятно гари, искореженное тело машины. Крылья обломались, передняя часть фюзеляжа от удара о землю собралась гармошкой.

Те четверо уже трудятся: двое поодаль и впереди от самолета кружат по Архимедовой спирали, останавливаются, поднимают что-то, снова кружат. Двое других подкапываются лопатами под влипшую в почву кабину; вот поставили домкраты, работают рычагами — выравнивают. В движениях их чувствуется знание дела и немалый опыт.

...Каждый год гибнут на Земле корабли и самолеты. И некоторые вот так внезапно: раз — и сгинул непонятно почему. По-

крупному — понятно: человеку не дано ни плавать далеко, ни летать, а он хочет. Стремится. Вытягивается из жил, чтобы быстрее, выше, дальше... и глубже, если под водой. И платит немалую цену — трудом, усилиями мысли. А то и жизнями.

В полетах особенно заметно это вытягивание их жил, работа на пределе. Например, у Армстронга и Олдрина для взлета с Луны и стыковки с орбитальным отсеком оставалось горючего на 10 секунд работы двигателя «лунной капсулы». Десять секунд!.. Я даже слежу за секундной стрелкой на моих часах, пока она делает шестую часть оборота. Если в течение этого времени они не набрали бы должную скорость — шлепнулись бы обратно на Луну; перебрали лишку — унесло бы черт знает куда от отсека. Так гибель и так гибель.

Или вот в той стыковке «Ангара-1», на исправлении которой отличился Славик: попробуй оптимально израсходуй тонну сжатого воздуха — да еще управляя с Земли. А больше нельзя. «Запас карман не тянет». Черта с два, еще и как тянет: запас — это вес.

Так и с самолетами. Аксиома сопромата, возникшая раньше сопромата: где тонко, там и рвется. А сделать толсто, с запасом прочности — самолет не полетит. Вот и получается, что для авиационных конструкций коэффициенты запаса прочности («коэффициенты незнания», как называл их наш лектор в институте) всегда оказываются поменьше, чем для наземных машин. Стараются, чтобы меньше было и незнания, берут точными расчетами, качеством материалов, тщательностью технологии... А все-таки нет-нет да и окажется иной раз где-нибудь слишком уж тонко. И рвется. Тысячи деталей, десятки тысяч операций, сотни материалов — попробуй уследи.

И тем не менее уследить надо, иначе от каждого промаха работа всех просто теряет смысл.

...Там, внизу, приподняли кабину — сплюснутую, изогнутую вбок. Один поисковик приходил сюда за портатив-

ным газорезательным аппаратом, сейчас режут. Вот отгибают рейки, поисковик проникает внутрь. Я представил, что он может там увидеть, — дрожь пошла между лопаток. Э нет, стоп, мне это нельзя! Немедленно отвлечься!

Поднимаюсь, иду к палаткам. Хорошо бы еще что-то поймать на свой видеомэг. О, на ловца и зверь бежит... да какой! Сам генеральный конструктор Бекасов, изнывая от ничегонеделания и ожидания, прогуливается по меже между молодыми подсолнухами и молодой кукурузой, делает разминочные движения: повороты корпуса вправо и влево, ладони перед грудью, локти в стороны. Ать-ать вправо, ать-ать влево!.. Как не снять. Нацеливаюсь объективом, пускаю пленку. Удаляется. Поворот обратно. Останавливается скандализованно:

— Эй, послушай! Кто вам позволил?

Я снимаю и эту позу, ошеломленное лицо, опускаю видеомегнитофон:

— Извините, но... мне нужно.

— А разрешения спрашивать — не нужно?! Кто вы такой? Уж не корреспондент ли, чего доброго?

— Нет... — Я в замешательстве: не знаю, в какой мере я могу объяснить Бекасову, кто я и зачем это делаю.

— Тс-с, тихо! — Артур Викторович, спасибо ему, всегда оказывается в нужном месте в нужное время. — Это, Иван Владимирович, наш Саша, Александр Романович. Он отправится в прошлое, чтобы исправить содеянное. Ему делать можно все, а повышать на него голос нельзя никому.

— Вон что!.. — Теперь и Бекасов в замешательстве, ему неловко, что налетел на меня таким кочетом; смотрит с уважением. — Тысячу извинений, я ведь не знал. Пройтись так еще? Могу исполнить колесо, стойку на руках — хотите? Ради такого дела — пожалуйста, снимайте.

— Нет, спасибо, ничего больше не надо.

Конечно, занятно бы поглядеть, как знаменитый авиаконструктор проходит колесом и держит стойку, но мне



это ни к чему: эти движения симметричны во времени; только и того, что в обратном прокручивании колесо будет не справа налево, а слева направо. А его ходьба с поворотами да ошеломленное лицо — это пригодится.

— Са-ша! — Багрий полководческим жестом направляет меня обратно на обрыв.

Иду. Почему, собственно, он нацеливает меня на годовой заброс? А ну как сейчас выяснится, что это диверсия, взрывчатку кто-то сунул... Тогда все меняется, заброс на сутки, даже на часы?.. Нет. Второй самолет упал так, вот в чем заковыка. Одной конструкции и с одного завода. Слабина заложена при изготовлении; а то и в проекте.

Снова ложусь над обрывом в том месте, где примял траву. Стало быть, будущее для меня — в прошлом. Год назад... это были последние недели моей работы в том институте. Я сознавал, что не нашел себя в микроэлектронике, маялся. Даже раньше времени ушел в отпуск. А сразу после отпуска меня зацапал Багрий-Багреев, начал учить драить и воспитывать. Так что эти отрезки моей жизни наполнены содержанием, менять которое накладно... Отпуск? О, вот зацепка: шесть дней на Проне — есть такая река в Белоруссии. Шесть дней, которые я хотел бы пережить еще раз. Только целиком-то теперь не придется... Первые дни — финиш заброса, последние — просвет. Даже не последние, а все три дня от момента встречи с Клавой пойдут под просвет. Да, так: там с ней у нас все началось и кончилось, никаких последствий в моей дальнейшей жизни это не имело — содержание этих дней можно изменить.

Жаль их, этих трех дней, конечно. А ночей так еще больше. Впрочем, в памяти моей тот вариант сохранится. А то, что из ее памяти он исчезнет, даже и к лучшему. И для меня тоже: снимается чувство вины перед ней. Все-таки, как говорят в народе, обидел девку. Обидел, как множество мужчин обижает многих женщин и девушек, ничего нового — а все нехорошо.

## V. ЦЕЛЬ ТРЕБУЕТ ГНЕВА

Похоже, что эти четверо внизу что-то нашли: собрались вместе, осматривают, живо жестикулируют. Двое с найденными предметами быстро направляются вверх, двое остаются там, собирают свои приборы.

Я тоже поднимаюсь, иду к палаткам: наступает то, что и мне следует знать досконально. Двое поднимаются из-за края косогора: первым долговязый, немолодой, с темным морщинистым лицом, руководитель поисковой группы, за ним другой — пониже и помоложе. Оба несут серые обломки, аккуратно обернутые бумагой.

Бекасов, прогуливающийся все там же, при виде их резко меняет направление и чуть не бегом к ним:

— Ну?

— Вот, Иван Владимирович, глядите, — задыхающимся голосом говорит старший поисковик, разворачивает бумагу. — Этот из кабины достали, этот выкопали под правым крылом. А этот, — он указывает на обломок, который держит его помощник, — в трехстах метрах на север от самолета валялся. И ступицы будто срезанные.

— Ага, — наклоняется он, — значит, все-таки винты!

Я тоже подхожу, гляжу на обломки, это лопасти пропеллеров — одна целая и два куска, сужающиеся нижние части.

— Да винты-то винты, вы поглядите на излом. — Поисковик подает Бекасову большую лупу на ножке.

Тот склоняется еще ниже, смотрит сквозь лупу на край одного обломка, другого — присвистывает:

— А ну, все под микроскоп!

И они быстрым шагом направляются в шатер; я за ними. Возле входа курят и калякают главный инженер Николай Данилович, начсеха винтов Феликс Юрьевич и Лемех. При взгляде на то, что несут поисковики, лица у первых двух сразу блекнут; главный инженер даже роняет сигарету.

— Похоже, что винты, — говорит на ходу Бекасов.

— Что — похоже? Что значит — похоже?! — высоким голосом говорит Феликс Юрьевич, устремляясь за ним в палатку. — Конечно, при таком ударе все винты вдребезги, но это ни о чем еще не говорит... — Однако в голосе его — паника.

В палатку набивается столько людей, что становится душно; на лицах у всех испарина.

— Сейчас посмотрим! — Старший поисковой группы крепит зажимами на столике металлографического микроскопа все три обломка, подравнивает так, чтобы места излома находились на одной линии; включает подсветки. В лучинках их изломы сверкают мелкими искорками-кристалликами.

Поисковик склоняется к окуляру, быстро и уверенно работает рукоятками, просматривает первый обломок... второй... третий... возвращает под объектив второй... Все сгрудились за его спиной, затаили дыхание. Тишина необыкновенная. Я замечаю, что средний кусок лопасти почти весь в чем-то коричнево-багровом. Засохшая кровь? Это, наверное, тот, что достали из кабины.

Поисковик распрямляется, поворачивается к Бекасову:

— Посмотрите вы, Иван Владимирович: не то надрезы, не то царапины — и около каждой зоны усталостных деформаций... — и уступает тому место у микроскопа.

— Какие надрезы, какие царапины?! — Феликс Юрьевич чуть ли не в истерике. — Что за чепуха! Каждая лопасть готового винта перед транспортировкой на склад оборачивается клейкой лентой — от кончика до ступицы! Какие же могут быть царапины?!

— Да, — глуховатым баском подтверждает главный инженер. — А перед установкой винта на самолет целостность этой ленты мы проверяем. Так что неоткуда вроде бы...

— Ну а что же это, по-вашему, если не надрез?! — яростно поворачивается к ним Бекасов. — У самой ступицы, в начале консоли... хуже не придумаешь! Смотрите сами.

— Позвольте! — Начальник цеха приникает к объективу, смотрит все три обломка. Это очень долгая минута, пока он их смотрит. Распрямляется, поворачивается к главному инженеру; теперь это не мужчина «кровь с молоком» — кровь куда-то делась, лицо белое и даже с просинью; и ростом он стал пониже. — О боже! Это места, по которым отрезали ленту...

— Как отрезали? Чем?! — Бекасов шагнул к нему.

— Не знаю... Кажется, бритвой. Кто как... — И голос у Феликса Юрьевича сел до шепота. — Это ведь операция не технологическая, упаковочная, в технокарте просто написано: «Обмотать до ступицы, ленту отрезать».

...Даже я, человек непричастный, в эту минуту почувствовал себя так, будто получил пощечину. Какое же унижение должен был пережить Бекасов, его сотрудники, сами заводчане? Никто даже не знает, что и сказать, — немая сцена, не хуже чем в «Ревизоре».

Завершается эта сцена несколько неожиданно. Лемех выступает вперед, левой рукой берет Феликса Юрьевича за отвороты его кримпленового пиджака, отталкивает за стол с микроскопом — там посвободнее — и, придерживая той же левой, бьет его правой по лицу с полного размаха и в полную силу; у того только голова мотается.

— За Диму... за Николая Алексеевича!.. За этих... — Голос Петра Денисовича перехватывает хриплое рыдание и дальше он бьет молча.

У меня, когда я смотрю на это, мелькают две мысли. Первая: почему Артур Викторович не вмешается, не прекратит избивание, а стоит и смотрит, как все? Не потому что жаль этого горе-начальника, нет, — но происходит эмоциональное укрепление данного варианта в реальности, прибавляется работа мне... Багрий не может этого не знать. Вторая: раз уж так, то хорошо бы запечатлеть видеомагом, чтобы обратно крутнуть при старте — шикарный кульминационный момент. И... не поднялась у меня рука с видеомагом.

Наверное, по той же причине, по какой и у Артурыча не повернулся язык — прервать, прекратить. Бывают ситуации, в которых поступать расчетливо, рационально — неприлично; эта была из таких.

— Хватит, Петр Денисович, прекратите! — резко командует Бекасов. — Ему ведь еще под суд идти. И вам, — поворачивается он к главному инженеру, — ведь и ваша подпись стоит на технокарте упаковки? — Он уже не называет главного инженера по имени-отчеству.

— Стоит... — понуро соглашается тот.

— Но я же не знал!.. И кто это мог знать?!.. — рыдает за микроскопом начцеха, отпущенный Лемехом; теперь в его облике не найдешь и признаков молока — спелый. Хороши бывают кулаки у лётчиков-испытателей. — Хотели как лучше!..

Я специалист по прошлому, но и будущее этих двоих на ближайшие шесть-семь лет берусь предсказать легко. И мне их не жаль.

...Хоть по образованию я электрик, но великую науку сопромат, после которой жениться можно, нам читали хорошо. И мне не нужно разжевывать, что и как получилось. Сказано было достаточно: «надрез» и «усталостные деформации». Конечно, надрез на авиале, прочнейшем и легком сплаве, из которого делают винты самолетов, от бритвы, обрезающей липкую ленту, не такой, как если чикнуть ею по живому телу, — тонкая, вряд ли заметная глазу вмятина. Но отличие в том, что на металле надрезы не заживают — и даже наоборот.

Нет более тщательно рассчитываемых деталей в самолете, чем крыло и винт; их считают, моделируют, испытывают со времен Жуковского, если не раньше. (Сейчас в конструкторских бюро, наверное, их просто подбирают по номограммам; считают только в курсовых работах студенты авиавузов.) Ночами режут, тревожа сон окрестных жителей, стенды с двигателями или аэродинамические трубы, в ко-

торых проверяют на срок службы, на надежность в самых трудных режимах винты разных конструкций; по этим испытаниям определяют и лучшие сплавы для них. Лопасти винтов полируют, каждую просвечивают гамма-лучами, чтобы не проскочила незамеченной никакая раковинка или трещинка.

А затем готовые винты поступают на упаковку: центрирование — укрепить каждый в отдельном ящике, а перед этим еще обмотать лопасти для сохранения полировки клейкой лентой. Последнее, наверное, не очень нужно, — «хотели ж как лучше». О, это усердие с высунутым языком! И резали эту ленту, домотав ее до ступицы, тетки-упаковщицы — кто как: кто ножницами, кто лезвием, а кто опасной бритвой... когда на весу, когда по телу лопасти... когда сильней, когда слабей, когда ближе к ступице, когда подальше — а когда и в самый раз, в месте, где будут наибольшие напряжения. Не на каждой лопасти остались опасные надрезы, не на каждом винте и даже далеко не в каждом самолете — их немного, в самый обрез, чтобы случалось по катастрофе в год.

Одному из четырех винтов этого пассажирского БК-22 особенно не повезло: видно, тетка-упаковщица (мне почему-то кажется, что именно пожилая тетка с нелегким характером) была не в духе, по трем лопастям чиркнула с избытком, оставила надрезы. И далее этот винт ставится на самолет, начинает работать в общей упряжке: вращаться с бешеной скоростью, вытягивать многотонную махину на тысячи метров вверх, за облака, перемещать там на тысячи километров... и так день за днем. Изгибы, вибрации, знакопеременные нагрузки, центробежные силы — динамический режим.

И происходит не предусмотренное ни расчетами, ни испытаниями: металл около надрезов начинает течь — в тысячи раз медленнее густой смолы, вязко слабеть, менять структуру; те самые усталостные деформации. Процесс этот быстрее всего идет при полной нагрузке винтов, то есть при

наборе высоты груженым самолетом. А на сегодняшнем подъеме, где-то на двух тысячах метрах, он и закончился: лопасть отломилась.

Далее возможны варианты, но самый вероятный, по-моему, тот, что достоинство бекасовской конструкции — те встречно вращающиеся на общей оси винты, которые хвалил Лемех (повышенная устойчивость, маневренность, тяга), — обратилось в свою противоположность. Эта лопасть срубила все вращающиеся встречно за ней; в этой схватке погибли и все передние лопасти. Что было с винтами на другом крыле? Что бывает с предельно нагруженным канатом, половина жил которого вдруг оборвалась? Рвутся все остальные. Особенно если и там были лопасти с подсечками.

Разлетаясь со скоростью пушечных снарядов, обломки лопастей крушили на пути все: антенну, обшивку, кабину... Самолет — может быть, уже с мертвым экипажем — камнем рухнул на землю.

Я додумываю свою версию — и меня снова душит унижение и гнев. Черт побери! Вековой опыт развития авиации, усилия многих тысяч специалистов, квалифицированных работников — и одна глупость все может перечеркнуть... да как! Тех теток под суд не отдадут — за что? Написано «отрезать», они и резали. Не топором же рубили. А этих двоих отдадут — и поделом: на то ты и инженер (что по-французски значит «искусник», «искусный человек»), чтобы в своем деле все знать, уметь и предвидеть.

— Но... э-э... Виктор Артурович, — несчастный Феликс Юрьевич даже перепутал имя-отчество Багрия; приближается к нему, — вы говорили... все можно перевести обратно, в возможность, да? А за возможность ведь не судят... а, да? — И в глазах его светится такая надежда выпутаться, которая мужчине даже и неприлична.

— А вы получите сполна за тот самолет, — безразлично отвечает Багрий и отворачивается.

Бекасов быстрым шагом направляется к выходу.

— Куда вы, Иван Владимирович? — окликает его шеф.

Тот останавливается, смотрит на него с удивлением (ну, не привык человек к таким вопросам), потом вспоминает о своей подчиненности.

— К рации.

— Зачем?

— Дать распоряжение по всем аэродромам, чтобы ни один самолет не выпускали в воздух без проверки винтов... неужели непонятно!

— Не нужно вам отдавать такое распоряжение, Иван Владимирович, — мягко говорит Багрий. — Вы уже отдали его. Одиннадцать месяцев назад.

— Даже?! — Лицо генерального конструктора выражает сразу и сарказм, и растерянность.

— Да, именно так. Ваша работа здесь кончилась, начинается наша. Поэтому как старший и наиболее уважаемый здесь подайте, пожалуйста, пример остальным: примите инъекцию... Федя! — повышает голос Артур Викторович. В палатку входит наш техник-санитар Федя, здоровяк-брюнет с брызгливым лицом; он в халате, в руке чемоданчик-«дипломат». — Это усыпляющее. Потом вы все будете доставлены по своим местам.

Бекасов поднимает темные брови, разводит руками, выражая покорность судьбе.

Федя раскрывает свой «дипломат», выкладывает восемь заряженных желтой жидкостью шприцев, вату, пузырек со спиртом, обращается ко всем и ни к кому густым голосом:

— Прошу завернуть правый рукав.

— Пошли! — трогает меня за плечо Багрий.

Мы выходим из шатра. Усыпление участников и доставка их по местам — дело техники и наших техников. А у нас свое: заброс.

— Чувствуешь, как я тебя нагружаю: и он-то, Бекасов, обо всем распорядился, и у других самолетов нет таких рисков на винтах, и эта катастрофа — все на тебе. Все зависит



от сообщения, которое ты понесешь сейчас в прошлое. Так что о старте ты излишне беспокоился. Стартуешь, как почтовый голубь, с первой попытки! Думать надо о другом...

Сейчас половина первого; четыре с половиной часа от момента падения БК-22. Небо в белых облаках, погода вполне летная — так что в аэропорту, где ждут самолета, объявили о задержке рейса не по погодным условиям, а по техническим причинам. Так оно в общем-то и есть, эту причину мне и надо устранить.

Я уже отдал техникам видеомаг; они там перематывают, наскоро просматривают, монтируют снятое мной вместе с прочим для прокручивания в камере. Я уже проглотил первые таблетки петойля: от этого любой звук — и голос Багрия, и шелест травы под ветром — кажется реверберирующим, а зрительные впечатления в глазах задерживаются куда дольше, чем я смотрю на предмет, накладываются друг на друга послесвечениями... Мы с Артурычем прохаживаемся по меже и над обрывом. Он меня накачивает:

— ...о специфике далекого заброса. Непроста я тебя настраиваю на общность и отрешение: ты пойдешь в прошлое по глубинам своей памяти, по самым глубинам сознания. Прислушайся к течению времени, пойми его: все, что ты чувствуешь обычно — от ударов сердца до забот, от блеска солнца до дыхания ветра, — лишь неоднородности единого потока, поверхностное волнение, а не ясная глубина его. Проникайся же этой общей ясностью, чувством сути — ибо ты пойдешь там, где есть память, но не о чем помнить, есть мысль, но не о чем думать, есть понимание, но нет понятий. В ближних забросах этого почти нет, старт смыкается с финишем — а в таком, как сейчас, иначе не пройти. И надо будет слиться с Единым, не потеряв себя, превратиться в общность, не забыв о конкретном, о цели, ради которой послан...

Голос у Багрия сейчас грудной, напевно-трубный — так мне кажется. Он сейчас не говорит, а прорицает:

— Две крайности, две опасности подстерегают тебя. Переход от зуда поверхностных впечатлений в состояние самоуглубленности, а затем еще дальше, к отрешению от качеств, от приятного и неприятного, от горя и радости — он сам по себе приятен и радостен, таков его парадокс. Настолько приятен и радостен, что помножь наслаждение любовью на наслаждение от сделанного тобой великого открытия да на радость удачи, на наслаждение прекрасной музыкой и прекрасным видом... и все будет мало. Это состояние индийцы называют «самадхи», европейцы прошлых времен называли «экстаз»... и его же — самые грубые формы — наши с тобой современники часто называют словом «балдеж». И у тебя может возникнуть желание углубить и затянуть подольше это состояние, даже навсегда остаться в нем. Так вот, помни, что это гибель — для дела и для тебя. Там, — он махнул рукой в сторону реки, — останется то, что и есть, а в камере найдут твой труп с блаженно-сумасшедшей улыбкой на устах и кровоизлиянием в мозгу. Так что... — Артур Викторович сделал паузу, улыбнулся, — в отличие от тех нынешних юношей и девиц, которые следуют лозунгу: «Не важно от чего, но главное — забалдеть!» — для тебя главное: не забалдеть. Прими-ка вот еще таблетку!

Глотаю. Запиваю собственной слюной. Сегодня я ничего не ел, кроме пилюль: перед стартом нельзя, пищевые процессы могут помешать.

— Теперь о другом. Отрешиться от этого состояния ты можешь только через углубленное понимание его смысла, то есть — поскольку это концентрат радости и удовольствий — через понимание объективного смысла радости, смысла приятных ощущений. Ты поймешь его, убедишься, что он до смешного прост... и почувствуешь себя богом: такими ничтожными, вздорными покажутся все стремления людей к счастью и наслаждениям, запутывающие их иллюзиями целей, ложными качествами. Ты почувствуешь себя приобщенным к мировым процессам, частью которых явля-

ется жизнь Земли и наша, — к процессам, которых люди в погоне за счастьем и успехами не понимают... И там, на ледяных вершинах объективности, может возникнуть настроение: если так обманчивы все «горя» и «радости», сомнительны цели и усилия — стоит ли мне, олимпийцу, вмешиваться в эту болтанку своими действиями... да и возвращаться в нее? При отсутствии качеств и беда не беда, и катастрофа — не катастрофа. Это тоже гибель дела и твоя, из камеры выйдет хихикающий идиотик, не помнящий, кто он, где и зачем. — Багрий, помолчав, продолжал: — Уберечь от этой крайности тебя и должно понимание, что да — стоит, надо действовать и вмешиваться, в этом твое жизненное назначение. Два противоборствующих процесса идут во Вселенной: возрастания энтропии — и спада ее; слякотной аморфности, угасания — и приобретения миром все большей выразительности и блеска. Так вот, люди — во второй команде, в антиэнтропийной. И мы, Встречники, причастны к процессу блистательного самовыражения мира. В этом космическом действии мы заодно со всем тем и всеми теми, кто и что создает, и против всего того и всех тех, кто разрушает!.. Ну-ка, заверни рукав.

И Багрий, раскрыв коробочку со шприцем, вкатывает мне в вену пять кубиков безболезненно растекающегося в крови состава. Это «инъекция отрешенности» — и первое действие ее сказывается в том, что я перестаю различать краски, цвета. Мир для меня при этом не бледнеет, не тускнеет — он представляется передо мной в таком великолепии световых переходов и контрастов, какие наш слишком послушно виляющий от яркостей, аккомодирующий зрачок обычно не воспринимает. В сущности, этот эффект — чувственное понимание моей нервной системой, что световые волны разной длины — не разных «цветов». Так начинается для меня отрицание внешнего, отрицание качеств — коих на самом-то деле и нет, а возникают они от слабости нашей протоплазмы, неспособной объять громад-

ность количественных градаций и диапазонов явлений в материи.

— Артурыч, — говорю я (мой голос тоже реверберирует), — так все знать, понимать... и вы еще отрицаете, что вы из будущего!

— Опять за свое?! — гремит он. Останавливается, смотрит на меня. — Нет, постой... похоже, ты всерьез?

— Ну!

— Что ж, надо объясниться всерьез... Ты там, я здесь — мы одно целое, между нами не должно остаться ничего недосказанного. Пусть так! — Он достает из внутреннего кармана пиджака пакетик из темной бумаги, из него две фотографии, протягивает мне. — Была бы живая, не показал бы — а так можно. Узнаешь?

Я смотрю верхнюю. Еще бы мне, с моей памятью, не узнать — это та, сгоревшая в кислородной камере. Снимок в деле, что я листал утром, похуже этого, но и тогда я подумал: эх, какая женщина погибла! На второй фотографии она же в полный рост — на берегу реки, на фоне ее блеска и темных деревьев, согнутых ветром ивовых кустов — нагая, со счастливым лицом и поднятыми к солнцу руками; ветер относит ее волосы. И как красиво, слепяще-прекрасно ее тело! Мне неловко рассматривать, я переворачиваю снимок другой стороной; там надпись: «Я хотела бы остаться для тебя такой навсегда».

— Да, — говорит Багрий, забирая фотографии, — такой она и осталась для меня... на снимке. А я был бы не против, если бы она, Женька, портила себе фигуру, толстела, рожая мне детей, выкармливая их... совершенно не против! Кому была нужна ее смерть — смерть из-за того, что не поставили бесконтактное реле?.. Вот это, — он смотрит на меня, — а не знания из будущего, которого еще нет, пробудили меня, пробудили гнев против всеисилия времени, бога Хроноса, пожирающего своих детей, против нелепой подоночности случая, низости ошибки, тупости, незнания... всего хватающего за ноги дерьма. Горе и гнев —

они подвигли меня на изыскания, помогли построить теорию, поставить первые опыты, найти и обучить вас. Цель требует гнева, запомни это! Пусть и тебя в забросе ведет гнев против случившегося здесь, он поможет тебе миновать те опасности. Люди — разумные существа, и они не должны погибать нелепо, случайно, а тем более от порождений ума и труда своего. Иначе цивилизация наша нелепа и грош ей цена.

Он помолчал, пряча фотографии в пакет и в карман.

— Теперь тебе нетрудно понять и то, почему я не хожу в серьезные забросы и в этот посылаю тебя... хотя, казалось бы, кому как не руководителю! Именно потому, что я не из будущего, настолько не из будущего, дорогой Саша, что слабее тебя. Вот, — он тронул место, куда спрятал фотографии, — «зацепка» — доминанта, которая по силе притягательности для меня превосходит все остальные. До сих пор не могу смириться, что Женьки нет. И в забросе, в том особом состоянии, против опасностей которого я тебя предостерегал, не удержусь, устремлюсь сквозь все годы туда, где она жива... ведь ради этого все и начинал! А там, чего доброго, и не пушу ее на тот опыт в кислородную камеру — или хоть добьюсь, чтоб сменили реле. А это... сам понимаешь, какие серьезные непредсказуемые изменения реальности могут произойти. Вот, я сказал тебе все. А будущего, Саш, еще нет, не дури себе голову. Будущее предстоит сделать — всем людям, и нам, и тебе сейчас.

Мне стыдно перед Артуром Викторовичем и немного жаль того ореола, который окружал его в моих представлениях. Но я сразу понимаю, что и ореол сегодняшнего человека, который даже горе свое сумел обратить в творческую силу, постиг новое и с его помощью дерется против бед человеческих яростно и искусно, — ничем не хуже. Да, и все-таки он немного из будущего, наш Багрий-Багреев-Задунайский-Дьяволов: где вы сейчас найдете начальника, который говорил бы подчиненному, что тот сильнее его и справится с делом лучше?

— Все, время! — Шеф взглядывает на часы. — Точку финиша наметил?

— Да. Здесь же в 15.00.

— Хочешь убедиться? Не возражаю. Что-нибудь нужно к тому времени?

— Рындичевича. С пивом и таранькой.

— Пожелание передам, пришлю... если он управится. Должен... — Сейчас Багрий без юмора принимает мои пожелания. — Все. Ступай в камеру!

В камере моей ничего особенного нет. Никакие датчики не нужно подсоединять к себе, ни на какие приборы смотреть — только на стены-экраны да на потолок: по нему уже плывут такие, как и снаружи, облака, только в обратную сторону. Не приборам придется идти вверх по реке моей памяти — мне самому. Есть пультик на уровне груди (ни кресла, ни стула в камере тоже нет, я стою — стиль Багрия!) — ряд клавиш, два ряда рукояток: регулировать поток обратной информации, который сейчас хлынет на меня — темп, яркость, громкость...

И вот — хлынул. Пошли по стенам снятые мной кадры: пятками и спинами вперед приближаются, поднимаются по склону поисковики с оборудованием. У Ивана Владимировича Бекасова ошеломленное выражение лица сменяется спокойным; он тоже пятится со смешными поворотиками вправо-влево, удаляется — и мы более не знакомы. Далее уже не мое: тугой гитарный рев двигателей набирающего высоту самолета, небо-экран над головой очищается ускоренно от обратного бега облаков — и обратная речь, молодой мужской голос:

— Вортем ичясыт евд уртемитьла оп. Яанчилто тсоми-див. Срук ан илгел. (Легли на курс. Видимость отличная. По альтиметру две тысячи метров.)

Последнее сообщение бортрадиста — первое для меня. Он летит, набирает высоту, самолет БК-22, исполняющий рейс 312. Многие пассажиры уже отстегнули ремни (я так и не застегиваюсь при взлете, только при посадке), досасыва-

ют взлетные леденцы, начинают знакомиться, общаться... А в правом переднем винте надрезы под тремя лопастями становятся трещинами.

— Ачясыт атосыв... (Высота тысяча...)

— Оньламрон илетелзв... (Взлетели нормально...)

А вот еще и не взлетели: хвостом вперед катит с ревущими моторами самолет по глади взлетной полосы, замедляя ход, останавливается (в динамиках: «Юашерзар телзв...» «Вотог утелзв ок...» — «Ко взлету готов», «Взлет разрешаю»), после паузы рулит хвостом вперед к перрону аэровокзала. Хороша машина, смотрится — даже и хвостом вперед. И не важно, что это не тот БК-22 (достал Артурыч, наверное, видеозапись репортажа об открытии рейса) и не те пассажиры хлынули из откинутой овальной двери на подьехавшую лестницу — быстро-быстро пятятся вниз с чемоданами (я поставил рукоятки на «ускоренно»)... все это было так же.

Сейчас многое уже не важно, обратное прокручивание стирает качественные различия с видимого. Пяться, сникай, мир качеств! Я чувствую себя сейчас пловцом-ныряльщиком в потоке времени, реке своей памяти. В глубину, в глубину!.. И вот уже не на экранах — в уме обратные ощущения сегодняшнего утра: я бреюсь — и из-под фрез электробритвы появляется рыжеватая щетина на моих щеках; я курю первую сигарету — и она наращивается! Идет в ощущениях обратное движение пищи во мне и многое другое шиворот-навыворот... только всё это то, да не то, обычного смысла не имеет. Я вырвался из мира (мирка) качеств на просторы Единого бытия — и теперь не существо с полусекундным интервалом одновременности, а вся лента моей памяти по самый ее исток. Дни и события на ней только зарубки, метки: одни глубже, другие мельче — вот и вся разница.

...Далее было все, о чем предупредил Артур Викторович, и много сильных переживаний сверх того — все, о чем трудно рассказывать словами, потому что оно глубже и проще

всех понятий. Я увернулся от Сциллы всепоглощающего экстаза-балдежа глубинных откровений в себе, настырно и грубо вникая в природу его; так сказать, поверил алгеброй гармонию с помощью шуробалагановского вопроса: а кто ты такой?!

И постиг, и холодно улыбнулся: радость и горе, все беды и неудачи человеческие были простенькими дифференциалами несложных уравнений. Что мне в них!.. Так меня понесло, чтобы ударить о Харибду отрешенности и отрицания всего. Но я вовремя вспомнил о цели, о гневе, о противоборствующих вселенских процессах выразительности и смещения, в которых ты ничто без гнева и воли к борьбе, без стремления поставить на своем — щепка в бурлящих водоворотах. И, поняв, приобщился к мировому процессу роста выразительности. Хорошо приобщился: понял громадность диапазона выразительности во Вселенной — пустота и огненные точки звезд, почувствовал громадность kloкочущего напора времени, несущего миры со скоростью света... и даже что созидательные усилия людей — одно со всем этим; малое действие, но той же природы.

И то порождение ума и труда людей, ради которого я пру, бреду, лечу обратно, от следствий к причинам, тоже принадлежит к звездной выразительности мира. Мне нужно отнять его у процесса смещения.

И была ясная тьма, тишина, полет звезд. А потом адские звуки: топот, гик, ржание... И опять ясная тишина ночи.

## VI. ДЕНЬ ВО ВТОРОЙ РЕДАКЦИИ

Звезды над головой. Темная стена леса позади. Я сижу на наклонном берегу, на чем-то белом; пластиковая простынка — постелил на траву от росы. Внизу гладкая, но подвижная полоса, размыто отражающая звезды, — вода. Река.



Изредка слышны всплески рыб — негромкие, подчеркивающие тишину.

Светящиеся стрелки часов показывают начало двенадцатого. Да, но какой день? Были две похожие ночевки подряд: на Басе, потом на Проне. (А имеет ли значение, какой день? И все дни? Вся эта смешная, мелкая конкретность?.. Это отзвуки только что пережитого сверхзаброса; мне еще долго возвращаться в человека, в свой полусекундный белковый комочек.)

Ни огонька до горизонта. Там, внизу, должны быть кусты и пойменный луг. А звезд-то наверху, звезд — сколько хочешь! (Пустота и огненные шары звезд — картина выразительного разделения материи, которая всегда у нас перед глазами... Не надо теперь об этом.)

Вдруг тишину разрывает ржание, гик, топот многих копыт за рекой. Кто-то гонит лошадей, завывая, улюлюкая в ночи. Я даже вздрагиваю — и успокаиваюсь: теперь все ясно, я уже на Проне. Конец второго дня моего путешествия. (И тот раз я вздрогнул от гвалта, подумал, что, наверное, мальчишки так гонят табун в ночное. Но теперь я знаю, что хулиганит довольно ветхий старичок: утром он перегонит лошадей на эту сторону, попросит у меня закурить.)

И снова тишина, изредка нарушаемая лошадиным фырканьем. Прежнее чувство ребячьей жути охватывает меня, как всегда при ночевке на новом месте: за спиной лес — кто-то из него выйдет? Рядом дорога к броду — кто-то по ней пройдет или проедет?.. Хотя и знаю теперь, что до утра никто не проедет и не появится.

«Тогда» и «теперь» — различия не по времени, по знанию. Я не раз вспоминал свой поход по Проне, мечтал как-нибудь пройтись здесь еще. А теперь получится даже интереснее: путешествие не только по прежним местам, но и по тому же участку четырехмерного континуума — все события, все происшедшее со мной как бы включается в пейзаж. (Меня все еще заносит: континуум... слово-то какое

противное! Дети, услышав такое, говорят: «А я маме скажу!») Немного жаль, что я слишком точно попал, к кануну дня третьего... и последнего теперь; меня лошадиный бедлам «приземлил» здесь. Первые два дня были хороши — дни простого бездумного счастья: я шел по лугам и вдоль кромки леса на высоком берегу, купался в чистой теплой воде, глядел на рыбешек, лежа на обрыве над круговертью, бескорыстно прикармливая их кусочками хлеба. Сейчас конец июня, время сенокоса; колхозники на лугах ставили стога — шлемы древнерусских витязей — и холодно смотрели на мою праздную фигуру в белом чепчике и с рюкзаком на одном плече; я на них, впрочем, так же смотрел — людей и в городе хватает.

Место для ночлега я выбрал, как всегда предпочтя красоту удобствам: копны здесь нет. Я уже отужинал, сварив на костерке из шишек суп из половинки горохового концентрата, а затем чай. Пора укладываться.

Вытягиваюсь на пластиковой простынке, рюкзак под голову, укрываюсь пиджаком, закуриваю, пускаю дым к звездам — и мысленно редактирую завтрашний день.

...Принцип — вариации реальности должны отличаться как можно меньше одна от другой — не исключает для нас возможности исправлять в забросах свои промахи и глупости; попутно, разумеется, не отвлекаясь от основной цели. У нас была дискуссия на этот счет — с привлечением произведений А. Азимова «Конец Вечности» и Р. Брэдли «И грянул гром»; но мы решили, что почтенные авторы, доказывая, что от переложения с полки на полку ящика с инструментами могут на века задержаться космические полеты или что от раздавленной в каменноугольном периоде бабочки может в современных Соединенных Штатах получиться фашизм, — перегнули. Связь причин и следствий далеко не так поверхностна и не столь жестка. Да и так подумать: мы отправляемся в прошлое, чтобы исправить ошибки, дурь людей и стихий — зачем же делать исключения для собственных!

А в походе по новой местности без ляпусов не обходится. Перво-наперво утром, умываясь возле брода, я забуду мыло и мыльницу... Забыть и на этот раз? Да. Это не требует движений, да и мыльница слова доброго не стоит; пусть лежит на песочке. Дальше: выпадет обильная роса, я буду идти по лугу в кроссовках, пока они не раскиснут, и только потом догадаюсь снять их, перекинуть, связав шнурками, через плечо, чтобы сушились. Теперь я сразу их понесу на плече, пойду босиком. Часах в трех пути отсюда, за линией высоковольтной передачи, нелегкая занесет меня внутрь многокилометровой подковообразной старицы — и заболоченной, какую не переплывешь; я буду долго блуждать внутри подковы: сначала пойду влево, через пару километров передумаю, поверну вправо... кошмар. Полагаю, что от того, что я теперь обогну ее издали справа, едва завидев кайму кустов, у американцев тоже исторических потрясений не случится.

Потом, в одиннадцатом часу, будет привал у того родникового ручья. Там все пусть останется без изменений: я буду лакомиться водой (ах, какая там вода!), ладить костер для горохового супа и чая — но приплывут два рыбака, живо отговорят меня, и я буду есть с ними уху из только пойманных подустов. Ах какая будет уха: жирная, вкусная, с лучком — и вволю... еще и с собой мне рыбину дадут! У меня заранее слюнки наворачиваются.

Еще часа через два пути я выйду к бывшему болоту — осушенному полю в крупных кочках. С бугра оно будет видно целиком: небольшое, с километр до сосенок на песках; и хотя дорога его огибала трехкилометровым извивом, я рассужу, что она для колесного транспорта, а у меня-то ведь ноги... и попрусь напрямик. Этот «прямой» километр мне будет стоять восьми: на кочках я не сделаю двух одинаковых шагов кряду, перепрыгну, сначала перекидывая рюкзак, с десятков дренажных канав — да еще взопрею от жары и тяжелой работы, и вокруг лица будет виться туча мух, кусачих тварей... Так что дудки, на этот раз пойду в обход.

А еще три часа спустя, перед деревней на высоком берегу я встречу двух девушек... и дальше начнется вариант. Жаль прежнего, который перейдет в категорию нереализованной возможности, — но я здесь по делу, а не для своего удовольствия, по серьезному делу.

А теперь спать!

Под утро посвежело, продрог. Развел костерок из сбереженных сухими в целлофановом мешочке еловых шишек, взбодрил себя крепким сладким чаем. На восходе солнца через реку перебрел на эту сторону табун со старичком на белой кляче впереди. Он угостился у меня сигаретой, крепко обложил своих животных и исчез с ними на лесной дороге. А я собрался, перешел вброд на луговую сторону и двинул босиком по росе. Кроссовки болтались за спиной.

Солнце поднималось в ясном небе. Коварную старицу я заметил издали, взял вправо. Вышел к широкому плесовому изгибу Прони: туман плыл над гладкой водой, под обрывом на том берегу водоворот медленно кружил хворостину. Мне нужно теперь на тот берег. Техника переправы нехитрая: разделся догола, одежду и рюкзак в пластиковый мешок, завязал его концом длинного шнура, другой конец его захлестнул петлей себе через плечо — мешок в воду и сам туда же. До противоположного берега было метров пятьдесят, но — так ласково приняла меня утренняя, туманящаяся от запасенного тепла, чистая вода, что я плыл, буксируя мешок, вниз по течению добрый километр — наслаждался.

Вышел, оделся, шел далее по высокому берегу мимо красноствольных сосен вдоль полуобвалившегося, засыпанного хвоей бесконечного окопа времен войны. Река вольно петляла по широкой пойме: уходила к деревне, серевшей избами на другом краю ее, возвращалась, текла ровно вниз, потом вдруг, совершив пируэт, описывала загогулину, похожую на человеческое ухо, снова возвращалась. Я шел, дышал чистейшим воздухом, вникал в посвистывание птиц над головой, смотрел на реку и небо — благодумствовал.

Ах, Проня, радость моя — один я тебя понимаю! Географы скажут, что этот поворот обратно ты совершила, потому что такой уклон, уровень дна... как бы не так! Это ты текла, текла и — бац! — вспомнила, что нужно что-то поглядеть позади, у того края долины, или подмыть там берег с наклоненной осиной, или что-то еще — и пошла обратно. Сделала свое — вернулась. Я сам такой, Проня, река моя, поэтому мы с тобой и свои в доску.

...Что-то в рюкзаке давило мне на правую лопатку. Снял, развязал, посмотрел: те полкирпича горохового концентрата, которые я так и не употребляю. Э, приятель, мало того что я тебя несу, так ты мне еще спину давишь!.. Размахнулся с обрыва — желтый комок улетел на середину Прони. Кушайте его вы, рыбы, поправляйтесь. А я уж лучше вас...

Но стоп! Я опережаю график. За этим поворотом реки начнутся заросли орешника, а сразу за ними — тот ручей. Там мне надлежит быть в начале одиннадцатого, а сейчас девять с минутами. Это из-за обхода той старицы — да и вообще по знакомой дороге шагается быстрее. Самое время искупаться на этом пляжике-мыске...

К ручью прихожу в 10.05. Чистейшая вода течет по ложу из песка и камешков среди травянистых берегов с кустами; в километре отсюда, где ключ выходит из земли, стоит деревянный крест, прикрытый по здешнему обычаю от дождей углом из дощечек. Святая криница. Меня всегда удивляет чудо родников: из земли — из грязи, собственно, — течет вода, чище, вкуснее, настоящее которой не бывает... Становлюсь на колени на бережок, склоняюсь, зачерпываю ладонями, пью. Ох, вода! Сажусь, достаю из рюкзака алюминиевую кружку, зачерпываю, пью еще. Ну и вода! Вина не надо. Впечатление такое, будто она не через пищевод и желудок, а прямо от рта расходится по всем мышцам и клеткам тела, наполняет их бодрой свежестью. От холода ее слегка заломило зубы. Передохнул. Ну-ка еще кружечку. Эх и вода.

Снизу по реке доносятся гупающие удары. Это приближается моя уха. Рыбаки промысловые, от колхоза — они ставят сеть (сейчас за ближним поворотом), разъезжаются в лодках и, ударяя по воде боталами, загоняют рыбу. У них норма 30 килограммов в день, да и себе же надо... Давайте, давайте, ребята!

Для декорума я все-таки вырезаю из ореха две рогульки и перекладину, наполняю котелок водой, собираю немного хворосту, вешаю котелок... Уху-то будем варить не здесь: вон, метрах в десяти, отогнут горизонтально целый ствол от куста, под ним кострище; на ствол они повесят свой котел. «Здесь наше стационарное место», — объяснит рыбак в очках и с зачатками интеллигентности, любитель покалякать. Другой, небритый, будет помалкивать да помешивать.

А вот и они, двое в клеенчатых фартуках. Выскакивают из лодок и первым делом идут к ручью, умываются, пьют воду. Приближаются ко мне, здороваются, садятся на бугорок рядом, закуривают, заводят разговор: откуда да куда, где живу, кем работаю — прежний. Я отвечаю, спрашиваю сам — и все медлю поджигать бумажку под хворостом, жду, когда начнут отговаривать.

— Что варить-то собираетесь? — спрашивает рыбак в очках.

— Да горох... то есть чаек. (Чуть не оговорился.)

— Ну, это не еда. (Правильно.) У нас здесь стационарное место, всегда уху варим. (Правильно!) И вас бы угостили... да что-то на этот раз невезуха. Мы от колхоза, норма тридцать килограмм, да и себе же надо... а и на завтрак не наложили. (Неправильно!) И куда рыба делась?

Только теперь я замечаю, что лица у рыбаков невеселые. Начинает говорить второй, прежде молчавший. Изъясняется он преимущественно матом:

— Я знаю, мать-перемать, куда она делась: это любители прикармливают, сманивают. Ни себе, ни людям. Он,

мать-перемать, на прикорм лишних два хвоста поймает, а у нас из-за этого верные места пустеют!.. Захватил бы, мать-перемать, такого... да надавал веслом по заднему месту.

— Ладно, пошли. — Очкарик поднимается, кидает окурок; обращается ко мне. — Если желаете, подождите нас часок. Мы сейчас вверх пройдемся, на уху добудем. Никуда рыба из реки деться не может... Из подустов уха с лучком — ух, объединение!

— Нет, спасибо, — отвечаю я, — ждать не могу.

Рыбаки садятся в лодки, уплывают вверх. М-да... это меня надо бы веслом по тому месту: мой гороховый концентрат все натворил. Ну, конечно! Он со специями, раскис — и пошла от него вкусная струя в чистой воде. Вся окрестная рыба устремилась туда — отведать или хоть поглядеть, чем так вкусно пахнет. Рыбаки там возьмут свое, это факт. Вот так дал я маху!

Не кипячу я постылый чай, да и аппетит пропал. Для подкрепления сил все-таки ем хлеб с сахаром (все, что осталось), запиваю родниковой водой; она-то все равно на высоте, не хуже чая. Сижу здесь примерно столько времени, сколько требуется, чтобы сварить и выкушать уху из подустов да с лучком, а потом перекурить в приятной беседе; затем поднимаюсь и быстрым шагом дальше. Мимо креста, грунтовой дорогой, вьющейся по высокому берегу, откуда открывается отличный вид на долину, луга, рощи и на белые выразительной лепки облака в синем небе. Но мне не до пейзажей, на душе неспокойно.

Повесить такую пену! Думать же надо, помнить хотя бы, из-за какой малой причины, приведшей к страшным последствиям, ты в забросе... Ну, это разные вещи, успокаиваю себя, природа не техника, она из кожи вон не лезет, вольна и избыточна, в ней от малости серьезных последствий не бывает. Так что все ограничится тем, что я остался без ухи.

Убедив и успокоив себя, я выхожу на бугор, с которого открывается вид на кочковатое экс-болото и дорогу в обход его. И... иду прямо. Трухнул. Ну его к черту — может, на обходе по грунтовке меня уж укусит, комар забодает, машина собьет (ни одной не видел за весь путь). И я снова ступаю то на кочку, то мимо, то прямо, то вбок, перекидываю рюкзаки через канавы, полные болотной жижи, сигаю с разбега сам. И палит полуденное солнце, и вьются надо мной столбом мухи, присаживаются отвесть меня, безошибочно выбирая самые нежные участки кожи около глаз, губ и носа; и я в поту и в мыле... Наконец выбираюсь к реке и, уже не разбирая, пляжное или не пляжное это место, скидываю одежду, бухаюсь в воду — и добрый час купаюсь, отхожу от перегрева и стука в висках.

И вот та деревня вдали; идут от нее навстречу мне по песчаной дороге две девушки. Одна высокая и полная, светло-рыжая, в выцветшем сарафане и в очках-фильтрах, на плече у нее нечто вроде треугольника — мерная сажень. Другая сильно пониже, в серых шортах и ситцевой кофточке, лихо завязанной узлом на смуглом животе; в руке у нее кленчатая тетрадь. Между нами еще метров двести и не виден ни узел, ни какая тетрадка — но я-то знаю.

И еще я знаю, что у нее серые глаза, напевный голос, милые, какие-то покорные плечи, стройные, хоть и полноватые ноги с маленькими ступнями и небольшие крепкие груди — каждая врозь. Я все о ней знаю. Это Клава.

Сейчас мы сблизимся, я спрошу, далеко ли еще до Славгорода и как лучше идти. «А зачем вам идти, — ответит рослая, — когда через час из деревни автобус туда! Тридцать копеек — и вы там». «Так мне интереснее, ножками», — отвечу я. «А... ну, вольному воля». «Вы, наверное, не деревенские?» И высокая охотно сообщит, что они студентки сельхозакадемии в Горках (в верховьях Прони и Баси, откуда я шел), здесь на практике и идут обмерять покос.



А меньшая ничего не скажет, только будет смотреть на меня светло и проникновенно, будто говорить взглядом: «Ну, придумай же что-нибудь! Иначе мы сейчас расстанемся — и все... Придумай, ты же мужчина». И мне так захочется обнять ее милые покорные плечи.

...И я придумал: когда они пошли и она оглянулась, я окликнул ее: «Девушка, можно вас на минутку!» Она перглянулась с подругой, подошла. Мы проговорили не минуту, а пять; полная нетерпеливо звала ее, но я сказал: «Вы идите, она вас догонит!» — и Клава тоже кивнула, что догонит. И действительно, через минуту побежала ее догонять — только босые ступни замелькали в пыли. А я пошел не к деревне и не дальше, а налево к стогу над обрывом в красивой излучине Прони. И хоть мы условились, что голова у Клавы разболится через час, я решил ждать ее три часа — уж больно мила.

Она пришла через два часа. Села рядом над обрывом, свесив ноги, взглянув блестящими глазами, сказала:

— А Светка говорит: «Знаю, чего у тебя голова заболела!» — и мягко рассмеялась.

И там, в нашей излучине, у нашего стога, мы с ней провели три дня. Утрами она убегала в деревню, как-то улаживала свои практикантские дела, приносила от хозяйки, у которой они квартировали, или из магазинчика какую-нибудь еду — а дальше время было наше. И погода была в самый раз по нас, теплая даже ночами. Мы блуждали по лугам и над рекой — и целовались, купались, разговаривали, пели песни (оказалось, что нам нравятся одни и те же) — и целовались; ночью я показывал ей, где какие звезды, или рассказывал смешное — она смеялась благодарно, терлась лицом о плечо или грудь... и мы опять целовались. Я не великий знаток женщин, не много у меня их было; но она была — как родниковая вода.

Но на третий день я заскучал... не заскучал, если честно-то, беспокоился: не может все далее у нас продолжаться

просто так, надо что-то решать... а я не был готов решать. И сказал ей, что мне пора, в понедельник-де на работу (это была неправда). Она проводила меня до автобуса, держала мою руку, пренебрегая взглядами деревенских теток и подруг по группе, прижималась к ней лицом и все повторяла: «Напиши мне... напиши!»

Я обещал... и не написал. Удержало соображение, которое часто посещает мужчин после того, как они «добьются своего»: уж больно легко она мне поддалась. Мне поддалась — и другому так поддастся. Да и вообще она не очень соответствовала образу «девушки моей мечты», который маячил в моей интеллигентной душе. Тем все и кончилось. А сейчас и не начнется...

Девушки приближаются. Порыв ветра относит волнистые распущенные по плечам волосы Клавы в сторону — и на миг придает ей сходство с той женщиной на фотографии, которую показывал мне Багрий; сходство не внешнее, они не похожи — у той удлиненное лицо, у этой круглое и с приподнятыми щеками, фигуры разные... а в чем же? Мне становится не по себе, душу обдает холод — холод понимания и непоправимой утраты.

Что же сейчас будет?.. Вот приближается женщина, которую я любил и предал. Ведь настоящее же у нас с ней было, настоящее — теперь я отчетливо понимаю это. И чего я ей не написал? Встретил ты «девушку своей мечты», идиотина, за истекший год? Как же... Да и мечта-то эта, образ — ведь от впечатлений кино, от пластинок, от показухи. А у этой — все безыскусственное, подлинное, свое... как она лицом-то к тебе, хлосту, прижималась, к руке твоей!

Сходимся. Первое побуждение у меня: пройти мимо, не глядя, — лишь бы скорее все осталось позади. Но нет, для минимизации различий надо повторять все до момента колебаний: окликнуть ее или не окликнуть? Варианты начинаются с колебаний.

Останавливаюсь, завожу тот же разговор, получаю те же советы и ответы от высокой рыжей Светы: об автобусе и что на практике здесь... И Клава, имя которой я не знаю и не узнаю, так же смотрит: ну, придумай же что-нибудь! Сейчас расстанемся — и все... И мне даже по-дурному кажется, что она сейчас возьмет и бросится мне на шею — что я тогда буду делать?

Они идут дальше. Я смотрю вслед. Клава оглядывается. Я ее не окликаю. Метров через двадцать оглядывается еще раз. Я спохватываюсь; чего это я стою, как дурак, уже начался вариант. Иди своей дорогой по своему делу. Вскидываю рюкзак, иду. Через четверть часа из ее памяти изгладится образ парня в белом чепчике и с рюкзаком.

Я иду своей дорогой по своему делу, спешу к деревеньке, к автобусу — и на душе муторно от тоски и одиночества. Иду мимо не нашего стога на не нашей излучине... а теперь бы я ей написал! Вот так и буду куковать один в жизни, как Багрий.

И серое солнце светит с серого неба, освещает темно-серый лес на том краю долины, серые луга и серую ленту реки. Только теперь это не от отрешенности. Совсем наоборот.

Дальше было просто. Автобусом до Славгорода, оттуда другим до Быхова. Билетов на идущие на юг поезда по случаю начала отпускного сезона нет — десятку проводнице купейного вагона, прикатил в город, на окраине которого тот авиазавод и КБ Бекасова.

Труднее всего оказалось попасть на прием к Ивану Владимировичу. «Генеральный конструктор сегодня не принимает. Генеральный конструктор вообще крайне редко принимает посторонних посетителей. Обратитесь с вашим делом к заместителю по общим вопросам, по коридору пятая дверь налево. Не желаете? Ну, изложите вашу просьбу письменно, оставьте у секретаря — она будет рассмотрена...» Пришлось объявить прямо:

— Я по поводу недавнего падения БК-22 в Сибири. Знаю причину.

Вспокоенный референт скрылся за обитой кожей дверью — и Бекасов сам вышел встретить меня.

Далее было все: мое сообщение о надрезах, немедленный звонок Бекасова на завод — проверить, очень быстрый ответ из цеха, что проверили и подтверждается, немедленная команда поставить такие винты на полные аэродинамические испытания, образовать комиссию, ревизовать склад, проверить винты у всех собранных и работающих самолетов... Но уже в момент встречи с Иваном Владимировичем я почувствовал: отлегло, отпустило. Спокойно пролетит тот самолет над Гавронцами, спокойно долетит и сядет. Не будет больше риск на винтах.

Единственное, о чем я еще похлопотал перед Бекасовым, это чтобы Петр Денисович Лемех (он дорабатывал в КБ последние недели) непременно был включен в комиссию. Генеральный конструктор не возражал — а в остальном можно положиться на обстоятельства и характер Петра Денисовича. Неприязни к несчастному начцеха Феликсу Юрьевичу я более не испытывал, но правило наименьших различий между вариантами должно быть соблюдено.

— Откуда вы узнали о надрезах? — допытывался Бекасов.

— Не могу сказать, Иван Владимирович, не имею права.

— Вы не из Сибири?

— Нет.

— Так... может... и до этого уже дошли, — он понизил голос, — вы — из будущего? Было что-то еще с «двадцать вторыми», да?

Светлая голова, гляди-ка! Или это в нем от того варианта осталось? Багрий бы сейчас позлорадствовал надо мной — «из будущего».

— Нет, Иван Владимирович, я из Бердянска.

## VII. ВОЗВРАЩЕНИЕ

15.00. Я над обрывом у той излучины Оскола. Облака стали пышнее за эти два часа да ветер их гонит побыстрее... В настоящее из прошлого вернуться по своей памяти легче, так сказать, по течению; камера необязательна. Но все равно пришлось нырять в самые глубины отвлечения и общности, туда, где подстерегает опасность превратиться в хихикающего идиота, а то и похуже. Суровая штука — дальний заброс, особенно впервой.

Здесь все в порядке: ничего нет. Как и не было... да ведь и не было. Прекрасный вид на долину Оскола, на луга, рощи осин и осокорей. Стоп — есть изменение, старица в том месте, где лежал самолет! Или она была? Нет, не было, по сухому туда поисковики ходили. А теперь выгнулась там дуга с блеском заросшей кувшинками воды, обрамленной кустами и мелкими деревцами. По идее здесь должна быть старица: не всегда же Оскол выгибался петлей, так, наверное, и под самым обрывом.

Ишь... зарубка на память. За то я, наверное, и люблю реки, что они похожи на человеческую жизнь; а старицы — как варианты. Река, изменив русло, течет дальше, а варианты-старицы зарастают, высыхают... забываются. А здесь, наверху, следы еще есть: овальная вмятина в траве, где я лежал, протоптанные тропинки, дыры от колышков двух палаток, окурки. Но это уже ни о чем не говорит: мало ли зачем могли сюда приехать люди, установить палатки! Эти следы — до первого дождя.

Нет, как и не было. И немного жаль, что «как и не было», — ведь было. И Бекасову ничего не мог сказать... Обидная это специфика у нашей работы, что нельзя открываться. С одной стороны, верно, ни к чему объявлять, что многие несчастья можно исправить забросами в прошлое, — так начнут все резвиться и лихачить, что не управишься. А с другой —

получается, будто и нет результатов нашей работы. Самолет пролетел благополучно? Ну и что? Странно, если бы было иначе. Действительно странно.

Вот хорошо, если был бы какой-нибудь такой вариантный киноаппарат или видеомаг — с наложением вариантов. Скажем, летит самолет, набирает высоту — и разделяется на два: один падает, другой летит дальше. Или пацан заплывает на фарватер — и там разделяется: один тонет, рассеченный крылом «кометы», а другого Рындичевич выгоняет на берег и порет ремнем; тогда бы и мамаша была не в претензии... Наверное, будут и такие аппараты, раз оказались возможными наши дела. Неплохо бы их иметь, чтобы доводить до общего сведения, что наша реальность — умная ноосферная реальность людей — тем и отлична от реальности кошек или коров, что не целиком однозначна, допускает переход как возможного в действительное, так и наоборот.

Кстати, о Рындичевиче — а его-то почему нет? Нарушение обычая. Пиво с таранькой это бог с ними, про них я сказал, чтобы полюбоваться выражением лица Артурыча, но сам Рындя должен быть здесь как штык. Не встретить после такого заброса!.. Ему прежде всех должно быть интересно, как там и что, самому придется не раз идти. Неужели не управился со своим академиком? Подождем еще.

Спускаюсь вниз, прохожу мимо новой старицы лугом до конца излучины, нахожу тот родничок и — ввиду отсутствия пива — пью воду из ладоней. Хороша и эта вода, да не та, глиной отдает. И вода не та, и река не та — да и я вернулся малость не таким. Обеднил свою жизнь...

Возвращаюсь наверх: нету моего Святослава свет Ивановича! По меже между кукурузой и подсолнухами иду к шоссе, а по нему к автобусной остановке.

...У автовокзала мой автобус останавливается как раз возле газетного киоска на перроне. Замечаю там местную газету с портретным некрологом на первой странице. Беру:

мать честная — академик Е.И. Мискин скоропостижно скончался вчера от... кровоизлияния в мозг! Выходит, оплошал Рындя?

Влетаю в кабинет Багрия. Артур Викторович ждет меня — и видно по нему, что ждет давно и с тревогой. Вскакивает, сжимает в объятиях:

— Ну, хоть с тобой-то все хорошо! Молодчина, отлично справился.

— А что со Славиком? — Я высвобождаюсь, вижу на столе шефа ту же газету с некрологом. — Где он?

— Сидит.

— Как сидит?

— Так сидит. В камере предварительного заключения, под следствием. Выяснение личности, побудительных причин и прочего... Говорил же ему, говорил не раз: тоньше надо работать, деликатней! Ну что это: взял и выключил энергию...

Багрий усаживается на край стола, закуривает, рассказывает.

Рындичевич совершил 15-часовой заброс и появился в Институте нейрологии перед концом рабочего дня — в ампула профсоюзного инспектора по технике безопасности и охране труда. В лабораторию Мискина на четвертом этаже он поднялся за час до взрыва баллона, в самый разгар подготовки опыта. Момент был не из удачных — и Мискин (низкорослый, лысый, бородатый, с высоким голосом и пронзительным взглядом... не из симпатяг был покойный) сразу принялся его выпроваживать; у нас здесь-де все в порядке, я директор института и за все отвечаю. На что Рындя резонно, хотя и не совсем тактично заметил, что одно из другого не вытекает (то есть, что раз здесь директор, то непременно и порядок) и он желал бы все-таки осмотреть. Академик и директор сразу несколько подзавелся, взял тоном выше: такие осмотры надо проводить в рабочее время, а сейчас день окончен и нечего посторонним в такую пору шляться по лабораториям.

— Так я именно и прибыл для проверки ваших работ в вечернее время, — снова резонно ответил «инспектор», — поскольку именно на такое время у вас приходится наибольшее число нарушений ТБ... — И он перешел к делу. — Вот первое нарушение я имею перед глазами, — он указал на баллон возле камеры-операционной, — так работать нельзя. Надо упрятать его за прочную решетку, а лучше вынести в коридор, там закрыть и провести в лабораторию сквозь стену трубу.

— Послушайте, да катитесь вы!.. — Мискин все более терял терпение; настроенный вести опыт, он и думать не хотел, чтобы откладывать да переделывать. — Мы всегда так работали, все так работают — и ничего.

— И незаряженное ружье стреляет раз в год, товарищ директор, — парировал Рындичевич. — Сатураторщики и то место зарядки сифонов газводой не забывают обрешетить, а там давления не те, что в этом баллоне. Так что я вынужден настаивать на ограждении. Иначе работать не разрешаю.

— Вы — мне?! — поразился академик.

Так, слово за слово, и разыгралась та безобразная сцена, в которой низенький Мискин, распаленный и багровый, наступал на Рындичевича, орал противным голосом: «Да как вы смее препятствовать моим исследованиям?! Вас самого надо упрятать за решетку... в зоопарке! И откуда вас такого выкопали: обрешетить... газвода... Тэ-Бэ... я тебе покажу Тэ-Бэ!» И его сотрудники подавали реплики, и даже собака в камере, привязанная на столе, но еще не оперированная, разразилась возбужденным лаем.

— А, да что я буду с вами разговаривать! — И «инспектор» подошел к лабораторному электрощиту, повернул пакетные выключатели (индикаторные лампочки приборов погасли), стал под щитом в непреклонной позе. — Не будете работать, пока не переделаете!..

Я слушаю, и мне становится не по себе. С одной стороны, чувства Славика можно понять: прибыл спасать челове-



ка — и нарвался на такое. А с другой... вот ведь как подвела его простоватость, та простота, которая действительно хуже воровства. «Имею право» — и попер. В самый разгар подготовки эксперимента. Надо же хоть немного читать в душах! В такой ситуации не то что академик, привыкший чувствовать себя в своем институте царем и богом, — рядовой экспериментатор и то может броситься с кулаками.

— Подите во-он! — орал, подступая к «инспектору», Емельян Иванович, у которого побагровела даже лысина. — По какому праву?! Вы хулиган, бандит! Сейчас же вызвать сюда охрану, милицию... а... а!

И он вдруг дернулся, опрокинулся на спину.

— Глубокий инсульт с поражением жизненно важных центров мозга, — закончил рассказ Багрий. — Он ведь гипертоник был, Емельян-то Иванович, да еще с импульсивным, холерическим темпераментом. Вот и хватил кондрашка. От такой напасти его кто и мог спасти, то только он сам. Смерть наступила через полчаса. Ну а далее... прибежала охрана, прибыла милиция. Никаких документов у Святослава Ивановича, подтверждающих, что он инспектор, естественно, не оказалось, ничего объяснить он не мог. Вот и...

— Но взрыва-то не было?

Артур Викторович смотрит на меня с иронией, отвечает фразами из анекдота:

— «Но больной перед смертью пропотел?» — «О да!» — «Вот видите». Какое имеет значение, что не взорвался баллон, если академик помер!

— Самое прямое: вы же дали Рындичевичу невыполнимое задание. Смерть наступила через полчаса, то есть примерно в то же время, в какое Мискин погиб от взрыва?

— Да.

— Так то, что моменты смерти от разных причин совпали в обоих вариантах, и говорит, что эти разные причины — внешний вздор, а глубинная одна — в характере и стиле работы покойного Мискина. И правильно вы хотели обойти

ее на самых малых вариациях: чтобы взрыв баллона, не убив Мискина, хотя бы вразумил его. А то задали: никаких взрывов в лаборатории. Чтоб было тихо. Не могло быть тихо — уберегли голову Емельяна Ивановича от внешнего взрыва, так ее разнес взрыв изнутри!

Багрий смотрит на меня с одобрением:

— Да, и именно «разнес», ведь вскрывали череп-то... Растете, Саша, хорошо мотивируете. До этого заброса вы так еще не вникали. Все правильно, я в таком духе и объяснил Воротилину: его-де приказ, его и вина, пусть вызволяет Святослава Ивановича из каталажки. Но тому... тому тоже пусть это послужит хорошим уроком! Так нельзя! — Шеф снова светло смотрит на меня. — А по-настоящему-то, Саша, выручили своего друга Рындю вы — вашим сверхзабросом и его результатами. Без этого Глеб А. и пальцем бы более не шевельнул. Нет, молодец, герой, требуйте теперь что угодно.

О, момент упускать нельзя. Я настолько вырос в глазах Артурыча, что он со мной даже на вы.

— Отпуск на неделю с завтрашнего дня.

— На неделю?! — Тот соскакивает со стола. — И это сейчас, когда ты остался один! Ты в своем уме?.. Два дня — и не с завтрашнего, а после возвращения Рындичевича.

— Четыре, Артурыч. Надо!

— Трое суток и ни часа больше.

Вот пожалуйста, проси у него!.. Тогда было три дня — и теперь. Смотаюсь в Горки. Сейчас май, в сельхозакадемии экзаменационная сессия — Клава должна быть там. Помнит ли она голубоглазого блондина, с которым разминулась прошлым летом у Прони? Увидит — вспомнит. Не может такого быть, чтобы у нас с ней ничего не было — не в прошлом, так в будущем.

## Содержание

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ОТКРЫТИЕ СЕБЯ .....</b>                                     | <b>5</b>   |
| <b>ТУПИК (Философский детектив<br/>в четырех трупах) .....</b> | <b>347</b> |
| <b>ИСПЫТАНИЕ ИСТИНОЙ<br/>(Повесть-исследование) .....</b>      | <b>437</b> |
| <b>ВСТРЕЧНИКИ (Повесть) .....</b>                              | <b>505</b> |

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ ПРЕДЛАГАЕТ



## ЛУЧШИЕ КНИЖНЫЕ СЕРИИ

### СЕРИЯ "ЗВЕЗДНЫЙ ЛАБИРИНТ"



Лучшие произведения отечественных писателей-фантастов! Признанные мастера: Андрей Лазарчук, Евгений Лукин, Сергей Лукьяненко - и молодые, но не менее талантливые авторы: Владимир Васильев, Александр Громов и многие другие. Глубина мысли, захватывающий сюжет, искрометный юмор - все многообразие фантастики в новой серии нашего издательства.

**Книги издательства АСТ можно заказать по адресу: 107140, Москва, а/я 140 АСТ - "Книги по почте".**

**Издательство высылает бесплатный каталог.**

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ ПРЕДЛАГАЕТ

## МИРЫ БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ



## ЛУЧШИЕ КНИЖНЫЕ СЕРИИ

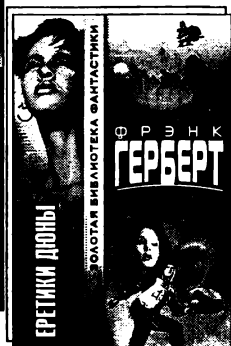
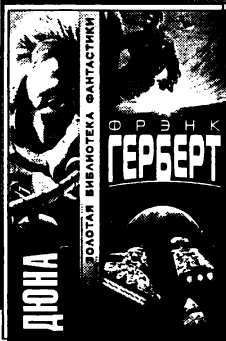
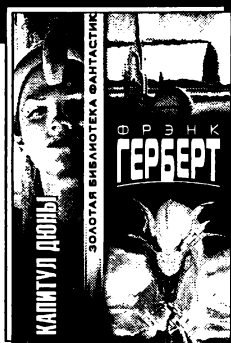
### СЕРИЯ "МИРЫ БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ"

Братья Стругацкие... Их знают не только те, кто любит фантастику. Магии книг братьев Стругацких подвластны самые разные люди - независимо от возраста, образования, убеждений. На этих книгах выросло не одно поколение читателей. Каждый находит в них что-то для себя, каждый черпает из них что-то свое, словно бы предназначенное именно для него. Братья Стругацкие - это "знак качества", фирменная марка, символ и идеал, к которому так хочется стремиться.

Книги издательства АСТ можно заказать по адресу:  
107140, Москва, д/я 140 АСТ - "Книги по почте".

Издательство высылает бесплатный каталог.

# ДЮНА



В серии

**«Золотая библиотека фантастики»**  
опубликован знаменитый сериал Фрэнка Герберта:  
**«Дюна»**

**«Мессия Дюны»**

**«Дети Дюны»**

**«Бог-Император Дюны»**

**«Еретики Дюны»**

**«Капитал Дюны»**

Заветные мечты читателей сбываются! Брайан Герберт, сын Фрэнка Герберта, в соавторстве с известным фантастом Квином Андерсоном создает трилогию «Прелюдия к Дюне». Узнайте предысторию столь хорошо знакомых вам событий!

Читайте в начале 2001 года в серии «Золотая библиотека фантастики»  
первый роман трилогии — «ДОМ АТРЕЙДЕСОВ»!



По вопросам оптовой покупки книг издательства АСТ обращаться по адресу:  
Звездный бульвар, дом 21, 7-й этаж. Тел. 215-4338, 215-0101, 215-5513  
107140, Москва, а/я 140, АСТ - «Книги по почте»

## **Издательская группа АСТ**

Издательская группа АСТ, включающая в себя около 50 издательств и редакционно-издательских объединений, предлагает вашему вниманию более 10 000 названий книг самых разных видов и жанров. Мы выпускаем классические произведения и книги современных авторов. В наших каталогах — интеллектуальная проза, детективы, фантастика, любовные романы, книги для детей и подростков, учебники, справочники, энциклопедии, альбомы по искусству, научно-познавательные и прикладные издания, а также широкий выбор канцтоваров.

В числе наших авторов мировые знаменитости Сидни Шелдон, Стивен Кинг, Даниэла Стил, Джудит Макнот, Бертрис Смолл, Джоанна Линдсей, Сандра Браун, создатели российских бестселлеров Борис Акунин, братья Вайнеры, Андрей Воронин, Полина Дашкова, Сергей Лукьяненко, Фридрих Незнанский, братья Стругацкие, Виктор Суворов, Виктория Токарева, Эдуард Тополь, Владимир Шитов, Марина Юденич, а также любимые детские писатели Самуил Маршак, Сергей Михалков, Григорий Остер, Владимир Сутеев, Корней Чуковский.

**Книги издательской группы АСТ вы можете заказать и получить по почте в любом уголке России. Пишите:**

**107140, Москва, а/я 140**

**ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ**

Вы также можете приобрести книги группы АСТ по низким издательским ценам в наших фирменных магазинах:

### **В Москве:**

- Звездный бульвар, д. 21, 1 этаж, тел. 232-19-05
- ул. Татарская, д. 14, тел. 959-20-95
- ул. Каретный ряд, д. 5/10, тел. 299-66-01, 299-65-84
- ул. Арбат, д. 12, тел. 291-61-01
- ул. Луганская, д. 7, тел. 322-28-22
- ул. 2-я Владимирская, д. 52/2, тел. 306-18-97, 306-18-98
- Большой Факельный пер., д. 3, тел. 911-21-07
- Волгоградский проспект, д. 132, тел. 172-18-97
- Самаркандский бульвар, д. 17, тел. 372-40-01

### **мелкооптовые магазины**

- 3-й Автозаводский пр-д, д. 4, тел. 275-37-42
- проспект Андропова, д. 13/32, тел. 117-62-00
- ул. Плеханова, д. 22, тел. 368-10-10
- Кутузовский проспект, д. 31, тел. 240-44-54, 249-86-60

### **В Санкт-Петербурге:**

- проспект Просвещения, д. 76, тел. (812) 591-16-81  
(магазин «Книжный дом»)

### **Издательская группа АСТ**

129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7 этаж.  
Справки по телефону (095) 215-01-01, факс 215-51-10  
E-mail: [astpub@aha.ru](mailto:astpub@aha.ru) <http://www.ast.ru>

Любое использование материала данной книги,  
полностью или частично, без разрешения  
правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

**Савченко Владимир Иванович**

**Открытие себя**

Роман

**Тупик**

Философский детектив в четырех трупях

**Испытание Истиной**

Повесть-исследование

**Встречники**

Повесть

Художественный редактор О.Н. Адашкина

Компьютерный дизайн: А.С. Сергеев

Технический редактор О.В. Панкрашина

Младший редактор А.С. Рычкова

Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Гигиеническое заключение  
№ 77.99.11.953.П.002870.10.01 от 25.10.2001 г.

ООО «Издательство АСТ»

Лицензия ИД № 02694 от 30.08.2000 г.

674460, Читинская область, Агинский район,  
п. Агинское, ул. Базара Ринчино, д. 84

Наши электронные адреса:

WWW.AST.RU

E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в ОАО «Рыбинский Дом печати»  
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.





Владимир Иванович Савченко родился в 1933 г. Окончил Московский энергетический институт. Фантастику начал писать еще в студенческие годы. Первые опубликованные рассказы — «Навстречу звездам» (1955г.) и «Пробуждение доктора Берна» (1956г.). За этим последовали повести «Черные звезды», «Алгоритм успеха» и многое, многое другое.

Остроумная, достоверная в лучшем смысле слова, пронизанная высокой романтикой научного поиска фантастика Савченко не СОСТАРИЛАСЬ за несколько десятилетий — и НЕ СОСТАРИТСЯ НИКОГДА!..

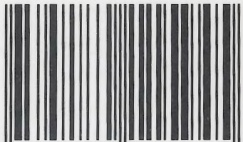
«Открытие себя» — один из последних великих романов «золотого века» отечественной фантастики.

А уж эпиграфы к этому роману, давным-давно раздерганные на цитаты, много лет как стали неотъемлемой частью фольклора российских знатоков и любителей фантастики.

Помимо романа, в сборник включены и лучшие повести В. Савченко — «Испытание Истиной», «Встречники» и «Философский детектив в четырех трупax «ТУПИК».



ISBN 5-17-011594-6



9 785170 115945